

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

2001

2

НОВЫЙ МИР

2001

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

**В 2001 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;

Рассказы;

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ. Мерсье и Камье (роман; перевод с английского Михаила Бутова);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Оправдание (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

МИХАИЛ ГОРЕЛИК. Проекция Борхеса (эссе);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА. Русский читатель над японским романом;

СВЕТЛАНА КЕКОВА. На семи холмах (стихи);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

АННА МАТВЕЕВА. Восьмая марта (повесть);

(См. на обороте)

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);
ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия; Высоцкий (главы из книги);

ЮЛИЯ ПЕСКОВА. Привет, красавица! (повесть);

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Очаровательное захоlustье (повесть);

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Бог в городе (повесть);

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы (эссе);

ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин (повествование в рассказах);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Гостиница «Океан» (повесть);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия (история одной болезни);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Мальчик и девочка (роман);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА; стихи МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ; статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ и других авторов.**

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2001 году: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2001 года — 240 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2001 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман», «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2 (910)

Февраль, 2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЕВГЕНИЯ СМАГИНА — Сеть городов, стихи	7
АНДРЕЙ ВОЛОС — Недвижимость, роман. Окончание	13
БОРИС РОМАНОВ — Сносимые облака, стихи	76
ЛЕОНИД ЗОРИН — Из жизни Багрова, рассказы	79
АЛЕКСАНДР ЗОРИН — Дружество звезд, стихи	97
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР — Дама, мэри и другие, рассказ	100
ЕФИМ БЕРШИН — Песочные часы, стихи	104
ОЛЕГ ЛАРИН — Пятиречье. Сцены из захолустной жизни	107

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

АНДРЕЙ СЕРЕГИН — Владимир Соловьев и «новое иррелигиозное сознание»	134
--	-----

Города и годы

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН — Точки силы	149
---------------------------------	-----

МИР НАУКИ

ГАЛИНА МУРАВНИК — Человек парадоксальный: взгляд науки и взгляд веры	161
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Борисов камень. О современных поэтах	182
---	-----

Борьба за стиль

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Ритм как теодицея	203
--------------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Быков. Заложник и предстоятель	206
Ирина Машинская. Голос невидимых птиц	208
Дина Ратнер. Иерусалимские картинки	212
Елена Касаткина. Искусство сосать камешки	215
Марина Адамович. Простой хороший человек	217
Александр Доброхотов. Анатомия Левиафана	221

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО	230
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	235

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	243
Периодика (составитель Андрей Василевский)	245
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВЛАДИМОВА
С 70-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ
БОРИСА АКУНИНА (Г. ЧХАРТИШВИЛИ),
ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ АНТИБУКЕРОВСКИХ ПРЕМИЙ
ЗА 2000 ГОД!**

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ДЖОРДЖУ СОРОСУ, ЕКАТЕРИНЕ ГЕНИЕВОЙ
И ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»
(ФОНД СОРОСА) ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ БЕСКОРЫСТНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ТОЛСТЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ
И РОССИЙСКИХ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации при посредничестве Российской Государственной библиотеки выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России 1000 экземпляров журнала «Новый мир».

ЕВГЕНИЯ СМАГИНА



СЕТЬ ГОРОДОВ

В Неглинном переулке

В сеть городов врывало лето,
И осторожно, как впервые,
Свирель кирпичную продули
Густые теплые ветра.
Под горку шел асфальт нагретый,
Косили окна угловые,
И тополь голову седую
Клонил с церковного двора.

Листва его шумела, пенясь,
И было все, чего мы ищем,
Неподалеку — путь намечен,
Ходьбы всего лишь пять минут;
Ты помнишь греческую песню
О том квартале полунищем,
Где улыбаются при встрече
Да песни день и ночь поют?

Здесь мы ходили, друг мой милый,
И никого не полюбили,
Но оставались одиноки
И научились звать родным
Лишь этот дух неодолимый
Древесной тени, камня, пыли,
Слова, лежащие в строки,
И городов воздушный дым.

Светлели каменные дали,
И только голос неизвестный,
Прерывистый, как тень сквозная
Вечно дрожащих тополей,
Пел: *Спозаранку в том квартале
Глядят на юношей невесты,
Но что с того — никто не знает
Любви чужой, любви моей...*

Гобелен

Балтика... гобелен на рыбачьей сети
с преобладанием блеклых тонов и продольных линий.
Ветры косые с дождем наклонным переплети,
знай, что никто не может тебя спасти —
даже огонь маяка, дрожащий и длинный.

Бог молчаливых небес не забудет твои грехи —
так постарайся теперь избежать хотя бы огрехов.
Пестуй вниманье, усердствуй, вплетай янтари во мхи,
а в корабельный канат — тройняшки лесных орехов.

Будет расти у лесов лишайника борода,
будут чернеть хутора средь озер и пашен,
и скандинаволикие города
к нашим твореньям приколкнут булавки башен.

И мы проснемся на зябкий крик петуха
и перестанем считать свою жизнь напрасной
там, где дорога в лесах, как согласный глухой, тиха,
а побережья морские тягучи, как долгий гласный.

Этнографический этюд

Цыган, ты украл мое сердце.

Из старой песни.

Забытую песенку, память, пропой,
раскройся провалом зеркальным,
рассыпья диковинной, пестрой толпой
на сорном лугу привокзальном.

Монеты их лиц поистерли черты
под патиной вечной дороги,
и были, как нищих детишек мечты,
их платья пестры и убоги.

Гласят фолианты о славе твердынь.
где спят мудрецы и владыки,
но дышит в окошко огонь и полынь
и слышится хор полудикий.

Мы видим: история гонит вперед,
ликуют и плачут народы.
И кто бы подумал, что сыщется брод
на эти всемирные воды;

что можно,
покинув успех и беду,
где гибнут неправый и правый,
чужого коня увести в поводу
вослед за кибиткой дырявой?

Забудь громыханье великих имен
и каменных стен постоянство,
навек от вечного плена времен
укройся в объятьях пространства.

Поднимется ветер — и в пыль бытия
добавит душистого перца;
засветятся в окнах чужие края,
и девушка скажет: «Погибель моя,
цыган,
ты украл мое сердце».

Романсеро города Мюнстера

Не прошу остановиться,
но смири, замедли, время,
свой прозрачный, несвободный,
ускоряющийся бег.

Навсегда поставил рыцарь
ногу в каменное стремя,
а за площадью соборной
бьют часы четвертый век.

Тот мотив однообразный
доскрипят дверные створки,
прокричит речная птица,
поднимаясь на крыла,
что в Вестфалии прекрасной
все идет, как в поговорке:
сыпет дождь по черепице
и поют колокола.

И под звон, под влажный ропот
вдоль по улицам рассветным
ангелы-велосипеды
плавно катят нимб двойной.

А навстречу дует ветер —
сладок ветер твой, Европа,
кто вдохнет его свободы,
позабудет дым родной.

Ты не пой мне: «Душный воздух
неуют, несвободы,
лет бесцветных и порочных
я из памяти сотру»;
дай мне только краткий отдых
под романским небосводом,
в череде лесов барочных,
на готическом ветру.

Город Мюнстер чист и мирен,
но не молкнет горький опыт,
и не слышит каждый встречный
то, что внятно мне одной.
Сладок голос твой, Европа,
флейта, лотос, птица Сири —
кто еще из нас навечно
позабудет дом родной?

Прощание с Мюнстером

Потом, на родине, вздохнем не раз мы,
а здесь звенят часы:
не покидай Вестфалии прекрасной,
ждишь второй весны.

Прожить еще весну, второе лето
не где-нибудь, а здесь;
в барочном парке университета
бродить и ждать чудес,

где осень блещет бронзою живою
и слезы льет зима,
и вспоминать: здесь тоже были войны,
коммуна и чума.

Война и мор прошли, как день вчерашний,
как сон, как смутный бред,
и только вторит колокол на башне
набату прошлых бед;

да через площадь смотрят — и печален
их перекрестный взгляд —
барон фон Фюрстенберг и граф фон Гален,
ученый и прелат.

К чему тревожиться? Опять воспрянет,
страхнув позор и прах,
кирпичный город, как имбирный пряник
в цветах и вензелях.

И не услышит больше злобных бредней —
не то что мы с тобой;
здесь по утрам не трубят день последний
архангелы с трубой.

И только с башни, звонкий и бесстрастный,
напев часов звенит,
звенит и нам — с Вестфалией прекрасной
расстаться не велит.

В своих молитвах, кардинал фон Гален,
ты помяни хоть раз
не только город, вставший из развалин,
но и нездешних нас.

А мы запомним осень — отблеск лета,
и колокольный бой,
и на фронте университета —
архангела с трубой.

Шиповник в стиле модерн

Зима предысторий не помнит —
то дождик, то снег по косой;
а Бердслей рисует шиповник,
омытый стеклянной росой.

И ангел с косыми крылами
подъемлет нахмуренный взор;
свивается ломкое пламя,
и тянется странный узор.

Надломленный, дивный, недобрый,
сплетется — и ляжет на грудь...
А нам все не верится, Обри,
что жизни осталось чуть-чуть.

Придирчивый критик заметит,
что все это спорно весьма;
придет неживое бессмертье,
и горлом нахлынет весна.

И в комнатном мире двухмерном
тебя не помыслит спасти
богиня — в бесстрастье манерном,
с тягучей водою в горсти;
и будет, как прежде, наверно,
косой красотою модерна
плетеное лето цвести.

На что мы способны, исполним,
а там — хоть забвенье и прах
(а Бердслей рисует шиповник
и фавна в рогатых кудрях).

Не кайся в невольных и вольных,
лишь время в ответе за всех.
Альбом иллюстраций фривольных —
и только! Подумаешь, грех.

Быть может, в чахоточной плоти
мы замкнуты, словно в тюрьме;
а выйдем в немеркнущем лете,
где хмеля завесили плети
пещеру в сосновом холме.

И кельтская арфа припомнит
поры незапамятной стих
(а Бердслей рисует шиповник
и рыцаря в латах витых).

Играя златой кривизною,
у книжных листов на краю
рисует мальчишка весною
весну и погибель свою.

Конец — и ни точки, ни звука,
и кто угадает, поймет?
Нам жребий — распад и разлука,
и можно ли знать наперед,
как ныне в щербатых излуках,
в изломе Москвы, в переулках
модерн неувядший поет.

И рай под алмазной штриховкой
сквозь время привидится мне,
где Бердслей рисует шиповник
весной, сквозь весну, по весне.

Опыт любовной лирики

За бутылкой вермута в предвечерний час
о любви отвергнутой поведем рассказ.
О любви, отжившей срок — ты не плачь над ней —
и протекшей, как песок, через пальцы дней.

На полях своих трудов, светлые умы,
про любовь, она же кровь, не напишем мы.
Нам на языке таком изъясняться грех,
а неписанный закон — непреложней всех.

И в тетрадь заветную — ту, что под замком, —
про любовь запретную запиши тайком.
За семью печатями скрыта без следа,
станет ли молчать она в страшный день Суда?

Под веселье праздное, под гитарный бой
про любовь напрасную, как умеешь, спой.
Все проходит в свой черед — вспомним, отстранясь;
не подумайте чего, это не про нас.



АНДРЕЙ ВОЛОС

*

НЕДВИЖИМОСТЬ

Роман

19

Снег сыпал вовсю, и с заднего стекла уже пришлось смахивать щеткой. — Куда тебе по такой погоде? — напористо спрашивала Людмила. Снежинки таяли на лету возле ее покрасневшего лица. — Ты смотри, метет-то! Давай ночуй, утром поедешь, нечего!

— Утром пока доберешься, — бормотал я, поеживаясь. — День насмарку...

— День! — фыркнула она. — Тут вся жизнь под откос, а ты из-за дня печалишься. Давай, не морочь голову, оставайся. Гляди, как запогодило. А не дай бог, в дороге что? И будешь куковать. А?

Машины помаргивали фарами, медленно скользили заснеженные троллейбусы. Трамваи стояли в снегу на площади возле театра молчаливой вереницей замерзающих мамонтов. Кисейные лапы метели празднично рукоплескали ветру, в ртутном свете фонарей все двигалось и дышало. Крэнясь, город погружался в долгий снегопад...

Оказалось, Людмила живет точно в такой же, как у Павла, квартире, — только не в панельной пятиэтажке, а в кирпичной, не на четвертом этаже, а на первом, и не в запущенной, а вылизанной до состояния леденца на языке у ребенка. Я еще топтался в прихожей, пытаюсь понять, куда пристроить куртку (вешалка была до отказа забита какой-то одеждой), а Людмила уже, повторяя: «Сейчас, сейчас! Сейчас, сейчас!..» — как на пожар бросилась на кухню. Через полторы секунды там отчаянно гремели кастрюли, лилась вода, что-то трещало, стучало и брякало, и Людмила с удовольствием перекрикивала все это, продолжая разговор: «...не может, нет. Совсем одна не может. Куда ей? Пускай уж с нами лучше тут живет, чем по чужим-то людям. Разве дело? А что? И нормально: я вчера ее дворничихой приткнула в нашем околотке... ничего! Пускай-ка вот метлой помашет! Да лопатой! А то что же? Все по технике ее пускать хотели — а куда ей по технике? Она читать-то по складам едва научилась... Ничего. Там тоже люди работают. Скребком пошурует годик — потом в диспетчеры возьмут... А как себя покажет! Конечно, волоха-то кому нужна? А если видят: девка шустрая, грамотная, — что ж? Так что пусть уж пока с нами. Я уж и пригляжу, а если что, так и скажу, не постесняюсь. С нами-то она хорошая — просто не нарадуюсь: и сделает все, и в магазин, и слова плохого не услышишь. Пускай. А вот Павел выпишется, тогда уже посмотрим. Ее с теми лахудрами нельзя оставлять. Им что? Им глаза залить — и трава не расти. А девке жить. Может, глядишь, еще замуж выйдет. И ничего такого. Всякие выходят. Разве угадаешь? Одна, глядишь, всем хороша — а всю жизнь мается. Другая оторви да брось — а все по уму. Да вон хоть бы

Катьку-то Параскину взять — над нами живет. Тоже та еще разумница... едва шесть классов кончила, и пьянка была, и все... с парнями сколько моталась — это ж ужас, это ж ужас!.. никакого сладу с нею не было. А потом, глядишь, ничего: замуж вышла, сыночка родила... И парень-то такой приличный попался, живут. Ладно, чего ты тут, ты в залу иди, в залу».

В комнатах была теснота — большую почти впритык занимали стол с несколькими стульями, заставленная хрусталем хельга, платяной шкаф, комодик с телевизором, закрытым расшитой крахмальной салфеткой, диван и два мягких кресла, в каждом из которых лежала думочка — в одном черного шелка, а в другом — зеленого. В маленькой, загроможденной, стояли вдоль две узкие кровати, застеленные алыми, с кистями, покрывалами, а между ними у стены как раз помещался лакированный комодик. На полу и тут и там лежали ковры: в «зале» — большой, бахромчатый, а в маленькой комнате — узкий между кроватями. На окнах кустилась герань в разрисованных маслом горшках, и жирный рыжий кот сидел под геранью на подоконнике, с нескрываемым неодобрением наблюдая вприщур, как я расхаживаю по квартире.

Скоро появилась Вика. Едва только размотав заснеженный и мокрый платок, стащив резиновые сапоги, бросив ватник под вешалку (он так и встал там, растопырив рукава и не желая прощаться с формой ее тела), заполошно со мной поздоровавшись, она так же заполошно, с какими-то причитаниями, кинулась на кухню помогать. Теперь они шурували там вдвоем, Людмила покрикивала, и дым стоял коромыслом. Я прислушивался к их деятельности с беспокойством: судя по всему, грозило какое-то необыкновенное обжорство. Однако когда в скором времени пришел с работы Людмилиин муж Валерий — высокий неразговорчивый человек лет сорока, хмуроватый и, похоже, в полной завязке, — а следом сын Артем — долговязый и тоже хмурый, в отца, — и мы расселись за столом, все оказалось не так страшно: Людмила внесла лохань с вареными сосисками, Вика — большую кастрюлю с вареной же картошкой, а хлеб резал я, потому что руки у всех уже были заняты.

После чаю и телевизора вечер быстро скатился в поздноту...

Артем посапывал на соседней кровати. Снег шуршал по оконному карнизу, а иногда ветер горстями швырял его в стекла. Фонарь у подъезда скрипел и раскачивался, и вместе с ним раскачивались светлые полосы на потолке и стенах. Еще раскладушка скрипела подчас за неплотно прикрытой дверью — это Вика ворочалась на ней в соседней комнате.

Сладко поеживаясь, я слушал снег, представляя, как он медленно летит в крошечной тьме над ледяной землей; я думал о всякой всячине и даже ступню выпростал из-под одеяла, как учила мама (если хочешь быстро уснуть, нужно, чтобы что-нибудь немножко зябло), — а сон все не шел. Уже мысли начинали путаться, и какой-то дальний нездешний звон пришеивался к шуршанию снега и скрипу фонаря; как вдруг то Асечку начинало заносить на повороте, и я холодел, пытаясь объехать встречный грузовик, то выплывала из мерцающих сумерек физиономия Аллы Владимировны Кеттлер, заставляя вздрогнуть от мгновенного укола злости.

Вот же проклятая баба!

А еще говорят, что жизнь полосатая... и где она, спрашивается, полосатая? Как началось два года назад с этой копенгагенской истории, так и тянется по сю пору — все одно к одному... Не двадцать четыре тысячи в Копенгаген — так у Островского инфаркт. Не Островский в больницу перед самой сделкой — тогда Елена Наумовна кинет. Не Елена Наумовна — так вот, пожалуйста, целый обвал: мало того, что в Кеттлершу все уперлось, чтоб ей пусто было, так еще и Огурцов вон куда подался: из варяг в греки. А какой клиент был!..

Деньги, деньги.

Я почему-то вспомнил, как однажды в детстве остановился у тележки с газированной водой... В то утро у матери не оказалось мелочи, и она дала мне целую трешку с условием, что я потрачу из нее тридцать своих законных копеек. Купюра лежала в кармане, я шагал по солнечной улице и отчетливо чувствовал себя богачом. Потом мне захотелось пить. Особой жажды не было — просто я уже не мог терпеть жара, исходящего от зеленой бумажки: проклятая трешница жгла карман. Равнодушная продавщица, облаченная в несвежий халат, схваченный на роскошной груди золотой брошью, сидела за двухколесной синей тележкой. «С двойным сиропом», — сказал я. Сироп ленивой струйкой просочился из длинного цилиндра. Зафырчала газировка. Я взял стакан и принялся глотать колючую воду. Между тем продавщица придвинула здоровущую миску мелочи и стала отсчитывать сдачу. «Рупь», — негромко сказала она, когда сформировалась первая мокрая горсть медно-серебряных монеток. «Два», — отметила, вкладывая мне в ладонь вторую. Теперь ей оставалось отсчитать девяносто три копейки, и на этом наша сделка могла считаться оконченной. «Три», — сказала продавщица воды, и ладонь моя еще раз отяжелела. «И девяносто три копейки», — добавила она, высыпая остатки. Рискуя подавиться, я не колеблясь заглотнул воду и деревянно пошел прочь. Я полагал, что она вот-вот спохватится и окликнет меня, и лихорадочно думал, как мне тогда быть: броситься бежать или вернуться и сделать вид, будто я просто не понял, что она обсчиталась. Мысли метались. Ведь целый рубль передала!.. Я зашел за угол, и ноги понесли меня, как лошади. Пробежав два квартала, я сел на приступочку возле магазина и стал пересчитывать деньги. Их оказалось ровно два рубля одиннадцать копеек! Я не мог в это поверить. Я рассортировал монеты по достоинству: копеечки к копеечкам, пятачки к пятачкам, — однако правды все же не добился. Хладнокровность и расчетливость этого бессердечного обмана меня потрясла. Испуганный, я сидел на приступочке, судорожно зажав в кулаках два рубля одиннадцать копеек мелкой монетой вместо полагавшихся мне как минимум двух рублей девяноста трех, — даже если предположить, что она налила мне действительно с двойным сиропом, в чем теперь я горько сомневался... Мне было стыдно рассказывать об этом матери, и я пошел к Павлу. Он посмеялся: «Вот так: пошел по шерсть, вернулся стриженным. Ладно, что уж...» И дал мне недостающие деньги. И, разумеется, ни слова никому не сказал.

Вообще, если хранить какую тайну — то это конечно же к Павлу. Он всегда был очень скрытен. Дед говорил: «Пашка наш тихушник. Поздно-то он у меня родился. Ему бы в партизаны. Уж из него бы фашисты слова не вытянули!..» Лет в семнадцать Павел прикатил откуда-то горелые останки мотоцикла. Где взял? «Ну, дали...» Кто дал? «Да ладно...» Несмотря на все усилия, мотоцикл не ожил. Зато Павла стали время от времени приводить откуда-то разбитым почти вдребезги. Доставляли его молчаливые суровые парни, не склонные попусту чесать языками. Придя в себя, весь в бинтах и мазях (мне тогда казалось, что именно так должен был выглядеть заблудившийся матрос Железняк), Павел мрачно отвечал, что ничего не помнит. «Да как же так? Ты что? Может, под машину попал?» Может. «Что значит — может! А может, в драку?!» А может, и в драку, соглашался Павел. Кто знает? Он с первой секунды потерял сознание и теперь ничего не помнит... Вот и разберись. А много лет спустя, когда уже уехал, в старых его потаенных бумажках обнаружился диплом, на котором черным по белому было написано: так и так... республиканские соревнования по мотокроссу... награждается... Павел Иванович Шлыков... второе место. Вот тебе и раз!.. Он проводил время на сильно пересеченной местности, а все думали, что в бандитских притонах. Почему не говорил? Поди пойми. Таким и остался: Аня умерла, а он позвонил только через полторы недели. Как так?! Почему же ты?! «Да ладно...» И весь сказ.

Сон не шел.

Я повернулся на другой бок и подумал, что Павел сейчас тоже, может быть, не спит, только совсем по-другому: в больничной палате, чувствуя неуют, одиночество и, наверное, боль. Горит ночник, и в его синем свете ночь кажется длиннее, а утро — невозможней. Я так ясно представлял себе его тоску, что не удивился бы, проснувшись утром вместо него на больничной койке. Почему нет? Ведь было же начало июня — ведь было же?! — мы валялись на берегу Комсомольского озера, Павел потягивал пиво из зеленой бутылки, и я канючил: «Паш, ну да-а-ай попробывать!.. Ну ка-а-а-апельку!..» Павел отвечал немногосложно: «Сопливым не положено». Вода была теплой, и я забирался к нему на плечи, чтобы прыгнуть, и, испытав ужас падения, восторженно отфыркиваться и кричать, повторяя: «Видел, как я?! Ты видел?!» Что осталось от этого? Только электрические сполохи памяти, в которой сейчас, засыпая, я не мог толком разобраться: то ли Павел смотрел на меня моими глазами, то ли я смотрел на себя — его; и это не к нему, а ко мне на плечи забирался кто-то из нас, чтобы с брызгами и визгом повалиться в теплую мутную воду, блестящую, как ртуть... Наверное, в этом виновата общая кровь: эта кровь — река: мы черпаем из нее по очереди и несем с собой, и до самого конца она протяжно гудит, отзываясь.

Я не заметил, когда уснул, а проснулся в шестом часу как от толчка и сел на постели, понимая, что нужно бежать, но не зная куда.

Снег все так же скребся в окно, и темнота зияла пробоинами тусклых фонарей.

Во сне я догадался, почему Павел по-птичььи крутил головой. Да, да — именно по-птичььи: то туда посмотрит, то сюда... и так резко, рывками: да, да, точь-в-точь курица над зерном — тырк вправо, тырк влево... Я спал, а сознание все мусолило его образ, разжевывало, пытаюсь понять, что к чему, — и вот наконец выдало решение. Как я сразу не сообразил? Ведь когда-то я не то читал, не то от кого-то слышал об этом специфическом синдроме. Угол зрения сужается, и умирающий видит только то, на что смотрит прямо; ему приходится поворачивать голову, чтобы увидеть хоть что-нибудь справа или слева, — а иначе взгляд упирается в подступающую со всех сторон темноту.

Под утро Павла захлестнуло этой темнотой: он опускался все глубже, глубже, свет удалялся, мерк: как будто закрывалась навсегда диафрагма Вселенной; растворялись, таяли в темноте Чуйкин, Трушин, Семаков, Горячев, Людмила, я, Вика — все мы быстро сливались с наплывающей тьмой; вот уже только одно далекое светлое пятно — и все меньше, меньше; а потом лишь яркая точка; но и она недолго жила в исчезающем мире: погасла — и все кончилось.

* * *

— ...Да ладно тебе, что ж ты за торопыга такой! — ворчала Людмила. — Давай-ка вот сыр, масло ешь давай... что это ты? Чаю давай еще налью... хлеб бери. Успеем, подожди... девятый час только. Ты что? Или в Москву спешишь? Успеешь ты в свою Москву... Сейчас едем... спешишь, спешишь, а придем, так туда небось в такую рань еще и не пускают. Это ж больница, а не вокзал. Вот московские-то: прямо вынь да положь!..

В сущности, она была права: спешка не имела никакого смысла.

Через час или полтора мы стояли в коридоре у подоконника со словами «ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ». Возле урны сутулился человек в синем байковом халате — он курил, держа сигарету в кулаке. Дым слоился. Должно быть, кто-то пытался стереть или смыть с подоконника изображение мяча, обрамленного пальмовыми ветвями, — оно побледнело, но все же было еще отчетливо видно. За окном белое зимнее солнце играло на свежем

снегу. А когда-то закатное летнее горизонтально светило в окна прохладной комнаты и ложилось на стены большими пламенными квадратами. Приемник был хрипатым, динамик дребезжал, диктор громко бормотал и вскрикивал, описывая ход поединка — все быстрее и быстрее, быстрее и быстрее, проглатывая слоги и целые слова, и я уже ничего не мог понять из этой речи, а Павел все понимал и все ближе — по мере того, как упрямые нападающие прорывались к штрафной — прикинул к приемнику: «...айцев!.. атывает ач!.. редача!.. ну! ну!.. иникин... е-е-ей! е-е-е-й!.. ну! ар!!! ар!!! о-о-о-о-о-о-о-о-о-ол!!!» И Павел, глядя на меня сумасшедшими глазами, кричал вместе с ним: «Го-о-о-о-о-о-ол! Заби-и-и-и-или!» Я в ту пору ничего не смыслил в футболе, я любил слушать пластинки, но мне не позволяли крутить их самому. Когда трансляция кончалась, Павел наконец-то включал проигрыватель. Мы сидели рядом на диване обнявшись и нестройно подпевали какой-то женщине с черного диска, кружащегося с загадочно точной скоростью семьдесят восемь оборотов в минуту: «Ленты ре-е-е-ек... озер-р-р-р-р-р-р-р-р-р-разли-и-и-ивы... До свиданья, птицы, путь счастли-и-и-и-ивый!..»

— Вот так, — говорила Людмила, потерянно глядя на меня мокрыми глазами и шмыргая носом. — Вот так... Аня сначала... а вот и Павлуша... Вот так... Ну ладно, теперь что же... Теперь только успевай поворачиваться. Вот так... Справку взять да смертную получить... да на кладбище договориться... Вот так... Теперь о поминках надо, о поминках... Зое позвонить, чтобы приехала помочь... Вот так... Тебе тут нечего. Поезжай. Скоро не поспеем. Землю-то морозом прихватит. Беда. Вот так.

Но первый приступ зимы оказался коротким, и уже к вечеру моросил теплый дождь, быстро слизывая снег с крыш и газонов.

20

Грузовики давно разжулькали льдистый накат в лоснящуюся кашу, и за каждой машиной летело полупрозрачное облако мелкодисперсной воды и грязи.

Я чувствовал тупое и тяжелое спокойствие. Ни о чем больше можно было не беспокоиться. Все кончилось. Так докатывается шарик до кромки стола. Павел достиг края — и исчез. Он умер, то есть его жизнь вошла в фазу совершенной неизменности. Ему уже не станет лучше, и мне не придется думать о том, что через неделю его выпишут, а это значит, что нужно уже сейчас предпринимать какие-то меры по организации послебольничного быта. С другой стороны, болезнь и не усугубится: ухудшение его состояния не заставит меня волноваться, нервничать и гонять за какими-нибудь новыми лекарствами. Будущее известно как минимум на три дня вперед. Как всегда, не в деталях, но и черт бы с ними, с деталями. В субботу — похороны. Людмила берется за поминки. Уже сейчас многое готово. Справку получили. Ее выписывала та самая старшая медсестра с вавилонской башней на затылке. Она узнала меня и, заполняя бланк, соболезнующе покачивала головой, а напоследок сказала, протягивая бумагу: «Ну вот видите как... Очень тяжелый он был, очень. У нас будете оформлять? Тогда в первый корпус». В первом корпусе располагалось АОЗТ «Харон», занимавшее две комнатки, густо и тяжело украшенные в черно-красной палитре: здесь были образцы венков, лент, тканей и фурнитуры — медные ручки и фигурные накладки с изображениями распятого. Мы выбрали обивку гроба и покрывало. Я сказал было, что венок нам ни к чему, но посмотрел на Людмилу и поправился: «Вон тот, наверное... побольше, да?» Надпись на ленте должна была извещать мир о последнем подношении: «Дорогому Павлу от родных и близких». Миленькая круглолицая девушка оформила заказы-наряды, а я осуществил стопроцентную предоплату. Из больницы поехали на кладбище. Я оставил Людмилу в машине, а сам направился в контору, где главный инженер, розовый крепыш лет тридцати,

сообщил мне, что могила может быть готова лишь к понедельнику. Ничего другого я и не ждал, и у меня не было желания входить в детали. Я раздельно и как можно более витиевато обматерил его, глядя в глаза (зрачки поначалу сузились, затем расширились, а потом стали такими же, как прежде: ядовито-желтыми зрачками проходимца и взяточника), после чего бросил на стол деньги. Какая-то из этих мер (думаю, что деньги) возымела действие: главный инженер обнаружил некие скрытые резервы производства — благодаря которым Павлова могла быть выкопана к субботе. Мы сердечно простились. По пути с кладбища заехали в экспедицию. Теперь я сидел в машине, а Людмила вернулась через полчаса зареванная и сказала, что все в порядке: в субботу грузовик и автобус, зарплата за последние два месяца и еще в размере двух окладов на похороны. После этого двинулись по магазинам — купить что потяжелее и не портится: муку, сахар, два ящика водки, шесть бутылок какой-то сине-сиреневой газировки — судя по цвету, совершенно бесполезной. Однако, по словам Людмилы, все ее просто обожали. Я поднял коробки и ящики в квартиру и вспомнил, что хотел найти альбом. На третьей минуте поисков он обнаружился в тумбочке. Я вытряс все фотографии, на которых был Павел или кто-нибудь из наших. Мелькнула и моя собственная — в той самой матроске, в той самой бескозырке: «А я играю в паровозик: ту-у-у-у-у!..» Завернул в газету, сверток сунул в сумку. Завез домой Людмилу, отдал ей остатки денег — по идее, их должно было хватить за глаза на все про все — и в четвертом часу пополудни двинулся в Москву.

Автоответчик порадовал меня тремя сообщениями. Первое, самое длинное, передавало беспокойство Будяева по целому ряду разнообразных пунктов, ни один из которых мне не удалось толком ни понять, ни запомнить, — да я и не пытался этого сделать, поскольку, как обычно, все вместе они стоили примерно втрое меньше, чем программа телепередач за прошлую неделю. Вторым был хриплый, но радостный голос Марины, извещавшей, что все осталось в силе, однако денег у Ксении нет, поэтому сделку следует планировать на пятницу. «То есть как — нет денег? И какая же сделка без денег?» — успел изумиться я, но уже начало прокручиваться третье.

«Есть повод выпить, — хрипло сказал Шура Кастаки. — Телефон прерванный. Пока».

Телефон я помнил наизусть.

— «Самсон трейдинг», здравствуйте, — пропел в ухо девичий голос. — Как вас представить? — выслушала ответ и снова сыграла на клавишах своего нежного горла: — Минуточку!..

Я ждал, постукивая пальцами по трубке.

«Вот видишь, Серега!» — лет пять назад толковал Шура Кастаки, соря пеплом на ступени и время от времени взрываясь лающим смехом.

Мы стояли на лестнице между третьим и четвертым этажами — как раз на границе, отделяющей замызганное и едва живое старое от бурно развивающегося нового. В старой части дотлевали грязные руины науки, жившей ныне главным образом сдачей в аренду необъятных помещений института. В новой, занимаемой многочисленными арендаторами, плодилась кожаная мебель, стальные двери push-lock, охранники в синих комбинезонах и неправдоподобно стройные голубоглазые блондинки, по поводу которых тот же Шура Кастаки авторитетно утверждал, что внутри они пластмассовые. Похоже, одна из этой породы ответила мне сейчас по телефону.

«Я тебе всегда говорил: не нужно быть слишком умным! Ты помнишь? Я тебе говорил: лишнее знание заставляет человека усложнять картину мира! Если индивидуум знает, чем производная отличается от логарифма, ему чрезвычайно трудно делать правильные — а главное быстрые! — выводы, касающиеся реальной жизни. Ему хочется, как ты понимаешь, во всем дойти до самой сути, и он роет все глубже и глубже. И не может предпо-

ложить, что суть чрезвычайно проста, лежит на поверхности и не требует ни логарифмов, ни производных. Памперсы, Серега! понимаешь? — пампер-сы! Или отходы парикмахерской деятельности, экспортируемые в США. Или что-нибудь другое, пожалуйста. Главное — чтоб никакого дифференциального исчисления!..»

Всякий раз, когда я пытался вставить слово, Шура начинал отрывисто гавкать — это был смех.

«Нет, нет, ты погоди, я знаю, что ты хочешь сказать: мол, в этой деятельности своя высшая математика! Да, Серега, своя! Но настолько *своя*, что ты ее никогда не постигнешь! Знаешь почему? — Шура сделал такое движение шеей, словно хотел, чтобы ему что-то сказали на ухо; карий глаз горел хитрым и веселым огнем, а само это „знаешь почему?“ проговаривалось быстро и неразборчиво, превращаясь во что-то вроде „знапчу?“ — *Знапчу?* Да потому, что она для тебя неразличима! У тебя зрачок иначе устроен! Хрусталик! Тебе тысячу раз объясни, ты все равно будешь тарашиться, выискивать: где же, черт возьми, эта их высшая математика? *Знапчу? Знапчу?* — Шура откинулся и захохотал. — Да потому, что ты ждешь чего-то размером хотя бы с футбольный мяч! Хотя бы с апельсин! Ты же никогда не сможешь поверить, что вон тот плевок на грязном полу — это и есть их высшая математика!.. Ведь не сможешь, а?»

«Да ладно тебе — хрусталик... Очень уж все у тебя просто, — возражал я. — Упрощенную картину мира рисуешь, философ. Знаешь старый анекдот: если ты такой умный, то почему такой бедный?»

«Ах, оставьте, батенька! Упрощенную! Совершенно не упрощенную!.. Ладно, я тебе другое скажу, Сережа. Помнишь, в советские времена все разумные люди ходили в походы? Шли в лес как можно дальше, ставили палатки, разводили костры и пели под гитару. И все! И хоть трава не расти! Советская власть не дает нам делать то, что мы хотим, — но делать то, чего она от нас хочет, мы тоже не станем: хрена с маслом; мы на все положим с прикладом, пойдем в лес и будем орать песни под елкой!.. Вот и нам с тобой пора подумать о песнях. *Знапчу? Знапчу?* Потому, что советской власти-то уже нет, а суть дела от этого не поменялась: то, что я хочу делать, мне не дают. Но и памперсами торговать, как от меня хотят, я тоже не стану! Фуюшки вашей Дунюшке! В лес, Серега, в лес!.. Не возражай. Ну сам посуди, что хорошего нас с тобой ждет здесь? С годами мы с тобой поглупеем, потеряем интерес к жизни... и к нам жизнь будет терять интерес, потому что мы уже никому не можем быть полезны — мы ведь не хотим торговать памперсами, понимаешь?.. Пора, Сережа, пора! надо искать что-то такое, чем можно жить, не обращая внимания на то, что происходит вокруг! В лес, Капырин, в лес! Или в церковь, что ли... уж не знаю даже, за что браться».

«Все б тебе в лес, — сказал тогда я. — Ты вот лучше подумай, как хрусталик поменять. Жрать-то надо. А с нашими хрусталиками не зажируешь».

Разговор про хрусталик оказался неожиданно пророческим: через полгода у Шуры началась какая-то свистопляска с глазами. Работать он теперь мог не больше двух часов в день — жаловался, что свет начинает мерцать и слоиться, а по дисплею, как по витрине детства, струится серебристая вода. Скоро он уволился. Ирония жизни заключалась в том, что с тех пор вот уже сколько лет Шура Кастаки торговал именно памперсами...

В трубке наконец хрустнуло.

— Алло!

— Долго к телефону добираться. Рука затекла. Как памперсы?

— А что памперсы? — удивился Шура. — Наши памперсы — самые памперсы в мире. Тебя какие интересуют? Для взрослых? Могу предложить три модели. Если возьмешь больше трех тысяч, дам скидку.

— Понял. Стало быть, с памперсами все в порядке... Ладно. Тогда о другом. Что за повод? У меня тоже есть повод.

— А у тебя какой? — спросил Шура.

Я ответил.

Он помолчал.

— То-то, я слышу, ты какой-то хмурый... Ну что я могу тебе сказать, Серега. Ты сам все понимаешь.

— Понимаю, — согласился я. — Что тут непонятного. Все там будем.

— Да уж... А похороны когда?

— Послезавтра.

— Ага. Поедешь?

— А как же.

— Ну да. — Он вздохнул. — Куда деваться. Морока.

— Да ну, — сказал я. — Что делать? Ладно. Там все по-простому. Простые люди. Симпатичные.

— Знаю я этих простых людей, — заметил он. — Такая сволочь!..

— Да перестань. У тебя-то что?

— У меня сущие пустяки. Верку с Катькой к маме отправил. У нее же мама в Подольске. На выходные поеду тетешкать. А пока — свобода. Ты где?

— Дома.

— Ну давай тогда через... через сколько?.. через двадцать минут на Маяковке. Можешь? Только без Асечки!

— Мне один звонок сделать — и вылетаю. В центре зала?

— Давай вылетай, — сказал Кастаки. — Метлу возьми поновее.

Отрывисто взлаял, рассмеявшись, и положил трубку.

Я набрал номер Марины и, слушая длинные гудки, попытался сосредоточиться на том, что происходит с будяевской сделкой. Каждая поездка в Ковалец вытрясала из головы один мусор и заполняла ее другим, и, чтобы вернуться к прежнему, требовались немалые усилия. Будяев не кривил душой, когда уверял, что привередничать они не станут. Мы посмотрели всего две квартиры, и если бы в первой не оказался выжжен паркет в большой комнате, может быть, нам не пришлось бы ехать во вторую. Впрочем, даже и по поводу первой Будяев уже сокрушался — какая хорошая квартира, полностью их устраивает, жалко расставаться, и сколько, мол, стоит поменять паркет? Я его чуточку остудил, мы приехали во вторую, и она оказалась еще лучше: недолго похажив по углам, Будяев сел на стул и решительно заявил, что готов переезжать хоть сегодня. Квартирка принадлежала некоему Коноплянникову. Этот Коноплянников был, похоже, дельным мужиком: не поленился сделать небольшой ремонт — обои свежие, новый линолеум на кухне, оконные рамы свежескрашены. Документы прозрачны, как стекло: приватизировав квартиру, Коноплянников выписался к жене. Его интересы представлял «Свой угол» — довольно известная фирма, с которой мне приходилось иметь дело. Мебели никакой — кушетка, стол, два стула, — да и те должны увезти завтра. Короче говоря, зеленый свет по всем направлениям. Будяев закурил, стал гонять дым по комнатам; заключил, что вентиляция, конечно, ни к черту... ну да бог с ней, можно форточку открыть. Алевтина Петровна объявила, что всегда мечтала о такой вот именно кухне — уголком, и что вид из окон замечательный. Я только руками разводил — ну просто счастье обрушило на меня чета Будяевых: вместо скрипа и недовольства только тишь, гладь и в человецех благоволение. Парень из «Своего угла» тоже чувствовал, что дело движется к задатку, разливался соловьем и уклончиво сулил небольшую скидочку. «Все, — сказал Будяев, гася окурок о спичечный коробок. — Согласны. Годится нам эта квартира. Хорошая. Что тут рассоливать». Я едва удержался, чтобы не расцеловать его на прощание, и мы с пареньком двинулись в «Свой угол». Через двадцать минут содержательной

беседы с вальяжным Кириллом Анатольевичем, старшим менеджером, вопрос насчет обещанной скидочки получил вполне удовлетворительный ответ. Еще через десять мы утрясли кое-какие мелочи, я положил на стол десять сотенных бумажек — в том самом конверте, в котором несколько дней назад получил их от Ксении Чернотцовой, — расписался на обоих экземплярах соглашения о задатке и отбыл с чувством глубокого удовлетворения.

— Алло, — услышал я голос Марины. Она хрипло откашлялась и переспросила: — Сергей?

Тут же затараторила было, затараторила, но я перебил:

— Что с деньгами?

Все в полном порядке, отвечала Марина, не волнуйся, все остается в силе, надо сделку готовить, неплохо было бы проехать в банк и взять бланки договоров... кстати, в какой банк?.. сейчас, погоди, сигарету возьму... ага, вот, совсем другое дело... о чем бишь мы?.. Ах да: можно, например, в «Астра-банк» или в тот же самый «Святогор», а что? — тоже хорошие условия, безопасно, приятно... она там несколько сделок проводила... Вообще народ странный — особенно после кризиса... никакими силами в банк не затанешь, а она-то вот именно сторонница передачи денег исключительно через банковский сейф... Ну и что такого, что за это тоже нужно платить, — ведь за безопасность платишь, а безопасность дорогого стоит — ведь правда? А есть такие, которых ни за что не уломаешь, — нет, и все тут, хоть кол на голове теши. Прямо до смешного доходит, честное слово. И хорошо, что в этом вопросе мы отлично понимаем друг друга...

— А с деньгами что? — спросил я, терпеливо дослушав.

А что с деньгами? С деньгами все в полном порядке, только тот человек, который будет платить, уехал в Париж. А что ж? Крупный бизнесмен, вполне понятно. Он то и дело куда-нибудь мотается — то в Париж, а то, скажем, и в Гонконг его занесет. Работа такая. Бизнес есть бизнес. Там, знаешь, не поспишь. Например, ее собственный двоюродный брат, так тот и вовсе не...

— Она же говорила, что деньги готовы!

Говорила, да; они и готовы — полеживают себе в банке, копеечка к копеечке все семьдесят восемь тысяч, как договорились. То есть семьдесят семь — ведь одну-то отдали в задаток, да?

— Да, — согласился я. — Ну?

Ну и вот: как приедет этот человек, так и начнем. Как только, так сразу.

— Ядрена-матрена! — сказал я. — Что же вы раньше-то молчали!

— А что такого? — слабо удивилась Марина. — Да ладно, не переживай. Все нормально. Я тоже не знала. Нет, ну правда, ну что ты с ними сделаешь, с придурками. Я тысячу раз у нее спрашивала, и тысячу раз она мне отвечала: деньги готовы. А теперь говорит: завтра, завтра... Я и сама-то ничего понять не могу. Я с ней три месяца вожусь. Я уже сплю и вижу, как бы сделку проверить — и кончить на этом. Достала. Она у меня уже знаешь где?

— Догадываюсь, — сказал я. — А что за человек-то? Что за бизнесмен? Может, нет никакого человека-то? И денег нет? Мы тут с тобой пляшем... квартиры ищем, находим... задатки раздаем направо-налево... а?

— Да есть, есть... — Было слышно по голосу, что сморщилась. — Все есть. Есть у нее какой-то там человек этот... ты думаешь, я знаю? Она мне не говорила ничего. У них отношения... черт их разберет... любовь, в общем. И она... Сейчас, подожди-ка, сигарету возьму.

— Не надо. Мне сейчас некогда. Утром созвонимся.

— Давай, — вздохнула она. — Может, уже прояснится. И не переживай, все в порядке будет. Приедет ее мужик, никуда не денется.

— Твоими бы устами да мед пить, — в сердцах сказал я. — Трехлитровыми банками. Все, пока.

Я положил трубку и оглянулся.

К сожалению, в комнате не было ничего такого, что можно было бы без раздумий шибануть об стену. Разве что подушка. Но это неинтересно.

Бог ты мой, ведь специально допытывался, когда задаток оформляли, — деньги-то есть? Накладок не будет? Мол, поймите, Ксения, мы теперь скованы одной цепью!.. А Ксения смотрела на меня, как на предмет мебели, — уставится и смотрит. Не может понять, живой перед ней человек или просто видимость одна... мираж ненужный. Я уже тогда злился. В ней не было заинтересованности покупателя. Она о чем-то неотступно думала, да, — но вовсе не о своей будущей квартире. Квартира была тенью на фоне ее мыслей. Она торговалась, отжимала тысячу (и отжала-таки, я уступил), но все это как-то не всерьез, для проформы. Положено торговаться — вот она и торгуется; а на самом-то деле наплевать — тысячей больше, тысячей меньше... Она была погружена во что-то иное, ее томили другие чувства, другие переживания. Мне хотелось взять ее за плечи и потрясти. О чем она думала? О чем вообще в первую очередь должен думать человек, когда собирается купить квартиру? Не очень-то дешевую, между прочим!..

Одеваясь, я снова и снова прокручивал в голове эту заезженную ленту. Все очень просто. Если деньги не появятся у нее до двенадцатого... если двенадцатого утром мы не встретимся в банке всеми тремя сторонами нашего убогого треугольника — «Свой угол», Будяевы, Ксения, — значит, задаток Ксении приказал долго жить. Это было бы как нельзя более радостно — штука на дороге не валяется! — если бы полученные от нее деньги я не передал на тех же условиях в «Свой угол». Ксения потеряет тысячу, это правда. Но я из них не получу ни гроша. Получит «Свой угол». Тоже для них не большая радость. Им ведь не дурной задаток нужен, а сделка... они со сделки три, а то и четыре должны помутить... но все-таки: у них хотя бы тысяча останется. Пустяк, а приятно... Черт бы ее побрал!.. Теперь вот оказывается, что все зависит от какого-то человека... бизнесмена какого-то чертова... вечно от них одни неприятности.

Я подумал об этом бизнесмене, и мне стало еще противней. Взять бы, правда, сейчас какую-нибудь вазу... бывают такие большие китайские вазы... как дать об стенку! Была ваза — и нету... Вот еще, нате вам: бизнесмен. Кому он нужен? — думал я, повязывая галстук. Понятно, что у такой женщины должен быть мужчина, но простите — почему же обязательно бизнесмен?! Я думал о ней, шагая к метро. Ах, Ксения!.. Непонятная девушка. Загадочная. Красивая. Смотрит как собственная фотография. Очень грустна. Почему? Нет, ну совсем непонятно. Чего она хочет? Чего она вообще хочет от жизни?.. Поди догадайся... Вот, например, про себя я знаю точно: мне денег не хватает. Так сложилась моя дурацкая жизнь. Я тоже попросил бы богатства — как тот безмозглый персонаж из сказки, которого волшебное яблочко привело в волшебный сад. Садовник показывал ему деревья и говорил: «С этого яблоко съешь — станешь умным. С этого — красивым. С этого — бессмертным. С этого — любимым. С этого — богатым...» Он, дурак, выбрал с того, где богатым. Вот и я бы, наверное...

— На две поездки, — сказал я в окошечко и протянул десятку.

21

Мартин Кроненгер говорил по-русски с тягучим западным акцентом: мы понимайт... вы понимайт... это есть хорошая идея... ми будем сотрудничайт... и т. д., одет был с иголки, благоухал дорогими ароматами, приезжал на «саабе»; за рулем сидел секретарь — бородатый русский мужик лет тридцати пяти, которому очень подходила его фамилия — Прикашиков. Секретарь открывал дверцу, носил за шефом портфель и подавал телефон, а также вступал в беседу, если Мартин Кроненгер испытывал за-

труднения в использовании какого-либо русского оборота. Все вместе выглядело чрезвычайно респектабельно.

К риэлторскому бизнесу Мартин Кроненгер не имел никакого отношения — он был главой датской полиграфической фирмы, сделавшей ставку на русский рынок, почему и торчал безвылазно в Москве. Заниматься продажей квартиры его вынудило стечение смешных и по-житейски понятных обстоятельств, немалую роль среди которых играла дружба. Дело в том, что во время частых и продолжительных отлучек Мартина Кроненгера в Копенгагене его замещал младший партнер и друг — Николай Владимирович Кравец, русский, нашедший в Дании вторую родину, преуспевший там, женившийся на датчанке и соответственно сворачивавший остатки дел в России по причине их совершенной исчерпанности. Дочь Кравца, Лена, вострила лыжи в ту же сторону — в Копенгагене наличествовал жених-датчанин, а здесь полугодовалый ребенок от него и оформленная виза. Единственное, что еще держало в Москве, — это ее законное желание убедиться, что квартира продана, а деньги благополучно переведены.

Интерес был понятен. Однокомнатная квартира на Преображенке принадлежала Кравцу, однако вырученную за нее сумму он предполагал подарить дочери — причем, ввиду ее скорого отъезда, плату хотелось бы получить, естественно, не в Москве, а в Копенгагене. Приурочить один из своих редких приездов в Москву к сделке с порядочным покупателем, у которого, разумеется, нашлось бы множество причин настаивать на удобных ему сроках, Николаю Владимировичу Кравцу было затруднительно. С другой стороны, не хотелось и отдавать квартиру абы как, за бесценок. Переводить на имя Лены, чтобы она сама потом ею занималась, тоже не с руки: и впрямь таскаться по присутствиям с младенцем на руках чрезвычайно обременительно. Кравец прикидывал и так и сяк и в конце концов вместе с Мартином Кроненгером нашел следующее решение: оказавшись на несколько дней в Москве, договором купли-продажи переоформил квартиру на Владислава Егоровича Прикащикова, секретаря Мартина, — с тем, чтобы, невзирая на отсутствие Кравца, Мартин Кроненгер — друг и доверенное лицо — смог бы без особой спешки найти реального покупателя и перевести деньги в Данию на имя Ленинского жениха.

Долго ли, коротко, но реальный покупатель нашелся. Сказать, что мне доставляло удовольствие иметь с ним дело, — значит покривить душой. Однако плох тот риэлтор, который не сумеет заместить неприязнь в своем озлобленном сердце самой искренней привязанностью. Мы колесили по городу в поисках подходящей квартирki, я рассуждал о степенях риска на рынке недвижимости, а Стреповиков удовлетворенно мычал, когда мои слова находили в нем хоть какой-нибудь отклик.

Он был невелик ростом, очень плотен и упитан сверх меры — холодные, стального цвета глазки помаргивали в складочках сальца. Кроме того, походка его демонстрировала неприятные последствия детского полиомиелита: шагал Стреповиков нешироко, переваливаясь на коротких и кривых, колесом, ногах. Ничто так не сближает, как почти ежедневные вылазки по квартирным делам, однако Стреповиков о себе говорил немного. Кое-какие его замечания да еще переговоры, которые он без конца вел из машины по сотовому, позволяли заключить, что ему принадлежат несколько разнопрофильных магазинов (один из них был мебельный, двухэтажный, на Рязанском проспекте, мы как-то раз заскочили туда попутно, и я наблюдал легкую панику персонала, посеянную внезапным появлением хмурого хозяина). Квартиру он подыскивал для содержанки. Эта женщина — точнее, двадцатидвухлетняя девушка — была единственным, о чем он с удовольствием рассказывал — многословно, без конца повторяясь и заполняя паузы бараньим бляньем и матюками. Особенно Стреповиков напирал на ее рост и молодость; немало времени потратил также на то,

чтобы попытаться объяснить мне, что же в конце концов делает мужчину мужчиной. Главную роль в мужском становлении он отводил деньгам, хорошие же манеры стояли, похоже, на самом последнем месте — во всяком случае, молвить слово, не оснащенное спереди и сзади вспомогательными матерными, у него никак не получалось.

Квартира на Преображенке его полностью устроила, и мне было приятно увидеть наконец на жирной физиономии Стреповикова знаки воодушевления, свидетельствующие о скором окончании наших отношений. Единственное, что его смущало, — это необходимость послать двадцать четыре тысячи долларов на имя неведомого ему жениха. Технических проблем не существовало: Стреповиков имел несколько счетов за границей, с каждого из которых мог перевести требуемую сумму по указанным реквизитам. Ему лишь не нравилось, что придется отправить деньги лицу, не имеющему к сделке никакого отношения. «А тут-то нельзя отбашлять? — спрашивал он. — После регистрации-то? Как-то через банк люди делают... а?» Я привычно растолковывал, что предлагаемая схема часто встречается на практике, в ней нет ничего заведомо опасного. Житейские обстоятельства. Бывает. Участвовал же я в сделке, когда триста двадцать тысяч переводили в Израиль — и ни копейки не пропало, и как только пришло подтверждение, договор купли-продажи на тот коттеджик был зарегистрирован. И вообще, даже если, невзирая на очевидную солидность и порядочность партнеров, вообразить ситуацию, объяснял я, при которой они по той или иной причине, получив деньги, не захотят участвовать в государственной регистрации договора купли-продажи, каковая окончательно делает квартиру собственностью Стреповикова, регистрация будет произведена и без их участия, — правда, через суд. «Ну и на кой кляп мне этот суд? — недоумевал Стреповиков. — Не знаю... Валяй, если уверен. Мне сказали, ты по этой петрушке фишку рубишь. Да ладно, ты ведь сам понимаешь...» Еще и еще раз вникнув во все обстоятельства и тонкости продажи, неоднократно и подробнейшим образом изложенные мне Мартином Кроненгером, я в конце концов решительно пресек сомнения Стреповикова. Он почесал лысую репу и повторил: «Ну, сам смотри тогда, что к чему... Ты ведь понимаешь». И посмотрел на меня со значением, несколько раз моргнув свиными глазками, а я ответил, что понимаю (про себя еще подумав: уж не меньше твоего, жирная твоя морда, учить меня будешь! Торгуй-ка лучше своими табуретками, а в риэлторский бизнес не суйся!..).

Конечно, жизнь складывалась бы иначе, если б два года назад человек, называвший себя Мартином Кроненгером, и в самом деле оказался бы датчанином, а не эстонцем, как я запоздало догадался. Впрочем, это именно догадка — я и по сей день не знаю, кто он такой на самом деле. Паспорт Мартин Кроненгер показывал, и паспорт был отчетливо датский, со всеми мыслимыми и немыслимыми причиндалами — с голограммой, с давлеными печатями и головастыми орлами... Однако, учитывая, что датских паспортов я отродясь в руках не держал, Мартин Кроненгер мог конечно же подсунуть мне что угодно. Напиши только DENMARK красивыми буквами — и дело в шляпе.

Договор купли-продажи был подписан, Стреповиков распорядился, деньги пошли в Данию, и на пятый день, не дождавшись звонка ни от Прикащикова, ни от шефа его, Мартина Кроненгера, я позвонил сам. На месте их не оказалось. Детали моих розысков малоинтересны. Ни Мартина Кроненгера, ни секретаря его Прикащикова Владислава Егоровича я более не видел и голосов их, отчасти жизнерадостных, отчасти озабоченных сложностями той самой жизни, что приносит не только заботы, но и кое-какие радости, более не слышал.

В суде мы со Стреповиковым оказались четвертыми, а за нами чуть позже появились еще два претендента на справедливость. Нечего и говорить, что все желали зарегистрировать-таки договор купли-продажи на

квартиру номер 37 в доме 4 по улице Новоткацкой — пусть даже и через суд. Все семь купчих были оформлены на протяжении двух дней (что, на мой взгляд, потребовало ювелирного расчета со стороны исполнителей), и после подписания каждого из них на банковский счет в Данию уходило от двадцати четырех до двадцати девяти тысяч. Стихийное расследование, предпринятое группой энтузиастов в составе шести риэлторов и одного шалого мужика (не имевшего представления о том, чем справка ЖСК отличается от свидетельства о праве на наследство, но то и дело грозно восклицавшего: «Мне плевать! Я не за правду бьюсь, а за бабки!..»), показало, что у каждого из семи нотариусов, удостоверявших сделки, осталось в архиве по экземпляру одинаково поддельных (или, если угодно, одинаково подлинных) договоров купли-продажи на имя Прикащикова, — и лично для меня ничего нового в этом уже не было. Поскольку во всех договорах была указана, разумеется, не истинная стоимость квартиры, а (в целях сбережения сумм, идущих на нотариальные сборы) инвентаризационная по справке БТИ, нотариусы выглядели совершенно спокойными: даже если бы суд решил повесить на них ответственность, их ущерб (равно как и компенсация нашего) оказался бы копеечным. Мы заплатили меньше всех — и это было единственное, что могло в этой безнадежной ситуации порадовать. Стреповиков в отличие от меня радости не выказывал. Он был так же немногословен, как и прежде. Ему, по его словам, все это было по барабану. Он вручил мне доверенность на право ведения дел и получение денег, ежели таковые воспоследуют. Я ему — двадцать четыре тысячи долларов США сто долларными купюрами нового образца. «Ну, Серега, прощай, — благодушно сказал он напоследок. — Ладно, чего там... я на тебя не в претензии. Мебель будешь покупать — заглядывай. Ты человек обеспеченный, подберем чего ни там...»

Кастаки считал деньги. Я посмотрел на его внимательное лицо — брови вскинуты, губы поджаты — и подумал, как сильно все-таки Шурик изменился за эти годы. Памперсы его изменили. Гладок стал. Говорит так уютненько: дождичек, водочка, лимончик. И уже обходится без теорий. Все больше на практике решает поставленные жизнью задачи... Ну и ладно. А кто не изменился? Я не изменился?

Мы уже выпили по паре-тройке рюмок, но легче мне не стало, наоборот — тяжесть в груди стянулась до размера кулака, начала горячить, я вспомнил лицо Павла, каким оно было вчера, птичье выражение его глаз и то, как он пытался выхватить из накатывающей на все темноты хотя бы нас, сидящих у постели, — стало жарко глазам, я несколько раз сморгнул, потом без раздумий налил половину фужера и тут же выпил.

Кастаки досчитал деньги и сунул обратно в конверт.

— Две двести пятьдесят. Двести пятьдесят — это за два месяца: за прошлый и за этот, — сказал я зачем-то. И без моих уточнений все было ясно как дважды два. Язык развязывался. — За этот. Ну за тот, который кончился. Ты понимаешь. Сентябрь то есть. А за октябрь через недельку, ладно? Через недельку не поздно? Сейчас что-то... в общем, какая-то напряженка сейчас с этим делом и...

— Да ладно, чего ты. — Кастаки сунул конверт в карман пиджака. — Разберемся.

— Короче, непруха, Шурик, — сообщил я, наливая ему и себе. — Что-то все никак не вяжется. Знаешь, я о чем думаю? Нет, вот ты смотри. Я у тебя двадцать брал. Думал, за полгода отдам. Ну за год от силы — это если нога за ногу. И что? Еще три должен. И процент-то ведь небольшой...

Шура поморщился.

— Да нет, я не к тому! Я просто рассказываю. Да ну, ты чего, Кастаки! Я же тебе за это очень благодарен, правда... Ну, в самом деле, какого черта. Мы же рассудили. Ты бы положил их в банк и получал бы — ну не два в месяц, ну полтора процента бы получал... Но тебе-то в банке было бы

надежней, верно? Я же понимаю. Ты мне двадцатку дал — а кто его знает, может, я только чудом под трамвай не попал с твоей двадцаткой? Нет, ну бывает же! Бац! — и готово. И плакали твои денежки. Верно? То есть риск. А за риск надо платить. Нет, ну правда — надо же? Вот я и платил. Все нормально, чего ты.

Шура поднял брови, и лицо у него сделалось отсутствующее.

— Ну-ну, — сказал он, отрезал кусочек мяса, положил в рот и стал аккуратно жевать, глядя куда-то мимо меня. — Говорено-переговорено.

— Я шучу, конечно, про трамвай... не попал и не попаду... но все-таки! Ты пойдй попробуй вот так на ровном месте займи двадцатку!.. Да никто не даст! Ни у кого нет... а у кого есть, так побоится... или, например, машину хочет покупать... или еще чего-нибудь. В каждой избушке свои погремушки. Ну и что было бы? Я, конечно, сам виноват, но... Как вспомню этого Стреповикова — у-у-у-у!..

Я замолчал, подумав, что загудел сейчас точь-в-точь как Будяев.

— Да ладно тебе, — поморщился Кастаки.

— Не-е-е-т! — Я покачал пальцем. — Ты не должен думать, что я думаю, что ты думаешь, то есть... э-э-э... ну, я хочу сказать — вот, мол, процент берет и вообще... а? — Мне хотелось еще добавить что-то про честность и всякое такое, но почему-то стало скучно.

Тогда я просто поднял рюмку:

— Ладно, все... Давай теперь за твое прибавление еще раз. Сколько уже? Полгода? Семь?

— Девять.

— Во, девять уже... видишь. Уже поровну — девять до, девять после. Девять там, девять здесь... Это большое дело, Шурик. Это ты как молодой себя ведешь. Раз — и опять замолодел. А Петьке-то сколько?

— Семнадцать скоро.

— Во! Вот так! Семнадцать!

Мы чокнулись.

— Ты закусывай, закусывай, — сказал Шура. — Что-то ты, Серега, воодушевился сверх меры...

Я опрокинул рюмку и посмотрел в тарелку.

— Знаешь, Шура, — сказал я, тыча вилкой в аппетитный кусок свинины. Потом поддел картофельную дольку, положил на язык, сжал зубами — она захрустела. — Вот я однажды шел мимо лужи. Такая громадная лужа. Понимаешь? С водой такая лужа...

— Понимаю, — кивнул Кастаки. — Лужа всегда с водой. Без воды — это, как правило, уже не лужа.

— Вот, с водой. Нет, ты не смейся. Такая огромная лужа. Занимает полполосы. А с той стороны — такая большая колдобина. В асфальте. Ну яма такая...

— Яма, — подтвердил Шура.

— И мимо меня проехали две машины. Две. Водитель первой, заблаговременно заметив пешехода... ну меня то есть... взял влево. Туда, к колдобине. Хрясь! — не знаю, как ступицу не разнес. Зато на меня не попало ни капли. Вот. Водитель второй заблаговременно разглядел колдобину. А не меня. И принял резко вправо. Ш-ш-ш-ша!.. Меня окатило с ног до головы, понимаешь? Зато машина совершенно не пострадала. О чем это говорит, Шура?

— Не знаю, о чем это говорит, — ответил Кастаки. — Ты ешь, ешь.

— Вот и я не знаю, о чем это говорит, — согласился я и взял еще картофелинку. — Я хочу сказать, что по этой луже ничего не поймешь. Чтобы понять, в каких пропорциях делятся в мире добро и зло, пришлось бы стоять у лужи вечно. Нет, ну куда не денешься — нужно же получить статистически достоверный результат!..

— И что же мы поймем по статистически достоверному результату? — усмехнулся Кастаки. — Что есть добро, а что — зло?

— Вот как раз это-то совершенно не важно. Можно принять условно. Допустим, грязный плащ — зло. А расколотая ступица — благо. Или наоборот: расколотая ступица — зло, а тогда грязный плащ — благо. Какая разница? Наплевать. И все равно: что нам скажет статистически достоверный результат? Допустим, сорок пять процентов — в лужу. Пятьдесят — в колдобину. Пятеро из ста были пьяны и вообще ничего не заметили. Так что же, Шура, вот эти-то убогие соотношения и есть пропорции добра и зла? Те самые непостижимые пропорции, а?

Смеясь, я снова погрозил ему пальцем.

— И потом: ну что все деньги, деньги... Потом раз! — и уже ничего не нужно. Это как?

— Все в свое время, — рассудительно заметил Кастаки. — Ты же сам сформулировал: все там будем. Это правда. Но еще не все там, понимаешь? Поэтому такой раздрай. Кому-то уже не нужно... а кому-то еще нужно. Поди разбери...

— Ну да, конечно, — согласился я, глядя в тарелку. Мясо остыло. — Да, разумеется... то-то и оно.

Все вдруг снова потускнело. Зачем я сказал? Какой смысл без конца вспоминать об этом? Я ведь могу не думать. Люди по-разному устроены. Наверное, кто-то не мог бы не думать. А я могу: щелк — и я выключил эту тему. Все, хватит. Горе бесплодно. Что толку горевать? Ничего не вернешь, ничего не поправишь. Зачем терзать себя этими мыслями? — если бы я раньше узнал... если бы то, если бы сё... Ни черта бы не изменилось. Нет, нет. Все. Жизнь идет в одну сторону. One way ticket. Обратной дороги нет. Ба-ба-бам. Проехали. Только фонарики, фонарики... Нет никакого резона что-либо помнить, потому что все это... что?.. На меня вдруг накатило острое пьяное прозрение. Я отчетливо вспомнил запах. Вот как это было раньше. Четыре года назад. Запах — вот что. В психосоматическое отделение не достучишься. Стучишь, стучишь — заперто. Потом сестра все-таки услышит, откроет. И тот зверий запах, что душил уже на лестнице, шибает в полную силу. Впрочем, к запаху быстро привыкаешь. Небольшое усилие — и его перестаешь замечать. Все в жизни так. Воля есть воля. Стоит только захотеть — вообще ничего не увидишь и не услышишь. Старуха на соседней кровати кричала басом: «Доченька! Постриги мне ногти!» — и тянула вверх желтые руки. Никто не обращал на нее внимания. Я тоже не обращал. Я сидел у бабушкиной постели. Бабушка лежала на боку и дышала мелко-мелко, часто-часто, будто бежала, бежала, бежала — и вот упала отдохнуть. Она уже сутки не приходила в себя. Что значит — не приходила в себя? Она давно была не в себе. Месяца полтора. А сутки назад впала в забытье. Я осторожно положил ладонь на влажный морщинистый лоб. И вдруг она, в глухом своем беспомоществе почувствовав все же прикосновение моей руки, не открывая глаз, удивленно подняла брови. Значит, под этой влажной морщинистой и родной кожей еще что-то жило, мерцало — длилось сознание, продолжалась жизнь, не представляющая себе того, что она может быть не бесконечной. Своим прикосновением я вторгся в пространство ее сужающегося мира — и, может быть, именно в это мгновение возник там, в сумерках, на закате, перед ее глазами, досматривающими фильм, — и, может быть, даже сказал что-то, а она мне ответила... но что сказал? и что она мне ответила?.. никто не знает, и я не знаю и не узнаю уже никогда.

— Да ладно тебе, в самом деле, — недовольно сказал Шурик. — Разрюмился. Что с тобой? Как будто первого хоронишь. Выпей еще, что ли.

Я отмахнулся:

— Сейчас, погоди... вода-то у них есть, у чертей?

Он щелкнул пальцами.

Мы помолчали.

— Вообще, конечно, надо Верке сказать, — задумчиво произнес Кастаки, когда официант удалился. — Кто у тебя остался-то? Что ж одному... Пусть она тебя женит.

Вода шипела и пузырилась в толстом стакане.

— Что значит — кто остался? Навалом народу. Вот скоро их перевезу... — Я замолчал на полуслове, почувствовав вдруг тяжелую, страшно тяжелую, ну просто свинцовую досаду. «Перевезу, перевезу...» Ах, черт, да сколько же это может тянуться! С долгами никак не расплетусь, идиот... Слюна почему-то стала кислой. Я проглотил ее, кое-как рассмеялся и сказал, глядя в сторону: — Опять жениться? Пожалуй, рано. Потерпи маленько.

— Почему?

— Почему? Гм... Не могу обременять собой ни в чем не повинную женщину. Ты представь — со всеми своими проблемами сесть ей на шею. Нет.

Кастаки хмыкнул.

— Джентльмен. Пока может стоять, пьет стоя. Понятно... А у Верки подружек — не счесть. Все такие хорошенькие, — промурлыкал он. — Заглядение. Есть, например, одна такая Маша, так она такая, знаешь, раскося... и вообще.

Он подробно толковал о какой-то там Маше, а я ненадолго задумался, кое-что вспомнив, и, когда он замолк, сказал торжественно — может быть, несколько более торжественно, чем требовалось:

— Что там твоя Маша. Брось. Я вот встретил недавно очень милую девушку. Очень. Суровую такую... даже не знаю, как описать. Очень серьезная. Что-то ее мучит. А что — неизвестно. Но красивая. Помнишь Бэлку Кливидзе? Похожа. Только другая совсем. Упрется взглядом — и кажется, что, если сморгнешь, она исчезнет. Смотрит странно — с ожиданием. Но это ожидание мне непонятно. Да? В общем, что-то я ее никак не пойму...

— Это опасно, — заметил Кастаки. — Непонятное притягивает. Ты постарайся, пойми. А то, как всегда, сначала вляпаешься, а потом разрешишься, — нехорошо, знаешь.

— Но обычно.

— Я же и говорю — как всегда, — согласился он со вздохом. — Давай еще по двадцать?

— Давай. Нет, просто там что-то такое есть... не знаю. Откуда мне знать? Я с ней тремя словами не перекинулся. Все по делу. Задаток, цена... уступите, не уступите. В общем, как на базаре. Собственно, почему — как? Базар и есть. Торговля. Недвижимость. А про жизнь мы не говорили. Она очень грустная.

— Мужик ее бросил, — сказал Кастаки, ставя бутылку. — Вот и грустная.

— Ну начинается... с чего ты взял? Там есть, конечно, какой-то мужик... коммерсант какой-то, хрен его знает. Сейчас в Париже. По делам. Но скоро приедет.

— Естественно. У всякой девушки есть мужик. И не верь, если кто-нибудь скажет другое. С детьми?

— Нет.

— Ну тогда точно мужик бросил. Давай. Не чокаемся?

— Нет уж, чокаемся. Давай за тебя, Шура.

— И за тебя.

— Я про нее потом все узнаю. Понимаешь, мне сейчас неловко. Она подумает, я к ней клеюсь, чтобы какую-нибудь выгоду получить... между делом... понимаешь? Она клиентка моя. Нет, не моя. Ну не важно. Все равно неловко. Глупо. Дело есть дело, верно?

— Между делом иногда тоже, знаешь...

— Да ладно тебе. Тут совершенно все не так. Вот сделка пройдет, я буду свободен от прежних обязательств. И уж тогда позвоню. Кстати, у

меня и телефона-то ее нет. И никто не даст. Там такая Марина одна, агентша... не даст она мне номера. Ты что! Телефон! Это же в нашем деле каюк!.. Я напою Марине всякого про свою любовь, Марина мне даст телефон, я позвоню Ксении — и что скажу? Неужели тоже про любовь? Черта с два! Я скажу совершенно другое! Так, мол, и так, дорогая Ксения, зачем вам платить этой Марине, когда можно и без нее обойтись? Вас ведь цена не устраивала? Вы скидочку хотели? Пожалуйста: если будете со мной дело иметь напрямую — так на две тысячи меньше. Или даже на три. Закоротим Марину — и все довольны. А? Годится?.. Нет, Марина мне телефончика не даст. Что ты! Это только после сделки. Как ты считаешь?

Я замолчал.

— Что-то ты мне не нравишься, Капырин, — сказал Кастаки.

22

На четвертом гудке хрустнуло.

— Алло?

— Крестецкую будьте добры... спасибо... Нина Михайловна? — спросил я, морщась от головной боли. — Это Сергей.

Услышав, что я нашел покупателя, Нина Михайловна обрадовалась. То есть она сначала обрадовалась, а уже обрадовавшись, спросила, за какую цену. Узнав цену, погрустнела. Но именно погрустнела, а не оскорбилась — из чего я заключил, что она стоит несколько ближе к реальности, чем во дни наших первых свиданий.

— Да, шестнадцать на руки, — повторил я. — Вы подумайте. Если устраивает...

— Но вы же говорили — двадцать две, — робко начала она.

У меня стрельнуло в затылке, и я невольно закричал, держась за висок.

— Двадцать две — это если продавать полтора месяца. Я же объяснял. Вы поймите, я не против того, чтобы вы получили двадцать две. Я могу продать ее обычным способом, и тогда вы столько и получите. Примерно столько, — оговорился я. В затылке теперь что-то противно перелилось справа налево. — Двадцать две плюс-минус сколько-то за счет неизвестности будущего... вы же понимаете: будущее известно нам, но не в деталях, — говорил я, мучительно пытаюсь сообразить, зачем это делаю. Вот ведь тянет, тянет черт за язык! — Правильно?

Она понятиливо угукнула.

— А тут совсем другое дело, — сказал я, ободренный. — Подвернулся человек, который хочет на вашей квартире немного заработать. И этого не скрывает. Ему не нужна квартира как таковая. Ему нужен навар. Он хочет купить ее у вас за шестнадцать, а потом продать несколько дороже. Допустим, за те же двадцать две. У него есть время. Он может потерпеть, чтобы получить в конце концов по средней рыночной цене. А у вас, если я правильно понимаю ситуацию, времени нет.

Нина Михайловна все-таки оскорбилась:

— То есть он хочет нажиться на нашем несчастье?!

Я пожал плечами.

— Может быть, — сказал я. — Не знаю. Думаю, ему дела нет ни до вас, ни до вашего несчастья. Просто он готов вложить деньги. Поймите: никто не станет покупать вашу квартиру за двадцать две тысячи, чтобы через месяц продать ее опять за двадцать две. Мне, во всяком случае, такие люди неизвестны.

— А может быть, завтра появится настоящий покупатель! — запальчиво заговорила Нина Михайловна. — Не спекулянт, у которого совести ни на вот, а который жить, и рад без памяти, что подвернулось, и тогда еще посмотреть, и...

Она хлопотала минуты три. Так бурлит кастрюля на плите — пару пол-но, а макарон не купили. Слушая ее, я думал об одном: вот договорю и приму две таблетки анальгина. Еще хорошо бы что-нибудь от похмельного отвращения к жизни вообще и к бессмысленным белолобым теткам в частности. Но такого снадобья пока не изобрели.

— Разве этого не может быть? — пальнула Нина Михайловна.

— Может. Появится завтра, купит и будет жить. Ремонт вот только сделает — и заживет за милую душу. А может быть, не завтра, а через неделю. Или даже месяц. Я не знаю. Я же говорю вам: будущее известно нам не в деталях. Мы знаем будущее в такой степени, чтобы сказать, что настоящий покупатель непременно появится. Но не знаем в такой, чтобы сказать, когда именно это произойдет. Собственно говоря, я ведь ни на чем не настаиваю... Я вам позвонил, чтобы вас информировать. А вы подумайте. Потом мне скажете... В остальном все остается по-прежнему. Первое объявление выходит завтра.

— Завтра? — Она снова нашла повод обрадоваться: — Так, может быть, завтра кто-нибудь и появится?

Я вздохнул. Сказка про белого бычка хороша именно тем, что никогда не кончается. Но, как и во всем другом, ее недостатки есть продолжение ее же достоинств.

— Все может быть, — сказал я. — До свидания.

— Подождите! Сергей! Подождите же! Я же ничего такого не говорю!..

Однажды я сидел на берегу, стояла жара, клева не было, живец давно сомлел, перестав отвечать как своему названию, так и назначению, я собрался уходить и последним движением потянул удочку. В этот момент из глубины метнулась большая щука и со всего маху села на крючок. Должно быть, она долго следила за дохлым пескарем, а когда он чудодейственным образом ожил и вознамерился ускользнуть, сердце ее вскипело. Вот и Нина Михайловна своими реакциями напоминала ту безмозглую щуку. Теперь она талдычила, что мир полон хищных людей, справедливости нет, совести тоже нет, нет и элементарной порядочности, а также еще каких-то важных моральных категорий — я пропустил мимо ушей, — но деваться ей все равно некуда, и пусть уж последнюю свою кровь она выльет на алтарь любви к золотому мальчику Степаше... И давай все с самого начала — мать есть мать и т. д.

— Я понимаю, — кивал я. — Ну конечно. Да. Хорошо... Договорились. До свидания. Что? Естественно... Как не понять. Обсудите со Степашей и позвоните. Замечательно. Отлично. Конечно. До свидания. Еще бы. Нет, никто же не говорит... Ага. До свидания. Конечно, конечно... Да ну что вы? Какой разговор... Ага. До свидания... Да, разумеется... да-да. Конечно. Кто же спорит. Вот именно. Я вас понимаю... Да-да. Ну еще бы... Тут двух мнений... ага... не может быть двух мнений. Правильно. — Почувствовав, что еще через двадцать секунд голова моя треснет пополам, я прижал трубку плечом к уху, завел будильник, перевел стрелку и, когда он затрещал, крикнул: — Простите, Нина Михайловна, мне в дверь звонят!

Степаша прорезался минут через сорок. Голос был встревоженный и тусклый, звучал напряженно (как будто кто-то стоял у Степаши за спиной), и говорил сегодня Степаша настолько вразумительно, что его понял бы даже человек, выросший, как выражается Кастаки, на языке «Капитанской дочки» и «Героя нашего времени». Да, ему подходят такие условия. Шестнадцать так шестнадцать. Ему все равно — тысячей меньше или больше; его так приперли, что уже не до жиру — быть бы живу. Он матери сколько времени твердил, что ему, того и гляди, кал встряхнут, а она все клавиша клавиш... вот и домумилась до шестнадцати. И ладно — на все плевать, только бы скорее. Ему по некоторым причинам выбраться затруднительно, а разговор не для телефона, так не мог бы я сам подъехать, но

только сразу с покупателем и задатком, а то ему карачун. То есть кранты. Другими словами — кирдык.

— С задатком? — переспросил я, соображая.

Да, с задатком, повторил Степаша нервно; а что такого? — ведь все на мази? Конечно, с задатком; есть покупатель, так пусть с задатком приезжает, а нет покупателя, так нечего и голову морочить — нет, ну правда, что языком чесать попусту, когда ему вот-вот по кельдьшу?

— Насчет задатка не знаю, — сказал я. — Какой смысл? Зачем задаток? Оформлять нужно ехать, а не с задатками возиться. Документы-то готовы?

Естественно, готовы — у него на руках все документы: материны бумаги на квартиру и доверенность.

— Доверенность? Что, Нина Михайловна сама не сможет на сделке быть?

— Нет, почему... Сможет.

— Вот и хорошо. Значит, доверенность не нужна... И все, что ли?

— А что еще надо?

Я перечислил.

— Это долго?

— Как сказать... Сегодня пятница — короткий день. Времени — второй час. В РЭУ еще туда-сюда... а в БТИ уже никак. Но в БТИ можно с утра в понедельник — и тогда сразу к нотариусу. Причем и в РЭУ, и в БТИ — только вместе со мной. Чтобы я все сам видел.

— Что видели?

— Как вы документы берете.

— В понеде-е-е-ельник!..

— Я же при вас говорил Нине Михайловне: дайте мне правоустанавливающие и доверенность. Я бы уже все бумажки собрал. А нет, так надо было самим... Вообще говоря, какая разница, если два дня выходных? Вечер пятницы — это все равно что утро понедельника.

— Ё-о-о-о-о-о-о-о-о!.. — протянул он совершенно упавшим голосом. — Сейчас, подождите.

Должно быть, он зажал трубку ладонью. А я вдруг вспомнил: стоп, ну какой, к чертям, понедельник! Ни черта не понедельник. Там же у них наследство, вот в чем дело... стало быть, нужно к обычным бумажкам еще и справку из налоговой. А налоговая устроена просто: во вторник утром документ заказал — в четверг вечером получил. Значит, утро пятницы, не раньше.

— Алло! А если вы до понедельника передумаете? — спросил Степаша. — Нет, ну всегда же задаток. Нормальное дело. А?

Я вздохнул. Это мы, слава богу, проходили. Сначала ты вот такому орлу даешь деньги — а потом игра в ку-ку. Ищи-свищи его потом. С собаками не найдешь. Ему что? У него ни руля, ни ветрил. Куда волна понесла, туда и ладно. Нет уж... С другой стороны, без задатка тоже нехорошо. Подвернется кто-нибудь часом — и готово дело, ушла квартирка... Может, может подвернуться какой-нибудь смельчак... предложит на штуку больше, даст задаток, подождет, пока документы соберут... Ну и черт с ними, уйдет так уйдет.

— Кто его знает, — сказал я. — Может, и передумаем. А может, не передумаем. Что толку рассуждать, если документы не готовы?

— Но в понедельник-то будут готовы!

— Не будут. — Как говорится, бешеной собаке рубят хвост до самой головы. В том смысле, что лучше вывалить на человека все несчастья чохом, чем мучить его все новыми порциями. — Я ошибся. Еще из налоговой придется бумажку брать. А это самое раннее — в четверг. Стало быть, оформлять можно только в пятницу.

Степаша замолчал. Даже дыхания не стало слышно — должно быть, опять прижал трубку к ладони. Совещаются. Давайте совещайтесь.

— Алё, — услышал я минуты через три. Голос был не Степашин, но почему-то показался отчетливо знакомым. — Алё!

— Да, да, — ответил я, мучительно пытаюсь вспомнить: где же я его слышал? Бедная моя голова гудела, как пустой бидон из-под бражки. — Я слышу, да.

— Не, ну а чё ты мозги-то крутишь, а? — с места в карьер спросил голос. — Чё ты, в натуре, докопался? Ты мужик или чё? Чё ты вертишь? То понедельник, то типа пятница...

Интонация была противная — на кого тянешь, мол. Мол, отвали, моя черешня.

Меня замутило. Захотелось швырнуть трубку и не слышать больше никогда ни Степу, ни этого вот его блатного поделщика...

— Ты кто? — спросил я сухо. — Мышка-норушка? Значит, секи фишку: еще раз схамишь, будешь сам с собой разговаривать. Поймал? Или мимо кассы?

Секунду он молчал — должно быть, обдумывал, как меня уесть или хотя бы послать; посылать меня было нельзя — у меня покупатель, а у кого покупатель, тех не посылают; уесть тоже не выходило — я бы его сам послал, да и дело с концом; поэтому малый решил продолжить конструктивную беседу в дружеской и доброжелательной обстановке. И загнул дальше:

— А кто хамит, кто? Не, ну ты тоже фильтруй базар, чё ты в натуре. Чё такое за фигня? Почему пятница?

Я сказал почему.

Он хмыкнул.

— Не, ну а хавирку-то берете? Или как?

— Берем.

— Тогда базару нет, — обрадовался голос. — Давай тогда пятеру засылай до пятницы. Даже лучше десятку. В пятницу конкретно перепишем, ему остаток отдадите — и все, и разбежались. Ты ему скоко назначил? Шеснацать? Смори, давай так: если сёння засылаете десятку, за пятнашку отдадим. Нам чисто мазы нету досуха выжимать. Нам червончик свой отбить — и гуляй. А?

Теперь уже мне пришлось хмыкнуть.

— Отличный план. Может, всю пятнашку сегодня? А чего тянуть? И разбежимся. А уж квартирку мы когда-нито потом оформим. Что нам квартирка? Нам главное — деньги вам отдать. А квартирка погодит. Нам не к спеху. Возьмете пятнашку-то?

— Не, ну чё ты опять, — загнул он. Удивительно знакомый был голос. Впрочем, все гнусавые приблатненные голоса довольно похожи. — Чё ты межуешься? Я дело говорю. Да все нормально будет, чё ты. Если он чонить там залупнется — свистнешь, подскочим конкретно. А? Все нормальные пацаны. Разберемся в пять минут.

— Нам квартира нужна, а не разборки. Какой может быть задаток, если у вас документы не готовы? В общем, предложение такое. Сегодня встречаемся. Я с покупателем приеду. Если ему все подходит — закладываемся на следующую неделю. Готовы документы — тут же оформляем. Годится?

— А если кинете?

— Нет, ну если у вас там где-нибудь другой покупатель есть — то мы не возражаем. Пожалуйста. Пусть покупает. Мы переживем как-нибудь... Я же говорю: у вас все равно документов нет. Подвернется покупатель — флаг вам в руки. А не подвернется — так в пятницу на нашего оформим.

— Нет, не пойдет, — заупрямился он. — Мы, значит, это!.. а вы потом!.. нет уж! Штуку вперед! Сегодня.

— Ага, понял. Ладно, что нам время попусту терять... Хрюши нету, так хотя бы Степаше кланяйся.

— Чего? — сказал он. — Э, э! Погоди! Слышь? Через пять минут можешь набрать?

Я позвонил через пять минут.

Трубку взял этот гнусавый — и опять показалось, что голос знаком.

— Ладно, валяй, — сказал он. — Годится. Запрессовали. Подъезжайте тогда. Смотри, слышь. Кронштадтский, двадцать два...

— Какой еще Кронштадтский, если квартира на Технической?

— Так а чё квартира? Мы-то здесь... и бумаги здесь, и все. Чё ты?

— Я-то ничего, и покупателю все равно, где вы. Хоть на Марсе. Только он квартиру хочет посмотреть. А квартира — на Технической. Давайте там. Во сколько?

— Не, ну ты чё, в натуре! Нам туда тащиться!.. — Он повыл секунд тридцать, потом, как водится, зажал трубку, посоветался и сказал: — Ладно. К трем подтянемся.

— Бумаги, бумаги не забудьте!

Я набрал другой номер.

— «Самсон трейдинг», здравствуйте, — промурлыкала пластмассовая секретарша.

Первое, что сказал Кастаки, взяв трубку, было:

— Слушай, так ты вчера так и не воспользовался?

— Зато ты воспользовался вдвойне, — съязвил я. — Полной ложкой.

— А что ж. — Он добродушно хохотнул. — Я же говорю — уплочено.

— В три часа на Технической. Пиши адрес.

— Башка трещит, — пожаловался Шура.

— Не у тебя одного, — сказал я. — Не опаздывай, мне еще к пяти в «Свой угол».

23

Я встал на углу, у помойки, как договорились.

Шуры не было.

Я сидел в машине, поглядывая то на часы, то в сторону дымящей теплостанции, откуда должен был показаться его «ниссан».

Голова просветлела. Но не до кристальной ясности. Я утешал себя надеждой, что Кастаки чувствует себя не лучше. И поделом.

У меня не хватило воли его остановить. У меня никогда не хватает воли кого бы то ни было останавливать. У меня не хватает воли даже на то, чтобы самому остановиться. В «Диком гусе», слава богу, не было никаких эксцессов. Правда, под конец застолья Шурик стал удивительно придирчив и трижды гонял все более мрачнейшего официанта за *другим* кофе, утверждая, что *этот* совсем не пахнет. Я был совершенно трезв. Нет, я, конечно, захмелел с самого начала. А потом пришел в норму. И уже не пьянел. Да и пил-то мало. Я вообще на это дело очень крепок. Крепче других. Когда другие падают, я еще сижу. А когда падаю сам, то уже некому заметить куда. В результате время от времени меня коллективно ищут. И находят, например, в темной комнате, как однажды у Стаса. Или в канаве, как в тот раз, когда гуляли на даче у Волкова... Короче, я все трезвел, официант и кофе раздражали Шуру все больше, и когда к нам подъехала со своей тележкой какая-то совершенно невинная женщина в белой наколке, чтобы забрать грязную посуду, если таковая обнаружится, захмелевший Шура, хмуро поглядев, как она, улыбаясь, чрезвычайно деликатно опускает в стальной поддон тарелочку из-под икры, вдруг спросил: «Ну что ты, падала, лязгаешь?» Вопрос был, в сущности, безобидный, но женщина не поняла юмора и побежала жаловаться. Когда пришли два скучных охранника, мы все равно уже собирались уходить. Выбравшись нако-

нец из этого затхлого подвала, я обнаружил у себя в руках две бутылки шампанского и бутылку коньяку. Черт их знает откуда. Было довольно темно, и я еще силился разобрать этикетку, а Шура уже сказал: «Подожди, я сейчас», — и куда-то пропал. Вообще я не собирался пить ни коньяку, ни шампанского. Меня интересовали только этикетки. Азербайджанский, что ли? Или дагестанский? Да ладно, лишь бы не чеченский... Собственно, единственное, о чем я думал, — это поймать такси. Но оказалось, что такси уже поймал Кастаки, и не совсем пустое. Обeim было лет по двадцать пять. Не девочки, в общем. Одна светленькая. Другая темненькая. Раскрашенные лица. Довольно похожие. Темненькая поглазастей. Я молча сунул ей бутылку, она молча же ее взяла. Ни одна из них мне и на дух была не нужна, но разорвать дружеские связи во втором часу ночи после «Дикого гуся» — дело совершенно невозможное. Кастаки учил таксиста, как тому вести машину. Таксист невозмутимо рулил, а иногда зачем-то подмигивал мне в зеркальце. Девушки шептались и хихикали. «Вы откуда, сестры?» — спросил Шура. «Ой, ну какая разница откуда, — сказала светленькая так, что сразу стало ясно откуда. Она вообще была побойчее. — Мы же не спрашиваем, откуда вы, правда?» — «Мы-то понятно откуда, — заявил Шура. — Мы родом из детства». Таксист хмыкнул. «Направо, — неодобрительно сказал ему Кастаки. — Из голозадного детства, вот откуда. И хотим обратно». И громко расхохотался собачьим своим хохотом. Он сидел впереди, а я сзади, рядом с темненькой. Мы невольно соприкасались кое-какими частями тела. Части были податливы и теплы, но почему-то производили впечатление резиновых — как рядом с манекеном. Я отодвинулся к двери. Она (не дверь, а темненькая), кажется, не обратила на это внимания. «Во двор, — сказал Кастаки. — Осторожно, яма. Так с Украины, что ли?» — «С Америки, — хихикнула светленькая. — С Вашингтона мы». Таксист опять хмыкнул. «Ага, из Вашингтона, — буркнул он. — Отса-сити, штат Небраска». — «Вы, мужчина, не встревайте, — сказала вдруг светленькая довольно взвинченно. — Едете себе, ну и едите». — «Ему тоже хочется, — заметила темненькая и рассмеялась. — Вот и чипляется». У нее оказался низкий влажный голос. Она вздохнула и жестом примерной ученицы сложила руки на коленках — справа и слева от бутылки шампанского, промявшей короткую юбку. Таксист нечеловечески вывернул голову и посмотрел на нее долгим взглядом. Если б не темнота, этот взгляд мог оказаться испепеляющим. «Ты рули, рули, — посоветовал Шура. — А то сейчас доездимся». Тогда таксист отвернулся и сплюнул. Точнее, сделал вид, что сплюнул: тьфу.

Шурик долго пыхтел, расплачиваясь: все ронял бумажки в грязь. Мы стояли у машины. Темненькая держала бутылку шампанского. Меня так и подмывало с ними о чем-нибудь потолковать. Но сказать было нечего. А главное — им со мной не о чем было разговаривать. Что говорить, когда все ясно как дважды два? Я разозлился и сказал: «Шурик, так ты обнаружил, что ли, другую высшую математику?» Он хлопнул дверцей и повернулся: «Чего? Пошли, пошли...» Я повторил: «Математику... помнишь? С апельсин, что ли?.. или как там было? Обнаружил?» Кастаки не ответил, а просто взял обеих под руки и повел к подъезду, что-то говоря. Светленькая рассмеялась.

Пробку я, естественно, не удержал, и пена залила полстола. Шура допил свой стакан и потянул светленькую в комнату. Они, казалось, уже век были знакомы. Сначала она кокетливо возмутилась, сделала глаза, сказала: «Вы чего, мужчина?!» — а потом рассмеялась и посеменила следом, повторяя с испугом понарошку: «Ой, иду-иду-иду! Ой, иду-иду-иду!» Я бросил на стол кухонное полотенце. Оно намокло. В комнате забренчала какая-то простецкая музыка, потом хриплый голос запел с середины: «...и каждую ночь — большие сны, все время зима, и нет весны, и нет никого, по кому тосковать, и некому верить». Я налил себе еще немного и спросил: «Ты чего

не пьешь?» Темненькая пожала плечами. Я вспомнил анекдот. Грузин спрашивает: почему молчишь? Она: хочу — и молчу. Грузин: хочешь — и молчишь?! Я посмотрел на нее, и рассказывать почему-то расхотелось. В холодильнике лежало несколько свертков. «О том, что весь мир — сплошной вертеп, отчужденно понял я лишь теперь...» В одном была ветчина, в другом — сыр. «А раньше — где правда была и где ложь, не мог разобраться...» Темненькая заинтересовалась. «А хлеб есть?» — спросила она. «...хотелось пройти мне хоть сто дорог, и ежели есть на свете Бог...» Я полез в хлебницу. «...хотелось бы мне очень тогда до Бога добраться...» Хлеба не оказалось — так, какие-то куски. «Его б я спросил: ты что ж натворил, когда я родился, где же ты был?..» Она кивнула. «...когда я выросел, ну куда ты смотрел, почему не вмешался?..» Я допил шампанское. «Масло будешь?» Темненькая помотала своей темненькой головой. При свете она оказалась лучше. Такое редко случается. «А мне говорят, что Бога нет, во всем виноват мой пьяный бред...» И не так уж сильно намазана. «...и что на семь бед один ответ теперь мне остался...» Музыка кончилась. Через минуту кто-то торопливо прошлепал босыми ногами по коридору. В толчке ухнула и загудела вода. «Налить еще?» Опять помотала головой. Тогда я налил чуточку себе. Шампанское было теплым и противным. Точь-в-точь как Алла Владимировна Кеттлер. Я невольно выругался. Должно быть, темненькая неправильно меня поняла. «Они кончили, — поспешно сказала она. — Ну что, раздеваться, что ли? Или как?» И вопросительно посмотрела голубыми глазами, дожевывая. «Или как, — сказал я. — В другой раз, ладно? Не обидишься?» Она не удивилась. И лицо не просветлело. Ей вроде было все равно. Пожала только плечами и взяла еще кусок ветчины. Вот и вся буря чувств. «Что?» — переспросила она. «Стихи, говорю, какие-то самодельные», — повторил я. Она улыбнулась и сказала: «Спасибо. А то к утру-то кишка кишке рапорт пишет». И засмеялась. Зубки у нее были довольно кудрявые. А в целом — ничего так... Не хуже других, как говорится. «Это дело ведь такое, — сказал я зачем-то. — Такое дело, что... черт его знает». Кастаки остановился в дверях и спросил с нетрезвым недоумением: «А вы тут чего? Чего вы тут? Уже, что ли?» Темненькая с готовностью доложила: «А они не хотят». Ответственная оказалась девушка, не шалай-валяй. Рабочая косточка, должно быть. Она стояла у подоконника и смотрела то на меня, то на Шуру. На меня равнодушно, а на Шуру с боязливым ожиданием. Кастаки явно вызывал в ней больше чувств. «Ты чего? — спросил он. — Не будешь, что ли? Уплочено, как говорится... Ведь не гнить зерну, а?» Тут появилась светленькая. Она была уже при полном параде. И тоже потянулась к ветчине. «Давай, — сказал я. — Отрабатывай. Классные у тебя подштанники, Шура. Я подожду, а то тебя сейчас клофелином накормят». Он сказал: «Ну как хочешь... Как тебя?» Темненькая отозвалась неожиданно жеманно: «Элеонора». Кастаки фыркнул. «Да ладно, — сказал он. — Тоже мне — Элеонора!.. Танькой будешь? Ну тогда кам хир, Танюшка!..»

«Ниссан» издали моргнул фарами.

Шурик выглядел на все сто — вот что значит тренировка. Выбрит, благоухает. Светлая куртка. Галстук. Виски, тронутые сединой. В кино снимать.

— Держи. — Он протянул конверт. — Письмо тебе. Утром пришло.

Я взглянул на почерк и сунул в карман не читая.

— Значит, смотри сюда, Шура, — сказал я. — Еще раз все сначала, чтобы не было недоразумений. Отличный проект. Отдаешь шестнадцать. Становишься собственником уютненькой такой квартирки. Немного воняет, но тебе там не жить. За месячишко я ее толкну. Ну — за полтора от силы. Получишь двадцать. Верхушку возьму за работу. Пару штук. Или две с половиной, если выгорит. Но твои двадцать — точно.

— То есть четыре чистыми... Двадцать пять процентов.

Я кивнул.

— Нормально, — сказал Шура. — Годится.

— Есть некоторые осложнения, — сказал я. — Человек задолжал каким-то браткам. По голосам похоже. Да и сам он, я тебе скажу, та еще штука. Но в данном случае нам это все до лампочки. Владельцем квартиры является его мать. Документы безукоризненные — наследство. На сделку ее вытребуем. Никаких доверенностей. Короче, я просчитал — не должно быть никаких проблем. Плевать, что бандюки. Деньги-то они от нас получают. Если б от них денег ждать — другое дело. Я бы не сунулся. Даже через банк бы не сунулся. Понимаешь?

— Ах вот так, — протянул Кастаки. — Не люблю я этого дела...

— Решай, — сказал я. — Если совсем не любишь — не надо. Делаем дыре ручкой и идем пить пиво.

— Четыре штуки, — сказал он задумчиво.

— Да еще две я тебе отдам в счет долга.

— Ладно, пошли.

— Точно? — спросил я. — Ты мне в данном случае должен поверить. Я говорю: дело верное. Ты мне веришь — и мы идем. И если идем, то потом уже не отказываемся. Да?

— Да, — сказал Шура.

— Иначе они на меня наедут. И будут мотать нервы. Знаешь, как у них — заложились, то-сё, мужик ты или не мужик... бодяга, в общем. Им ведь главное — зацепиться. Зацепятся — не отмотаешься. Во всяком случае, мне бы этих экспериментов очень не хотелось. Понимаешь?

— Да, — повторил Шура.

— Так идем?

— Ты достал, — заметил Кастаки. — Я давно все понял.

— Никаких задатков, — продолжал я на ходу. — Я им сказал. Если у них появится другой покупатель — пусть отдают.

— Не знаю, — говорил Шура. — Какой подъезд? Ты в этом деле спец, сам смотри. Сюда, что ли?

Он замедлил шаг, проходя мимо косо загнанной на заплыванный газон машины. «BMW-735» — старая, потрепанная, но все еще внушительная.

— Сюда.

Мы поднялись, и я позвонил в дверь.

Щелкнул замок.

— Сергей, что ли? — спросил человек, гнусавый голос которого казался мне знакомым. — По квартире?

Ничего не скажешь, мир тесен.

Это был Женюрка, сын Николая Васильевича.

— Ну да, — сказал я, когда дар речи вернулся. — Евгений Николаевич?

Женюрка сощурился. Одет он был по сравнению с прошлым разом гораздо приличней: джинсы, ковбойка. Поверх ковбойки — почему-то желтая Степашина куртка с орлом. Волосы зачесаны назад. Надо лбом — бесполезные солнцезащитные очки. Физиономия по-прежнему в угрях. Взгляд исподлобья.

— А это ты, что ли? — протянул он, сторонясь. — Слышь, ни фига себе. Ну лады, лады... А то думаем — кто придет?

— Нашли вам квартиру-то? — поинтересовался я, озираясь.

— Ездят.. Заколебал Константин этой квартирой. Возит предка через день... что-то все показывает. Скоро в дурилку обоим.

— Ага... понятно. Ну знакомьтесь: покупатель ваш.

Кастаки прислушивался.

— Это вода шумит, — сказал я. — Не переживай. Кран сорван.

— А-а-а... — протянул он настороженно.

Вид у него был... да вид как вид, в общем. С непривычки-то.

Мы прошли в комнату.

Здесь все осталось как прежде: стол, засыпанный таблетками, тряпье на продавленном диване, два стула, пылица, хромое кресло, тумбочка с доисторическим телевизором, горелая стена... В кресле вольготно расположился плотный парень лет двадцати пяти в толстой вязаной рубашке, несколько скрадывающей фактуру его довольно громоздкого тела. Он качался в нем как в качалке, и кресло постукивало сломанной ногой — тук-тук... тук-тук... Степаша, понурившись, сидел в уголке дивана, и мне было странно видеть его, во-первых, неподвижным, а во-вторых — молчащим. При нашем появлении он только приветственно поднял руку — и ничего не сказал. Под глазом виднелся отчетливый кровоподтек. Да и сам глаз немного заплыл. На правом запястье тоже были какие-то темные следы. Мне подумалось, что хорошо, кабы не от наручников. Оба запястья были пусты — в том смысле, что без часов.

— Ну чё, с бабками приехали?

— Снова здорово...

Парень в кресле повернул голову и тяжело посмотрел на меня. Рожа у него была широкая и круглая, как сковородка, и раскосые глаза довольно неприятно глядели из-под узких век.

— Так а чё просто так ездить! — завел свое Женюрка. — Чё мы сюда тащились-то?

— Ладно, ладно... это обсуждали. Документики-то можно посмотреть?

Степаша испуганно пожал плечами, взглянув при этом на человека в вязаной рубашке.

— А чё тебе документики? — лениво спросил тот, не переставая качаться. — Не бойсь, в порядке документы. Берете квартиру-то? Тогда и документы будут...

Я вздохнул.

— Так-так...

Кастаки топтался за моей спиной.

— Ладно, Шура, пошли, — сказал я. — Не получится тут у нас с покупкой.

— Казанец, да покажи ты ему бумаги! — не выдержал Женюрка.

Парень глянул на него, и Евгений Николаевич прикусил язык.

Однако обладатель вязаной рубашки хоть и с кряхтением, но все же поднялся. Хмуро переведя взгляд с меня на Кастаки и обратно, он сунул затем руку в карман своих синих спортивных штанов, вольно облегающих его мощные ноги, обутые в сильно поношенные грязно-белые кроссовки «Reebok» примерно сорок восьмого размера, и достал бумажный комоч, которым иной риэлтор побрезговал бы и потереться. Сопя, принялся его разворачивать. Развернув, еще разглядел вдобавок на коленке. И пробасил:

— Ну документ... а чё?... нормальный.

— Позвольте?

Я протянул было руку, но не тут-то было: парень тут же отдернул свою. Выяснилось, что, несмотря на свою величину, он тоже способен испытывать некоторые опасения и не собирается выпускать документы из рук, а предпочитает, чтобы мы разглядывали их издали. Когда я все же уговорил его дать мне бумагу и обмолвился о банке, Казанец хмуро заявил, что ни в какой банк никто не пойдет и пусть им отдадут деньги перед сделкой, да и дело с концом. Когда я разъяснил, что, с одной стороны, перед сделкой они не получают и ломаного гроша, а с другой — услуги банка обеспечивают всем безопасность, комфорт и удобство (при этом чуть снова не брякнув про «Аэрофлот»), он сказал, что платить за это они не готовы. Когда я раз восемь настойчиво повторил, что мы примерно одинаково заинтересованы в безопасности, поэтому будет справедливо, если расходы мы тоже поделим пополам, парень угрюмо сообщил, что никакой Нины Михайловны они не знают, ведать не ведают; и что деньги им должен Кислый, а вовсе не какая-то там Нина Михайловна; и что никакая не

Нина Михайловна, а именно Кислый попал на бабки, потому что Кислый, а никакая не Нина Михайловна, загубил партию товара (Степаша трепыхнулся было, да опять пригорюнился, а я вспомнил, что прежде шла речь о покоцанной машине, а теперь вон чего — какой-то товар, оказывается); и что поэтому он-то, Кислый то есть, и поедет чисто конкретно к нотариусу — с доверенностью. (На всякий случай я поинтересовался: «Кислый — это кто?» — «Кислый — это я», — буркнул Степаша.) Когда я возразил, заметив, что использование доверенности, равно как и само участие в сделке гражданина Кислого совершенно не обязательно, поскольку владелица квартиры пребывает, слава богу, в здравом уме и твердой памяти и находится здесь же, то есть непосредственно в столице нашей Родины, городе-герое Москве, что позволяет ей подписать договор самостоятельно, парень сказал, что...

О боже! боже!..

Если бы жизнь хоть немного походила на кино, я бы прокрутил ленту назад: смешно спотыкаясь, мы с Кастаки вприпрыжку сбежали бы по лестнице, раз, два — шустро попрыгали в машины, задом наперед покатали в разные стороны... и все назад, назад — до того самого момента, когда вчера нечистый потянул меня сказать в припадке пьяного дружелюбия: «Шура, а хочешь немного заработать?» Сами эти слова торопливо втянулись бы мне обратно в глотку непрожеванной абракадаброй: «тато-баразогонмень-щечо-хааруш», я бы опустил на стол поднятую было рюмку... и вот с этого кадра пускайте фильм по-прежнему, от прошлого к будущему, пожалуйста, не возражаю, — только я бы уже произнес совсем другую фразу: «Шура, а который час?» Или: «Шура, а ты спал с негритянкой?» Или даже: «Шура, а пошел бы ты к бениной маме со своими памперсами, знать тебя больше не хочу!..» И все это было бы значительно лучше, чем то, что последовало на самом деле.

Потому что, когда минут через сорок мы кое-как утрясли наконец все вопросы и более или менее договорились, Кастаки раздраженно просвистел мне в ухо, что квартира ему не нравится и покупать он ее ни за что не станет, потому что не верит в возможность получения маломальского навару с такого дерьма.

Если был он в ту секунду съездил мне по роже, я бы меньше удивился. Я крепко взял его за локоть, еще надеясь урезонить, и сказал, то и дело посылая улыбки в сторону Казанца: «Ты что, Шура?! Ты же меня подставляешь!» Шура принужденно рассмеялся и поднял руки красивым жестом: мол, о несерьезных вещах заговорили. «Погоди, Шурик, — сказал я. — Тогда дай мне шестнадцать под пять процентов. На два месяца. У тебя никакого риска, я сам все проверну. Дай!» — «У меня нету», — скрипнул Кастаки, выпячиваясь в прихожую.

Во время последовавшей сцены один только Степаша, он же Кислый, сидел молчком, кусая губы. Он глядел то на одного из нас, то на другого — несчастный, с выражением совершенного отчаяния на физиономии и, казалось, готовый вот-вот разрыдаться; меня вдруг пробрали мурашки — во взгляде его я прочел точно такую же надежду и точно такое же разочарование, как в карих глазах Ксении Чернотцовой. Мне стало его жаль, и из-за этого я затянул окончание разговора минуты на две, на три — все надеялся, что Кастаки, болван, передумает; потом заорал: «Все, хватит! я умываю руки! идем отсюда! хватит базарить!..», мы вывалились из дверей; Казанец яростно материл нас еще и на лестнице; Женюрка тоже гнусил в полный голос и грозил большими разборками; короче говоря, до смертоубийства не дошло, а с Шурой мы доругивались уже у машины.

Трясая от злости и отвращения, я съел затем противную сосиску с кислым кетчупом возле кинотеатра «Салют». В «Свой угол» я приехал последним, опоздав минут на десять. Без чего-то восемь залил полный бак вонючего бензина и взял курс на Симферопольское. Дождь нагнал меня на полдороге.

Как всегда это бывает, неизъяснимая тяжесть копилась до той самой секунды, когда гроб скользнул в могилу и, не очень ловко направляемый двумя дюжими землекопами, глухо ударился о мокрую землю.

Звук удара подвел черту, и часы снова принялись исполнять свои прямые обязанности.

В той длинной череде осмысленных, не вполне осмысленных и совсем бессмысленных действий, что называются похоронами, не осталось ни одного неисполненного звена, если не считать поминок. Уже не нужно было стоять у гроба, глядя на изболевшееся, худое и темное, навек успокоенное лицо с плотно сжатыми губами и голубыми веками, туго натянутыми поверх неестественно больших глазных яблок; не нужно было делать вид, что именно сейчас предаешься скорби и вызванным ею глубоким размышлениям; не нужно было ходить на цыпочках, стараясь не тревожить воздух. В изголовье горели свечи, и как ни осторожно было движение живых возле мертвого, но все же и оно беспокоило желтые язычки потрескивающего пламени: тени оживали, шевелились, бесшумно прыгали со стены на стену; и лицо Павла тоже оживало: казалось, лоб его морщится, веки трепещут и губы вот-вот разомкнутся.

До поздней ночи возле гроба шла тихая, но напряженная жизнь, смыслом и содержанием которой было стремление к верному исполнению ритуала. Многочисленные старухи с монотонным шепотом кружили вокруг, как будто исполняя медленный шаманский танец или пребывая в блаженном наркотическом опьянении. Две самые авторитетные из них — такие же темные и бесшумные, как тени, летающие по стенам, но одна сухая и высокая, а другая плотная и размашистая — непрестанно и враждебно (хоть и очень негромко) препирались, поправляя друг друга и в доказательство своей правоты приводя в свидетели присутствующих. Обе они говорили свистящим шепотом, а если молчали, то с оскорбленными лицами. Я не мог уловить смысла их противоречий, поэтому послушно следовал любым распоряжениям. В результате меня оттеснили к самым дверям. Время от времени появлялась новая старуха. Как правило, уже с порога она принималась ахать и ужасаться, прикладывая полупрозрачные темные ладони к морщинистым щекам под концами черного платка. Каждая из них хотела бы отменить все предыдущие указания и дать свои, в целом похожие, однако принципиально отличающиеся неразлично-мелкими деталями. В эти моменты авторитетные старухи ненадолго объединялись, чтобы не допустить искажений, и ставили ее на место.

Вынос был назначен на половину одиннадцатого, с утра нашлось множество дел, и мы с Людмилой разъезжали туда-сюда. Часов в десять в какой-то столовой на дальней окраине (там работала одна из родственниц) нам вручили четыре гнутых алюминиевых поддона, на три пальца залитых схватившимся столярным клеем, и если бы не Людмила подсажка, мне и в голову бы не пришло, что это поминальный кисель. Мы едва успели поднять их в квартиру, как оказалось, что уже нужно освободить проход, потому что четыре разновостных мужика, одетых в похожие коричневые костюмы, подняли гроб и несут его к дверям. «Нельзя тебе! Нельзя!» — шикала на меня Людмила. Однако, по обыкновению, пронести покойника на лестницу можно было не иначе как почти стоймя, и я упирался в шершавое неструганое дно и топал и сопел вместе со всеми.

Транспорт для похорон выделила экспедиция. Взамен она непременно желала получить свою долю траурного торжества. По дороге на кладбище тело пришлось завезти туда и на некоторое время оставить на двух стульях в холле за стеклянными дверями — чтобы дать возможность работникам экспедиции проститься с... как правильно сказать? С телом их бывшего

сотрудника?.. с их сотрудником, населявшим некогда это тело?.. как ни скажи — все глупость.

И действительно, это было долго, маятно и глупо, потому что те, кто с Павлом и в самом деле работал, — то есть бок о бок с ним зимой и летом, в жару и мороз, в дождь и ведро, и пьяный и трезвый, и посуху и помокру, и по болоту и по лугу, и по равнине и по горке, и молчком и с матюками таскал теодолит, нивелир и проклятушую рейку, — так эти и так все были здесь. Остальные двести человек, которым по местной селекторной сети приказали спуститься в холл, испуганно глядели на обитый кумачом гроб и шепотом спрашивали друг у друга: «Ой, а кто это?» Тем не менее краснорожий начальник сказал сухую, но неожиданно связную речь. Из нее стало ясно, что экспедиция понесла невосполнимую утрату, что людей, подобных Павлу, по всей стране — по пальцам перечесть и что именно поэтому Павел много лет был его, начальника, правой рукой, — и оставалось непонятным лишь, почему он, начальник, путает отчество и величает Павла Петровичем вместо Ивановича. Пустячная оговорка не испортила дела: во всяком случае, я, слушая и попутно размышляя над тем, кем и что будет сказано у моего собственного гроба, в конце концов невольно прослезился...

— По горсти попрошу, — сказал могильщик, отступая. — Пожалуйте.

Я поднял комок осклизлой мокрой земли. Эта земля ничего не стоила. Ее нельзя было ни продать, ни заложить. Можно было только кинуть ее в темный прямоугольник могилы и услышать, как она гулко стукнет по гробу. Я так и сделал — бросил вслед за Людмилой и отошел на несколько шагов в сторону, вытирая пальцы.

Теперь у ямы снова теснились повязанные черными платками старухи. Были совсем древние — эти стояли парами, цепко держась друг за друга. Что помоложе, колготились, создавая живое колыхание. И те и другие одинаково жадно стремились заглянуть напоследок в темный зев разверстой могилы, как будто этот взгляд мог хоть на йоту прояснить их недалекое будущее. Я уже разобрался и знал, что все это — бесчисленные и разноюродные тетки и бабки Людмилы и покойной Ани: баба Таня, баба Варя, крестная Клава, тетя Нюра, тетя Маруся, крестная Шура, баба Лида — и еще, и еще, и еще: общим числом никак не меньше пятнадцати. Я заметил, что все они косятся на меня одинаково недобро и опасно, и догадывался почему: должно быть, во мне видели представителя другого клана. Они-то свои, семенихинские, со стороны своих кровных, Аньки да Людки Семенихиных, даром что девки замуж повыходили да фамилии поменяли — не важно, кровь есть кровь; а я чужой — шлыкковский. Да вдобавок еще и вовсе Капырин.

Земля громко стучала по крышке, а кругом было тихо, только издали от другой могилы, где тоже стояли люди, слившиеся из-за расстояния в неразличимую мелкую массу, доносился переливчатый двухголосый вой. После давешнего приступа зимы небо было удивительно низкое: слоистые тучи ползли на восток, и ветер, время от времени налетавший со стороны темного, обтаявшего леса, шевелил мокрые ленты на венках. Да-да-да — стучала земля. Да-да-да...

Могильщик пристроил охапку цветов на бугор и без раздумий порубил лопатой. Потом взял протянутую напарником железяку и воткнул в землю. Теперь их было две рядом. На первой, как и прежде, — «Шлыкова А. С. Уч. 3-754». На второй, новехонькой, — «Шлыков П. И. Уч. 3-754».

Людмила высвободила из матерчатой сумки четыре бутылки и поставила их возле могилы.

— Благодарствуйте, — сказал могильщик. — На помин души, как говорится. Земля пухом.

Я протянул деньги.

Все понемногу побрели к автобусу, шаркая, где можно, ногами об мокрую жухлую траву, чтобы сбить грязь. Вика по дороге села на железную скамью у какой-то оградки, опустила повязанную платком голову, стала задумчиво ковырять землю мыском стоптанного сапога. Одна из родственниц старух сердито крикнула ей, она нехотя поднялась и пошла дальше, часто озираясь.

Я тоже шаркал ногами по мокрой траве, когда услышал:

— А вы знаете, что у Павла есть акции?

— Что? — спросил я, поворачиваясь. — Какие акции?

Это была Антонина, председатель месткома, энергичная брюнетка в черном лоснящемся плаще.

— Как же! — По-видимому, она полагала, что время бесплодных сожалений миновало и пора переходить к делу. Оно, в сущности, так и было. — Как же! Десять акций! Мы же недавно стали акционерным обществом! Вы не в курсе?.. Вы можете оставить их у нас, и тогда с течением времени, — тут Антонина восторженно на меня посмотрела и, протянув руку, сделала пальцами такое движение, словно присаливала котлету, — понимаете? Дивиденды!.. А можете продать их экспедиции — мы купим. По номиналу. Плюс триста процентов на инфляцию. Деньги, конечно, не-большие, но...

— Нет, это уж лучше вы к Людмиле Сергеевне.

— Людмила?

— Она сама будет разбираться... как сочтет нужным.

— Но почему?

— Так удобнее всем. — Я пожал плечами. — Если надо, могу бумажку какою-нибудь оставить.

Антонина скривилась:

— Конечно, как хотите... вы не беспокойтесь. Как хотите. Людмиле Сергеевне — пожалуйста, что ж... как угодно...

Мы подошли к автобусу и остановились у дверей.

— Я еще хотела вот чего спросить, — сказала Антонина, помявшись. — Дело-то житейское, что уж... Вы ведь дачу Павла Ивановича будете продавать? Да? Будете? Вам-то ведь она не нужна?

— Дачу-то? — механически переспросил я.

Точно: еще и с дачей будет морока. Наследница — Танька. Стало быть, нужно ей звонить в Воронеж... или письмом разьяснить, что к чему... какая доверенность от нее требуется... Не забыть Людмилино имя... на вступление в наследство... и на всякий случай на право продажи.

— Ну да, — повторил я. — Верно. Еще ведь эта дача... — И добавил, вспомнив Павла: — Недвижимость.

— Вот я и говорю. — Антонина неожиданно рассмеялась и дурашливо замахала руками: — О-о-ой! Да что там за дача — ведь слова доброго не стоит! Да и не наездитесь вы из Москвы на эту дачу! Вы что! Двести верст! Это мыслимое ли дело? Да нет, ну что вы, ну что вы!..

Она была права: у меня и впрямь даже мысли такой отродясь не было — за двести верст на дачу ездить.

Я кивнул.

— Да, конечно... я же и говорю. Мне ни к чему совершенно. С этим то же самое: это уж теперь как Людмила...

— Какая Людмила? — Антонина распрямилась и вскинула голову: — Почему?

— Потому, что это теперь Людмилы Сергеевны дача, — пояснил я.

— Как же! Да ведь вы наследник!

Она раздражала меня, и я вдруг понял, что резкий запах цветочных духов не может перебить другого, от природы ей присущего, — такой бывает, когда мажешь старый пыльный картон густым казеиновым клеем.

— Ну если быть совсем точным, то не я. А дочь Павла Ивановича, Таня. Но ей-то эта дача точно как рыбе зонтик. Понимаете?.. В общем, вы с Людмилой Сергеевной поговорите. Всем этим она будет управлять.

Антонина легонько надула губы:

— Что мне с ней говорить? С ней поговоришь... как же! Нет, но как-то вы странно рассуждаете: рыбе зонтик... Как же так! Мы с Павлом Ивановичем когда еще договаривались... Честь по чести... он сказал, что подумает. Ему ведь она была не нужна, вы знаете? Он все жаловался — времени много отнимает, воруют часто! Нет, ну правда, зачем ему дача? Он, знаете, выпить любил все-таки...

Должно быть, она прочла что-то в моих глазах, потому что осеклась и отступила.

* * *

За окном автобуса скользили ряды могил... кресты, ограды... вот миновали ворота кладбища... потянулись облетевшие сирые деревья, которым теперь оставалось лишь ждать нескорой весны... потом тротуары и дома с глянцевыми мокрыми стеклами. Низкое небо висело над городом Ковальцом, равнодушно струя тусклый свет на его горбатые улицы. Я бездумно смотрел в окно. На душе было тяжело, а главное — как-то пусто: место, отведенное в ней Павлу, должно было ныне заполниться чем-то иным — а вот чем? и когда? Зеленый забор военной части менялся оградой парка, ограда парка — длинным-длинным прудом. Оловянная вода рябила, кое-как отражая пятнистое небо. Я подумал: как странно, что Павел напоследок думал о такой ерунде: какой-то там Чуйкин, пьяные шоферы, полевой стаж, пенсия... Стало быть, жизнь не кончается до последнего, а когда все же кончается, то уже некому это заметить. Если сейчас в автобус въедет самосвал, окажется, что я и сам за минуту до гибели думал о каких-нибудь пустяках — о Будяеве, о Ксении... нет, Ксения, пожалуй, — не пустяк... что еще не пустяк?

Я достал из кармана письмо и надорвал конверт.

«Сереженька, дорогой, здравствуй!

Большое тебе спасибо за посылку. Зачем ты так тратишься? Едва мы ее дотащили. Если бы не тележка, не знаю, что бы делали. Поезд приходит поздно, в городе совсем темно. Правда, не стреляли. Я ничего не боюсь, ты знаешь, но все равно немного страшно ночью ходить. Деньги я проводнику дала, сколько ты сказал, он был доволен. Зачем ты столько всего накупил? Нам на целый год хватит. Погода у нас хорошая, сухая. Самое время собирать хлопок. Весь пропадет, собирать некому, все воюют. А кто не воюет, боится. Соседка Шура, ты ее помнишь, говорит мне, зачем говорите — проклятый хлопок, он нас кормит. А я говорю, кого кормит, а кому всю жизнь изуродовал. Как вспомню, сколько я его собирала, мне дурно делается. Осенью вроде бы учиться, а нас всей школой в колхоз. Месяц и полтора месяца жили в полевых условиях. Днем жарко, ночью холодно. Москиты. Дети сами о себе как могут позаботиться? Чем я только там не болела. Малярия у меня была, гепатит. После шестого класса приехала вся больная, завшивела, мама едва со мной сладила. Что ты хочешь, тогда была война. И студенткой ездила, и уже работала. Несколько раз мы вместе с Павлом попадали, он ведь на два года младше. Я его опекала, следила. Да разве за ним уследишь, он всегда был шалопутный. Ничего не скажет — надо, и все тут. Вот и говори с ним. Как он там? Передавай ему большой, большой привет, скажи, мы его помним, думаем о нем. Пусть выздоравливает поскорее. Предложи ему к нам приехать. Поживет полгодика, поправится. Это все-таки не в Ковальце одному или с этой Викой. Тут и овощи, и фрукты. Арбузы полтора, помидоры четыре. Сухой воздух, это немаловажно. У него, наверное, нет денег. Откуда у него

после всех передрыг. Ну как-нибудь соберем на билет. Пусть оформляет пенсию и приезжает. Какой из него теперь работник. Поцелуй его крепко-крепко, пусть поправляется, он шлыкковский, крепкий. Целую тебя, звони. До свидания».

Я сложил письмо и сунул в карман. Двигатель гудел, стало тепло. За окном тянулись дома, дома, палисадники... люди шли по своим делам... кое-где уже светились окна. Мокрые крыши одноэтажных домов лоснились и поблескивали. Однажды мы зачем-то полезли на чердак. Я закрыл глаза и увидел перламутровую раковину пространства. Оно шумно взорвалось, оно разворачивалось хлопаньем крыльев и вихрями всклокоченного воздуха... воскрылий, пуха и помета... Я вскрикнул и схватил Павла за руку. Стая голубей с шумом вылетала в чердачное окно. Казалось, каждый из них, взлетев, мгновенно растворяется в ослепительном синем квадрате. Несколько перьев кружились и падали в полотно оранжевого света. Он сказал, улыбаясь в чердачном сумраке: «Ты чего? Испугался? Это голуби». На пыльном шлаке, хрустевшем под ногами, как бабушкины сухарики, лежали сизые комья. Я тронул один и понял, что это мертвый голубь: сухой и невесомый. «Павел, смотри! — сказал я. — Они мертвые?» Павел не отозвался. Я поднял голубя, держа перед собой на вытянутой руке. Голубь покрутил головкой, моргнул, а затем сказал гулко и многоголосо: «Ну слава богу, приехали!..»

— Слава богу, приехали... приехали, слава богу... вот уж приехали... слава те господи, приехали, — бормотали старухи.

Они клубились, появляясь из автобусного нутра клоками черного дыма. В подъездных дверях была открыта только одна створка — проломленная и висящая на одной петле, — и там тоже произошло небольшое стеснение.

25

Лицо почему-то горело, и было приятно чувствовать мелкие капли холодной мороси. Я стоял у гнutoй и ломаной металлической загородки палисадника, ожидая, пока старух всосет в подъезд. Окна лестничной клетки были где распахнуты, где просто разбиты. Двор горбился — дом стоял в низине, а на лысом бугре надрывно визжали качели. Изo всех окон торчали головы, наблюдая за нашим прибытием. Множество других, не наших, старух высыпало из дома. Они собрались кучками, стоя невдалеке, и от наших отличались только тем, что были одеты в цветное. Вчера я приехал за полночь, а спал вполглаза, то и дело оказываясь в бесконечно разматывающемся коконе беспокойных снов, и теперь мне казалось, что я смотрю на все через толстое стекло, глушащее звуки. Что такое двести километров? На машине три часа. Самолетом двадцать минут. Близко, близко... Но почему-то было трудно вообразить, что кроме кладбища города Ковальца и вот этого дома есть еще длинная-длинная лента дороги, змеящаяся с холма на холм, шумная сиреневая Москва, гарь проспектов, гул эстакад, дома, квартиры, «Свой угол»... и что еще вчера я не стоял здесь у ограды жухлого палисадника, глядя в старушечьи спины, а нетерпеливо смотрел то на часы, то на Марину, то на Коноплянникова, излагавшего свои соображения, то на Кирилла Анатольевича, у которого от соображений Коноплянникова глаза буквально лезли на лоб.

Коноплянников выглядел лет на сорок пять. Это был круглолицый и белокожий господин с большими залысинами и редкими светлыми волосами, аккуратно зачесанными на пробор. На носу сидели круглые очки в анодированной оправе, сквозь которые он и помаргивал серо-зелеными глазами. Одет Коноплянников был просто: темненький и давно не чищенный костюмчик, зимние ботинки на микропоре, серая кепка с пуговкой. В целом у него был такой вид, как будто из нафталина-то его вынули, а

встрягнуть руки не дошли. Говорил аккуратно, без спешки. Спросят что — отвечать не торопится, прежде подумает. Подумав, подробно ответит. Как правило, какой-нибудь глупостью. Разъяснит, что к чему. Почему он хорошее любит, а плохое — нет. Мне уж пора было ехать, меня дожидались долгие триста километров темной дороги, — но вместо того я сидел и выслушивал его безумные предложения... Должно быть, в нормальной жизни это был персонаж из тех исполненных здравомыслия граждан, что, пребывая в благодушном расположении духа, вечно сообщают всем известные с третьего класса вещи с таким видом, будто открывают заветные тайны; я так и ждал, что он, лукаво посмеиваясь и самым смешком этим норовя несколько разбавить серьезность известия, которое вот-вот имеет быть сообщено, признается, что Земля имеет форму шара. Однако сейчас ему было не до астрономии: он с самого начала казался немного взъерошенным, а теперь, когда пошла речь о процедуре передачи денег, и вовсе набычился — хоть на корриду, — что в совокупности с его невеликим ростом и довольно хлипким телосложением производило несколько комический эффект. Набычился — и изложил нам свой план.

— Так-то лучше будет, — сказал он затем. — А? Сами посудите.

Голос его звучал одиноко — присутствующие были ошарашены, и никто не раскрыл рта. А у Кирилла Анатольевича, судя по всему, и вовсе ум за разум заехал от коноплянниковских идей.

— Я считаю, так лучше всего, — повторил Коноплянников. — Банка прозрачная, все видно. Я сначала думал — в пакет в бумажный, заклеить как следует — и подписи... Только, знаете, ведь такие умельцы попадают... подменяют. — Поблескивая очками, он оглядел нас, пытаясь, видимо, предугадать, кто именно займется этим грязным делом. — И подписи подменяют, и все. И худого слова не скажут. Концов потом не найдешь. Откроешь — а там бумага. Кукла называется. Вон все время показывают. Я знаю. Я советовался. Поэтому лучше так. Я посчитаю все как следует... чтобы чин чином... без дураков. Потом мои тридцать восемь положим в банку. И закрутим. Ну, закатаем то есть. И все будут спокойны. Понимаете? Ведь удобно: в любой момент посмотрел — вот они, денюжки. Хоть вы посмотреть можете, хоть я. А в пакете — это, знаете, дело такое. Я рисковать не могу. У меня не десять квартир. Мы с женой посоветовались. Это, знаете, не шуточки. Мы вот так решили...

Говоря, Коноплянников расстегнул портфель и поочередно извлек из него, расставляя на столе, литровую стеклянную банку с неотклеенной этикеткой «Огурцы маринованные», новехонькую, солнышком сверкающую жестяную крышечку и никелированную машинку для консервирования в домашних условиях.

— Сейчас, — бормотал он, продолжая рыться в портфеле. — Где-то еще прокладочка... резинка такая... сейчас... минуточку...

— Ну просто бред, — сказал я, глядя на часы.

— Ничего не бред, — возразил Коноплянников, распрямляясь. — Да бог с ней, это ж не помидоры... Ничего не бред. Я консультировался... А на кой черт мне ваши банки? Я хочу квартиру продать. Понятно? Товар — деньги — товар, как говорится. Я не в банк хочу деньги положить, а в карман. Знаю я ваши банки. Сегодня положил, завтра пришел, а тебе — извините. Кладешь ты, а берут другие. Спасибо. Я уже клал. Я в «МММ» клал, в «Чару» клал... Мы с женой машину продали — и в «Чару». Понятно? Четыре месяца проценты получал. Двадцать процентов в месяц получал. И опять в «Чаре» оставлял. А какой дурак проценты возьмет? А потом — раз! Ни «Чары», ни денег, ни процентов. И машины нет. Ну и на кой мне ваши банки? Правильно? А тут все видно — стекло-то прозрачное. Верно?

— И кто же, по-вашему, будет ее хранить? — поинтересовался Кирилл Анатольевич, старший менеджер «Своего угла».

— А кто деньги получает, тот пусть и хранит, — ответил Коноплянников. — Чьи деньги? Мои деньги? Вот я и буду.

И победительно сверкнул очками на Марину.

— Ничего подобного, — сказала Марина. — Деньги ваши только после регистрации. А до регистрации — наши.

— Почему ваши?

— Потому, что мы платим за их квартиру, — она кивнула на меня, — а они нашими деньгами вам за вашу. Одновременно. Понятно?

Коноплянников недоверчиво пожевал губами.

— Почему мы вам свои деньги должны доверять? — запальчиво продолжала она. — А если вы до регистрации сбежите?

— Куда сбегу?

— Не знаю куда! Деньги в банку закрутите — и сбежите. Может, даже договор не подпишете — и до свидания. Тогда как?

— Вы мне не верите, что ли? — с детской обидой в голосе спросил Коноплянников.

— Дело не в том, что мы вам не верим, — морщась, сказал Кирилл Анатольевич.

— Нет, в этом! — настаивал он, краснея. — Почему вы мне не верите?

— А вы нам верите? — быстро спросила Марина.

— Верю! — отрезал Коноплянников. — Я-то верю! Я-то...

— Ну если верите, пусть деньги до регистрации у нас останутся.

Коноплянников помолчал, потом ответил:

— Не надо так... что за шутки? Мы же о серьезном говорим. Я консультировался. И права свои знаю...

— Вот именно для того, чтобы не было нужды никому верить, мы обращаемся к услугам банка, — наставительно сказал Кирилл Анатольевич. — Никто не должен никому верить. Банк сам обеспечит все усло...

— Почему я должен верить банку? — спросил Коноплянников.

Мы помолчали.

Кирилл Анатольевич вздохнул:

— Владимир Сергеевич, вы договор подписывали. Помните?

— Ну и что?

— Вы меня извините, бога ради, но, если не ошибаюсь, там сказано что-то в таком духе: «Исполнитель несет ответственность за проведение сделки и безопасную передачу вырубленных денег заказчику». Исполнитель — это мы. Заказчик — это вы. Припоминаете?

Кирилл Анатольевич производил впечатление чрезвычайно вежливого человека. Я слушал его интеллигентную речь, понимая, что все висит на волоске и волосок этот, похоже, вот-вот лопнет: я на коноплянниковскую банку не согласен, Марина тоже не согласится, а сделать что-нибудь с Коноплянниковым Кирилл Анатольевич не в состоянии. Слишком мягок. На него бы надавить сейчас как следует... а он будет морали читать. А что Коноплянникову мораль? Он упертый. У него свои идеи. Не сладит с ним Кирилл Анатольевич, не сладит... Тот еще деятель, этот Кирилл Анатольевич. Тоже фрукт. Два сапога пара. Такие любят рассуждать на тот счет, что не нужно пороть горячку. И еще бухтеть, что-де эти головотяпы тянут резину. Вот и будет он с Коноплянниковым рассусоливать...

— Да если вы не можете безопасно, что ж, я должен у вас на поводу! Это если б у меня сто квартир было! Тогда пожалуйста!..

— Мы это сейчас обсуждать не будем. Мы уже обсуждали, — говорил Кирилл Анатольевич бархатистым своим голосом. — Согласитесь, Владимир Сергеевич, для вас это совершенно не новость. Перед подписанием договора я вам все подробнейшим образом рассказывал. В частности про банк. Вы вспомните, Владимир Сергеевич, вспомните! Все я вам исчерпывающе доложил — как, что, почему. Даже демонстрировал банковские договоры... Разве не так? И вы со всем были согласны. А теперь...

— Я тогда не знал! А потом проконсультировался!

— А теперь выясняется, что у вас, оказывается, свои представления о безопасности. Не такие, как у нас. И отлично. Это ваше право. Я только хочу вам напомнить, что в соответствии с другим условием договора вы, в случае расторжения одного по вашей вине, должны выплатить неустойку. Припоминаете?

— Да почему же по моей?!

— А по чьей? Мы-то готовы выполнить свои обязательства.

— Да какие же обязательства, когда вы меня в банк?! Вы что?! Смейтесь?! Неустойка еще какая-то. Да не дам я вам никакую неустойку. Еще чего! И не думайте. Вы как мои интересы-то защищаете? В банк меня суете. А я не хочу в банк. Это что — интересы защищать? Неустойка! Ни копейки на заплачу. Вы что же думаете, на вас управы нет?

— Да почему же не заплатите, если у нас в договоре? — удивлялся менеджер, недоверчиво улыбаясь: мол, сами посудите, как странно! — Заплатите.

— Что, судиться, что ли, станем? — спросил Коноплянников помолчав. — Давайте.

Кирилл Анатольевич огорченно покачал головой:

— Да зачем же судиться!.. что вы! мы в таких случаях не судимся! Что вы, Владимир Сергеевич! Бог с вами! — Затем нажал на клавишу селектора: — Лизонька? Попроси ко мне из юридического... да, обоих... спасибо.

Откинулся в кресле, негромко рокоча:

— Что вы, Владимир Сергеевич!.. нам судиться-то некогда. Судиться — это когда есть какие-нибудь сомнения... Понимаете? А в данной ситуации какое сомнение? Видите ли, у нас-то с вами случай совершенно бесспорный, потому что в договоре все это однозначно отражено. Если бы возникла хоть маломальская неуверенность в части несправедливости нашего отказа в отношении ваших требований, то, разумеется, мы бы... ага, вот и они! Прощу!

Дверь резко и широко раскрылась. Вошедшие были чернявы и молоды. Один — нормального человеческого роста, но необыкновенно широкий в покатых борцовских плечах. Другой — на две головы выше, сутуловатый, с длинными обезьяньими руками; плешивая смуглая голова в шрамах; физиономия тоже не без отметин; ломаный нос корявой картофелиной. Именно он-то, недобро глядя исподлобья, и спросил глухим тяжелым голосом:

— Звалы, Кырыл Анатольч?

В ту короткую паузу, что случилась между обвальным гудением его голоса и тут же пушисто покотившимися словами Кирилла Анатольевича, мне вдруг послышалось, будто где-то недалеко почти беззвучно лопнула туго натянутая струна: трень! Или что-то в этом роде: брень!.. Я даже вздрогнул и невольно оглянулся, но увидел только перекошенное лицо Коноплянникова.

— Да, да, заходите... Нугзар, тут некоторые разногласия у нас возникли, — мягко пояснил менеджер. — В отношении неустойки. Нужно разъяснить клиенту те положения договора, кото...

— Не нужно, — сдавленно, но твердо сказал Коноплянников.

— Не нужно? — удивился Кирилл Анатольевич. — Ну, не нужно так не нужно. М-м-м... тогда все... Да, Ашот, уж если вы здесь... что там у нас с Регистрационной палатой? Насчет микляевской сделки?

— Завтра с инспектором встречаюсь, — пробасил широкоплечий.

— Ага... Ну хорошо. Пожалуйста, не тяните с этим делом. Спасибо, не задерживаю.

Дверь за ними закрылась.

Все помолчали.

— А тогда напишите мне расписку, — сказал Коноплянников, блестя стеклами то на меня, то на Кирилла Анатольевича. — Если вы меня силой в этот банк. Расписку, да. Мол, так и так... если вдруг что по вине банка... и я не получу указанную сумму... вы сами мне ее должны. Напишите? А иначе я не согласен. Не согласен я. Кто будет виноват? Знаю я эти банки. Нет, не согласен... Заплачу я вам неустойку... черт с вами... и все — до свидания!

26

В подъезде голоса звучали гулко, как в бане. Старухи поднимались медленно, передыхая. Несколько мужиков шли последними, по-свойски подбадривая их негромкими шутками.

Павел давно уехал из дому и прожил в Ковальце почти тридцать лет. Разумеется, с годами его жизнь переплелась с жизнью этих людей — с кем-то он породнился через Аню, с кем-то был просто дружен и близок душевно. Их было много, и не возникало сомнений, что при случае они и без меня бы отлично справились; и что не они мне помогли сегодня, а я им. Единственное, что связывало нас, — это Павел; а Павла мы час назад оставили в могиле, мокнувшей теперь под мелким холодным дождем; и эта связь распалась. Мое участие в надвигающемся словно грозная туча торжестве было не обязательным. От них исходил ток смутной враждебности, я был для них чужим, и как они тяготили меня, так и я тяготил их; и конечно же в глубине души они были бы рады, если б я оставил их в своем кругу.

Я и сам чувствовал себя совершенно лишним. Мне было бы лучше сейчас оказаться одному или по крайней мере с кем-нибудь из близких — из тех людей, которые способны хотя бы смутно вообразить себе, что я тоже жив, тоже чувствую боль и мое дыхание тоже ненадолго оставляет влажное пятно на холодном стекле бесконечной ночи. Мне было бы лучше горевать в одиночку — горевать свое собственное горе; да, горевать свое и не делить его с ними — потому что в их взглядах читалось, будто я что-то у них отнимаю.

Однако было бы глупо пытаться обнародовать свои чувства: я бы только смутил этих людей и расстроил течение поминок.

А уехать я все равно не мог, потому что был здесь единственным, в ком текла общая с Павлом кровь.

В коридоре было не протолкнуться: все хотели мыть руки.

На лестничной площадке тоже народу хватало. Я пожалел, что не курю. Нашлось бы тогда хоть какое занятие. Переговаривались вполголоса. Все уже думали о застолье, нервно ловили ноздрями запахи, долетавшие из квартиры. Только высокий, статный и розовощекий милицкий майор — должно быть, тот самый Валька Семенихин, с которым Павел был дружен и который, будучи двоюродным братом Ани, одалживал ему деньги на ее похороны, — оживленно болтал с каким-то толстяком. Вот толстяк рассмеялся и громко сказал: «Ему машина — как телеге пятая нога: неделями не просыхает!..» Сосед Михаил Герасимович, мастер по бобышкам (он был парадно одет, при галстукe), увидел меня, обрадовался и стал подробно рассказывать, как утром сколачивал лавки для поминок. Выражение лица у него было тревожное — похоже, Михаил Герасимович боялся, что, несмотря на эти лавки, за стол его все-таки не позовут. Несколько черных старух сгрудились на ступеньках, переговариваясь. Еще одна торопливо протискивалась к ним из квартиры — так, словно несла важную и не терпящую отлагательства весть; и точно — прижала, как всегда, ладони к щекам, вытаращила блеклые глаза и громко прошептала с выражением священного ужаса на морщинистом лице:

— А колбасы-то!.. А огурцов!..

Старухи вновь заколыхались.

— Что, баб Кать, больно богато, что ли? — спросил майор посмеиваясь.

— Ой, богато! Ой, богато! — качала старуха головой, не отнимая ладоней от щек. — Это ж куды: ломится!

А другая заметила, поджав губы ниточкой:

— Аньку-то нашу так не поминали.

Посмотрела на меня, негромко фыркнула и отвернулась.

Майор бросил окурочек, растоптал каблук и сказал с широкой улыбкой:

— Ну ничего, баб Кать, ничего... Шлыкские — они богатые, видишь.

И снова рассмеялся, не глядя в мою сторону. Потом наклонился к толстяку и принялся что-то негромко ему втолковывать.

Одна из старух держала за руку одетого в хороший свежий костюм и белую рубашку, повязанную черным галстуком, худого парня лет восемнадцати, с очень внимательным взглядом красивых серых глаз и непропорционально большим и острым кадыком на тонкой шее. Иногда она что-то спрашивала, и тогда юноша неторопливо и, кажется, очень обстоятельно отвечал, помаргивая и клоня к ней голову. Он не делал попыток уйти от нее; наоборот, когда старухе запонадобилось в квартиру, парень потянулся за ней, держась за рукав.

— Вы чего тут? Бросайте, бросайте ваши вонючки! Валентин! Степан! Вы чего как просватанные? Сергей! Давайте-ка! Давайте!..

Хозяйством ворочала Людмила, возглавлявшая команду из нескольких ражих родственниц. Комнату перегораживали невесть откуда взявшиеся столы, сдвинутые и накрытые где клеенкой, где полиэтиленом. Теснились стулья, собранные по соседям. Скамейки, сколоченные Михаилом Герасимовичем из каких-то старых досок, выглядели добротно. На столах плотно стояли разнокалиберные тарелки и рюмки.

Людмила командовала:

— Ну что же вы! Что же вы! Ну проходите! Евгений Александрович! Ну что же вы! Валя! Ну что же ты! Проходите! Проходите к дивану! Евгений Александрович!..

Сначала усаживали начальника и главного инженера — того самого толстяка, с которым курил Валька Семенихин, потом и самого Вальку Семенихина, милицейского майора (он напустил на лицо траурной серьезности, но розовощекости не утратил). Потом прочих, поплоче — все больше суровых костистых мужиков в корябщихся пиджаках и немолодых женщин в шерстяных или мохеровых кофтах. Потом старух, одна из которых посадила рядом с собой своего парня, а потом уже Михаила Герасимовича, соседа.

— Ну что же ты! — неожиданно сухо сказала Людмила. — Что же ты! Как чужой! Иди сюда! Михал Герасимыч! Ну-ка подвинься!

И усадила меня между ним и несамостоятельным юношей в хорошем костюме.

Слышалось многоголосое бормотание, позвякивание ложек о тарелки. Одна из Людмилиных помощниц разносила кутью, другая — холодные блины. Сразу несколько мужских рук занимались бутылками. Старухи в большинстве своем не возражали, чтобы им наливали допона.

Вика сидела почти напротив, и я поймал взгляд, которым она смотрела на бульгающую водку. Сосед потянулся горлышком к рюмке — лицо ее просветлело и вспыхнуло, — но тут зоркая Людмила прикрикнула:

— Ты чего это! Ну-ка, Володя, убери! Не надо ей! — А потом вдруг махнула рукой и сказала: — А! Ладно! Ради такого дня! Один отчим-то у тебя был, дура! Больше не будет!

Постепенно звуки мельчали, а бормотание стихало. Первыми выжидающе замолкли мужики: на тарелках у них ничего, кроме блина и ложки кутьи, не было, а рюмки они уже цепко держали крепкими волосатыми

пальцами; и, посмотрев на одного из них, я вдруг отчетливо вообразил себе то захватывающее ощущение, которое он скоро переживет: длинный выдох сквозь оттопыренные влажные губы, косящие вправо-влево глаза и нерешительные круги, совершаемые вилкой над столом в поисках чего-нибудь солененького.

Замолчали и женщины: у большинства тарелки были полны, и они, горестно потупившись, смотрели в салат.

Кто-то откашлялся. А кто-то сказал:

— Да... Вот так...

— Ну что же... — вздохнул толстяк инженер. — Евгений Александрович! Может быть, вы?

Начальник поднял рюмку и сам вместе с ней поднялся. Все, кроме двух самых древних старух, тоже взяли свои рюмки и поднялись. Начальник смущенно обвел глазами лица. У самого у него физиономия была просто-таки кумачовая. Он неловко начал говорить — запинаясь, с повторами, — и вдруг я понял, что и впрямь они с Павлом давно были знакомы и дружны, и отчество он путал как раз потому, что Павел ему был именно что Павел или даже Паша, а вовсе не Павел Иванович, а сам он Павел — никакой не Евгений Александрович, а просто Женька. Он говорил, а меня охватывало странное чувство отрешенности: предметы расслоились, и там, где был блеск стекла или металла, теперь стояло радужное марево; и казалось, что в этом пространстве, измененном словами красноречевого начальника, возможно очень многое — и даже такое, что Павел сам сейчас слушает, что о нем здесь говорят. И если это так, то конечно же он должен был смотреть на нас как на детей, испуганных надвигающейся темнотой и пока еще не понимающих истинного ее смысла. Почему-то я вспомнил, как мы шли сквером и спорили. «Да ну, — говорил Павел. — Ты же скелет! Я в твоём возрасте знаешь как бежал?» Я протестовал. «Ты что! Почему я скелет? Я знаешь как бегаю? Ну давай я побегу! — горячился я. — Хочешь? Давай! Вон дотуда — хочешь? До фонтана — хочешь? Вот увидишь! Засекай!» Павел поднес к лицу запястье с часами: «Три... четыре!..» Я ринулся вперед, рассекая воздух локтями и часто-часто шлепая по асфальту задниками кожмитовых сандалет... я бежал изо всех сил — бежал, бежал, бежал... просто никогда так быстро не бежал! Примчался к фонтану и сел на скамейку, совершенно запыхавшись. Павел подошел и сказал: «Пятнадцать... ну и что ты сидишь? Кто же так бегаёт? Чуть пробежал — и уже сел! Тоже мне беготня. Пошли, не рассиживайся...»

— В общем, пусть земля ему пухом, — сказал начальник и махнул рюмкой. Глаза у него были мокрые и красные.

Стало тихо.

По написанному регламенту поминок после окончания его речи и до того момента, когда кто-нибудь непременно начнет предостерегать испуганным шепотом: «Не чокаться, мужики! Не чокаться!..», должно было пройти две или три секунды гробового молчания. Эта во всех отношениях тяжелая пауза призвана показать, что, во-первых, все еще раз тяжело осмысливают случившееся и, во-вторых, вообще никакой спешки в смысле выпивки нету: не для веселья пьем и не для радости, а для того лишь, чтобы исполнить долг; не нами заведено, не нам и отменять; как ни противно подносить ко рту эту гадость, а все ж таки долг есть долг; и поэтому мы, конечно, выпьем на помин души усопшего, — непременно выпьем, непременно, — дай только срок пересилить к ней, к проклятой, нескрываемое отвращение.

Эти две или три секунды не успели протечь. Боковым зрением я заметил какое-то движение и рефлекторно скосил взгляд. Стоящий справа от меня юноша зачем-то наклонил рюмку и аккуратно лил из нее водку мне в тарелку. Смотрел он при этом вовсе не туда, куда лил водку, а под стол. Я успел взглянуть и под стол — там ничего интересного не было. Я дога-

дался было, что ему, наверное, неудобно отказаться, а пить не хочется; и что он избрал вот такой способ избавиться от водки; непонятно было только, почему юноша предпочел мою тарелку своей. Но в эту секунду он, и без того высокий и прямой, выпрямился еще пуще — даже прогнулся в пояснице, — с нечеловеческой, с лебединой гибкостью свернул шею, и я поймал безумный взгляд его разъехавшихся в разные стороны глаз; а рюмка в подрагивающей руке коснулась тарелки и с хрустом лопнула. Юноша клонился все круче, не выпуская из побелевших пальцев то, что осталось от рюмки, — и осколок медленно елозил по мокрому фаянсу, издавая леденящий скрежет.

— Держи ж ты, ирод! — закричала бабка, заметив, что бьющееся тело внука, несмотря на мои усилия, сползает на пол.

Все вскочили.

— Витенька! — диким нутряным голосом закричала Вика. — Витенька, не умирай!..

Это был заурядный (если не считать того, что он случился крайне не вовремя) эпилептический припадок со всеми свойственными ему особенностями и протекавший в обычной атмосфере испуга, растерянности и суматохи, когда самые брезгливые отворачиваются, самые разумные бегут звонить в «Скорую», самые решительные суют карандаш между стиснутыми зубами, самые чувствительные заполошно визжат, а самые близкие норовят довершить начатое недугом дело своими командорскими объятиями. Как все припадки, он кончился через две или три необыкновенно долгих минуты. Больного перенесли в другую комнату и положили на кровать, где он тут же погрузился в беспробудный сон. С полу подтерли; женщины стояли кучками по углам, держа платки у ртов и однообразно бормоча друг другу что-то вроде «ушс-ушс-ушс-ушс»; курящие успели перекурить на лестнице; вызванная «скорая» не ехала, да, похоже, и необходимость в ней отпала; делать было больше нечего.

— Ой, а картошка-то! картошка! — воскликнула Людмила и побежала на кухню проверять картошку.

Помявшись, стали вновь безрадостно рассаживаться.

Первую выпили вразнобой. Оно было и объяснимо: кто-то успел махнуть раньше, еще до событий (эти сейчас смущенно доливали себе и молчком повторяли, чтобы не сидеть дурак дураком), кто-то до событий не успел, поэтому быстро выпил сейчас и под шумок, пользуясь тем, что прежде выпившие тянулись к бутылкам, тоже налил себе полную.

Наступила тишина.

— Вот так, — пробормотала одна из старух. — Живешь-живешь, а потом на тебе.

Все посмотрели на нее с ожиданием — быть может, продолжит и скажет о покойном еще хоть что-нибудь такое, подо что можно честно поднять рюмку.

Старуха жевала беззубыми деснами и молчала.

— Да уж, — пояснила вторая.

— Не каждый день такое, — сказала еще одна. — Жизнь есть жизнь.

И, поджав губы, посмотрела на меня.

Старухи говорили шепотом, словно не желая мешать; поскольку остальные заинтересованно слушали, все было отлично слышно.

— Эх, Витя, Витя... Смолоду здоровья нет. При такой-то зверье жизни нужно оно, здоровье, ох нужно...

Над столом пронесся легкий вздох разочарования — теперь уже все поняли, что старухи толкуют не о Павле.

— Перенервничаешь тут, когда у родной двоюродной дачу отымают... — заметила следующая; впрочем, может быть, это была одна из предыдущих — черт их разберет.

— Ой, а Викушечка-то, ой бедняжка, ой кровиночка!.. — запела самая древняя. — Это ж сколько сил она на них положила, и вот: ломалась, ломалась, а дача-то и не ее!.. А эти-то, эти-то! Как совести хватает!

Людмила вышла из кухни, я поманил ее к себе, и она машинально наклонилась, еще не зная, в чем дело.

— Да уж... — пробормотал один из мужиков, недобро косясь на меня пока еще относительно трезвым взглядом: похоже, я раздражал его уже тем, что отвлекал на себя внимание и не позволял никому сказать ничего такого, подо что можно было бы выпить. — Мы законы знаем... Закон-то дышло, а ни шиша не вышло... Кто смел, тот и съел... а ты потом расхлебывай... Тут уж, как говорится... да уж... кто где, а не куй сгоряча...

— Слушай, — торопливо сказал я ей на ухо. — Ну ты бы объяснила своим!.. Никто ни у кого ничего не отнимает. Дача — твоя, как хочешь, так и распоряжайся. Через полгода оформим документы. Ну нельзя раньше, что я могу сделать!

— А зачем ты смертную просил?! — вскрикнула она, распрямляясь, сверкнула взглядом и вдруг закрыла лицо ладонями и провыла сквозь них: — Заче-е-е-ем?

Смертной называли они загсовское свидетельство о смерти.

— Господи, да при чем же тут? — оторопело спросил я, озираясь. — При чем тут смертная?..

...Не прошло и часу, как я уже неспешно ехал на север по узкому и разбитому Федоровскому шоссе. Свет фар прыгал по горбатуму асфальту, продавленному колесами больших грузовиков. У меня было легко на душе, и я думал о том, что теперь поеду в Ковалец на сорок дней... наверное, будет зима... Может быть, занесет снегом. Но я помню номер: 3-754. Как-нибудь найду... А следующей осенью нужно будет поставить на могиле памятничек... пусть небольшой... Фары рвали темноту, и казалось, что она висит ключьями по сторонам — а это были лапы сосен, подступивших к дороге. Шоссе петляло, но до поворота на Москву оставалось совсем немного. А уж от поворота дорога становится просторней и глаже... Все кончилось, все было позади — вскрики, гам, слезы Вальки Семенихина, лицейского майора, нежданно-негаданно бросившегося лицом в тарелку со словами: «Мы им сколько!.. мы им сколько!.. и если они!.. если они теперь!..»; изумленная кирпично-красная физиономия начальника (дар речи он потерял сразу после начала припадка, случившегося с юношей в хорошем костюме, а в дальнейшем только кричал и тряс головой); нелепые мои попытки что-нибудь объяснить, шум, гам, тарарам — и гробовая тишина после слов: «Ну хорошо, я тогда, пожалуй, поеду». Недоуменный ропот; старухи, отводящие глаза и подносящие краешки черных платков к непреклонно поджатым губам; бесконечное повторение одного и того же: «А выпить-то?! Ну как же не выпить?! Да ты что?!»; ледяная бутылка водки, которую Людмила силой совала мне в карман; ее заплотные выкрики: «Да вы чего?.. Да разве я бы без него?! без Сережки?! Вы чего?! Да ведь он!.. Да ведь я!..»; чье-то сожалеющее бормотание: «Вот как оно нехорошо вышло-то... вот как...»; неожиданное объятие Вики, которая со слезами, как всегда торопливо и скомканно, проговорила мне: «Уж ты не сердись, пожалуйста... Приезжай, приезжай на сороковины!..» — все это было позади. Ну при чем тут смертная, думал я, обезжая очередную колдобину, ну при чем тут?.. Что ж, выходит, Людмила мне так и не поверила? И никто из них не поверил? И теперь они долгих полгода будут мучительно ждать разрешения своих сомнений — волноваться, обсуждать, беспокоиться, строить робкие планы, гнать от себя надежду, которая может обернуться разочарованием?.. Но я же сразу, сразу сказал! И повторял потом как попугай одно и то же... Так и не поверили?.. Боже мой, боже мой!.. Все кончилось, я рулил, обезжая ямы, усталые колеса прыгали на неровной дороге; я заправился при выезде на трассу. Они толклись у меня перед глазами

все вместе и по очереди: старухи в черных платках, костистые угрюмые мужики, женщины с печальными глазами; меня не покидало ощущение, что они все еще стоят у подъезда, недоуменно глядя вслед давно померкшим габаритным огням, стоят безмолвной гурьбой, обратив мне вслед тяжелые лица едоков картофеля, стоят молчаливые и отчужденные — так, словно между ними нет ничего общего, — а на самом деле крепче любых объятий связанные током общей крови.

27

Мне и хотелось увидеть Ксению (почему-то чудилось, что именно она сможет разогнать морок последних дней), и не хотелось этого — я с тяжелым чувством подозревал, что ничего хорошего из нашего свидания не выйдет. Однако хотел я этого или не хотел, я должен был повидаться с ней как минимум еще раз — на сделке. Да вот только именно до сделки мы никак не могли добраться.

У всех все было наготове: время, желание, документы. Оставался сущий пустяк — деньги Ксении.

Без малого неделю участники комбинации стояли на низком старте, ожидая сигнала, — а пистолет все не стрелял. Будяев бессовестно ныл, повторяя как заведенный, что у него сердце не выдержит напряжения, пока я не сказал, разозлившись, что, если услышу об этом еще хоть слово, погоню его не только к нотариусу, но и в банк, и в департамент... Позванивал и Кирилл Анатольевич, менеджер из «Своего угла», — мол, когда же? Мне и самому было чрезвычайно интересно — когда? Я отвечал привычно: как только, так сразу.

Все это меня раздражало, нервировало, бесило и доводило до белого каления — но ни в коей мере не удивляло. Что удивительного? Так и должно быть. Всякий сведущий человек скажет, что сделка с недвижимостью вообще совершиться не может. На это есть целый ряд фундаментальных причин. А случаи, когда она все же доходит до благополучного окончания, можно объяснить исключительно вмешательством высших сил. Ну и что удивляться, что высшие силы не торопятся? На то они и высшие — им виднее.

В первом часу ночи я все еще сидел у телефона, злясь и нервничая. На утро была предварительно назначена встреча в банке «Святогор». Сейфы зарезервировали. Как всегда, дело оставалось за малым. Однако Марина до позднего вечера никак не могла поймать Ксению, чтобы получить подтверждение ее готовности.

В двадцать две минуты первого я вздрогнул от телефонного звонка.

— Дозвонилась, — сказала Марина. — Черт ее где-то носит. И мобильный был выключен. Только-только домой вернулась.

— Да бог с ней-то, с деньгами что? Готовы деньги?

Марина помялась:

— Не знаю...

— Да ты же звонила!

— Звонила... а что толку? Она говорит, у нее ничего нет.

— Чего ничего?

— Вообще ничего.

— Бог ты мой! А что есть?

— Не знаю...

— И денег нет?

— Не знаю. Она сказала: ничего.

— В каком смысле — ничего? Да что ж такое-то, елки-палки! Ну ты спроси, спроси конкретно: деньги-то у нее есть?

— Я спрашивала.

— Ну?

— Она расплакалась и говорит: у меня вообще ничего нет.

Я невольно выругался.

— Ну и что теперь?

— Не знаю.

Мы помолчали.

— Нет, ну все-таки, что это значит? Что это значит на человеческом языке: ничего? Нет у нее денег, что ли? Не будет завтра сделки?

— А черт ее знает, — сказала Марина. — Я больше не могу с ней. Это ужас. Она нервная такая... у нее неприятности. Знаешь, как достала? Я с ней как с больной, честное слово. Я ей говорю — задаток пропадет, а она: что задаток, когда у меня жизнь пропадает... И так равнодушно все. Я не знаю про деньги. Деньги-то, я думаю, у нее есть... только она не может сосредоточиться. Неприятности у нее там. Любовь, — вздохнула Марина и, судя по звукам, стала прикуривать. — Понимаешь? Любовь.

Я хмыкнул.

— Понимаю. Еще бы не неприятности. Это большие неприятности. Может быть, даже — максимальные... А у нас у всех будут большие приятности. Необыкновенно большие. Просто огромные. Полопаемся все от счастья... И, между прочим, у «Своего угла» еще покупатели на коноплянниковскую квартиру есть... я вот сейчас упустил ее по вашей милости... по Ксениной... черт бы ее побрал!.. а потом ведь не найду! Так всегда: если прошляпил из-за какой-нибудь глупости — все, хоть общись — нету.

Марина почмокала, помолчала. Помолчав, тупо спросила:

— Ты про задаток, что ли?

Ей, конечно, тоже во всем этом радости было мало.

— Я про все. И про задаток тоже. Нет, ну интересно! А про что еще? Про любовь?.. Конечно, про задаток. Какая, к черту, любовь, когда задаток пропадает?

— Не говори, — вздохнула она. — Там ведь вот что. Там этот ее мужик... бизнесмен этот... в общем, я толком не пойму, но похоже, что он ее совсем бросил. Они уже давно ругались. Она мне все жаловалась — мол, то да сё... он такой сложный... с ним трудно... А теперь — вот. Теперь не трудно, потому что он отвалил. И с концами. А она его любит. Я так понимаю, раньше им квартира нужна была, чтобы, ну... ну, жить вместе, короче говоря. А теперь он ей эти деньги вроде как вместо отступного дает. Мол, на, только ко мне не вяжись... Они долго вместе были... она говорила. Года два, что ли. Понимаешь? Она переживает. Она рассчитывала, что это временно. А оно вон как обернулось. Нет, я точно-то не знаю... Она думала, вот он из Франции приедет, и тогда они...

— Подожди, так он приехал?

— Приехал.

— Значит, деньги есть?

— По идее, есть, — вздохнула Марина. — Но от нее не добьешься. Нет у меня ничего — и все тут. Вообще ничего. И рыдает. Вообще, говорит, ничего нету... Потом трубку бросила.

— Это цирк, — сказал я. — Цирк с конями и клоунами. Глотание огня. Шапито. Прыжки на батуте. Что угодно, только не торговля недвижимостью. Значит, так. Я сейчас звоню этому Кириллу Анатольевичу — и все отменяю к чертовой бабушке. А то припремся все в «Святогор» спозаранку, а денег нет... Вот удовольствию. Лучше уж тогда на послезавтра.

— Подожди, — сказала Марина со вздохом. — Давай-ка я еще раз попробую. Через минуту перезвоню.

Перезвонила через пятнадцать.

— Есть у нее деньги... Господи, ну все жилы она мне вымотала!

— Точно есть?

— Точно. Пожалуйста. Главное, представляешь, говорит: ой, Марина, да что вы все с этими деньгами!.. Ну ты прикинь! Что вы все с этими деньгами!.. Мы на ушах из-за нее стоим, а она вон чего — что вы все, Марина, со своими деньгами!..

* * *

Ксения опоздала минут на сорок.

Мы стояли под несильным дождем у входа в депозитарий. Марина курила, глядя в сторону арки, откуда должна была показаться машина. Я торчал истуканом под зонтом, совершенно ни о чем не думая, — надоело нервничать. Саша Панкратов из «Своего угла», подняв воротник, невозмутимо прохаживался возле нас, задумчиво помахивая кейсом. Коноплянников задавал вопросы.

— А может, она не приедет? — спрашивал он каждые три минуты. — Нет, ну разве так дела делаются? Так не делаются дела. Почему она опаздывает?

Марина сначала отвечала ему сквозь зубы — де, в пробку каждый может попасть, — потом совсем отвернулась и даже отошла на несколько шагов, чтоб не раздражал.

— Нет, это несерьезно, — толковал неугомонный клиент «Своего угла». — Так дела не делаются. Разве дела так делаются? Это что же? Разве можно опаздывать? В таком деле опаздывать нельзя. Я понимаю, пустяк какой-нибудь. Тогда можно опоздать. На минуту, на две... я понимаю. Я сам иногда опаздываю. На минуту, на две. Не больше. На минуту, на две — это дело другое. Бывает. На поезд два раза опаздывал. Но не надолго же! — на две минуты буквально. На две минуты — и то не догонишь. А тут что? Куда это годится — на полчаса! — Он фыркнул и повторил: — Нет, так дела не делаются.

Я спросил зачем-то:

— А как делаются?

— Как делаются? — удивленно переспросил Коноплянников. — Нет, ну, четкость же должна быть! Это что же? Не в игрушки играем...

Я пожал плечами. Уж какие тут игрушки. Но мне, в общем-то, было все равно. Получасом раньше или позже — лишь бы приехала. И с деньгами. Будяевых я застращал накануне до полуобморока — чтобы не опаздывали к нотариусу. Все документы, включая паспорта, у меня — поэтому они ничего не забудут. А то, что посидят немного в конторе, нас дожидаясь, — так не беда. Там прохладно, креслица... Клавдия Андреевна чайку предложит — если они, конечно, признаются, по какому делу заявили и кого ждут... В департамент до обеда не поспеем — да и черт бы с ним. После обеда приедем. Сегодня регистрацию не пройдем — тоже ничего. Завтра кончим. Время не имеет значения. Имеет значение только сам факт — пусть привезет деньги. Это раз. И пусть подпишет договор — это два. Все.

— Да, — твердо сказал я, чтобы только он не смотрел на меня как баран на новые ворота, ожидая одобрения своих оригинальных идей. — Конечно. Что вы! Так дела не делаются.

И как бы невзначай отошел на всякий случай подальше...

Когда черная «хонда» показалась в арке, у меня заколотилось сердце. Но не только от радости, что сделка, похоже, все-таки состоится.

Всплеснув руками, Марина двинулась навстречу.

— Я же говорю: пробка! — сообщила она, когда они вместе подошли к нам. — Все, все, пойдете! Сергей, звони!

Все, время затикало иначе. Нервно так: тик-тик-тик-тик!

Ксения скованно улыбается; бледна, под глазами синяки. Бедная. Но мне сейчас не до тебя. Извините. Сделка. Поехали. Я с сожалением отвожу от нее взгляд, поворачиваюсь к дверям и нажимаю кнопку.

— Слушаю, — помедлив, говорит резонирующий голос.

— На сделку, пятеро...

Щелкает замок.

Входим в предбанник. Захлопываю внешнюю дверь. Черный глазок телекамеры изучает нас не моргая. Я смотрю не на Ксению. Секунд через десять молчаливого ожидания слышится щелчок замка второй двери — он жестче. Поворачиваю крестообразный штурвал запора, с усилием тяну полутонную дверь на себя.

Коноплянников первый шагает вперед, первый же обнаруживает глядящую на него дыру автоматного ствола. Невольно шарахается. Бывает. Депозитарий «Святогора» вообще производит сильное впечатление. Особенно когда приходишь впервые.

— Все металлическое из карманов на тумбочку... сумки тоже на тумбочку, — говорит охранник.

Спускаемся на два десятка крутых ступеней. Коноплянников озирается. Выложив ключи, прохожу сквозь арку металлоискателя. Охранник копается в сумке.

— Пожалуйста, — говорит он, когда я возвращаюсь. — Проходите.

Снова прохожу металлоискатель — уже с ключами и сумкой. Зуммер ноет.

За мной Ксения. Потом Марина. Панкратов. Все в порядке.

Коноплянников оказывается последним. Шагает в арку. Загудело.

— Посмотрите в карманах-то, — недовольно говорит охранник. — Ключи, монеты. Телефон. Калькулятора нет?

Калькулятора нет. А зуммер выходит из себя.

Коноплянников снимает плащ и комом бросает на тумбочку. Шарит в пиджаке. Ничего не найдя, с обрадованной улыбкой движется вперед.

Неудача.

— Владимир Сергеевич, вы пиджак снимите, — сдержанно советует представитель «Своего угла».

— Может, разуться? — огрызается Коноплянников.

Но пиджак снимает.

Зуммер не успокаивается.

— Пули в голове нет? — весело шутит охранник. — На войне не были?

— Что ж такое-то, господи? — спрашивает Коноплянников.

Я говорю негромко:

— Гвозди бы делать из этих людей.

Чувствую взгляд Ксении. Поворачиваюсь — точно: смотрит на меня с едва заметной улыбкой.

— Штаны я снимать не буду! — взвинченно говорит Коноплянников.

— И правильно, — бурчит Марина. — Этого нам только не хватало.

Охранник ставит его перед собой и обмахивает ручным детектором.

— Идите, — вздыхает охранник. — Еще бывает, протезы звенят...

Снимаю трубку наборного устройства и, закрывшись плечом, быстро набираю код — двадцать две цифры. Похоже, не ошибся — через несколько секунд в трубке начинает приветливо пиликать.

Щелчок следующего замка.

Опять крестообразный штурвал... полутонная дверь... глухое помещение, залитое безжизненным светом люминесцентных ламп... закрыть первую, тогда сработает запор второй двери... снова штурвал... все, пробрались.

Еще один автоматчик. Довольно просторное помещение. Несколько конторских стоек. За главной — мерцание мониторов, стеллажи.

— Пожалуйста, проходите.

Приветливый клерк в бело-синей форменной рубашке.

Выкладываем паспорта. Протягиваю заполненные бланки. Просматривает. Сличает с паспортами. Все в порядке.

Подписи.

— Вот здесь, пожалуйста... и здесь... Госпожа Чернотцова... здесь, пожалуйста... и здесь... Господин Коноплянников... Панкратов... Капырин...

Все подписано, все проверено.

— В соответствии с дополнением к договору аренды сейфа номер F-1245, — бегло бормочет клерк, поглядывая то в бланк, то на заинтересованных участников сделки, — допуск к сейфу будет произведен при наличии зарегистрированного договора купли-продажи квартиры... бу-бу-бу-бу-бу... на имя... бу-бу-бу-бу-бу... и зарегистрированного... бу-бу-бу-бу-бу... договора купли-продажи квартиры... бу-бу-бу-бу-бу... на имя... бу-бу-бу-бу-бу... совместно... Коноплянников В. С., Панкратов С. А.

Коноплянников морщит лоб. Панкратов что-то ему негромко растолковывает.

— А почему две квартиры? — спрашивает все-таки Коноплянников.

Я смотрю на часы. Ведь объясняли ему, почему две.

— Так в ваших дополнениях, — любезно отвечает клерк.

— Все верно, — говорит Панкратов. — Обе квартиры должны быть переоформлены. Будяевы не могут вашу купить, если их квартиру не купит Чернотцова. Понимаете? Вы сможете получить деньги, только если обе квартиры продадутся.

— А если нет?

— Тогда все назад. Денег не получите, но и квартиру не продадите.

— Но я-то одну продаю!

— Владимир Сергеевич, все правильно, — скрипучим металлическим голосом говорит Панкратов.

Коноплянников смиряется, но все же бормочет что-то вполголоса.

Так, теперь со вторым сейфом... второй сейф мой. Никакой совместности. Никаких ограничений.

— А после двадцать второго в течение десяти дней... — трандычит клерк, — Чернотцова Ксения Николаевна...

Все верно. Если сделка по каким-либо причинам не состоится — например, Будяев откажется продавать свою квартиру или все мы сейчас по дороге к нотариусу упадем с моста, — госпожа Чернотцова сможет получить свои деньги обратно.

— Вот здесь, пожалуйста... и здесь...

Новый круг подписей.

— Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас.

Еще раз набрать код. Запиликало. Сейф открыт.

Теперь Панкратов тычет, глядя в бумажку... тоже нормально.

— Прошу вас...

Дружно шагаем к решетчатой стальной дверце в хранилище. Ключи от нее у другого человека. Вот и он.

— Пожалуйста.

Справа ряды сейфов, слева закрывающиеся жалюзи кабинки для расчетов.

Служитель быстро находит в связке ключей нужный, сует в скважину. Я засовываю свой во вторую. Поворачиваем вместе.

Дверца сейфа открывается.

— Пожалуйста, — приветливо говорит служитель. — Ключ не вынимайте, тогда закрыть сможете сами.

— Спасибо.

Вытягиваю кассету — плоский металлический ящик. Тысяч на триста пятьдесят — если, конечно, стодолларовыми купюрами.

— За какой стол? Сюда? Да как хотите... давайте сюда...

Ксения раскрывает сумочку и выкладывает на столик пакет. Разворачивает. Семь пачек. Одна чуть тоньше.

Я включаю счетчик купюр, сканер, синюю лампу.

— Ну что, господа, начнем? Ксения, смотрите внимательно, что мы делаем с вашими деньгами. Это ведь пока еще ваши деньги.

Деньги хорошие. Шесть пачек прямо со станка — одной серии, по номерам. На верхней бумажке 001, на нижней — 100. Мое дело — отсчитать будяевские. В числе которых и мои. То есть — наши. Наших — тридцать девять. Тридцать девять тысяч... На слух много. А посмотришь — сушая ерунда. Три пачки и девяносто бумажек. Вот из-за этих-то пустяков вся битва. Стоит оно того? Кто его знает. Счетчик машет лопастями, как пловец на короткой дистанции. Нет, гораздо быстрее. Сто. Вторая пачка. Сто. Третья. Сто. Теперь из четвертой девяносто... есть. В четвертой остается всего десять. Впрочем, мне все равно, сколько там остается. Главное — отсчитать наши. Остатки меня не интересуют. Остатки — это чужое. Несколько купюр в сканер — ширк... ширк... ширк... Умная машина — только лампочки помаргивают. Из этой пачки — ширк... ширк... ширк... А из этой? Ширк... ширк... ширк... А из этой? Ширк... ширк... ширк... А из девяносто? Тоже хорошо. Ну просто золото, а не деньги. Теперь под ультрафиолет. В пальцах — фр-р-р-р! Полосочка светится? Светится. Следующую — фр-р-р-р! Светится. Остатки — фр-р-р-р! Нормально. Пишу на листке — \$ 39 000 (тридцать девять тысяч USD). Это для себя. Для памяти. Для надежности. На всякий случай, в общем. Кладу в кассету деньги и бумажку. Закрываю.

— Все, — говорю я, поднимаясь.

На мое место садится Панкратов.

Коноплянников стоит сзади и тянет шею.

— Да вы присядьте.

Коноплянников садится, нервно поправляет очки. Смотрит на руки Панкратова как человек, который готовится разгадать фокус.

Панкратов прогоняет деньги через счетчик... смотрит под лампой... пропускает десятка полтора через сканер...

— Ну вот, — говорит он. — Все в порядке.

— А вот туда? — спрашивает Коноплянников.

— Куда?

— Вот в это.

— В сканер? Я же несколько прогнал.

— Давайте все. Тут, знаете, такие умельцы попадают, что... давайте уж.

Ничего не попишешь. Его право.

Панкратов пожимает плечами. В сущности, это недолго.

Я смотрю на Ксению. Она чувствует взгляд и вдруг оживает, причем как-то нервно.

— Сергей, а раньше вы не сможете освободить?

— Что?

— Мне нужно раньше!

— Мы же договорились, — говорю я улыбаясь. — Правда, Ксения... Ведь мы на месяц договаривались? Я очень постараюсь, чтобы это произошло раньше. Поверьте. Да это и в моих интересах. Просто со стариками сложно... но они уже пакуются. Ну, может, три недели... попробуем.

— А раньше не можете? — говорит она, теребя сумочку.

Лицо кривится — ну будто вот-вот заплачет.

— Я боюсь, что... — мямлю я. — Не знаю... Вряд ли. Видите ли... у них книг очень много. Да вы не волнуйтесь, Ксения... хотите, можно одну комнату раньше освободить?

Ксения меня не слышит, хоть и смотрит в глаза.

сонные ночи, страхи, бесконечные разговоры, от которых сохнут мозги и выпадают волосы; наконец-то совпали интересы всех сторон, все желания; все сошлось будто по волшебству (а на самом-то деле вовсе не по волшебству, да только никто риэлтору спасибо не скажет), как сходится пасьянс, который, казалось бы, не мог! не должен! не бывает!.. — и вдруг: тыр-тыр-тыр, карточка к карточке, дама к королю, валет к даме, десятка к валету... покатилося, покатилося!.. — вот уже и договор подписан, и теперь только департамент! только регистрация!.. и когда она пройдет, то... а ну как не пройдет?! Ну как за что-нибудь зацепятся?! Они ведь найдут! Ой, найдут! Им-то что? Они вон торчат в своих окошечках... им все равно, что люди ночей не спят... что вся жизнь, вся жизнь!.. Ах, да что говорить! Хоть бы прошло, господи! Ну хоть бы прошло!..

— Санюкович, Никифоров, Пашенко, третье окно... — равнодушным хриплым голосом произносит динамик под потолком.

Трое срываются с места, спешат, топчут... у одного распахивается дипломат... бумаги веером на пол... он приседает... начинает собирать... испариной покрывается его бледное лицо... вот собрал... кинулся следом... сгрудились у окна: что? Готово? Не готово? Как? Почему? Какая ошибка? В каком договоре? Что?! К нотариусу?! Да вы что? Где двенадцать?! Ну и что?! Какие пятнадцать?! Ну и что? Да какая разница-то?..

Через минуту отходят от окна растерянные Никифоров, Санюкович, Пашенко... вернули договоры! не зарегистрировали! И, похоже, риэлтора с ними нет рядом, некому сказать им, что нужно делать... Беда у них небольшая, плевая у них беда — я б такую беду руками развел, — а они не поймут, что к чему... естественно: во все обстоятельства этого дела стороннему человеку въехать трудно... не понимают они ни куда бежать, ни чего просить... Риэлтор бы сейчас дал отмашку: пулей к нотариусу, ничего страшного, цифру переврала, поправить эту лживую цифру, написать «вместо исправленного двенадцать читать пятнадцать» да шлепнуть еще раз печатью — и все дела, и еще сегодня бы поспели!.. Но некому, некому сказать это гражданам Никифорову, Санюковичу и Пашенко, пустившимся в плавание по коварному морю департамента без лоцмана, на свой страх и риск... «Я не понял, — бормочет Пашенко, нервно протирая запотевшие очки мятым платком. — Чего они, а? Это что, все сначала, что ли? В РЭУ, что ли, а потом к нотариусу? Или чего?» — «Хрен их разберет, — отвечает ему Санюкович. — Если к нотариусу... погоди, это что же, и БТИ брать?» — «БТИ? — ошалелым голосом вступает Никифоров. — Какое БТИ? Я не буду платить за БТИ! Я уже платил за БТИ! Вы чего! Я последние за эту проклятую справку отдал!..» — «Погоди, — солидно урезонивает его Санюкович. — Что делать, если у них порядки такие? Что делать-то? Ну давай не пойдем никуда — этого хочешь? Все похерим сейчас и разойдемся. Так, что ли, предлагаешь? Если надо — значит, надо. РЭУ так РЭУ, БТИ так БТИ». Никифоров заламывает руки и, похоже, готов разрыдаться. «Я не понял, — твердит свое Пашенко, сажая очки на нос и беспомощно вертя в руках бумажки. — Я же тоже платил за БТИ!..»

Невозможно видеть их тоскующие рожи... Собственно, мне не трудно. Все равно ждать. Поднимаюсь, подхожу к ним. Через минуту Санюкович, Никифоров, Пашенко, окрыленные моим советом, дробно топоча, ссыпаются по ступеням, чтобы лететь к нотариусу...

Нет, ну что за глаза, что за лица! Если бы человеческая мысль не пропала зря, понапрасну дырявя бедные мозги бешеными своими разрядами, если бы какой-нибудь умник нашел способ использовать ее даровое электричество, тогда к двум этажам департамента можно было бы подключить все трамваи Москвы... да что там — все электровозы России!..

— Рябинин, Слостенина, пятое окно, — хрипит динамик.

Через двадцать секунд у пятого окна начинает разворачиваться натуральная драма, если не самая настоящая трагедия. «Как под арестом?! —

кричит человек, в волнении срывая с себя шляпу (должно быть, это Рябинин). — Под каким еще, к черту, арестом?!» Ему бесстрастно поясняют, под каким. «Господи, да почему же она служебная?» — мертвец Рябинин, оглядываясь на стоящих за его спиной: женщина — это, надо полагать, Сластенина, а вот два парня рядом с ней — это, по всей видимости, ризлторы, и лица у обоих достаточно вытянутые, чтобы понять, что на быстрое окончание этой сделки они возлагали большие надежды. Может быть, они покупают квартиру Рябинина под расселение какой-нибудь большой коммуналки... и вот на тебе: оказывается, квартира Рябинина под арестом. А деньги, между прочим, в банке. А с этой чертовой Сластениной они взяты месяца два, все не могли угодить... все она хотела больше, больше получить за свою комнатуху... вот наконец согласилась на квартиру Рябинина... бац! — а квартира-то под арестом! Да еще служебная! Ни фига себе! Это как же понимать? Это что же, — читается на лицах, все более вытягивающихся уже вопреки всем представлениям о человеческой анатомии. — Это он нас, выходит дело, кинуть хотел? Служебную квартирку впарить?.. Разумеется, Рябинин не хотел ни кидать, ни впаривать; напротив: хотел он совершить все по самым честным правилам, а совершив, с чистой совестью сказать себе, потирая руки: «Ну, брат, большое дело мы сегодня сделали!..» И подмигнуть. И, может быть, даже бутылка коньяку у него на сей случай приготовлена... — но не пить ему сегодня этот коньяк, ой не пить! Рябинин стоит у окошка, и на его бледном и потном лице отчетливо написано: жизнь кончилась!.. Но нет, жизнь не кончилась. Через несколько дней нервических мытарств на третьем этаже выяснится, допустим, что пришли когда-то из жилкомитета списки служебных квартир, и почему-то в этих списках его-то, ему, Рябинину, принадлежащая, и окажись... напортачил кто-то... бывает. «Да ведь она же не служебная! — будет взывать Рябинин. — Вот же у меня документы!» — «Вы не кричите, гражданин, а послушайте». Думаете, у вас у одного документы? Ничего подобного. У всех документы. А у нас еще и списки. Все правильно, гражданин. Раз по данным жилкомитета она служебная, то во избежание дальнейшего распространения этой путаницы и нужно было наложить на нее арест. Вот мы и наложили: раз! — и готово. «Так снимите же, снимите же арест с моей квартиры! Меня зарежут из-за вашего ареста!» — заплачет Рябинин, упав на колени перед столом регистраторши. «Встаньте, гражданин, не кривляйтесь». Вы что ж думаете, это так просто? Ну как маленькие, честное слово. Быстро, гражданин, только кошки родятся... «Господи!» — насосавшись валидолу, будет шептать Рябинин белыми губами у дверей различных кабинетов. Почему так? Почему, если сначала нужно получить визу Иванова, с визой Иванова идти к Петрову, а уж с визами Иванова и Петрова тащиться к Сидорову, то Иванов принимает раз в неделю — в пятницу после обеда, Петров — в пятницу же, да только с утра, а Сидоров — по четвергам два раза в месяц?.. Но ничего, ничего, ведь жизнь не кончилась. Пройдет две или три недели, и несчастный Рябинин, подхлестываемый нешуточными угрозами своих поделльников, жестоких и бессердечных людей (особенно эта Сластенина!.. ох уж эта Сластенина! змея, а не женщина! крокодилица!..), прыгнет в конце концов выше головы... добьется правды... получит все нужные бумажки... с языком на плече доставит их в департамент... и департамент снимет арест с квартиры этого измученного, исхудалого, полусумасшедшего человека... но пока!.. Но пока!.. Бог ты мой, да к одному Рябинину на эти две-три недели можно подключить парочку трамваев! И отлично бы ездили!..

— О, привет!

В департаменте полно знакомых, с которыми встречался на прошлых сделках. Кто-то только махнет приветственно на бегу кипой бумажек — может, в архив несется, а может, занять очередь к начальнику юридического отдела, без визы которого регистратору нельзя совершить то или

иное нештатное действие... А кто-то мается без дела, как и ты, ждет, когда наконец выдадут зарегистрированные договоры.

Я заметил Виталия и подсел к нему.

— Ты чего? — спросил он. — Регистрируешь?

— Я сегодня сбоку припека, — ответил я. — «Свой угол» на себя взял. Полтинник только с меня требовали...

— А-а-а... — с некоторым разочарованием тянет Виталий. — Ну-ну...

Понятное дело. Ему тоже хочется получить полтинник. Да он обычно и получает. У него работа такая — проводить регистрацию. Он профессионал этого дела. Документы видит насквозь. Отмечает все заковыки. «Ага, — говорит Виталий. — Погоди-ка! У тебя же то-то и то-то!.. Нет, брат, с этим лучше я сразу к Топорову...» И идет к Топорову. И проходит без очереди, потому что его тут каждая собака знает. И Топоров подписывает не через три дня, а сразу. За это Виталий и получает полтинник. А уж как он с ним обходится — не мое дело. Может, с Топоровым делит. Может, сам тратит. Но сегодня ни черта он от меня не получит, потому что регистрацию взялся проводить «Свой угол». И хорошо.

— Ну ничего, в следующий раз точно к тебе, — подбадриваю его я.

— Естественно, — говорит он, утыкаясь в газету. — Нет проблем... сделаем как в аптеке...

У меня газеты нет, я посматриваю по сторонам.

Двое — пожилой человек и молодой парень — ведут дряхлую старуху. Она едва передвигает ноги. Медленно, шаг за шагом бредут по коридору.

— Стой, — выдыхает старуха. — Годи.

Останавливаются.

— Не дадут помереть спокойно, — говорит она, обвисая на их руках. — Господи... ну не дадут же помереть!.. далеко?

— Да вот уж, — говорит пожилой, оглядываясь. — Пришли уж, мама.

— Что?

— Пришли, говорю! — кричит он.

— Какой противный мужик, — отдыхаясь, говорит она про кого-то. Поднимает голову. Глаза бесцветные — дождевая вода. — Гада какая. Ведь сам-то ни шить ни пороть... А все выгадывает. Выгадывает-выгадывает, из говна выглядывает... Я-то говорю: ведь ты ж ни шьешь ни порешь, милый...

— Точно, — кивает пожилой.

— Пошли, — командует старуха.

Плетутся дальше.

— Да уж, — невольно бормочу я. — Не дадут бабке спокойно помереть.

— А что ты хочешь, — откликается Виталий, шурша газетой. — Недвижимость... Слышал, тут одна недавно вот так и очурилась?

— Да ну? — удивляюсь я.

— Ага... только на первом. Пока «скорую», пока то-сё. А она и склаба-лась. Неделю назад, не больше.

Шаркая ногами в черных ботинках на толстой армейской подошве, по коридору медленно шагает охранник. Руки за спиной. Выражение лица чрезвычайно скучающее. Охранять тут и впрямь особенно нечего. Однако случаются эксцессы. Поэтому на каждом этаже по топтуну.

— Здорово! — радостно говорит вдруг он, поравнявшись с нами, — оказывается, знаком с Виталием. Останавливается. Лицо круглое, упитанное, нос ноздрями кверху, брови белые. Губы сочные. Вообще весь нали-той. Руки расцепил — они у него растопырились. Лет тридцать мужику.

— Привет.

— Газетки, это самое, почитываем? — интересуется топтун.

Он в белой рубашке с эмблемой департамента на левом кармашке, в синих штанах с простроченными стрелочками. На ремне параллелепипед

переговорника в черном кожаном чехольчике. Бодро торчит антенка с блестящей пуговкой на конце.

— Ну, — кивает Виталий.

Беседовать он не очень-то расположен.

— А читал, это самое, про конгресс-то? — не смущается топтун.

— Про какой конгресс? — вяло спрашивает Виталий.

— Ну, про жидовский-то, это самое, конгресс! — обрадованно объясняет тот. — Не читал? Нет, ну ты понял? Они, это самое, конгресс свой, да?.. а мы что должны? Нет, ну они совсем, это самое, офигели. Не читал, нет?..

Он стоит (сесть ему негде, все кресла заняты), покачиваясь, будто хочет шагнуть и все никак не шагает. Он уже не ждет реплик собеседника, а молотит сам, это самое, за двоих. Если, это самое, не за троих. Слабое солнце светит в окно. В лучах видно, как вылетает изо рта слюна. Он рассказывает Виталию подробности жидомасонского заговора. Толкует о кагане, о хазарах, о мировой сплотке. Вот опять о заговоре. Проявляет такую эрудицию и так смело пускается в исторические экскурсы, что непонятно, почему он шатается здесь с «уоки-токи» на брюхе, вместо того чтобы завладеть где-нибудь кафедрой или даже деканатом...

— А сам-то как? — спрашивает вдруг Виталий, который, похоже, все это от него слышит не впервой.

Топтун осекается на полуслове, тускнеет, вдохновенная гримаса покидает лоснящееся лицо.

— Да нормально, — говорит он, тоскливо озираясь. — Да что там, это самое... Тяготит меня, конечно, эта служба... Ладно, пойду.

И опять бредет по коридору.

Марина накрепко зацепилась языком с какой-то полной дамой. Зато Коноплянникову не сидится — то и дело вскакивает и ненадолго уходит. Должно быть, курить. Когда возвращается, его место уже занято. Но скоро освобождается какое-нибудь другое, и тогда он плюхается туда. Вот сейчас оказался прямо напротив. Смотрит на меня, вскинув брови над очками. Дергается. Тоже хоть к трамваю подключай... А чего, спрашивается, дергается? Так-то он, в сущности, нормальный человек... если б не эти идеи с банками... все б ему банки закатывать... деньги консервировать... номера переписывать... писарь-консерватор. Здорово ему давеча Кирилл Анатольевич дал по башке. Молодец. Самое смешное, что эти парни натурально юристы. А вовсе не наемные убийцы. Ну да Коноплянников-то этого, слава богу, не знал...

— Скоро кончится? — спрашивает он.

— Скоро, — киваю я.

Оно и впрямь скоро. Через полчаса. Или через час. Со свежими договорами назад в банк. Вынуть деньги — и все. Конец. Сделка прошла. Скоро, скоро...

— Капырин?

— Привет. Как дела?

— Какие у нас дела? Так, делишки. Толкусь тут, — говорит подошедший. Никак не вспомню, как его зовут. Саша? Володя? Забыл. — Судебное решение вторую неделю регистрирую... волокита. Опечаток наделали, черт бы их побрал... то в суд, то сюда. Мотаюсь как обгаженный. Двушка не нужна на «Аэропорте»?

Двушка на «Аэропорте» мне нужна как собаке пятая нога, но все же спрашиваю автоматически:

— Двушка? Что за двушка?

Кто знает, когда понадобится. Может, завтра.

— Отличная двушка, — оживляется он и барабанит как по писаному: — Сорок шесть, тридцать два, пятый девяти кирпичного, двор, свобод-

на, выписана, первый договор... В третьем доме. Все нормально, будешь брать, ремонтик сделаем...

— В каком третьем? По Усиевича, что ли?

— Ну да, по Усиевича...

— А куда людей дели?

— Куда, куда — вывезли... Хозяин дом купил в Павловом Посаде, переехал, честь по чести. — Он хмыкает, наклоняется и разъясняет вполголоса: — Алкашок. За полторы штуки хибару ему взяли да столько же рублями — он чуть от счастья не перекинулся, за три дня вылетел... понял? Так что дорожитья-то не будем. Нам и так хватает. Теперь толкнуть побыстрее да забыть. Будешь брать, все покажем: и к нему сгоняем, сам увидишь. Нет проблем. Он уж и прописан там, честь по чести. Только лучше не тянуть — скоро он бабки просадит, тогда уж ищи-свищи его. Они потом вечно куда-то деваются... А пока-то живет себе поживает...

— Добра наживает, — говорю я, а сам прикидываю: ничего себе. Три штуки вложили, а стоит она... ну, положим, тридцать пять даже если... лихо. — Черкни телефончик на всякий случай. Были у меня когда-то клиенты...

— Все, погнал, — говорит он, сует самописку в карман и быстро шагает к лестнице, на ходу тыча пальцем в попискивающие кнопки сотового телефона.

— Как думаете, скоро? — спрашивает Коноплянников, нервно пожевывая.

— Скоро, — говорю я.

Снова что-то хрукает в динамике — хр-р-р-р...

— Коноплянников, Капырин, Карасик, — произносит он затем празднично и полнозвучно. — Пятое окно.

Все верно. Пятое окно. То, где выдают готовые документы. Все на «к»: Коноплянников, Капырин, Карасик. Коноплянников сам за себя, я — за Будяевых, Карасик Марина Евгеньевна действует по доверенности от Чернотцовой Ксении Николаевны... правильно... прошла регистрация.

Проехали.

29

Мокрый снег бессчетно падал из туманных наслоений неба и бессчетно же погибал на мостовых; тротуары сыро дымились, мокрые зонты плыли над головами; машины ползли, и казалось, что метрах в двустах они без остатка растворяются в рябом молоке, сквозь которое тускло просвечивают огни светофоров.

Мне было чем занять голову. Я без конца проигрывал наш короткий разговор. Должно быть, всякий раз я что-нибудь добавлял к нему. Или, наоборот, что-то упускал из него. Он был очень короткий — всего несколько фраз. Но ведь и несколько фраз, если они хоть сколько-нибудь тебе дороги, можно бесконечно варьировать, придавая им все новые интонации. И оттенки смысла. Мне хотелось вспомнить все точно, слово за словом. Наверное, я уже не мог этого сделать. Она сказала звонко: «Алло!..» Нет, это я сказал «алло»: «Алло! Ксения?» Она ответила: «Да, алло!» Или просто «да»? Кажется, именно так: «Да!» Во всяком случае, голос ее показался мне радостным, но уже на втором слове потускнел, вылинял. Вообще по телефону он звучал ниже, чем на самом деле. Я сказал: «Алло, — (вот уж заладил — «алло» да «алло»), — это Сергей Капырин, Ксения... Алло!» Она ответила: «Да, да, алло! Я слушаю». Фраза прозвучала удивленно. «Вы слышите меня?» — спросил я. «Отлично слышу, Сергей, — сказала она. — Я слушаю». — «Это Сергей Капырин, — повторил я. — Ксения, вы меня простите... Я хочу вас попросить об одном одолжении». Я замолчал, ожидая ее реакции — ну хоть какой-нибудь. Я думал, она произнесет то или

иное незначашее слово. Междометие. Так, между прочим. «Да?» Или: «Да-да?» Просто подтвердить, что она меня слышит. Правда, она уже два раза говорила, что слышит меня. В общем, она ничего не сказала. Она помолчала и вдруг почти выкрикнула (голос повысился на полтона): «Я так и знала!» Я не успел открыть рта. «Ну вот я так и знала!» — повторила она. И начала стремительно говорить (ее речь я при всем желании не мог запомнить дословно, потому что слова из нее сыпались, как опилки), что она давно прокляла тот день и час, когда решила ввязаться в эту чертову авантюру с этой проклятой квартирой; и что никто в этой стране даже и помыслить не хочет о том, чтобы придерживаться существующих договоренностей; и что в нормальных условиях она бы немедленно потащила меня в суд, а здесь ей только и остается, что наслать бандитов; но и этого она сделать не может (хоть и следовало бы!), потому что это противоречит ее принципам; и чтобы я не думал, будто с ней можно обращаться, как с куском мыла; и что она согласна ждать в крайнем случае еще неделю сверх того, о чем договаривались, и ни минутой позже, потому что уже отдала аванс строителям и подписала договор, в котором указаны сроки начала работ. Я только мекал, пытаюсь вклиниться. Раз а три я повторил: «Ксения! Да послушайте же, Ксения!..» Это было все равно что угваривать сошедший с рельсов трамвай; последние несколько слов Ксения выпалила таким тоном, что я понял — еще фраза, и она расплачется. Я крикнул: «Да замолчите же вы, господи же боже мой!» И она замолчала, но пока я сушил паруса и собирался с мыслями, вдруг спросила ледяным голосом: «А что вы, собственно говоря, на меня кричите?»

Я сказал: «Я не кричу, Ксения. Простите. Вы меня неправильно поняли. Простите, бога ради. Я совсем не потому звоню. Слышите? Я не про квартиру, нет. Вы слышите? Я совершенно не об этом». Я хотел дать ей несколько секунд, чтобы усмирить досаду. «При чем тут? С квартирой уже все кончилось, Ксения. Не волнуйтесь, я не об этом. Я хотел совсем другое у вас спросить, — повторял я. — Слышите?» — «Да, да, — сказала она в конце концов немного растерянно и, как прежде, тускло. — Я не поняла. А что такое?»

На Триумфальной ветер трепал над площадью огромные простыни мокрого снега; прохожие шагали, пряча лица; Маяковский побелел со спины и ссутулился; машины медленно ползли друг за другом; новый порыв ветра вывернул несколько зонтов; вот снова двинулись... дальше, дальше... поехали.

«Да ничего, — сказал я. — Я хотел попросить вас о небольшом одолжении. Понимаете, я бы хотел вас увидеть».

Она молчала.

Потом спросила враждебно:

— Зачем?

Я сказал:

— Ксения, простите... мне трудно по телефону... Давайте встретимся. Пожалуйста, уделите мне десять минут. Это возможно? Вы видели меня, я не страшный.

— Даже если бы и страшный, — ответила она. — Вообще это все как-то странно, ведь мы...

— Буквально пять минут, — перебил я. — Я вас не задержу. Сегодня уже поздно, наверное. Давайте завтра. Вы когда освободитесь?

— Завтра? — переспросила она безразлично. — Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем это, и...

— Я вас очень прошу.

— Я занята, да и вообще...

— Пять минут!

— Ну хорошо, — сдалась она. — Завтра? Не знаю... Когда?

— В любое время.

— Я буду в час на «Проспекте Мира». Давайте в час пятнадцать. Только недолго. Мне потом на студию.

— Отлично. На кольцевой?

— На радиальной.

— Час пятнадцать, — повторил я. — Радиальная. В центре зала?

— Да, — сказала она. — До свидания.

И положила трубку.

Ближе к Белорусскому метель поутихла. Серебряный кругляк солнца ненадолго появился над уступчатыми башнями, но пока тянулись через площадь, волнистые космы снега снова укутали его. За мостом дело пошло веселее. Без четверти час я миновал станцию метро «Динамо», свернул на Театральную аллею, потыркался в небольшой пробке при выезде на Масловку, пожалел два рубля нищему, побиравшемуся перед светофором на углу Новой Башиловки (на груди у него, помимо картонки с корявой надписью: «Помогите выжить», висела также нанизанная на лохматую бечевку кипа рентгеновских снимков — должно быть, чтобы всякий желающий мог убедиться в справедливости поставленных ему диагнозов), миновал улицу Расковой, взглянул на часы и...

И вот именно тут — аккуратно напротив кинотеатра «Прага» — это и случилось. Что ж, сальник помпы честно отработывал свое. Он отработывал!.. отработывал!.. отработывал!.. и в конце концов отработал: горячий тосол хлынул на двигатель, белый пар рванул из-под капота, затянув улицу почище лондонского тумана, я вспотел от ужаса и взял к обочине, произнося все приличествующие случаю слова.

Неразрывный поток автомобилей тянулся в сторону моста. Минуты две я бесплодно махал; потом, оскальзываясь, кинулся вправо от эстакады, под нее, к Савеловскому. Есть места, где живут только машины — человек там чувствует себя как таракан в часах на Спасской башне. Снег уже снова хлестал по глазам, я закрылся ладонью. У входа густилась небольшая толпа. Заснеженный милицейский майор, бычась от плещущей в физиономию метели, упрямо хрипел в мегафон, и слова, расколовшись, отлетали от стены соседнего дома:

— ...анция!.. крыта!.. ыта!.. ическим!.. ыта!.. ия!.. ическим!.. инам!..

И снова:

— ...ыта!.. ыта!.. ическим!.. ическим!.. чинам!.. чинам!..

— По техническим? — тупо спросил я, тяжело дыша и озираясь.

— Опять бомбу ищут, — сказала женщина в вязаной шапке. — Когда ж это кончится, господи!

Большая стрелка на вокзальных часах уже торчала восклицательным знаком.

— Чтоб вас всех разорвало, — с досадой проговорил старик в мокрой ушанке и ватнике. — Мне ж на Щелковскую! И куда я теперь?..

— Типун тебе на язык! — возмутилась женщина. — Разорвало бы ему!.. Что плетет, старый черт!

Она плюнула и поспешила к остановке, наклонив голову и закрываясь платком от снега, горстями летящего в лицо.

Стоит ли подробно вспоминать все последующее? На «Проспекте Мира» я оказался без двадцати два; пот лил с меня градом. Я стоял минут десять, безнадежно шаря глазами по толпе. Поезда вылетали из темноты туннеля с таким громом и скрежетом, будто снимали с рельсов стружку... Потом побрел на переход.

* * *

Марина позвонила около семи.

— Привет, — сказала она влажным хрупающим голосом. — Как дела?

Я только ввалился — успел лишь набрать номер Ксении, убедился, что ее нет, да открыл банку пива. Если день был потрачен на идиотские при-

ключения, вечернее пиво имеет особый вкус... Когда я вернулся к машине, она стояла, уже заваленная снегом; с лобового стекла снежная попона наполовину сползла, образовав горестную морщину; в целом у бедной моей Асечки был такой вид, будто она уже никогда больше никуда не поедет. Буксировал нас бодрый пенсионер на двадцать первой «Волге». Всю дорогу он ерзал, как кобель на заборе, невзирая на снегопад, высовывал плещивую голову в окно, вертел ею вправо-влево, а то еще по-велосипедистски делал мне какие-то знаки. Докатив до гаража, старик радостно сообщил, что буксировать — это еще интересней, чем гонять по гололеду на лысых скатах, получил деньги, взял почему-то под козырек и умчался, сигналивая, как на осетинской свадьбе. «Должно быть, из летчиков, — задумчиво сказал Михалыч, посмотрев ему вслед. — Ну что, Серега? Не понос, говоришь, так золотуха?» И пнул зачем-то колесо.

А теперь она спрашивает, как дела.

Я поинтересовался:

— Тебе подробно?

Вместо ответа Марина всхлипнула.

— Ты чего? — спросил я настороженно, отставляя банку, — и правильно сделал, потому что иначе она бы выпала у меня из рук ровно через четверть секунды.

— Ты зна... зна!.. знаешь, что... что... слу... слу!.. — произнесла Марина несколько слогов исковерканным, жутким голосом и закашлялась, повторяя между спазмами: — Что... слу... слу... чилось!..

Я похолодел. Я почему-то сразу подумал: Ксения! Я так и знал! Не могло это все добром кончиться!

— Что? Да погоди ты хлюпать! Что случилось?

— Из... из... к нам... к нам!.. м-м-м-а-а-ах!..

— К кому?! Что?

— Изк... изк... кна!

— Из окна?!

— Из окна! Брат!

— Что?

— Брат! Брат ее... и... и... и...

Тут она завывала.

Я переждал, потом спросил:

— Кто из окна — брат?

— Нет, — хлюпая, отвечала Марина. — Нет. Брат был. Был там. Сказал. Я! Я! Нет. Брат! Был. Я! Я. Я позвонила. Там. Брат был. Он. Сейчас. Подожди.

Шмыргая, захрустела целлофаном обертки, принялась щелкать зажигалкой.

Голове моей давно уже было невыносимо жарко.

— Я позвонила... там брат... и сказал. Мол, так и так... совсем недавно... милиция приехала... Говорит, может, вы подъедете. Я говорю — зачем? Он говорит: свидетели нужны...

— Какие свидетели? — спросил я. — Какие, к черту, свидетели, если тебя там не было?!

— Не знаю... он говорит... Я сказала — нет, не поеду. Зачем я поеду? Она с девятого этажа. Что мне там делать? Я же не патанатом. Там милиция... что, где, кто, куда... потом еще налоговая, не дай бог, прицепится... не расплетешься. — Она набрала воздуха и снова ступенчато провывала: — Что теперь я-а-а-а?! Что мне де... делать что?.. Она мне де... деньги не от... не отдала деньги мне, го... господи!..

— Ты можешь не выть? — спросил я. — Говори по-человечески. Много?

— Шту... шту... ку... штуку не от... не от...

— Не отдала, — помог я. — Вы по-черному, что ли, договаривались?

— Ну да, — сказала она более или менее нормально. — А что мне делать? У нас пя... пя... Ой. Пятнадцать процентов со сделки платят... с прибыли фирмы пятнадцать процентов... крутишься месяцами как белка в колесе... вот я и попросила. Она сказала — нет проблем, только старайтесь. Я и старалась... ты сам видел. Ну и вот. Старалась, старалась, а она с балкона.

Замолчала, давя в глотке всхлип. Кое-как сглотнула.

— Что мне теперь делать?

Я держал в руке телефонную трубку, и мне казалось, что все это происходит с кем-то другим.

— Ты ей звонил?

— Звонил.

— Ну вот, видишь, — сказала она так, будто услышала что-то отрадное. — Видишь, как...

Мне подумалось: ну теперь-то я могу что-нибудь почувствовать? Ну хоть что-нибудь? Или вот это жжение в груди — это и есть чувство? Ощущение, что меня сначала заморозили, а потом облили кипятком, — это и есть чувство? Не много, если вдуматься.

— В общем, такие дела, — сказала Марина со вздохом. — Вот так. Живешь, живешь, потом — бац!.. Ужас один. Нет, ну надо же. Вот как девку скрутило. Я же чувствовала — не кончится там у нее добром... — Она говорила, говорила, говорила, временами всхлипывая, но уже успокоенно, я слушал, потом перестал слушать, думал: «Как же так? Как же так? Как же так?..» — и с трудом отреагировал, когда в третий раз услышал:

— Алло!

— Да, — сказал я.

— Ты чего молчишь? Кричу, кричу... Ладно. Вот такие дела. Звони. Не знаю, что с деньгами делать. Может, брату сказать?

— Попробуй, — сказал я. — Давай.

Я допил пиво и посмотрел на автоответчик. Лампочка моргает. Восемь сообщений. Может быть, если сильно-сильно потрясти головой, то... Но я не стал этого делать. Что толку трясти головой? Ничто не изменится. Я протянул руку и нажал клавишу.

Меня дожидалось одно известие Будяева — как обычно, не несущее в себе ни крупицы смысла — и шесть пустышек. На каждой было одно и то же: кто-то долго дышал, а потом клал трубку, не сказав ни слова. Седьмая пустышка оказалась не совсем пустышкой. Сначала, как и на прочих, слышалось дыхание. Потом кто-то негромко спросил: «Нету?» И знакомый гнусавый голос кратко ответил: «Нету». «Что звонить? — сказал второй. — Надо...» Короткие гудки.

Я прокрутил это сообщение раз десять. «Нету?» — «Нету», — гнусавым голосом. «Что звонить? Надо...» Короткие гудки: ту-ту-ту.

Что «надо»? Что надо сделать, вместо того чтобы попусту трезвонить? Этого сказано не было. Точнее — было, но Женюрка, и так допустивший серьезную неосторожность, к тому времени положил трубку, и остаток фразы не записался.

Голова по-прежнему горела. Я потерял виски кончиками пальцев.

Собственно говоря, что «надо», догадаться было нетрудно.

Зачем они звонят? Не для того, чтобы передать информацию. Для этого автоответчик отлично был подошел. Именно для того и придуман. «Дорогой Сергей, звонил тот-то, перезвони мне по такому-то номеру». Ту-ту-ту-ту. И Сергей перезванивает.

Но им не нужно, чтобы я перезвонил.

А что нужно?

Нужно узнать, дома ли я.

А зачем?

А чтобы конкретно подскочить и разобраться. А иначе зачем бы? Спасибо Шуре. Они мне из-за той ерунды насчитали пеню. И теперь хотят получить свое. Если удастся.

Почему раньше не подскочили? Может быть, у них не было адреса. А теперь есть. Если на телефонной станции не дают, значит, можно посмотреть в базе данных. Компакт-диски на каждом углу продаются. Сунул в компьютер — и вся недолга. Как на ладони... Кроме того, меня и впрямь не было. А теперь я есть. Сейчас зазвонит телефон, я подниму трубку... ага, появился, сучок. Поехали, ребята, подскочим конкретно.

Наверное, это жжение и называется тупым отчаянием.

Я подошел к окну.

Снег. Тишина.

Я представил себе, как, например, выхожу из подъезда на их зов. Обе руки в карманах куртки. В правой — раскрытый нож. Их будет двое. Женюрка — невелика фигура. Но тоже чувак с закалочкой. Со счетов не сбросишь. Все равно — Женюрка подождет. Сперва второго. Кто бы ни был. Вместо «здрасти». Без раздумий. Этого они не ждут. Они ждут страха. А как последствия страха — денег. А я им вместо этого — перо. И шаг назад. И снова — уже второго, если успею.

Потом... потом... что потом?

Стоит ли думать, что потом?

Думать всегда стоит.

Потом маячат большие сложности. «Тут парень из девятнадцатой двух дружков у подъезда зарезал!..» Все всё видят. Не скроешься. Не в тайге. Значит, тюрьма — конечно, если они меня сами не угрошают. Превышение пределов необходимой самообороны. Или другая лабуда. И денег у меня нет, чтобы заплатить адвокату. Или следователю.

Вот такой расклад.

Денег у меня нет, снова простучало в голове.

А в тюрьме мне делать нечего. У меня и здесь дел по нижнюю губу... третий год не разберусь со своими делами.

Выходит дело, встречаться с ними мне нельзя. Если гора не идет к Магомету... что дальше? В моем случае должно выглядеть примерно так: гора прется к Магомету (не страшно ли?), а Магомет от нее — деру... А куда? Есть куда. Ключи от коноплянниковской квартиры (ныне, впрочем, будяевской) у меня. Даже кушетку оттуда еще не увезли... Несколько дней перекантоваться, а там видно будет.

Денег у меня нет, пробарабанило в затылке, отозвавшись болью. Точнее, есть немного. Как раз Кастаки долг вернуть.

То есть опять нету.

Зато есть деньги, которые лежат в сейфе «Святогора». Правда, не мои.

Я кидал в сумку пожитки. Свитер, рубашки, джинсы, зубная щетка, бритва... да, автоответчик не забыть.

Но уж если мне скрываться, то почему только от горы?

Тридцать шесть тысяч стодолларовыми купюрами.

Кроссовки в пакет. Так. Что еще? Стоп, вот эту кипу тоже.

Должна быть от честности хоть какая-нибудь польза? Или как? Честный, честный, честный — и в конце концов за это ни копейки денег. Или: честный, честный, честный — и в конце концов за это тридцать шесть тысяч. Стодолларовыми купюрами.

Пакеты в левую руку. Сумку в правую.

Без четверти восемь. Но депозитарий «Святогора» работает до девяти.

И все мои проблемы будут решены.

Мало?

Гора так гора. Тикать так тикать.

Я покидал вещи в машину и выехал со двора.

В десять минут девятого я был у входа в «Святогор».

— Слушаю, — равнодушно проговорил динамик.

— Вход-выход, — сказал я.

Тягомوتина прохода. Двери, двери...

Клерк разглядывает паспорт.

Набираю код. Запиликало. Можно идти.

Чего я жду?

— Вот на это имя, — говорю я чужим голосом.

Совершенно не мой голос. Как будто с магнитофонной ленты.

Рывком протягиваю паспорт Будяева.

Клерк смотрит на меня странно. Хочет что-то сказать, отводит глаза.

Потом спрашивает:

— Доверенность?

— Пожалуйста.

Заполняет бланки.

Расписываюсь: «По доверенности — Капырин».

Через несколько минут открыты два сейфа.

Вынимаю кассету из своего, сую в новый, на имя Будяева. Его кассету, пустую, в свой.

Еще есть возможность. Еще есть... Господи, слава богу: уже нет — я повернул ключ.

Кончено.

Этот ключик поворачивается только в одну сторону.

Тридцать шесть тысяч лежат в сейфе Будяева. И никто не имеет права доступа. Кроме него.

— Теперь уж сами, Дмитрий Николаевич, — бормочу я. — Сами за своими денежками... будь они трижды неладны.

— Что? — удивленно спрашивает служитель.

— Ничего.

Никто не видит. Некому похвалить. Да и не за что. Ну и черт с вами. Черт с вами со всеми, в конце-то концов. Мне плевать на все. Делайте что хотите. А я играю в паровозик: ту-ту-ту-ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у!..

30

...Низкое, вязкое небо над Москвой. Пятый час, а уже упали сумерки, и снег кружится в лиловом фонарном свете. Это настоящий... теперь надолго. Шаркают дворники, брезгливо, будто перхоть, смахивают со стекла снежинки. А вокруг огни, огни — окна, фонари, мерцание рекламных пробежек над крышами домов... габариты, фары, пламенные вспышки стоп-сигналов... и низкое, густое, розоватое небо... Обычно-то его не замечаешь. А ведь стоит задрать голову — и вот оно. Низкое, тяжелое. Но все-таки есть. Все-таки есть небо.

Встали... тронулись... встали.

Несколько деревьев. Черные ветки на фоне черных домов. Черные дома на фоне черного неба. Белый снег.

Ага, вот и старый знакомый. Тот же камуфляж, костыли, сумка... та же непроницаемая, глиняная маска тяжелого сна. Я опустил стекло, высунул руку и бросил в торбу деньги. И опять, опять его лицо ожило только для того, чтобы подарить мне презрительный и насмешливый взгляд.

— Слышь, парень, — сказал я в щель. — Слышишь, погоди!..

— Да пошел бы ты!.. — ответил он и двинулся к следующей машине: опора, рывок, перенос тела... опора, рывок...

Там ему ничего не дали.

Я поднял стекло.

Жизнь — не кино, назад не прокрутишь.

Этот взгляд тоже навсегда останется со мной. Значит, чем-то заслужил.

Тронулись... встали... тронулись... еще три метра... еще пять... пошло, пошло!..

Все, вырвались.

Когда летишь в потоке машин по широкому проспекту, особенно понятно, что выигрывает тот, кому в большей степени известно будущее. Гул, содрогание... черная, отвратительно скользкая полоса... кружевные белые змейки по ледяному асфальту. Вот уже под девяносто... три метра от бампера до бампера... Все кругом опасно мерцает. Дорога похожа на волнистую реку... нет — на поток раскаленной лавы... на черно-белое полотнище под сильным ветром: плещет, шатается из стороны в сторону... предостерегающе вскрикивает... визжит тормозными колодками... Кому известно больше деталей будущего, тот и движется быстрее: успеваешь нырнуть в прореху и обойти соседа — на корпус, на полкорпуса... Кто знает меньше — тот тупо гонит по своей полосе, следя только за тем, чтобы не въехать со всей дури кому-нибудь в корму... Есть и такие, что ошибаются насчет деталей... куда они деваются сами, не знаю, а вот расплющенные туши их стальных коней сволакивают к постам ГАИ, чтобы ржавели в наидание потомкам. Вот так.

Знать, где упасть, соломки постлать.

Нет, непонятно.

Но с другой стороны — что я об этом знаю?

И почему я должен чувствовать себя виноватым?

Однажды ехал откуда-то электричкой — усталый, вечером — с дачи, что ли, чьей-то возвращался? Напротив сидел парень. Он был пьян совсем не весело: болезненно, если не смертельно. Он осознавал свою беспомощность. Время от времени поднимал голову и, еле ворочая языком, повторял, что ему в Электросталь... а я каждый раз объяснял, что на Курском ему нужно перебраться на другую ветку... Вот залязгали буфера на Курском, я растолкал его: он поднялся и кое-как побрел к выходу... Может быть, он жив-здоров и меня совсем не помнит? — а я его, подлеца, все вспоминаю. Ну что мне было его тогда не проводить? Потерял бы двадцать минут, зато в последнюю из этих минут забыл бы его — к чертовой бабушке, раз и навсегда, крепко-накрепко! — и не маячил бы он попусту вот уж сколько лет перед глазами!.. Может, он и нашел тогда нужную платформу, и уехал в свою Электросталь, и даже протрезвел по дороге; а потом, глядишь, и вовсе пить бросил, женился, завел детей, растит как может, пользуется любовью в семье и уважением на работе — черт его знает!.. А если не нашел?

* * *

Будяев открыл, как всегда, в халате. Борода черная, волосы на груди седые.

— Вечер добрый. Припоздал, не обессудьте.

— Какие разговоры! Бог с вами! Заходите, заходите...

— Разве что на минутку... разуваться?

— Что вы! Что вы! Вы что! Вы взгляните, что у нас делается! Это же Содом и Гоморра, честное слово! Куликовская битва! Хлев! Свинарник! Да что я! — в свинарнике-то чище бывает! — воскликнул Дмитрий Николаевич, закончив трагическим вздохом и маханием руки: — Эх, гос-с-с-споди!..

Повалился в кресло, бороденку заинтересованно выставил вверх, стал шарить по столу в поисках сигарет.

— Ну рассказывайте.

— Что рассказывать?

— Как дело-то кончилось!

— Да я же рассказывал.

— То по телефону! Вы так, так расскажите!.. Аля! Иди сюда! Сережа пришел.

— Да, собственно... что там? Все как обычно. Зарегистрировали договоры да поехали в банк... вот и все.

— А в банке что?

— А что в банке? Переложил ваши деньги... м-м-м... снял вам отдельный сейф и переложил в него деньги. Тридцать шесть ваших. Вот бумаги. В любое время можете поехать. Если надо. Вот здесь код написан. Сейчас объяснить?

— Ой, не надо, не надо! Ой, не надо! — застонал Будяев, будто его собирались подвергнуть пытке. — Какие бумаги? Куда нам сейчас бумаги? Вы посмотрите, что у нас. Тут же черт ногу сломит. Переезд! Вы что! Сережа, голубчик, бога ради, оставьте пока у себя! Пожалуйста! Вот поедем, распакуемся... тогда уж. А?

— Да ради бога. А деньги-то не нужны вам?

— Деньги! — воскликнул Дмитрий Николаевич, схватившись за голову, а потом начал блеять, держась обеими руками за виски: — Ох уж эти деньги! Ох деньги! Так и знал я, так и знал — запоем мы еще Лазаря с этими деньгами!.. Что нам с ними теперь делать? Куда их теперь, проклятые?! Так в сейфе и держать? Или как?

— Не знаю. Как хотите. В банковском сейфе не очень удобно... ездить туда каждый раз. Не знаю...

— Вот! Вот! — воскликнул Будяев, чиркая спичками и в волнении жуя фильтр. — Какая зараза эти деньги! Нету — плохо! Есть — еще хуже! Точно, точно говорят: за что боролись, на то и напоролись! Тот самый случай. Куда их теперь девать?! Где хранить? Дома ведь держать не будешь?

— Да я бы не советовал такую сумму...

— А куда? Счет открыть в банке? В каком?

— Ну да, — кивнул я, — счет в банке... Не знаю. Коноплянников, прежний-то владелец вашей новой квартиры, про банки так говорит: кладешь, говорит, сам, а вынимают другие. Большого ума человек. Он свои тридцать с чем-то там тысяч из сейфа взял, сунул, как есть, в полиэтиленовый пакет — и удалился. Так, говорит, безопасней всего. Уж не знаю, куда понес...

— Господи, вот наказание-то! Вот мука-то мученическая!..

В кухне что-то рухнуло, а потом с дребезгом раскатилось. Затем возника на пороге и сама Алевтина Петровна.

— Аля! — крикнул Будяев. — Что? Ты упала?

— Здравствуйте, Сережа! — сказала Алевтина Петровна. — Нет, не упала... С посудой воюю. Добра-то...

— Это ж уж-ж-ж-ж-жас! это ж уж-ж-ж-ж-ж-жас! — снова хватаясь за голову, на манер майского жука произнес Дмитрий Николаевич. — Сколько всего накопилось! Хлам, хлам! Выкинуть все! Выкинуть!.. Да руки не поднимаются. Выкинешь, потомхватишься — а нету!.. А? Сережа, мы ведь вот еще о чем хотели поговорить...

— Конечно, все-то не выкинешь, — вздохнула Алевтина Петровна и приветливо предложила: — Может быть, чаю?

— ...ведь как об этом не сказать? Дело важное... с пустяками мы бы и не...

Я отрицательно мотнул головой.

— Горяченького! С вареньицем! Яблочное варенье-то! Пока не запаковала. А?

— ...что отлагательств совсем не терпит...

— Нет, нет, Алевтина Петровна, спасибо... простите?

— Дело вот в чем. Мы, видите ли, очень хорошо понимаем, с кем имеем дело и...

— Вот всегда вы отказываетесь, а потом будете жалеть. Я же вам говорила: старинный, стари-и-и-инный семейный рецепт: ни капли воды! Ложечку?

— Нет, спасибо.

— ...так сказать, с одной стороны, конечно, связаны обязательствами... с другой стороны, есть вопросы, которые не могут быть решены усилием воли...

— Ло-о-о-о-ожечку! А то запакую. Тогда уже все — до новой квартиры.

— Нет, нет, спасибо.

— ...потому что сначала-то кажется одно, а приглядишься — другое...

— Ну тогда как хотите... Димочка, ты уже спрашивал у Сережи?..

Будяев посмотрел на нее, как смотрят вслед промчавшемуся поезду.

— Гм-гм... Так вот. Видите ли, Сережа...

— Вот именно. Вы понимаете? Это совсем, совсем невозможно. Я даже не знаю, как мы могли согласиться... я всегда была против.

— Да, это совершенно невозможно, — повторил Будяев. — Ну просто никак! Месяц или...

— Вот именно — месяц, полтора... потому что совсем, совсем! Посуда, книги!..

— Книги эти проклятые, посуды одной коробок восемь наберется!.. Аля вон целыми днями все пакует, пакует — и что?

— Ведь каждую чашку в газетку, каждую тарелку!.. Пока разберешься... А лучше два, два месяца, потому что просто никак, Сережа, и вы должны нас...

— ...хоть в наше положение и нелегко, но попытаться...

Я смотрел в окно. Совсем стемнело, крошево снежинок билось за черным стеклом мелкими бабочками.

— Понятно, — сказал я, когда они наконец вопросительно умолкли. — Не волнуйтесь, Алевтина Петровна. Дмитрий Николаевич, не переживайте. Пакуйтесь на здоровье. Без спешки. Теперь можете долго переезжать. Хоть полгода.

Оба молчали. Вскинув брови, Будяев посмотрел на жену. Потом снова на меня. Должно быть, подозревал подвох.

— Правда, правда, — кивнул я. — Обстоятельства несколько изменились... можно сказать, в вашу пользу. Собирайтесь спокойно, не торопясь.

— Как же изменились? — натужно поинтересовался Дмитрий Николаевич.

Я рассказал как.

Алевтина Петровна ахнула.

— Господи! Господи! Боже мой! — повторял Будяев. — Да что же это?!

— Не знаю, — сказал я.

— С какого же?

— С девятого, кажется...

Дмитрий Николаевич медленно воздел руки, словно ждал от неба какого-нибудь подаяния, потом так же медленно опустил, качая головой.

— Господи ты боже мой!.. И что же... что же?.. сразу, что ли?

— Наверное. — Я пожал плечами. — С девятого-то этажа... Я не знаю подробностей, правда... Мне вчера ее агентша позвонила — помните ее? — Марина... так и так, мол. Через день. Сделка в среду была... а она в пятницу это сделала.

Мы помолчали.

— И что же теперь? — растерянно спросил Будяев, теребя бороду.

— А что теперь? Ничего. Родственники открывают наследственное дело... Не знаю, кто там наследник. Мать, наверное... Через полгода вступят в права наследования бывшей вашей квартирой. Так сказать, э-э-э... в соответствии с Гражданским кодексом. А потом уж сделают что захотят. Захотят — продадут. Захотят — жить станут... И вся любовь.

— Вот те раз, — хмуро сказал Будяев.

Чиркнул спичкой, затянулся.

— А из-за чего?

— Не знаю.

Выдохнул, рассеянно стряхнул пепел.

— Ну да. Понимаю... В борьбе с собой не бывает побежденных.

— Что?

— Я говорю: когда человек борется сам с собой, побежденных не бывает, — просипел Будяев. Закашлялся, снова потряс сигаретой над пепельницей. — Зараза такая... надо бы бросить — не могу!.. в обмен веществ за сорок лет вошло, сердце не хочет отказываться... Понимаете? В борьбе с собой как ни реши, все хорошо: и так — победитель, и так — не поражение.

Помолчали.

Я посмотрел на часы и поднялся:

— Пора. Дмитрий Николаевич, что хотел спросить... вы бороду красите?

Будяев махнул рукой.

Через сорок минут я был на Каховке.

Снег мельтешил, кружил, бессчетно сыпался.

— Светлана?

— Проходите. — Она отступила в темную прихожую. — Здравствуйте.

Не надо разуваться. Сюда куртку.

Я двинулся смотреть квартиру.

Светлана шла за мной, продолжая упорно рассказывать про то, что Анна Ильинична... что она Анне Ильиничне... что Анна Ильинична ей...

Все здесь мне было понятно.

Скрипучие квадраты паркетной доски, тут и там отклеившиеся полоски шпона, обнажившие корявую темную фанеру. Обшарпанные обои. Лоджия, заставленная тлелым хламом, — левый угол закрыт облезлой клеенкой. Из-под нее торчат кривые ножки разрушенной мебели. Почернелая кухня. Вездесущий таракан, с любопытством шевелящий усами из-за липкой сахарницы, — это кто же к нам пришел?.. Простые дощатые стеллажи с какой-то макулатурой: сверху все больше про металлургию, внизу, где пошире, перевязанные стопки журналов и газет... грязь, разруха.

Здесь было глупо спрашивать, где муж, — потому что все вокруг просто-таки вопило о том, что муж давным-давно объелся груш. Равно бессмысленно было и задаваться другим, столь же нелепым вопросом: как может эта внешне симпатичная женщина жить в такой грязи?.. Каждый живет как умеет. Кто с мужем. Кто с тараканами... В общем, все, все мне было понятно... кроме одного, пожалуй. Над засаленным диваном в стену был вбит железнодорожный костыль; к костылю привязана разлохмаченная толстая веревка, черная от мазута; а уже на веревке — большущая ржавая чугунина размером примерно со швейную машинку. Чугунина причудливой формы — лекальные линии и ни одного прямого угла; вообще говоря, она могла бы навеять образы облаков или волн, если б не была такой тяжелой и ржавой. Оглядев ее с одной, потом с другой стороны, я решил, что висит она здесь с некими гуманитарными целями — то есть, грубо говоря, как произведение искусства. Взглянул на хозяйку. Художница, что ли? Да, наверное, художница. Стало быть, авангард... Понимаем. Но на всякий случай поинтересовался:

— А это что за железяка?

— Это? — Светлана пожалала плечами. — Не знаю... Это отец повесил, чтобы фанера не падала.

Точно: за диваном стоял огромный лист фанеры.

Я рассмеялся.

— Видите, в каком состоянии все? — жалобно спросила она. — Восемь лет он тут один жил... теперь к новой жене переехал. Мы с ним как бы до-

говорились уже... у него времени нет этим заниматься, но он говорит: разменяй на две однокомнатные. Значит, чтобы одну ему, а вторую мне. А Анна Ильинична...

Вон оно что: отец. Да, точно: ведь Анна Ильинична говорила... Надо же: забыл.

— Я одну комнату кое-как привела в порядок... вы еще не смотрели — маленькая... как вы думаете, может быть, нужно ремонт сделать?

Я спросил:

— Значит, вы хотите на две однокомнатные?

Она испуганно раскрыла глаза. Глаза были карие.

— Да, можно маленькие... и отец доплатит, если нужно. Мы с ним как бы договорились, и... и Анна Ильинична говорит, что вы... вы считаете, получится?

— Скорее всего, — сказал я, озираясь.

Не подарок квартиреха... возни на полгода... ездить неудобно... что еще за отец там? Знаю я все это: *как бы* договорились... *как бы* согласны... *как бы* хотят... а потом перед самой сделкой на попятный... Да ладно, это все можно выяснять. Да и девушка, в конце концов, симпатичная.

— Нужно приступить, — бодро сказал я. — Ваш отец может мне позвонить? Вот и пусть позвонит. Запишите телефон. Вам я позвоню сам. После завтра. Договорились? — Я еще раз оглянулся. — Вещи есть куда вывезти?

— Вещи? — Она тоже оглянулась.

Ну я-то оглядываюсь понятно почему. Я тут впервые. А она что?

— Да, вещи. Нужно будет освободить. Все равно никто не живет. Верно?

— Я подумую.

— До свидания, — сказал я. — Созвонимся.

Снег летел, летел.

Снег летел, летел. Ряды машин медленно ползли навстречу друг другу, люди семенили по тротуарам. А снег летел. Скоро он насовсем закроет газоны и крыши, бульвары и скверы; не успеешь оглянуться, елки начнут продавать; на Пушкинской вырастет ледяная изба или хвостатый дракон; потом Новый год, шампанское, фейерверки; болван Кастаки, сволочь такая, позовет на дачу; лыжи, баня... зима!

Но ничто не отзывалось во мне на эти слова: черно-белая, длинная зима... скоро надоеет, а все равно будет тянуться, тянуться...

Я заварил чаю и теперь сидел на кушетке, бездумно качая ногой. Коноплянниковская квартира была пустой и гулкой, как будка суфлера. За окном неумоимо шуршал снег. Снежинок было очень, очень много — неслыханно много. Они кружились и над Пресней, и над Аэропортом; перенестись в Перово или Крылатское — и там хлопотливо суетятся над крышами; двинешь за кольцевую — и за кольцевой не без них. Дорога покрыта снегом, ползут тяжелые грузовики... дальше, дальше от Москвы; вот уже и Ковалец проехали, голову поднимешь — а и здесь то же самое: мириады снежинок в безмолвном небе. Падают на крыши, на асфальт, на землю; на поля, на леса; и снова на дома и асфальт, на деревья, на ограды, на плиты, на табличку с надписью: «Уч. 3-754»...

Ах, господи.

Понимание — это всего лишь привыкание. Все в жизни можно понять, потому что ко всему в жизни можно привыкнуть.

А?

Вот, например, будь у меня дочь, что я должен был бы ей сказать самого важного? Трудно вообразить. Клади яйца в холодную воду, а как закипит, вари ровно две с половиной минуты — тогда, и только тогда, они будут всмятку. Помни, что любовь схожа с бритвой: острая опасна, а тупая не нужна. Лыжи, как будешь класть на чердак после зимнего сезона, как следует просмоли, а ботинки намажь рыбьим жиром. Если не отворяется та дверь, за которой должен сиять свет, не спеши открывать ту, за которой

густится тьма. Подметая, мочи веник. Руки мой с мылом и вытирай не об штаны, а полотенцем. Старайся быть счастливой, потому что жизнь одна и проходит быстро. Что еще? Пожалуй, хватит, тем более что никому ничьи напутствия не нужны...

Я снял трубку и набрал номер:

— Марина?

— О, привет! — сказала Марина и продолжила траурно и мерно: — Здравствуй, Сережа.

— Здравствуй, коли не шутишь.

— Сейчас, подожди, — попросила она.

Должно быть, закуривала.

Я понимал, почему ее голос в последних словах прозвучал так — смущенно? сконфуженно? Смерть ненадолго сближает тех, кто остался в живых. И если эти живые далеки друг другу, эта невольная близость порождает неловкость. Ну и впрямь — кто я Марине? Кто она мне? Кем нам обоим приходилась Ксения? Смешно говорить. Именно что неловко.

— Как дела-то там?

— Какие дела? — переспросил я.

— Стариков вывозишь своих?

В голосе ее по-прежнему слышалось смущение.

— Собираются, — вздохнул я. — Потихонечку-полегонечку... А в чем дело?

Марина покашляла:

— Да в чем?.. ни в чем... так. Ты это... ты их поторапливай, что ли... помаленьку... А то тут Чернотцова-то нервничает... весь мозг мне сегодня пропилила — когда да когда... Я говорю: договорились же на три недели. Тербит она меня, короче.

Ба-ба-ба-а-а-м!.. — отозвалось у меня в голове.

— Что? — сказал я, вскочив с кушетки. — Ты в себе? Ты чего плетешь?

Она сконфуженно хихикнула:

— Ну, такая дурь получилась, я не знаю... ну, что она это самое-то... понимаешь? Это брат ее пошутил. Младший брат у нее... такой придурок! Шутник хренов. Пробу ставить негде... Ты представляешь? На голубом глазу. Разве не дебил?.. Это она виновата: я уж во что угодно бы поверила... нет, ну в самом деле! Даже если б сказали, что в крокодила превратилась. Спросила бы только, в какой зоопарк передаточный акт привезти... Я звоню, а этот дебильный-то и говорит: только что, говорит, из окна... главное, не хотите ли показания дать?.. шутки у него такие. Я с перепугу-то трубку и повесила. Нет, ну а на фиг мне надо? — показания какие-то. Потом еще, не дай бог, до налоговой дело дойдет... не расплеться!.. Скотина такая! Всю ночь не спала... ну что я тебе рассказываю, ты же понимаешь. А она звонит сегодня как ни в чем не бывало. Меня чуть удар не хватил! Я говорю: а что же брат? А она говорит: а что брат? Его, мол, достали звонками по этим чертовым квартирам, вот он в шутку и ляпнул. Ну не урод?.. Говорит, как там с освобождением, а то, мол, ей ремонт пора начинать... Мариночка, говорит, если хотите денежки свои получить, так уж вы типа расстарайтесь. Такая настырная — просто ужас. И еще про тебя — где, говорит, этот придурочный, она тебя типа полчаса ждала и уехала, а теперь звонит — так у тебя нет никого. Нет, ну прикинь. Ты где вообще? Нет, ну а что ты смеешься? Нет, Капырин, ну а что ты все время смеешься?..

БОРИС РОМАНОВ



СНОСИМЫЕ ОБЛАКА



Все свечи отгорели и оплыли
и не нужны, как слезно стекший воск,
как якорь проржавевший на могиле
у краснофлотца пограничных войск
НКВД на кладбище над морем...
Живи сто лет, но жизнь все коротка,
все воли нет и в голубом просторе,
где к тесной суше сносит облака.

Иваныч

Был у меня сосед Иваныч,
всегда нахмуренный старик.
В то, что он был Конвой Охраныч,
я уж не помню, как проник...
(Не уважал он языкатых,
не выступал навеселе.)
Что еле уцелел в двадцатых,
в голодомор в своем селе,
что всю войну возил он зеков, —
оттуда редко, все туда,
тех, кто, не в лад прокукарекав,
не возвращался никогда,
тех, кто сидел всегда за дело,
пока порядок был един...
О том, что душу не задело,
молчал Иваныч до седин.
Любил он больше внучки дачу,
копаясь день-деньской в земле,
где черт зарыл его удачу
в под корень скошенном селе.

* *
*

В небе скачут летучие мыши,
и внезапная южная мгла,
нас оставив в светящейся нише,
удивленные звезды зажгла.

Кипарисов теснящихся выше,
не петляя, дорога легла,
и в закат унеслись тохтамьши —
град заоблачный выжечь дотла.

Батареи ночных дискотек
обложили сверкающий брег.
Это жизнь. Это снова орда,
где не место поэту, и он
только в море глядеть, как всегда
каменя лицом, обречен.

* *
*

Листвой лимонною шурша,
резною палкой помавая,
здесь прогулялся не спеша
поэт, его душа живая.

Звенит и звякает трамвай.
Спит бомж в сопрелой телогрейке.
Уньло курит «Lucky strike»
девица на сырой скамейке.

Всяк в бледных водах утонул
с деревьями и проводами,
и не доносится к ним гул,
вися над Чистыми прудами.

К ним Грибоедов встал спиной,
в метро уставясь близоруко,
из жизни, ставшею иной,
не различающий ни звука.

* *
*

Самолета серебряный крестик
по полуденным небесам
пролетает, как ангел, как вестник, —
больно вверх устремленным глазам,

и они опускаются долу,
где трава коченеет в тени,
где на пне, что подобен престолу,
лишь опята теснятся одни.

Не занять мне трухлявого трона,
я не леший, а честный грибник,
и кепчонка моя не корона,
под которой молчит боровик.

Взгляд небесных пугается целей,
не сумев удержать высоты
над молчанием сумрачных елей,
чьи вершушки — кресты и кресты.



ЛЕОНИД ЗОРИН

*

ИЗ ЖИЗНИ БАГРОВА

Рассказы

ЖИЗЕЛЬ

Обращиваясь назад, он с усилием себя узнает. Сегодняшний — мало-подвижный, массивный, скупко роняющий слова, и тот — вчерашний, позавчерашний, в возрасте своего внука, легко обрастающий людьми, легко вступающий с ними в контакты, совсем еще молодой архитектор, все называют его Володей (нынче так называют внука), как говорят, пода-ет надежды.

Вспомнишь того — и сам изумишься: откуда бралась такая уверенность? Не скажешь, что был он слеп и глух. Вполне сознавал, что на дворе поганый сезон — повсюду слухи и самые дурные предчувствия. Людей классифицируешь запросто — кто мечен, кто искусно скользит, кто потенциально опасен, кто откровенно беспощаден. Последние были серийной штамповки — не выбирали ни слов, ни действий, гордились своим строе-вым шагом и выглядели завоевателями. Первая половина столетия была взята, их ждала вторая.

Разумней не слишком обозначать свое присутствие на дорожке, а вот поди ж ты! — в скачке с препятствиями он себя ощущал фаворитом. Об-щество стариков было лестным — с одной стороны, самолюбие тешило, что с ним разговаривают на равных, с другой — приятно было испытывать тайное чувство превосходства над этими немощными телами. И старцы, видимо, поддавались воздействию свежести и напора, чутким ухом он ча-сто улавливал почти заискивающие интонации.

Среди знакомых почтенного возраста был и некто Платон Аркадьевич, маленький подсушенный гриб с белой, густой еще шевелюрой, увенчан-ной трогательным хохолком. Он был человеком несовременным, под стать своему редкому имени, учтив, умилительно корректен. Юного своего собе-седника Володей не называл никогда, только Владимиром Сергеевичем, и Владимир Сергеевич получал удовольствие — остались воспитанные люди! Умеют достойно держать дистанцию, не амикошонствуют из-за того, что он появился на свет позднее. Все ему нравилось в старике — чисто мос-ковский говорок, манеры, изысканная обходительность, несколько витие-ватая речь. Нравилось, что следит за собой — всегда при галстукe, в свет-лой сорочке, в отутюженном пиджачке. Импонировало, что столько лет трудится в архитектурном надзоре. Даже внешность располагала к себе, хотя, казалось бы, что в ней такого? Росточек скромный, личико узкое, носик пуговкой, но Владимир Сергеевич отчего-то находил в его облике

Зорин Леонид Генрихович родился в 1924 году в Баку. Окончил Азербайджанский го-сударственный университет и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор около 50 пьес, а также романов «Старая рукопись», «Странник», «Злоба дня», мемуарных книг «Авансцена» и «Зеленые тетради». В 1987 году «Новый мир» (№ 11) опубликовал рассказ «Крапивница», положивший начало циклу, который завершается настоящей публикацией.

некое тихое очарование, трогательное, как его хохолок. Платон Аркадьевич был всегда ровен, обычно голоса не повышал, но приходил в воодушевление, когда заговаривал о балете. Балетоманом он был сумасшедшим, собирал фотографии любимых танцовщиц, афишки, программки, к походу в театр готовился загодя, за неделю, в его тенорке чудесным образом вдруг проявлялись трубные ноты. Особенно он любил вспоминать о почившей несколько лет назад прославленной балерине О. — казалось, что он готов прослезиться.

— Этого нельзя передать, поверьте мне, Владимир Сергеевич. Уже одно ее появление было настоящей поэмой. Не выходила, не выбегала, не выпархивала — она возникала. Как облако в небе, белые хлопья вдруг сливаются воедино, и перед вами — ее фигурка. Такая щемящая незащитность, хочется прыгнуть из зала на сцену, прикрыть ее собой и спасти. И вдруг в ней открывается сила, которая ничему не уступит. Однако ж и в силе — ни грама брутальности, лишь дух воспаривший, ни с кем, не схожа! А я, поверьте мне, многих видел. Все делают вроде одно и то же, и фуэте всегда фуэте, но у других это аттракцион, а у нее — самопожертвование!

Он мог говорить о ней часами, поэтому предупреждал с усмешкой:

— Если я увлекусь — прервите.

Владимир Сергеевич диву давался — в наши-то дни такие романсы!

Общение с Платоном Аркадьевичем было нечастым, встречи — случайными, Владимир был даже слегка удивлен, когда старик ему позвонил и попросил о срочном свидании. Причина, сказал он, экстраординарная.

И впрямь — нашел его в состоянии необычайного возбуждения.

Оказывается, готовится сборник воспоминаний о балерине, и вот подите ж — один доброхот вспомнил о безвестном поклоннике. А почему бы Платону Аркадьевичу не написать о том, что он чувствует? Голос зрителя, к тому же — такого, будет приятно оттенять высказывания специалистов и уж тем более сослуживцев, скорее ревнивых, нежели любящих.

Это внезапное предложение и привело Платона Аркадьевича в его экзостатическое состояние. Ему был необходим конфидент.

— Думаю, что от вас не укрылась, Владимир Сергеевич, моя симпатия и — больше того — моя приязнь. По чести скажу, я ценю высоко ваш вкус, а особенно зоркий ум, к тому же вы мыслите современно. Скажите, по вашему разумению, стоит ли мне за это взяться?

Владимир отлично понимал, как страстно хочет Платон Аркадьевич сейчас услышать слово поддержки, и с жаром сказал:

— Никаких колебаний! Кому ж написать о ней, как не вам? Было бы безмерно обидно, если бы все, что вы о ней знаете, и, главное, то, что вы ощутили, осталось бы за семью печатями. Ваши рассказы всегда так ярки, кажется, я — рядом с вами в зале.

Платон Аркадьевич был взволнован. Дряблые щечки слегка размялись.

— Благодарю вас, Владимир Сергеевич. Я понимаю, что ваши слова в первую очередь продиктованы вашим сердечным ко мне отношением, но, смею думать, я в самом деле знаю о покойнице нечто, не бросающееся в глаза. Кроме того, рискну уж признаться: в молодости я пописывал, и люди сведущие говорили, что делаю я это недурно. Иные даже сильно пеняли, что я после своих первых опытов не стал развивать эти наклонности. Но так уж сложились мои обстоятельства. Их в старину называли судьбой. И если быть совершенно искренним, а к вам я испытываю кроме симпатии и абсолютное доверие, — Платон Аркадьевич понизил голос, — чтобы писать, нужна и доблесть, ее-то мне не доставало. Возможно, и увлечение балетом пришло не случайно. Конечно, в основе была тут потребность красоты, но и желанье найти свой остров... А способности все же имели место... Ну да что о том толковать... Как бы то ни было, мой дорогой, вы подвигли меня на искуc, и коли так, пожалуй, дерзну.

Ни разу прежде Платон Аркадьевич не говорил о себе самом — как видно, испытывал эйфорию.

Минуло месяца полтора. За это время Владимир Сергеевич не виделся с будущим мемуаристом — не было особой причины. У молодого человека всегда в избытке и важных дел, да и не важных — кстати, они-то оказываются важней остальных. К тому же это была пора приручения великого города, а тот умел показать свои челюсти.

Но вот однажды в декабрьский полдень раздался телефонный звонок. Женский голос опасливо прошелестел: дома ли Владимир Сергеевич? Когда он сказал, что внимательно слушает, она чуть слышно проговорила:

— Вас тревожит Ангелина Аркадьевна. Я — сестра Платона Аркадьевича. Он занемог, хотел бы вас видеть, Бога ради, простите за беспокойство.

И быстро продиктовала адрес.

Владимир Сергеевич ехал в автобусе в Подколокольный переулок, за мутным стеклом мерцала Москва, нахохлившаяся от зимней стужи; серые здания, хмурые улицы, незрячие ручейки пешеходов — куда несет их этот поток? Что за внезапная болезнь обрушилась на его знакомца? Дело, по-видимому, серьезно, иначе не стали бы звонить.

Он поднялся на четвертый этаж, прошел бесконечный коридор, сильно напоминавший гостиничный — справа и слева соседские двери, — и очутился в прибранной комнате. В углу стояла одна кровать, за старой японской ширмой — другая, полки были заставлены книгами, на стенах развешаны фотографии, и среди них — покойной О. в пачке, с опущенной головой, с беспомощно вздетыми руками.

Ангелина Аркадьевна соответствовала своей комнате: опрятная, крохотная — ожившая деталь обстановки, а комната, совсем как хозяйка, имела отчетливое выражение — не то что старушечье, но стародевичье. И как-то странно, что на кровати под розовым стеганым одеялом лежит мужчина. Хотя на мужчину походит он мало — старый ребенок с горько поникшим седым хохолком.

— Что с вами, милый Платон Аркадьевич? — спросил чуть ли не шепотом гость. Он словно почувствовал — звучный голос в этом убежище неместен. — Зачем вы вздумали нас пугать?

Платон Аркадьевич не ответил. Он прочно сомкнул побелевшие губы, и только глаза его источали такую неизбывную муку, что гостю стало не по себе.

Из рассказа Ангелины Аркадьевны Владимир узнал наконец, что случилось. Платон Аркадьевич написал свой мемуар о балерине («Так ароматно, так вдохновенно, да я и не ожидала иного, у брата — прекрасное перо, отличный слог, вложил он всю душу. И что же? Труд его был отвергнут. Причем безжалостно, бездоказательно, пусть гость простит мне резкое слово — беспардонно. Да, беспардонно. Брат ничего не мог понять, он никуда не желал идти, но трудно было смотреть спокойно, как он страдает, все еще верилось, что тут какое-то недомыслие, что надо ему сходить, объясниться, дознаться, что произошло. Не хочется подробно рассказывать, чего стоило добиться приема, однако ж в конце концов был он допущен к этому вершителю судеб... Право, уж лучше бы не ходил! Бог мне судья, я виновата. Какой-то непросвещенный субъект, не знаю, как выразиться иначе, ничем решительно не мотивируя, сказал, что все это не годится, одни лишь „дамские сопли и слюни“, прошу извинить за эту пакость, но такова его терминология. Вы только представьте, Владимир Сергеевич, представьте их рядом, друг против друга, — брат и этот, простите за резкое слово, малограмотный человек...»).

Она взглянула на Платона Аркадьевича и остановила себя. Брат ее лежал неподвижно, скрестив на груди костлявые пальцы, полуприкрыв дрожащие веки.

— Платоша, прими еще таблетку. Поверь мне, что тебе полегчает.

Платон Аркадьевич ничего не ответил.

— Нельзя ли мне познакомиться с рукописью? — осторожно спросил Владимир Сергеевич.

— Да вот она... Я ее перепечатала на машинке, у брата неразборчивый почерк. Вы сядьте здесь, у окна, в это кресло, вам будет удобно и покойно.

Она протянула пять мятых листков, заметно волнуясь, — пока он читал, смотрела на него выжидательно, стараясь понять, как он реагирует.

А он не знал, куда ему деться. Наверняка издательский босс был груб, неотесан, бесцеремонен («Он даже не предложил ему сесть!» — прошептала Ангелина Аркадьевна), но написанное приводило в отчаяние. Все то, что дышало в устной речи, на этих листках пожухло, истлело. Скорей всего, собеседника трогали жест, голос, юношеский угар, странный для старого человека. Все это, как часто бывает, соприкоснувшись с бумажным листом, умерло от потери крови. Остались лишь общие места, тысячекратно произнесенные, и эти эпитеты, эти эпитеты, старые продажные девки, предлагающие себя всем и каждому, способные превратить в труху любое слово, к которому их прилепят.

— Не правда ли, чудо как хорошо? — спросила Ангелина Аркадьевна.

Он отложил машинопись в сторону и обозначил кивком согласие.

— Да. Очень возвышенно. Очень трогательно.

Платон Аркадьевич не отозвался, и все-таки гостю показалось — глаза больного влажно блеснули. «Неужто плачет?» — с испугом подумал Владимир Сергеевич. Он сказал:

— Платон Аркадьевич, будьте уверены, работа ваша не пропадет. Главное, что она написана и уж теперь никуда не денется. Какая-то грустная закономерность — писать о балете у нас опасно. Похоже, что в России балет — всегда государственное дело.

— Он даже не предложил ему сесть, — вновь сказала Ангелина Аркадьевна.

Спустя пять минут гость распрощался, вежливо отказался от чая — можно и утомить больного. Платон Аркадьевич с тем же взглядом, точно подернутым влажным туманом, приподнял ладошку — за время визита так и не произнес ни слова.

— Спасибо вам, Владимир Сергеевич, — сказала Ангелина Аркадьевна, — недаром брат всегда говорил, как вы разумны и добросердечны.

Он возвращался, стараясь понять, что ж он испытывает. Сочувствие? Жалость? Тоску? Или досаду? Похоже, все вместе, одновременно! Да, следовало отговорить старика, но так он хотел принять предложение, так ждал ободрения — нет, невозможно! А сколько радости он узнал, когда трудился, когда перебеливал, готовил читателю свой подарок! Но отчего же он так потрясен? Что и говорить, неприятность, неоправдавшаяся надежда, было к тому же и унижение — и все-таки, все-таки, что за реакция?! Выдержать эти темные годы, эту «благородную бедность» — будь она четырежды проклята! — выдержать собственную ненужность и одиночество сестры, эту убогую конуру (каютка Владимира Сергеевича в те дни была еще неказистой — но это совсем другое дело! Его пристанище — лишь ночлег, привал в пути, полгода-год, и он его благополучно забудет, а брат и сестра здесь прожили жизнь в чужой и, должно быть, враждебной среде). Выдержать все это и сломаться оттого, что не приняты пять листочков, превращающихся в труху по мере того, как их читаешь. Какая нелепая несоразмерность! Вот она, плата за сдачу без боя, за «остров»: первая встреча с варваром сразу же оказалась последней.

Потом он подумал — бывает и так. Все прожитое и пережитое вдруг сходится в болевой узелок, и тут достаточно и щелчка. Совсем как то стекло в музее, оберегающее экспонат. Кажется, ничем не пробьешь, однако ж в нем есть свое местечко — стоит случайно в него попасть, стекло разле-

тится на мелкие брызги. Вот и на сей раз последний камешек нашел эту роковую точку, и обреченный сосуд раскололся.

Платон Аркадьевич умер через неделю. Вскоре, не прошло полугодя, за братом последовала сестра. Узнав о том, Владимир Сергеевич уныло вздохнул, весь день на душе лежала каменная плита, а в воздухе словно был разлит этот кладбищенский запах полыни. Но горечь его была недолгой. Молодость не оставляет времени ни для томительных размышлений, ни для элегических чувств. В сущности, обычное дело — передвигаясь в вечном пространстве, наша земная твердь то и дело словно заглатывает букашек, ползающих по ее поверхности. Прошло всего лишь несколько месяцев, и он забыл Платона Аркадьевича, а с ним и его сестру Ангелину, но, как выяснилось позднее, — до поры.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Средь ночи зловеще прогремел длинный пронзительный звонок, он повторился почти без паузы. Звонок беды. Спросонья не понял, что надрывается телефон, уже готов был метнуться к двери. Потом, мысленно чертыхаясь, снял трубку. Звонили, как оказалось, из Вольска.

Ничто не связывало его с этим городом, и с тем большим недоумением он услышал стонущий женский голос.

— Владимир Сергеич... Владимир Сергеич... Это вы?

— Я, я. Слушаю вас.

— Владимир Сергеич... милый... мужайтесь. Надя сегодня умерла.

Он присел на кровати. Тихо спросил:

— Кто умер?

— Владимир Сергеич! На-дю-ша. Это Зоя, ее подруга. Она вам рассказывала обо мне.

— Кто она? Объясните, пожалуйста.

Последовала долгая пауза. Он хотел уже положить трубку, когда собеседница прошептала:

— Вам неудобно разговаривать?

— Мне очень удобно разговаривать, но я ничего не понимаю.

На сей раз пауза была короче. После нескольких судорожных всхлипов она сказала:

— Умерла Надя Веткина. Простите меня за эту весть. Прошу вас, берегите себя.

Дурная шутка? Нет, не похоже. Порадовавшись, что они с Ольгой Павловной спят в разных комнатах, он попытался вернуть поскорей оборванный сон. Это потребовало усилий.

В конце концов он задремал, но ранним утром вновь позвонили. На сей раз — он не ошибся — в дверь.

Это была телеграмма из Вольска. Расписавшись в квитанции, он раскрыл ее и прочел: «Уважаемый Владимир Сергеевич великой болью вам сообщаю кончине нашей Надюши Веткиной держитесь Маргарита Михайловна».

Нет, это все-таки злобный розыгрыш. Не знает он никакой Нади Веткиной, ни Зои, ни Маргариты Михайловны. Компания вольских остроумцев решила, видимо, почудить. Умней они ничего не придумали. Но черт побери, откуда им там известны его телефон и адрес?

За завтраком сонная Ольга Павловна лениво спросила:

— Что это было? Какие-то ночные звонки. И чуть ли не на рассвете — тоже...

Он сказал:

— Просили проконсультировать. А утром прислали приглашение на какое-то толковище. Даже не понял. Кинул в корзину.

Она фыркнула:

— Дорогая цена дешевой популярности. Бедный...

Он не спросил, почему — дешевая? Уже давно привык к ее стилю. Коротко сказал:

— Ты права.

Надо поскорее забыть это дурацкое происшествие. Что делать, кого-то он раздражает. Приходится за это платить. Переморгнем. Но спустя три дня он получил письмо от Подстригина.

То был волоокий собрат по профессии. Дородный, деятельный шатен, прекраснодушный до инфантильности. Он неизменно гипертрофировал значение каждого события и каждого сказанного слова, кроме того, был предрасположен к переживаниям и потрясениям — эти свойства влияли на манеру общения, экзальтированную и патетическую.

Как выяснилось, Подстригин в Саратове, в командировке, она заканчивается, чего доброго, он будет в Москве раньше, чем это его послание, и все-таки он решил обратиться к немодному эпистолярному жанру — устная речь, увы, не способна выразить то, что порой мы чувствуем.

Далее он сообщал, что в Саратове познакомился с краеведом из Вольска, человеком в высшей мере достойным (в столицах такие перевелись), и этот обаятельный старец, узнав, что с Владимиром Сергеевичем они отнюдь не чужие люди, просил передать печальную весть.

«Мужайтесь, мой славный Владимир Сергеевич! — писал взволнованный корреспондент. — Надежды Веткиной больше нет!! Что делать, милый мой человек, все мы — на этом свете гости, но иные его покидают до срока! Покойная могла жить еще долго, но сердце ее было подточено!!

Друг мой! Новый знакомый из Вольска (который внушил мне своим благородством безоговорочное доверие, такое же, как бедной Надежде) мне рассказал о ней так много!! Что за душа, вас можно понять! Цельность и верность ее исключительны, не нахожу им ныне аналогов. Вы были ее светом в окне!! Никому — она поклялась ему в этом — не разрешила к себе и приблизиться! После вас это было бы профанацией!! Она рассказала о ваших встречах, когда вы для нее похищали у вашего вечного круговорота то день, то два, а то и недельку. Воспоминаний и ожиданий хватило ей, чтоб заполнить жизнь!

Все это вполне объясняет, какое место она занимала в вашей намучившейся душе. Вновь повторю: мужайтесь! Я — с вами».

— Что за беспросветный болван, — пробормотал Владимир Сергеевич, — просто какое-то слюнотечение. А сколько восклицательных знаков — артиллерийская батарея. Но, черт побери, что все это значит?

Владимир Сергеевич сел к окну и стал не спеша ворошить свою память. В Москве гриппозный слякотный день — нет времени хуже раннего марта. Все уже истомилось, измаялось за вязкую муторную зиму, все ждут тепла, а его все нет — одни обещанья календаря. Хотелось бы знать, какая погода стоит в далеком городе Вольске.

Нет, ничего не может вспомнить. Столько разнообразных лиц прошло, промелькнуло за длинные годы, не все из них задержались в памяти. Она отбирает людей, события, встречи, и это — жесткий отбор. Но в нем и несомненное благо — иначе можно было б свихнуться.

Владимир Сергеевич огляделся, мысленно сводя с собой счеты: как быстро опустела душа! Вот он сидит в своем кабинете, как замурованный в одиночке, даром что вертится в колесе. Несколько книг лежат на столе, дал себе слово в них заглянуть, все не найдет свободного вечера, глаза устают, голова забита всякой неотложной трухой. Лежат конверты, куда-то зовут, лист белой бумаги с неясным наброском и собственная визитная карточка, выпавшая вчера из кармана. Это случалось довольно часто. Он поднял ее, но забыл убраться.

— Господи... — произнес он беззвучно. Будто раздался легкий щелчок, лучик карманного фонаря нашарил и осветил наконец закатившуюся в угол монету. — Господи, — повторил он растерянно.

...Не то чтобы в незапамятный срок, но все же достаточно давно, этот лет за десять — пятнадцать до сексуальной революции, если воспользоваться точкой отсчета, предложенной журналистом Бурским, старым приятелем, плыл он по Волге. Был еще далеко не стар, но в некотором роде — сановен, уже научился держать дистанцию, беседуя со *средним званом*. Умел внушить к себе уважение — имя способствовало тому, — уважение, смешанное с опаской. Характер его заслужил оценку не слишком лестную, но облегчавшую выяснение отношений. Путь он держал в прибрежный город, где должны были по его проекту возвести — как он угрюмо пошучивал — очередной саркофаг искусства.

В городе ему предстояли ставшие привычными споры, выволочки, разговор на басах, еще скрыто заискивающие взгляды ответственных абorigенов — к ним он тоже успел привыкнуть.

Можно было туда полететь, но он благоразумно решил самортизировать заранее почти неизбежную нервотрепку, придумал себе пять дней безделья — прогулку по великой реке. Озон, одиночество, созерцание умиротворяющих пейзажей.

В солнечный вечер второго дня вышел на палубу, стал у борта, глядя на молчаливый простор. Небо, река и берег — все вместе — щедро смешивают цвета, и точно пляшет вокруг него оранжевый, зеленый, карминовый, стальной металлический блеск волны.

Кого-то из спутников он уже видел — рыхлую даму с болезненным мужем, юношу в бордовой ветровке, штурмана — скуластый крепыш, речник, похоже, не первый год ветер прохаживает наждачком по выскобленным кирпичным щекам.

Но женщину, стоящую поодаль, он до этого не заметил. Молоденькая, в сиреновой блузке, свежее простое лицо, так вопросительно смотрит за борт, будто пытается разгадать вечное таинство воды.

Такие полевые ромашки всегда в нем вызвали участие. Он ее о чем-то спросил, она откликнулась, разговорились. Женщина гостила в Москве у родственницы — да, безусловно, отдыхом это не назовешь. Устала от шума и толкотни, и как вы в таком котле живете? Привычка, он и сам не поймет. Она была на каникулах, учится? На каникулах, но учит сама, второй уже, между прочим, год. И тоже начала привыкать, сперва любой урок был экзамен. Теперь, значит, нет? А вот у него экзамены все еще продолжают. Смеетесь? Нет, не смеюсь. С каждым днем эти экзамены все серьезней. И как она провела вакации? Бестолково. Правда, была в Третьяковке. Лучшие театры разъехались. Смотрела один хороший фильм в кинотеатре по соседству — родственница проживает в Мневниках. Он знает этот кинотеатр. Когда-то давно его спроектировал. Ой, надо ж! Какое совпадение. Да, просто мистическое совпадение. А можно узнать вашу фамилию? Можно, она ничего вам не скажет, я ведь не артист и не диктор. А вот и нет, я ее слышала. Не надо выдумывать, нехорошо. Слышала, слышала, честное слово. И мы, между прочим, читаем газеты.

Так они весело перебрасывались мячиками через незримую сетку — милый вечерний настольный теннис. Еще не игра — всего лишь разминка. В радиорубке включили динамик, над палубой заворковала мелодия. Только ее и не хватало для полного размягчения сердец. Он пригласил ее в каюту. Поколебавшись, она зашла.

Наверное, пробудил интерес — в этом прогретом плавучем гнездышке она засыпала его вопросами. Посмеиваясь, он отвечал, сперва — снисходительно, после — пространней. Когда он предложил коньяку, она отваж-

но выпила рюмку, выпила и другую, и третью, он с тайной усмешкой успел подумать: какой порочной она себе кажется!

Она провела у него меньше часа, потом смущенно заторопилась, пряча на ходу в босоножки маленькие девчоночьи ступни. И вдруг задержалась — на столешнице лежал аккуратный белый квадратик. Что это? Визитная карточка? Надо ж, читала про них не раз, а видеть еще ни разу не видела. Кивнул: у нас они не в ходу, ему их сделали для поездок — там, за бугром, могут понадобиться. Выпала утром, вот и валяется. Можно, она возьмет на память? Если ей хочется, ради Бога...

В Саратове они попрощались. Она сошла, он продолжил рейс. Больше он ее не встречал и ничего о ней не слышал. Надежда... да, именно так ее звали. Когда их столкнула судьба на палубе, век совсем молодой женщины лишь занимался, еще восход... Чего он ей только не обещал — дожить поскорей бы до щедрого полдня! Каким же оказался тот полдень, что ей пришлось его сочинить? Он снова вспомнил ночной звонок, плачущий голос неведомой Зои, телеграмму Маргариты Михайловны, пламенное письмо Подстригина. Кто скажет, что жить на земле не весело? Здесь и беда глядит анекдотом.

Школа в ночь выпускного бала! Девочки в праздничных белых платьях и принаряженные отроки. Спешите радоваться! Завтра утром услышите трезвые голоса: будущее — не отчий дом. Отныне экзамены каждый день.

О главном из них он тогда не сказал — однажды нужно будет ответить про свой шесток, сумеет смириться, сумеет признать свое поражение. На этом билете всегда горят.

Но тут уж никого не научишь. Да и кому отдать то, что знаешь? Разве что внуку. Но тот далеко. К тому же не больно-то ему нужно. Что, разумеется, закономерно. Уже для многих, для очень многих, в сущности, нет особой разницы меж мной и моей визитной карточкой. Что я такое в их сознании? Имя, отчество и фамилия. Да и они сотрутся скоро. Лишь в незнакомом городе Вольске этот грошовый клочок картона что-то весил и что-то значил.

Какая тощица! Кусочек неба, видный в окне, смотрит на землю безжизненным слюдяным оком.

РАССТРИГА

— Какая прекрасная работа, — сказала дама, — просто как новенькие. Что значит — проскурниковская мастерская.

Она повертела перед глазами туфлю с правой ноги, потом с левой, точно разглядывала их на свет.

— Главное, что мои домашние хором твердили: да выброси их, они свое уже отслужили.

— Ну зачем же? — сказал сапожник. — Проскурников всегда говорил: с вещами нужно подольше жить, как можно дольше не расставаться.

— Занятно, — сказала дама. — Спасибо. Вы бережете его репутацию.

— Спасибо и вам, — сказал сапожник.

И, не спеша проводив ее взглядом, обернулся к Владимиру Сергеевичу:

— Так какая у вас беда?

Владимир Сергеевич с интересом посматривал украдкой на мастера. Плоский нос, глаза глубоко посажены, узкая верхняя губа — красавцем его не назовешь, но внешность обращает внимание, по-своему даже к себе притягивает. И кажется почему-то знакомой.

— Мне тоже советовала жена выбросить туфли за ненадобностью, — сказал он с виноватой улыбкой, — видите, что с ними стряслось.

— Союзки долго жить приказали, — вздохнул сапожник. — Тяжелый случай.

— Но вот и я — расстаюсь неохотно. Обувь предпочитаю разношенную.

— Это естественно. Вы подсознательно ощущаете: всякая перемена укорачивает вашу жизнь.

Эта мысль в устах его собеседника, да и лексика, изысканно книжная, удивила Владимира Сергеевича. Мастер, видимо, уловил его реакцию — ухмыльнулся.

— Это Проскурников говорил, — сказал он. — Может быть, чуть по-другому.

«Уж несомненно по-другому, — мысленно согласился с ним Владимир Сергеевич, — ты, мой милый, явно другого поля ягода».

И чтобы прикрыть чувство неловкости, сказал озабоченно:

— Мне объяснили, что только у вас могут помочь. Завидная слава.

— Имя обязывает, — сказал сапожник. — «Проскурниковская мастерская».

— Усек, — кивнул Владимир Сергеевич. — Это звучит почти как легенда.

— Мастер — это всегда легенда, — живо отозвался сапожник. — Он меня и учил. На совесть.

Неожиданно Владимир Сергеевич понял, что ему здесь уютно. Тихо, тепло, да и покойно — не хочется наружу, на улицу, в морозные жернова Москвы. Приятно тянет кожей и клеем, словно приперчивающий воздух запах дратвы, не всем он по вкусу, а вот ему он издавна мил — так в детстве сладко и завораживающе действовали на его обоняние натертые мастикой полы. Неведомо почему, но мерещилось, что веет свежим весенним духом.

Мастерская занимала просторное полуподвальное помещение, в конце которого — желтая дверка в подсобку. В самой мастерской, у ближней стены, шкафчик, над ним мутноватое зеркало, вернее, то, что осталось от зеркала. Станочек стоит у другой стены, она примыкает к окну, сквозь которое просматривается тротуар. Впечатление, что он движется — такую иллюзию создают то возникающие, то исчезающие туфли, туфельки, сапоги и сапожки. Владимир Сергеевич подумал, что это ожившая витрина проскурниковской мастерской, ее опознавательный знак. Он мысленно представил себе, как, изредка поднимая голову, Проскурников смотрел на обувку, которой был занят весь свой век.

— Ну что ж, — сказал сапожник. — Добро. Надеюсь, что смогу вам помочь. Обязан — по старому знакомству.

Не зря это плоское лицо сразу заставило память вздрогнуть. Владимир Сергеевич взгляделся и неуверенно проговорил:

— Вы — Тан?

Сапожник с усмешкой кивнул.

— Тимофей Александрович?

— И это помните?

Владимир Сергеевич был растерян, не знал, что говорить, как держаться. Когда их познакомили, это имя было звонким, даже чуть вызывающим. Слава о молодом биологе шла всякая, несколько даже скандальная. Никто не отказывал в одаренности, и все-таки «Тимофей Тан» было одним из эпатазирующих, раздражающих именованных. Как всякая деятельность, завязанная на прогностике, она балансировала на тонкой грани игры и науки — при этом, по мнению оппонентов, Тан переходил эту грань. Естественно, он в ответ ошетикивался, характер становился все жестче, а это не добавляло друзей. И вдруг он выпал из поля зрения, сначала ушел в бест, в затвор, потом и вовсе исчез, пропал. Какое-то время о нем судачили, потом благополучно забыли. Забвение всегда безотказно.

Но вот он здесь, стоит перед ним в теплом тусклом полуподвале, в черном будничном свитерке, в кожаном фартуке, старый знакомый. Плос-

кое лицо посерело, волос поубавилось, но глаза, запавшие еще глубже, посмеиваются.

— Как благоденствуете? — спросил он. — По-прежнему на верхушке горы или уже на пути в долину?

Владимир Сергеевич рассмеялся:

— Долина все ближе. Вот-вот и пополню список уцененных товаров.

— Ну и отлично, — сказал Тан. — По крайней мере найдете время немало ближе с собой познакомиться. А это первостепенное дело.

— Уверены?

— Теперь убежден. Хотя и не сразу это понял. Вы только подумайте, что за нелепость! На этом свете есть человек, который носит ваше имя, живет вашу жизнь, однажды примет вашу, лишь вам сужденную, смерть. Вы ни на миг с ним не расстаетесь, вы вместе с ним даже во сне, и вам все некогда им заняться.

Владимир Сергеевич попытался еще раз заслониться улыбкой.

— А как нам быть с остальным человечеством?

Тан сказал:

— Чем вы лучше себя поймете и чем более себя упорядочите, тем лучше будет для всех других. Тут нет драматического противоречия. Еще на фронте дельфийского храма был выбит призыв к самопознанию.

— Не боитесь? — спросил Владимир Сергеевич.

— Чего же?

— Не знаю, как поточнее... Жизни на самопальном топливе?

— Нет. Я не автомобилист. Не боюсь. Вы не тревожьтесь, мир воздействует. Хотим мы этого или нет.

Владимир Сергеевич помолчал, потом, точно решившись, сказал:

— Досадно, но мне не удастся как-то связать концы с концами. Я знаю, в истопники и дворники ходили от неприятия власти, режима и прочих институтов. Но вы как раз пережили те годы более-менее успешно — и на виду и на слуху. Что же однажды вас побудило к такой перемене декорации?

— В общем, правомерный вопрос. Естественно, не протестантство, которого я избегал и тогда, когда в нем было свое обаяние. Мне отчего-то всегда казалось, что между внешними антимирами есть некое скрытое сопряжение, что в чем-то они нужны друг другу.

Он помолчал, словно ждал возражений, но Владимир Сергеевич молчал, и Тан произнес с колючей усмешкой:

— Возьмите искусство, оно вам ближе. Я, разумеется, не знаток. Вспомните, как привлекал андерграунд — по-нашему подземелье, подполье, — где-то, укрытые от соблазнов, творят они, нищие, но не сдавшиеся, переполненные талантом. И вот они явились, пришли, вышли из своего забоя — лучше бы они там остались!

— Жестко, — заметил Владимир Сергеевич.

Тан словно ждал такой оценки.

— Нет ничего, что вызывает большее разочарование, чем торжествующая оппозиция, — сказал он еще непримиримей. — Еще недавно она казалась страстной, обгоняющей время — и вот наступает час победы во всей его пошлости. Куда все делось?

— Чувствую и порох, и злость. — Владимир Сергеевич покачал головой. — Но вас-то что привело в подвал? Или в полуподвал — не важно. Вас не оценили, не поняли?

— Всяко было, но на это не жалуюсь. Когда нащупываешь свое направление, то нечего ждать аплодисментов. Я и не ждал, хотя, как вы знаете, были люди, которые в меня верили. Меня и вышучивали, и поругивали, и называли колдуном, и советовали выступать с вечерами — можно-де быстро разбогатеть! Но брань не виснет на вороту у увлеченного человека, к тому же достаточно молодого, еще не уставшего от жизни. Чем больше

бранили, с тем большим азартом я трудился над своим алгоритмом. В самом начале своей дорожки я запретил себе рассчитывать на благодарность и поощрение. В нашей отечественной жизни милые сны о меритократии — только щекоганье души и стойкое самообольщение. Мы не способны возвысить соседа, коллегу, тем более соперника, за качества, вроде бы нами ценимые, — за интеллект, за дарование, смекалку, умение делать дело. Слишком завистливы, нетерпимы, подвержены игре интересов и прочим традиционным пристрастиям.

— Так в чем же причина? Тут поневоле вспомнишь французов: ищите женщину...

— Что же, они отчасти правы, без женщины не обошлось. — Он нерешительно улыбнулся, взглянул на часы и предложил: — А вот составили бы компанию. У меня сейчас перерыв на обед.

— Согласен, — сказал Владимир Сергеевич, — есть не хочу, посидеть готов.

Тан закрыл мастерскую и сказал:

— Нет, уж выпейте, раз такое дело. Не пугайтесь, сапожники пьют как сапожники только в нерабочее время. Мне сегодня еще пахать. Закусите скромно, как захотите — огурчиком, помидором, сырком.

В подсобке они помыли руки, сели за столик, стоявший в углу, Тан поставил початую бутылку, два стакана, припасенную снедь.

— Ну, за встречу, — сказал он. — Кто б мог подумать...

— Аминь, — кивнул Владимир Сергеевич, — много не лейте, я — символически...

— Ваша княжая воля, — откликнулся Тан. — Так Проскурников говорил.

— Что еще говорил Проскурников?

— Первая — колом, вторая — соколом. И был прав. Что-то хотите сказать?

— Хочу сказать, что я вас слушаю. Вы ведь не зря меня пригласили.

— Справедливо. На чем мы остановились? На моих высокоумудрых занятиях? Придется о них упомянуть, ибо и они — часть сюжета. Итак, они вызывали различное, неоднозначное отношение. Наименее агрессивный профессор даже отечески посоветовал попробовать свои силы в словесности, в таком ее жанре, как эссеистика, — при чем тут наука, тем более точная? Звучало веско, но это было весьма поверхностное суждение. Склонность к отвлеченному мышлению и привела меня к точным наукам.

— Тут что-то есть. — Владимир Сергеевич поощрительно улыбнулся. — Все начинается с метафизики.

— И ею кончается, — сказал Тан, с хрустом надкусывая огурец. — Вообще говоря, моя область знаний и сфера деятельности возникли недавно, само собой, на стыке наук, как это часто теперь происходит. Взаимосвязи все очевидней, и целенаправленная концентрация — практически неостановимый процесс. Но ваш слуга быстрее других сказал об антропофутурологии и обозначил в ней свое русло. Причем я сразу же сосредоточился на единичном, а не на множественном. Разумеется, будущее социума гораздо более предсказуемо, нежели судьба индивида. Значительно легче прогнозировать судьбу армии, чем судьбу солдата. Я это всегда понимал, поэтому вовсе не удивлен, что ныне развелось столько фондов, центров и даже институтов, бросающих академический флер на вещанье современных наперсточников. Велико дело — орлиным оком увидеть судьбу нашей популяции, увидеть даже судьбу Галактики — теперь, на последнем параде планет! — Тан вновь презрительно усмехнулся. — В отличие от этих оракулов, мне было жизненно важно вывести алгоритм индивидуальной судьбы.

«Свихнулся», — подумал Владимир Сергеевич.

Тан ухмыльнулся и сказал:

— Уверяю вас, я в здравом уме. Не смущайтесь, прочесть ваши мысли несложно. Поверьте, я ничуть не обижен. В счастливой догадке всегда присутствует определенный сдвиг по фазе. Итак, я создал систему тес-

тов — из хаотической мозаики, которая составляет личность, надобно вычленив элементы, образующие ее код. Конечно же далее вы обязаны расположить их в таком сцеплении, когда они все взаимовлияют. Граница болевого барьера и порога сопротивления, степень страха, объем информации, уровень фаустовского комплекса — иначе говоря, игра в молодость и зависимость от нее, — энергия приспособления... Я не назвал и сотой доли жизненно необходимых параметров, чтоб прочесть кардиограмму судьбы. Не буду сейчас забивать вам голову. Суть в том, что это взаимодействие может быть математически выражено.

— А случайность? — спросил Владимир Сергеевич.

— С вами приятно вести беседу. Тут и была сердцевина задачи. Понять случайность как сочетание детерминированных предпосылок! Есть надоевшее выражение: а если кирпич упадет на голову? Кирпич выбирает ту самую голову, которая для него предназначена. И это не то, что без воли Божьей волос не упадет с головы.

— Какой вы все-таки честолюбец, — развел руками Владимир Сергеевич. — Присваиваете право Создателя.

— Нет, я — не создатель, и автор. Я читатель, но читаю я рукопись. До того, как она опубликована и книгой для всех еще не стала.

— А редактором вы быть не стремитесь?

— Зачем?

— Усовершенствовать рукопись...

Тан опасливо его оглядел. «Смотрит так, будто ждет подвоха», — удивленно подумал Владимир Сергеевич.

— Повторяю вам: я — читатель. Но очень внимательный читатель. Мое дело — прочесть, оценить, но не править. Да это, должно быть, и невозможно. Как в истории, так и в отдельной жизни обстоятельства сходятся в пучке и завязываются в узелок. Принцип гибели человека тот же, что гибели цивилизации. Исчерпанность или переизбыток. Существует свой «синдром кирпича». Нужно лишь вычислить его формулу в каждом случае — и становится ясно, как в нелепости проявилась судьба. Ибо есть точка пересечения неизбежности и случайности.

— И вы можете определить ее место?

— В принципе — она вычисляема. Так же, как всякое совмещение пространства и времени.

— Вам удалось? — Владимир Сергеевич предусмотрительно придал интонации вполне деловой, нейтральный оттенок.

— Полагаю, что так. Но это жестокая удача. Особенно изнурительно чувство, которое приходилось испытывать, когда при мне обреченные люди строили планы, делились надеждами. Жаль, погружаясь в чужие жизни, я не занимался собой и потому не сумел предвидеть, что поджидает меня самого. Ваше здоровье, я рад вас видеть.

Владимир Сергеевич молча чокнулся. Может ли он ответить тем же? Он предпочел в себе не копать.

— Ну вот, преамбула завершена, — сказал Тан, — перейдем непосредственно к фабуле. Примерно лет пятнадцать назад я свел знакомство с семьей Киянских — фамилия эта вам, видно, знакома. Они проживали — отец, мать и дочь — в одном из лирических переулков между Пречистенкой и Остоженкой. Тогда, разумеется — между Кропоткинской и Метростроевской: до Реставрации еще оставались годы и годы.

Меня привлекла, естественно, дочь, миниатюрное существо, прозрачное, почти невесомое. Ее воздушность меня умиляла, особенно маленькие руки. Должен сказать, что она была весьма одаренной пианисткой, уже приобретавшей известность. Я часто бывал на ее выступлениях и просто не мог себе объяснить, как покорялись ей произведения, требовавшие мощи и силы. Не мог понять, как ей удается после этого выжить и уцелеть?! Каждый раз мне казалось, она не встанет, так и останется у рояля,

на бархатном стуле, как на плахе. Как могут эти бесстрашные пальчики исторгнуть из клавиш такую бурю? В жизни все было наоборот — тиха, неуверенна, часто задумывается. Но это и сообщало ей какую-то особую прелесть. По крайней мере в моих глазах.

«Однако, — подумал Владимир Сергеевич, невольно любуясь, как аккурратно он нарезает ломтики хлеба. — Очень чувствительный господин. Вот уж чего не ожидал».

Тан — почти мгновенно — откликнулся:

— Я был достаточно честолюбив — эту черту вы во мне подметили, — чтобы запретить себе влюбчивость. «Мы все глядим в Наполеоны», я с малолетства вбил себе в голову: надо выбрать между миссией жизни и жизнью души — сосуществовая, обе становятся ущербны. И вот впервые я ощутил такую зависимость от женщины. При этом замечу, что интерес нежданно оказался взаимным — она сразу и безотчетно поверила в то, что я призван открыть заповедное.

Вскоре я близко узнал и родителей. Мать Кати просто собой заполняла определенную часть пространства, а вот отец ее, тот заслуживает, чтобы сказать о нем несколько слов.

— Киянский... да, я слышал о нем, как же... — кивнул Владимир Сергеевич.

— Не слышать вы попросту не могли. Он сделал все, чтобы быть на слуху.

— Но мы не сталкивались.

— Вам повезло. Мало в ком с такой сатирической резкостью сфокусировались характерные свойства и черты приживала почившей Системы. Само дело, которому он посвятил себя, было по-своему показательным. Не знаю, с чего он начинал. Когда мы встретились, он регулярно ставил торжественные представления и всякие массовые действия к официальным праздничным датам.

К этому своеобразному творчеству он относился с молитвенным трепетом, с придыханием, ощущал свою избранность, а когда поучаствовал в открытии Спартакиады, и вовсе почувствовал себя национальным достоянием. «Смею думать, — повторял он частенько с элегическим вздохом, — в этой стране нет большего знатока и мастера концертной драматургии, чем я». Иной раз произносил доверительно: «В труде художника есть нечто жреческое».

Владимир Сергеевич рассмеялся:

— Ну, это из наших любимых мелодий.

— Наверно. Но он бы себе не позволил вашей улыбки — она кощунственна. Ты либо жрец, либо профан.

Он был представительным мужчиной высокого роста, большеголовый, с уверенной выработанной походкой. Выглядел бы вполне импозантно, если б не саблезубый рот. Был очень охоч до «мужских разговоров», которые обожают вести неудачники сексуального фронта. При этом загадочно улыбался, будто чего-то недоговаривал. Иной раз устало теоретизировал: «У мысли — свои эрогенные зоны».

Возможно, что-то ему доставалось — сказать точнее: перепало — от молодых, корыстных стрекоз, участвовавших в его массовках, но ни одной независимой женщине он не сумел внушить симпатии. Однажды я даже полюбопытствовал у некой весьма неглупой особы, в чем заключается причина такого тотального равнодушия. Казалось бы, выигрышные стати, осанка, величественные манеры. Она небрежно пожала плечами, поморщилась: «Пирожок с ничем».

— Зато о даме так вряд ли скажешь.

Тан согласился:

— Никак не скажешь. Она как раз пирожок с перчиком. Впрочем, он не был столь безобиден. В так называемой общественной жизни и уж тем

более — в служебной был омерзителен, невыносим. Охотно осуждал, кого требовалось, охотно поддерживал все почины, всегда был в первых рядах добровольцев. Надо было хоть раз увидеть, как он общается с начальством — приятно трепеща, чуть пригнувшись, стараясь попасть и в тон и в лад. Зрелище было порнографическое. Когда пресмыкается сморчок, это хоть скрадывается габаритами, как-то сливаются вид и суть, когда же так откровенно холопствует мужчина великолепного роста, с барственно-вельможной повадкой, испытываешь тоску с тошнотой.

Он вознаграждал себя дома. Там его хищные клыки уже не прятались под улыбкой. Впрочем, обманывали и они — на крупного зверя он не тянул. Но в его отношении к жене и дочери я чувствовал нечто вампирическое.

Жена его была стабильно болезненная, рано расплывшаяся дама. Из-за своих жировых отложений она пребывала в смертельной панике — однажды настанет день прозрения, ее эстетический супруг не вынесет таких диспропорций. Она лечилась, она голодала, даже ходила в турпоходы. Бессмысленно — лишь набирала вес.

Что же до Кати, то он не умел скрыть своего ревнивого чувства к ее нарастающему успеху. Досада была даже острее, чем та, что испытывал он к коллегам. То были *чужие*, а его дочь, черт побери, была его частью, его отростком, и вот частица, оказывается, значительней целого и вообще давно пребывает от этого целого автономно. Сказать об этом вслух он не мог, зато он мог отравлять ей жизнь.

Меж тем это странное создание любило отца, причем не дочерней, скорее — материнской любовью, готовой к прощению и снисхождению. Все его выходки, нетерпимость, его упоение собой, позерство, дурацкая трубка в зубах — все вызывало у этой девочки не грусть, не растерянность, не раздражение, а удивленную растроганность — что взять с этого большого ребенка?

Самое верное, что я мог сделать, — увести ее из этого дома. И сам был захвачен и ощущал, что я ей совсем безразличен, а вера ее в мое назначение радовала меня беспредельно. Но медлил — плохо видел себя в роли семейного человека, а мысль, что я породнюсь с Киянским, вызывала у меня содрогание.

В эту пору ладыя его дала течь. Уже наставляли другие дни, и старая листва осыпалась. Официальный человек уже не казался недостижимым и защищенным державной лаской. очередное концертное шоу, приуроченное к какому-то дню, плясавшее, певшее, завывавшее под грандиозным муляжом голубя мира, столь же унылое и тошнотворное, сколь помпезное, удостоилось наконец фельетона. Чье-то язвительное перо воздало ему за все эти годы.

Что с ним было, передать невозможно. Он бегал по каким-то инстанциям, писал заявления, жалобы, письма, громко требовал извинений, опровержений и сатисфакции, скорбно обличал интриганов, напоминал о провале «Чайки» на премьере в Александринском театре. Как ликовали тогда завистники! Недаром Чехов тогда писал, что имела неуспех его личность. Но где они ныне, а «Чайка» парит! Эта изящная параллель нам обещала, что точно так же будет парить его мирный голубь.

Вслух ему выражали сочувствие, но за спиной довольно посмеивались. Он всех раздражал, всем опостылел. Даже супруга негодовала слишком шумно и театрально. Одна только Катя сострадала и утешала его, как могла. Сама она все чаще задумывалась, вдруг неожиданно отключалась в самых неподходящих местах.

— Скверный признак, — сказал Владимир Сергеевич. — Тот же Чехов заметил: когда человек часто грустит, он то и дело смотрит на потолок и пошвыстывает.

— Вижу, и вам это знакомо. — Тан посмотрел на него с одобрением.

«Кажется, его это радует». Но мысль не успела оформиться. Голос Тана ее спугнул.

— Однажды она ко мне обратилась с просьбой провести с нею тесты, чтобы составить ее хроноскоп. Я сказал ей, что знакомым отказываю и уж тем более — близким людям. Однако она упрямо настаивала. И должен признаться, кто мне хотелось ответить согласием, уступить. Недаром же каждый — кто явно, кто тайно — испытывает тягу к рулетке, желание нажать на курок, прижатый к виску, — а вдруг пронесет?

Я кожей чувствовал — ждет беда! Нельзя превращаться в духовника женщины, милой твоей душе, до срока узнавать ее тайны. Что-то между ею и мною изменится, причем — неизбежно. Но я поспешил себя убедить: конечно же я не то, что все прочие. Исследователь — это тот же врач. То, что для другого запретно, — моя профессия, мое дело. Когда стремление искусительно, доводы и аргументы найдутся.

Дальнейшее я сожму в две фразы. Что ожидал, то и получил. Само собой, я заверил Катю, что все хорошо, что ее призвание подпитывает бытийную силу, однако я даже не подозревал, насколько исчерпаны все резервы. Я лишь теперь увидел воочию: она как танцовщица на канатике, который что ни час истончается. Причина не в каком-то недуге — исходно катастрофичен вектор.

— Она поверила вам?

— Не знаю. — Тан быстро наполнил свой стакан, выпил его одним глотком, не приглашая присоединиться. — Не думаю. Все случилось стремительно. И гибель ее была ужасна. Катя шагнула в шахту лифта, не дождавшись спускавшейся сверху кабины. О чем она думала, где побывала — об этом мы уже не узнаем. Утверждают, что люди, входящие в смерть, медленно движутся по тоннелю и ясно видят в конце его свет, испытывают радость и легкость. Боюсь, она не успела увидеть.

Не стану рассказывать, что я чувствовал. Больше всего точила мысль: что, если Катя с таким упорством просила меня заглянуть за полог, чтобы решить, а вправе ль она связать со своей судьбой другую? И вдруг я *помог* ее судьбе определиться, *найти свою формулу*? Вдруг бросил ту последнюю гирьку на весы окончательного вердикта? Все более крепнущая уверенность, что я поспособствовал *кирпичу*, буквально разрывала мой мозг. Напрасно я себе говорил, что я предаю свою науку, что я обесмысливаю свой труд и все оборетенные постижения, — я чувствовал, что схожу с ума.

Владимир Сергеевич осторожно поднял стакан и проговорил:

— Бедняжка. Пусть будет земля ей пухом.

— Спасибо. — Тан устало кивнул. — Наша земля не может быть пухом. Слишком сурова и тяжела для человеческого праха — будь он мертвым, будь он живым.

Моя работа мне стала в тягость. Тогда-то я стал заходить к Проскурникову. Мне нравилось у него бывать. Сидел и смотрел, как он работает. Мастеру было не до меня, но изредка, когда мне казалось, что он забыл о моем присутствии, он вдруг бросал словечко-другое. Ум у него был незаемный. А говорил он кратко и точно. Я его однажды спросил о политической борьбе. Ответил не сразу и неохотно: «Нужна она мне, как зайцу орден. С чем в колыбельку, с тем и в могилку». И дал понять, что проблема исчерпана.

В один из противных промозглых дней — вроде нынешнего — я встретил Киянского. Хотя я отчетливо понимал, сколь разрушительным было для Кати это отцовство, но в первый миг я ощутил, что во мне шевельнулось нечто похожее на симпатию. Все же она была его дочерью.

Да и ему хотелось выговориться. Едва мы присели, он, наклонившись, проникновенно зарокотал: «До сей поры не могу смириться. Я знаю, что так порой случается — отцы хоронят своих детей. Но тут ведь совсем дру-

гое дело. Катюшка была не только дочь. Катюшка была *мой* человек. Наверно, одна, кто меня понимал».

Все тот же. «Она была — мой человек». Вроде бы, по его разумению, это серьезная похвала и, значит, он отдает ей должное. Но нет, он и тут вел речь о себе, себя возвышал, себя оценивал, а ей лишь отводил ее место. Вот он — непонятый, неразгаданный, с недостижимой высоты взирает на людской муравейник. Не каждому на этой земле дано оказаться *его* человеком. А вот Катюшке было дано — хоть несколько, хоть отчасти приблизиться. Теперь он один, ни с кем не поделишься ни думой, ни творческим озарением. Мне вспомнился громоздкий муляж пышного грудастого голубя, который он водрузил над эстрадой. И сам он — такой же муляж человека.

Странно, но встреча с этим павлином, к которому я ничего не испытывал, кроме брезгливой и стыдной жалости, вдруг оказалась последним толчком. В самом деле, иной раз довольно самого легкого прикосновения, чтобы обрушились стены и своды.

— Это правда, — сказал Владимир Сергеевич.

— И вот в одно превосходное утро, — Тан выразительно усмехнулся, — я обратился к себе: мой друг, если ученые — это сословие, так сказать, аристократия разума, то, значит, ты идешь в разночинцы. И в тот же день я пришел к Проскурникову и бухнулся в ноги: Семен Алексеевич, обучайте рукомеслу.

Должно быть, я чем-то ему полюбился. Сужу по тому, что он был терпелив. Только когда от большого старания я торопился, не вникнув в суть, он хмурился и говорил: «Сначала спроси! За спрос не бьют в нос». Сам был собран и экономен в движениях, время ценил, иногда ворчал: «Покель мямля разуется, проворный выпарится». В сущности, он меня вытаскил за уши. Его кончина, пожалуй, была еще одной жестокой потерей. Зато я узнал, кто я таков, что, между прочим, неприхотлив, как ягель, — могу жить на голом камне и даже там, где лед. Это радует.

— Тоже проскурниковская заповедь? — Владимир Сергеевич лукаво прищурился.

— Все — от него, — подтвердил Тан.

Он поднял стакан и, приподнявшись, почти торжественно произнес:

— Ну, напоследок: за *неведение*. Единственно доступное счастье.

Владимир Сергеевич сказал:

— Да, у вас здесь хорошо. Покойно.

Слегка оскалившись, Тан спросил:

— Что, тоже притомились от жизни?

Его усмешка была недоброй. Владимир Сергеевич ошетинился:

— Не настолько, чтоб ее изменить.

— Ну, пошабашили — и будет, — сказал Тан, самую малость помедлив. — Можете прийти послезавтра.

Неожиданно для себя самого Владимир Сергеевич спросил:

— Скажите, а вы в этой мастерской не надеетесь переспорить судьбу? Увернуться от своего кирпича?

И почувствовал холодок в груди, словно на самом краю обрыва.

Плоский лик Тимофея Тана стал неподвижен, но в быстром взгляде Владимир Сергеевич прочел враждебность.

— Я тут вам сказал комплимент, — отчеканил Тан, глядя в сторону, — про то, что с вами приятно беседовать. Как выяснилось, это не так. Беседовать с вами — небезопасно.

И добавил после короткой паузы:

— Я безобразно разговорился. По-видимому, перемолчал.

На улице Владимир Сергеевич задрал воротник. Окаанный ветер льдиною пылью дохнул в лицо. Надо было выпить побольше — трезвенники себя наказывают.

— Темен смертный, чего в нем нет, — пробормотал он с глухим раздражением.

Вот и метро, поскорей в толчею. Локти, бока, чье-то дыхание. Стужа медленно отпускает. Поток выносит его к эскалатору. Ступенька заботливо подставляет свою гуттаперчевую спину, тащит по тесному руслу вниз.

— Путь в долину, — шепнул Владимир Сергеевич.

ВETERАНЫ

Сидели, обнявшись, на дачной платформе, ждали электричку в столицу. Хмелея от одури летнего полдня, время от времени целовались. Платформа была совсем пуста, только на соседней скамейке дремал низкорослый паренек.

Она была в белом сарафане, он — в белой сорочке и белых брюках.

— Мы с тобой одного цвета, — сказала она.

— И одной крови, — добавил он, целуя ее в голое солнечное плечо.

— Слушай, не заводи меня, — сказала она. — Будь человеком.

Он еле слышно пробормотал:

— Скорей бы уж добраться до крыши.

— Никто, кроме нас, не едет в Москву, — вздохнула она. — Даже обидно.

— Еще бы. Ехать в такое пекло! Нет дураков.

— Так мы дураки?

— У нас проблемы жизнеустройства. Тут уж ничего не поделаешь.

— Лобзаешь меня, а парень смотрит.

— Пусть смотрит. Он молодой — поймет. Все-таки мы молодожены.

— Какие уж мы молодожены, — сказала она. — Сегодня у нас десятый день законного брака.

— А в самом деле — десятый день! Не молодожены, а ветераны. Ветераны семейного фронта.

Она кивнула:

— Страшно подумать. Рукой подать до серебряной свадьбы. Ну вот, ты опять меня заводишь.

— Я нехороший. Разве я спорю?

— Два дня шокировал мою мать, теперь — ни в чем не повинного юношу. Она еще радовалась, бедняжка, — зять у нее из хорошей семьи.

— По-моему, за эти два дня я ее покорил окончательно.

— Само собой, покорил, покорил... Ну потерпи, раз уж ты ветеран... Совсем как я — терпеть не умеешь...

— Так не умеешь?

— Ох, кажется — нет. Но мне простительно... Наша соседка знаешь как о себе говорит: я женщина сырая, подверженная... А ты мужчина и покоритель. Мужчина рожден, чтобы терпеть.

— Чисто славянская философия. Где эта чертова электричка?

Парень на соседней скамье медленно потянулся и поднялся. Когда он встал, то оказался совсем коротышкой — похож на подростка. Только лицо было взрослым, опытным. Одной рукой он держал сигарету, другую словно стерег в кармане.

— Здравствуйте. — Он подошел к скамейке, где обнимались молодожены. — Хотел сказать, и я — ветеран.

— Хорошее дело, — одобрил муж.

— Я — ветеран горячих точек, — сказал паренек и сладко зевнул. — Ждем электричку? Уже идет.

Все яростней, все неудержимей, все ближе стала греметь земля. И вдруг из-за поворота, выгнувшись и сразу же распрямившись, явилось зеленое долгое тело поезда.

— Ну наконец. Дождались экспресса! — воскликнула молодая жена.

— А он не ваш, — сказал паренек.

Он что-то добавил, но стук и грохот уже поглотили слова и звуки.

Поезд замер. Он был почти пустым. Ветеран прошел в головной вагон, сел у окна, против движения, с интересом разглядывая платформу. Электричка вздрогнула, задышала и через силу сдвинулась с места, быстро наращивая скорость.

Молодожены остались сидеть на той же скамье, рука в руке. С каждой секундой все меньше и меньше становились две белых фигурки, вот они уже почти не видны, неразличимы — два белых пятнышка, каждое с дырочкой в груди.

* * *

Когда он услышал, что внук убит, он точно разом окостенел, вмерз в лед, как первобытное чудовище.

Внук приезжал к нему погостить — встретил ее, влюбился с лету, до немоты, до невменяемости.

— Вот оно и пересеклось, — беззвучно выдохнул Владимир Сергеевич.

Всю ночь он сидел не шевелясь, силясь найти главный ответ. К утру уже отчетливо знал: судьба наконец встретилась с жизнью и жизнь его изошла, закончилась.



АЛЕКСАНДР ЗОРИН

*

ДРУЖЕСТВО ЗВЕЗД

* *
*

Чем старше — тем ближе к истокам,
чем дальше они — тем видней.
Над Волгой, на всхолмье высоком
стоит деревенька, чуть боком
к реке, в паутине плетней.
Под грудой садов одичалых...
Ничейные вишни в прогалах
и черные избы сплелись,
влачась скособоченно вниз.

В бору перевозданно-могучем
вечерняя темень страшит.
Я с бакенщиком неразлучен,
а он, как всегда, не спешит.
Размеренным стуком уключин
июль приглушенно прошит.

Из лагеря освободинлся
отец... и нежданно явился
в семью. Прокатилась волна
амнистии — как из тумана
явился. Счастливая мама
ему беззаветно верна.

Смолистым настоем согрето,
лелеет летучее лето
надежды, нездешний покой
таится, в себя погруженный.
Моим костерком подоженный,
пылает восход над рекой.

Влечет меня нынче туда
уж по-стариковски, да-да.
А все не решусь... Оглянулся,
тьму времени видя насквозь, —
боюсь, как бы круг не замкнулся,
начало с концом не сошлось.

Зорин Александр Иванович родился в 1941 году в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор шести лирических сборников.

Натюрморт ко дню рождения

За все, за все Тебя благодарю...
 Я сам себе подарок сотворю.
 Поставлю натюрморт. Хотя бы так:
 три яблока возле высокой вазы,
 где собрались застенчивые астры,
 японский гладиолус и табак,
 и георгины, впитывая мрак
 пурпуровый, набычились, мордасты.

Грань светотени — тонкая игра.
 Прилежно коротаю вечера,
 на миллиметр сдвинуть, чуть поправить.
 И этот минет нынче, как вчера...
 Если сосед, грозившийся с утра,
 с бутылкой водки не придет проздравить.

* *
 *

Когда-то остынут последние угли в золе,
 и, пеплом объята,
 когда-то настанет последняя ночь на земле
 моя, а не чья-то.

Все чаще и чаще врывается смерть, торопя
 толпящихся с краю.
 Покорно стою среди них, всякий раз на себя
 ее примеряю.

С чем я отойду? С нераскаянным камнем в груди?
 Иль выпрямит плечи
 предчувствие долгого-долгого дня впереди,
 предвестие встречи?

Держатель сокровищ непосланных, за будь здоров
 убуханных в глину,
 я помню — не лучший, видать по всему, из миров
 однажды покину.

* *
 *

Глаза бы мои не глядели
 на шухерный шабаш химер,
 когда бы и в смертной метели
 не теплилась музыка сфер.

Когда бы в толпе одиночек,
 в свечах, затопивших погост,
 не виделось — в мареве точек
 великое дружество звезд.

Когда бы голодные звери,
запущенные на века,
пред нами в сакральном вольере
не схавали праведника,

того, кто живейшею частью
был этого мира и есть,
чей явственный голос со властью
доносит предвечную весть,

навряд ли бы я убедился
ценою бесчисленных потерь,
что Бог в человеке родился,
что с нами Он — здесь и теперь.

* *
*

— Горой за народ! — набычась,
перекосивши рот,
оратор-трибун орет.
Хорош! Ну а я — за личность.

За прицельную точность
Давидову — камня в праще.
Народ — это некая общность
статистическая и вообще...

Я тоже народ. Тоже болен
в толкучке «базар-вокзал».
Народ без меня не полон, —
отверженный классик сказал.

Изнемогла от обузы
душа, ибо, кровные узы
руша, не племя, не род,
а личность в вечность войдет.



НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР



ДАМА, МЭР И ДРУГИЕ

Рассказ

В общем, собака была в последние годы ее единственной настоящей любовью. Дочь с мужем уехали в Америку, а сын вырос, его защищать не надо, а любовь требует, чтобы кого-то защищать... можно было! (Примечание авторов: когда мы взяли приемную дочь, то Ирина Владимировна нам говорила: «Накакает она вам, вот увидите — накакает!» Конечно, так и случилось, но потом, через шесть лет, а эти годы счастья стоят того, чтобы рискнуть!.. Собака, безусловно, не предаст, но это облегченный вид любви. С другой стороны, всякая любовь нужна миру!)

В свои семьдесят Ирина Владимировна — темноволосая валькирия, успешно дающая бои своему возрасту, робко наступающему. Красота избрала ее местом своего проживания, поселилась в ней несмотря на то, что лицо ее имело к красоте весьма слабое отношение. Нос был горбатый, цвет кожи очень смуглый, но зато рост, стать, взгляд, блеск ума! И муж звал ее только: «Паничка, паничка!» Он был полуполяк, муж ее. В Перми работал главным инженером главного завода! Но вот оба вышли на пенсию и вслед за сыном перебрались в Москву, не исключая, однако, что столица у них будет проездом (в Америку).

Собака во дворе появилась грязная, но какая-то требовательная, словно говорила своим взглядом: зачем ты с фашистами воевала, если никакого гуманизма не проявляешь и меня не берешь! Много лет ты билась за здоровье, ездила по курортам, а сейчас ты его получишь даром — будешь со мной гулять рано утром по свежему воздуху. Мне много не надо! Мы, собаки, гораздо прочнее человека. Вон лежит знакомый бомж Афанасий, и лужа вокруг его тела расплывается. А я такой не буду, клянусь! Когда я жила у Единственной, еще до того, как ее, холодную, вынесли в ящике, мне разрезали живот и вынули все, откуда получают щенки. У Единственной был родственник — ветеринар, тоже не из последних. Я звала его Вторым. Собаки ведь умеют считать до десяти. Потом, когда все зашили, я — в отличие от этого бомжа — подползла к двери и уперлась лбом. А Единственная долго уговаривала меня оправиться дома, журчала водой из чайника, но я твердо проскулила: нет! И Единственная сволокла меня со второго этажа (вместе с соседом). Мне и жаль ее было, но все равно ведь нельзя опускаться.

Изложив все это движениями глаз, ушей, хвоста, носа, собака подошла к Ирине Владимировне и уперлась лбом в ногу. «Машка, пошли!» — ответила дама. «Ладно, я была Сильвой, побуду Машкой, если ты будешь хоть на кончик хвоста так же себя вести, как Единственная...»

Горланова Нина Викторовна и Букур Вячеслав Иванович родились в Пермской области. Закончили Пермский университет. Авторы «Романа воспитания», повестей «Учитель иврита», «Тургенев — сын Ахматовой», «Капсула времени» и др. Печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда». Живут в Перми.

Через десять лет Ирина Владимировна стояла у окна и смотрела на свежую могилу Машки. За все эти годы Машка трижды подчистую сгрызала угол стены в прихожей (а квартира Ирины Владимировны — ухоженная, вся в драпировках!), но это была единственная неприятность за десять лет. Правда, Ирина Владимировна и не подвергала свою любовь испытаниям, как соседки. Одни (*нусоседи*) заставляли своего пса смотреть сеансы Кашпировского, и на счете десять он раздулся, раскрыл рот, зевнул и умер. Другие (*ососеди*) накормили свою Нару сладким, и у нее заболели все зубы сразу. Правда, один раз Ирина Владимировна поссорилась с мужем, когда тот сказал, что она тратит на Машку слишком много денег. Ничего не ответила Ирина Владимировна, но взяла в руки телефонную книгу и стала звонить: в прачечную, в химчистку, в Дом быта. Узнала, сколько стоит помыть окна, постирать, почистить. И тогда заявила: «Вот сколько денег я заработала своими руками!» — «Паничка, паничка! Что ты! Я же молчу...»

И вот смотрит Ирина Владимировна на могилу Машки и видит: комбинезоны, комбинезоны! Гордые молодые люди несут деревянный циркуль, разворачивают чертежи с умудренным видом. Они двигаются и смотрят так, словно без них тут все пропадало. И даже горечь какая-то проскальзывала в матюках: не слышно оваций, ничего не подносят, не ценят. И вдруг они остановились над самой могилой Машки и воткнули в нее длинную ногу циркуля.

— Что? Вы!.. Почему? Что здесь будет?

С каждым вопросом она впрыгивала в глаза всем стоящим, не помня, как выбежала в халате. (*Нусоседи* потом говорили: «Ты так лупанула — только успевала новые ноги подставлять под старую задницу!»)

Таких вечных красавиц, как Ирина Владимировна, мы (соавторы) видели, включая ее, всего три раза. Это одна известная балетмейстер и одна профессор зарубежной литературы. В лицах всех трех дам была та же горечь, как сейчас у молодых комбинезонов, попирающих могилу Машки. Они словно ждали, что их красота весь мир к ногам положит, а вот жизнь постепенно уходит, не прощаясь, а красота, выходит, предатель и не спасла их даже от болезней...

При взгляде на ее вечную красоту комбинезоны прервали свою плодородную лексику и замерли. Свитки чертежей захотели убежать и порезвиться с ветром, а деревянный циркуль потерял свой треугольный боевой вид и прилег набок.

Это кто: Клара Лучко? А где же шляпа? Они толклись вокруг Ирины Владимировны с растерянным видом:

— Вы, женщина, мадам, сударыня, нимфа, идите прямо в мэрию. А нам приказали, мы... здесь пройдет новая газовая трасса вон к тому объекту!

В прихожей Ирина Владимировна увидела кого-то с очень веселым лицом, вдруг вставленным в рамку вместе с малиновым платьем. Так это же я в зеркале! Она позвонила сыну: «Иду в мэрию отстаивать могилу Машки». — «Ты с ума сошла, я потом не наскребу тебе на лечение, это же чиновники, мама, тебе не стыдно... своей маниловщины?!» Муж в это время гостил у брата на Клязьме.

— Я ордена надену, понял! Ордена и медали...

Сын долго молчал, потом вздохнул и сказал:

— Тебя не переубедишь! Ну, с Богом!

Нусоседи удивились: «Зачем тебе этот революционный цвет платья?»

— А я ведь никогда не спрашиваю, почему вы такие серые! (В серых костюмах.)

Впервые она засмотрелась на рекламу Мосчтототам-банка: банкир в шлеме, на коне поражает перепончатокрылого конкурента. «Хорошо бы силы появились, хорошо бы, чтоб их кто-то дал!» — пронеслось в голове. Вдруг к ней подошел сумасшедший и стал уверять, что Александр Серге-

евич Пушкин, да и Лермонтов тоже... унижают его своим «мы». Кто это «мы»?

— Они и меня включают, а я так не думаю! Скажите: какое они имели право писать стихи от моего имени! Мы!

— Вы совершенно правы, — ответила она и пошла дальше.

Он догнал ее.

— Так, значит, не имели они права писать «мы»?!

— Они имели право так писать, а вы имеете право их критиковать. Все.

Перед выборами фильтр, отсеживающий посетителей, работал в мэрии не так тщательно. Представьте: идет Ирина Владимировна в малиновом платье, с сумкой цвета металлик и с короной из косы. Конечно, ее приняли бы и не только в предвыборное время (если б не по вопросу собачьей могилы). Правда, и сейчас ее принял не сам Лужков, а один из замов, но мы не скажем — кто (а то вдруг ему попадет!).

Ирина Владимировна сказала себе: «Если не отстою могилу Машки, уедем жить в Америку!»

В кабинете висели картины: Шагал, Моранди и Филонов... Зять у нее был художник, и кое-что она понимала в этом. Ловко составлено! Такое же впечатление производил и чиновник — ловкости и современности.

— Я никогда не отстаивала родные могилы! — начала она издалека. — Мои родители похоронены в Пермской области. Водохранилище затопило кладбище. Я молчала. Моя лучшая подруга убита на улицах Берлина. Меня ни разу туда не пустили за все годы советской власти. А теперь уже не найти... наверное. И сил нет ехать да искать!

Между тем она почувствовала, что силы появились, хотя позади не было такого опыта — отстаивания.

— Я сама стала понимать, для чего нужны родные могилы, потому что вступила в такой возраст, когда начала уже с ними обмениваться заинтересованными взглядами.

Чиновник слушал эту хрупкую женщину с уверенным взглядом и думал: «Этот уверенный взгляд сразу перебивает всю хрупкость!»

— Я прочитала, что в двадцать первом веке плотины будут разрушать, а пока продержимся... на собачьих могилках! — И она принялась излагать суть.

В глазах чиновника появилась влага. «Мне не нужно твое влажное понимание! Мне помощь нужна!» — думала Ирина Владимировна.

Он пообещал, что поможет, и по привычке хотел забыть об этом, но тут его как громом поразили слова мэра: «Каждую минуту помните, что выборы на носу!»

На другой день Ирине Владимировне позвонил и представился кто-то из начальства стройки, но она от волнения забыла его должность и про себя назвала «начальником прокладки». Они вышли. Он прямо на могиле Машки развернул чертежи, покосившись на даму. Она ничего не сказала, потому что началась работа для Машки. Начальник прокладки увлекательно развернул перед нею всю картину подземных пустот и вод, из чего она поняла, что все еще остается красавицей.

Вывод был счастливым: газовая трасса пройдет на два метра левее места вечного упокоения, а «Газпром» даже и ухом не поведет своим монополистическим.

— Я ведь только хочу, чтоб поменьше над нами разразилось! — ответила Ирина Владимировна. — В Перми все боятся, что прорвет плотину, а эти страхи знаете откуда? От вины за затопление кладбища!

— И что важно! — Начальник прокладки посмотрел на нее золотистым взором кочета. — Не будет излишнего расхода труб, хотя придется снять с другого участка Трушников, уникального специалиста. Вы Моцарта любите? Так вот Трушников — это Моцарт по пlyingунам...

Когда газ заструился по новой дороге — на два метра левее могилы Машки, — Ирина Владимировна позвонила сыну:

— Все в порядке, я выстояла.

— Последний раз такая голливудская история с тобой произошла на фронте, — удовлетворенно ответил сын.

На фронте молодая медсестра Ирина увидела, как блеснуло стеклышко снайпера, и всем телом бросилась на хирурга по фамилии Семирас, решив, что хирург важнее и нужнее на войне. Но снайпер промазал!..

Приехавшему мужу Ирина Владимировна заявила:

— Отсюда никуда не поедем! Россия — лучшая в мире страна, Лужков — лучший в мире мэр, а Трушников — лучший по пловунам.



ЕФИМ БЕРШИН

*

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

* *
*

Памяти Юрия Левитанского.

Все сбылось наконец:
короли оказались голы
и вальты;
и эта дама в чужом окне
наконец-то заснула, его глаголы
повторяя в своем беспокойном сне.

И в песочных часах уже не песок, а пепел,
да и тот просыпался сквозь стекло.
И душа так легко срывается с петель,
как калитка,
ведущая к берегу, где светло,

где уже не важны
ни глаголы,
ни власть,
ни вера,
ни любовь, о которой он так молил
ту страну,
что живет по законам ветра,
разносящего по миру
коченеющий снег могил.

* *
*

Явилась осень.
С вымокших осин
уже опали крылья неохотно.
И солнце светит
из последних сил,
и, слава Богу, кончена охота.

И, слава Богу, тишина кругом,
 когда ночами глухо ноет тело.
 Что делать,
 если я с одним крылом.
 И ты с одним.
 И стая улетела.

* *
 *

Маме.

Собака лает.
 Ветер носит.
 Луна бежит на поводке.
 Внезапно выпадает осень,
 гадая ливнем по руке.

И клен, лишившийся убора,
 метлой гоняет лунный челн.
 И жизнь, калиткой без забора,
 скрипит неведомо зачем.

А что нам надо было в мире?
 Заполнить пустоту листа?
 Я тоже в придорожном тире
 когда-то мазал сто из ста.

И, слава Богу, шиш в кармане,
 вода в ладони да тоска
 внезапная, как мысль о маме,
 уснувшей посреди песка

в чужой измученной пустыне,
 где царствует верблюжий зной,
 и память о заблудшем сыне
 едва влачится за страной,

где нет ни осени, ни снега,
 ни ливня, чтоб ночами лил.
 Одно расплавленное небо
 лежит на выступах могил.

Две жизни в их пути недлинном
 пытаюсь нанизать на нить.
 Но это небо с этим ливнем
 мне не дано соединить.

* *
 *

Затхлый запах бездонности —
 сквозняком — по душе.
 Ощущенье бездонности
 не покинет уже.

Но как ветер за ставнями
или пес в конуре,
как случайно оставленный
патефон во дворе,

я играю и вроде бы
я пою и верчусь —
певчий пасынок родины.
За нее, как юродивый,
я еще расплачусь.

* *
*

Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А. Блок.

Только ночь, аптека да канава,
да базар за каменным мостом.
Только ледяная рябь канала,
как петлей,
захлестывает дом.

Только пес,
разворотивший урну,
и кривая, как бандитский нож,
улица ползет по Петербургу
в черную рождественскую ночь.

Знаешь, друг,
давай стихи зароем,
по-собачьи разрыхляя снег.
И — на четвереньки.
И — завоем,
возвещая двадцать первый век.



ОЛЕГ ЛАРИН



ПЯТИРЕЧИЕ

Сцены из захолустной жизни

Мы еще издали почуяли: что-то неладное творится в природе. Не слышно стало ни шорохов, ни свиста птиц, будто тревога пробежала по верхушкам осин. И вдруг на все лады и переборы заговорили тростники. Не случайно, наверное, слушает их человечество, наделяя душой и сознанием. А главное — Четыркин первым обратил на это внимание, — из лесной чащи вал за валом на нас накатывался ровный и мелодичный бой... Двадцать лет хожу я по этим тропам: одна по грибы, другая по ягоды, третья в магазин — но таких звуков, отнюдь не лесного происхождения, что-то не припомню...

Мы прибавили ходу, спустились под горку... и остолбенели. Была тропа — и вся вышла! Каких-то пять часов назад здесь журчал ручей в цветочных берегах, трава по пояс, а теперь не на чем было остановить взгляд. Он тонул в сумасшедшем разгуле воды. Волны шли скачками, сминая друг друга, как взлохмаченные гривы лошадей, и опадали грязными пенными кружевами. Кругом змеилось множество течений с резкими перепадами высот. В одном месте они свивались в плотный жгут, а в другом расходились в стороны, образуя глубокие воронки.

— Егорыч, что это?!

Рот Четыркина подергивался в тщетной попытке заговорить: на его памяти это был единственный случай, когда дорога в родную деревню, да еще летом, оказалась отрезанной невесть откуда свалившимся половодьем. Несмотря на свои семьдесят девять «с прицепом», привыкший к тому, что впереди уже ничего не светит и радостей от жизни не дождешься, Егорыч по-ребячьи удивленно разглядывал бегущую воду: откуда, мол, ты взялась, голубушка? Не простой, между прочим, старик, а с вывертом и наособицу. По знанию всяких историй, быличек и небылиц Четыркин даст фору любому краснобаю.

— Дак ить это... Мы хоть дураки дураками, а разбираемся с лаптем, — выдавил наконец из себя Егорыч, набравшись в молчании некой мудрости и стараясь не выдать своего огорчения. — Видать, Федуловскую запруду прорвало. Вот она, какая штука-то! Делали-делали, латали-латали, и все коту под хвост, мать их разъети!

Взбаламученная прорывом «река» подымалась как на дрожжах. По колёно в воде стояли скрюченные деревья-подростки с ключьями пены, трещали нижние ветки ивняка: била, заливала их прибывающая волна. На первый взгляд все оставалось на своих местах: и знакомый овраг, и кусты, и деревья, и утоптанная тропинка на «том» берегу. Но как же попасть домой?

Мы были одни в этой лесной пустоши: кричи, зови — никто не отзовется. Не каждый грибник и охотник знает наши места, а до Пустыньки еще шагать и шагать.

— Чего зря стоять, надо искать брод! — крикнул я старику и подкинул рюкзак за спину.

— Ты, Игрич... едрит твоя муха!.. как в сказке живешь: пошли туда не зная куда. Родился дачником — так им и помрешь. Образование высшее, соображение среднее!

Может быть, кто-то посмеется, но мне показалось в эту минуту, что старик был по-своему даже рад этому приключению. Глаза его из-под белых бровей смотрели весело и отважно, а в щербатом рту светился, как вызов, один-единственный зуб.

— Мы ить с тобой, жопчик, на острове. Вот те крест, святая икона!

— Что значит «на острове»? — не понял я и слегка запаниковал.

— А ты глянь сюда, бздило-мученик! — Он сорвал стебель и принялся чертить на песке какую-то схему: здесь мы... здесь Федуловская плотина... а здесь крутая излучина, образуемая поймой речушки Мезы. Запруда не выдержала напора после затяжных дождей, и вода прямоком хлынула в реку, выбрав для этого самый короткий путь — русло нашего ручья. — Так что куда ни кинь, всюду клин, — поставил точку Егорыч и заулыбался. — Мы с тобой, жопчик... как это сказать, едрит твоя муха!.. робингуды, что ли.

— Робинзоны!

— Пушай так. А по этому поводу дадим себе разгон для веселия души. Ты как, не возражаешь?

Совсем разошелся мой старикан, только бороденка прыгает. Еще в курзеновском магазине, куда мы отправились поутру, он предлагал «дать разгон», но я его вовремя остановил. Егорычу только повод дай, обо всем позабудет: начнет наяривать из поговорки да в присказку и такие турысы на колесах разведет — хоть стой, хоть падай. Правда, в отличие от знакомых мне мужиков Четыркин никогда не впадает в отключку и несмотря на преклонные лета всегда сохраняет задумчивое достоинство и желание продолжить начатое дело. («У-у-у, черт ненажорный! Все пьет, пьет и никак не упьется», — иной раз накричит на него жена, Павлина Степановна, или младшая дочка Клавка. На что наш герой выдаст им без промедления: «Я не от водки такой, я — от жизни, историцки говоря. Жизнь тоже крепкий напиток. Россия без водки — что водка без России!»)

— Зря ты так, Игрич, — расстроился старик, не встретив взаимопонимания. — Ну что мы будем болтаться взад-вперед? Где его искать-то, переход этот? Природа совсем с ума спятила. Вишь, какая вода бешеная! Засосет, понимаешь, с ручками — и капец. Не то жалко, что потонем, а жалко, что водку разольем...

Все-таки я настоял на своем, и мы побрели вдоль берега, выбирая места посуше. Помнится, тут рядом был островок, на который я рассчитывал перебраться, но теперь он, как маленькая Атлантида, ушел на дно. Там же, на дне, покоились белые комочки лилий, похожих на храм Покрова на Нерли в миниатюре... По правде говоря, мы не столько шли, сколько продирались сквозь джунгли крапивы и жалкого рахитичного осинника. Борьба между нашими ногами и свирепыми злаками складывалась в пользу злаков и колочек. И ни малейшего намека на брод!

Впереди себя я услышал надрывные всхлипы мотора, отрывистые людские голоса, перебранку, переходящую в непрерывное басовое гудение, и рванул через кусты. Вот оно, наше спасение! «Ого-го-го!» — что есть мочи закричал я. Но моторные звуки вдруг исчезли и оборвались, словно их и не было. Только эхо вернулось ко мне, как прибой, и по-прежнему шумела «река», раскручивая тугие веретенца и сама с собой пускаясь наперегонки.

— Это, должно быть, леший с нами заигрывает, — услышал я за спиной голос старика.

— Какой, к черту, леший?! — До меня не сразу дошло, что он, оказывается, еще способен шутить.

— А старый... красноплеший, — продолжал балагурить Четыркин, продираясь сквозь дебри. — Ты его, жопчик, все-то не поминай. Не ровен час — зайвится боровой черт... всяко бывало.

Чем глубже мы увязали в зарослях, тем шире становилось русло и больше пены — верный признак того, что вода еще будет прибывать. Видя такое дело, Егорыч демонстративно уселся на пенек и крикнул:

— Отдыхай, Игрич!.. Деревнюшка Заручей. А там дальше турбаза будет имени Ивана Сусанина.

Я огляделся по сторонам. Возможно, среди растительного беспорядка скрывались какие-то развалы жилых домов, остатки оград, фундаментов, но ни одна деталь не бросилась мне в глаза, ни одна примета не выдала, что здесь когда-то обживал землю крестьянин-лесовик. Время безжалостно вытравило его следы. А ведь люди поколениями копили тут детей, разбивали пашни и огороды, валили лес, протаптывали тропы. Но природа взяла обратно отвоеванную человеком площадь, похоронив под собой времена неизъяснимые, почти баснословные. И как бы в отместку за то, что он тут жил, оставила на месте построек неприглядные трущобы в виде бурьяна, крапивы и медово-пышного иван-чая. Будто забытое кладбище! И наверное, не каждый уроженец деревни догадался бы, посетив на склоне лет родные места, что эту брошенную полоску земли он исходил в детстве босыми ногами, бегал по ней в школу, на рыбалку, водил коней на водопой и по ней же ушел из отчего дома искать-мыкать свою судьбу...

Меня удивило, когда Егорыч сообщил, что он бригадирствовал в Заручье в конце сороковых годов, нахаживал сюда каждое утро, по-свойски стуча в окна и выгоняя народ на колхозную барщину. Что тут скрывать, такое тоже бывало. По доброй воле люди не шибко-то бежали на общие работы, хоть и годы были несытные. А те, кто посмелей и понахальнее, чтобы оставаться дома, ублажали своего бригадира семидесятиградусной синевато-мутной бурячной «жижкой» собственного изготовления. Пили не так чтобы очень, до кровати доползали. Иногда и залезать на нее удавалось, правда, не всегда. В общем, не перепились еще на Руси богатыри!

— Не стыдно, Егорыч? — подколот я старика. — Выходит, ты взятки брал самогоном?

— Дак ить это... едрит твоя муха... исторички говоря... — Он хотел еще что-то прибавить, как-то оправдаться, личико его скукожилось, а потом махнул рукой — все равно, мол, не поверишь — и полез в вещмешок за стеклянным предметом продолговатой округлости. — Солнце ниже ели, а мы еще не ели. Вот она, какая штука-то!..

Вечер пылал в оранжевых закатных отблесках, высвечивая невидимые днем паутинки, как бы парящие в воздухе. Солнце, уже прощальное, протянуло длинные синие тени по земле, и мы, ступая по этим теням, рубили себе проходы в колючем чапыжнике. Треск стоял, как на дровяном складе. Нога то и дело соскальзывала с замоховевших стволов, проваливалась в мочажины, выворачивая наружу сгустки болотного киселя. Пни, заросшие лишайниками, преграждали путь, елки цеплялись иглами за одежду. Мельтешение красок, отсветов, бликов, водопады и вихри света, кружащие голову, бег своевольной воды. И никакого намека на то, что здесь когда-нибудь бывал человек.

После захламленного леса открылся узкий коридор квартальной просеки, которую обступили богатырские, как на картинах Шишкина, матчовые стволы. Знойно и остро пахнуло смолой, будто воздушная волна прокатилась, обдав нас сливками сосновых ароматов. Готическими шпильями стволы пронзали густую синеву неба и угрюмо молчали в вышине. Облака, как

белые олени, мирно паслись у этих спилей, и казалось даже, что они поддевают своими рогами их хвойное оперение...

— Ну где тут твоя обещанная турбаза? — обернулся я к Егорычу, который вот уже полчаса не раскрывал рта. Старик озирался по сторонам и хрипло дышал: видно, выпитые полстопки не пошли ему впрок.

— Ты погоди, погоди. — И вдруг засомневался: — А можа, ее вообще уже нет? Пятнадцать лет назад мы тутока, помню, с районным руководством в банке мылись, ящик водки усидели. А потом чё-то расшумелись, разматюкались. Оно ведь как бывает? Водка в тело, хмель в голову, дубина в руки — и пошло...

Мы вступили на просеку, как в глубокий тоннель, и деревья сомкнули за нами плотный зеленый занавес. Пушистый сиреневато-белый ковер стелился, пружинил под ногами, и среди этого фосфоресцирующего блеска как бы присели отдохнуть былинные сосны-богатыри, потрепанные ветрами и чудом забредшие в наши дни. Деревья обросли седыми космами, заплелись общими корнями, обнялись ветками и все вместе представляли собой одно нерасторжимое братство. (Как сказал Егорыч: «Одно дерево срубить нельзя, — прислонится к другому, а не упадет».) Стволы были без единой извилины и неохватных размеров, с бесформенными тяжелыми наплывами, благодаря которым они держали свою царственную крону. Я смотрел вверх, ухватившись за чешуйчатую кору, чтобы не упасть от головокружения, и поражался силе земного естества, вырастившего таких гигантов.

В старину когда-то говорили: «В еловом лесу трудиться, в березовом — веселиться, ну а в сосновом бору — Богу молиться». Правильно, наверное, говорили: сосновая чаща с ее высоким торжественным сводом, медными колоннами стволов, облепленных разноцветными лишайниками, музыкой ветра, звучащей где-то в поднебесье, «на хорах», действительно похожа на храм.

Расчувствовавшись, я уже не глядел под ноги и едва не наступил на хвост маленькой собачонке. Она неслышно подкралась сбоку и уставила на нас умную мордочку с пятнышком на темени. Тощее, задумчивое, беспородное существо с зеленовато-дремучими глазами.

— Ну что, Шарик-Бобик, — сказал я повеселевшим голосом, — выводи нас отсюда. Мы, кажется, заблудились.

Песик искательно заглядывал мне в глаза, ожидая подачки, но с места не трогался, выпысывая хвостом приветственные вензеля.

— Что-то я тебя, жопчик, не признаю, — прищурился Егорыч из-под белых бровей. — Ты чей будешь-то, басалай чертовый? Хозяин-то у тебя кто? Случайно не Федька Бельмондо... а можа, Генаха-Живодрист? Чё молчишь как партизан на допросе? Давай... вперед и с песней!

Как ни странно, Шарик-Бобик послушался его, отыскал тропку, и она заструилась среди малахитового мха. Под пологом сосен краснела брусника, выглядывали из-под палой хвои роскошные шляпки сыроежек и маслят. Среди стволов мелькала почти притихшая, наигравшаяся за день «река», одевалась в седой туман. Но тропа увела нас в сторону, в заросли ольхи и березы, и мы сразу же увидели избушку. Наверное, единственное из строений, оставшихся от турбазы имени Ивана Сусанина. Снаружи изба была затянута бурым мхом, вросла в землю и издала напоминала прибрежище кикиморы или колдуна-чародея. Так мне показалось на первый взгляд. На самом деле неведомый нам владелец лесного приюта везде и всюду оставил метки своего бивачного житья-бытья. Оборудованное кострище с крючками для чайника и котелка, запас дров под навесом, мотки сухой бересты для растопки, лавочка с видом на «реку»... Человек знал, что вернется сюда усталый и озябший, и потому все заготовил впрок, все у него лежало под рукой.

Лесные избушки в наших местах мастерились раньше двумя-тремя рукастыми мужиками. Побывав в одной, можно с уверенностью судить о всех остальных, ибо разницы между ними, за редким исключением, нет. Двадцать хлыстов на стены, десять на потолок, пять на все остальное — две недели работы топором. После этого избушка обрастает веселыми березками, стоит десятки лет, и на многие версты люди знают об этом привале и говорят о нем с такой же теплотой, как москвичи о каком-нибудь переулке в районе старого Арбата.

Внутри помещения — грубо сработанный стол, два-три деревянных топчана или нары, на полках — спички, соль, свечка, котелок. Печкой обычно служит большая бочка из-под горючего, в которой прорезана дверца и отверстие для заслонки. Стол — своего рода книга отзывов. Глубокие борозды имен, фамилий и дат покрывают всю его площадь и грозят перекинуться на стены. И еще одна немаловажная подробность: на подоконнике, засиженном мухами, я увидел однажды на Пинеге в Архангельской области вырезанную на дереве стрелку «север — юг»; для случайного человека она служила ориентиром. Старый охотник сказал мне как-то, что раньше под специальным навесом к избушке прибывали разлапистую еловую ветку, и представляла она собой нечто вроде лесного барометра: «Если черенок ветки смотрит вверх, то погода должна быть сухой; если вниз — дело идет к дождю...»

Избушка оказалась занятой. Это мы увидели, когда приоткрылась сморщенная, на ржавых петлях дверь и в ее проеме показалась фигура человека. Был он небольшого роста, с обветренным красновато-медным лицом и прищуренным взглядом из-под очков, эдакий боровичок-пенсионер городской закваски. При рукопожатии он оцарапал мою руку мозолями: мозоли были твердые, горячие, а рукопожатие — отзывчивое.

— Видимо, мы друзья по несчастью? — спросил он с интеллигентной усмешкой.

— Выходит, что так, — сказал я как можно учтивее, давая понять, что незнакомец имеет дело с не менее интеллигентным человеком. (Егорычу вся эта церемония была, конечно, до лампочки.) — Принимайте нас в свое общежитие, господин отшельник.

— С удовольствием! Вы очень кстати — у меня чай поспекает.

— Да и у нас есть чем душу поддержать...

Согнувшись, чтобы не удариться о косяк, я вошел внутрь. Здесь было сумрачно и шумно, словно поблизости пытел маленький заводик, — то тысячами моторчиков впряглись в работу комары. Четыркин сразу плюхнулся на нары, растянулся в блаженной истоме, подложив себе под бочок Шарика. А я сидел на корточках у горячей печки и курил, сдувая пепел в открытую створку. «Отшельник» тем временем легко и споро колот дрова. Топор как бы вливался в его чугунную ладонь, обретая в ней плоть и кровь. Полешки повиновались каждому его удару, делались податливыми и послушными...

«Кто это?» — глазами спросил я у Егорыча, кивая на незнакомца, и он глазами же, беззвучно разжимая губы, ответил мне: «Мо-нах»... Прозвище, мол, такое. А когда тот вышел на улицу за новой порцией дров, прибавил вслух:

— Его еще Коля-бог зовут. Эту кликуху ему наша Лизка Муханова прилепила. Говорит, ничего вроде мужик... свойский, но с приветом.

Я тоже кое-что вспомнил: этот человек, как говорила бой-баба Лизка, года два назад купил избу в Федулове и вел себя в деревне не то что особенно, а как бы не замечая ни людей, ни событий. Приходите — самоварчик поставлю, уйдете — буду молитву творить и духов нечистых из избы выводить. Правда, займы никому из мужиков не отказывал и при случае мог поддержать теплую компанию.

Обреченные здесь «жить», мы понемногу притирались, прилаживались друг к другу. Николай Митрофанович (так он представился) суетился вокруг незваных гостей, колдовал над чайной заваркой, подсыпал в нее какие-то корешки и сухие травы — «для духовитости». За общей трапезой непринотливо разматывался клубок застольной беседы.

— Это случайно не вы кричали часа эдак... три назад? — спросил Коля-бог.

— Машина где-то шумела, — объяснил я. — Думали с ее помощью перебраться на ту сторону.

— Ну чудеса! Я тоже слышал шум мотора. И голоса какие-то невнятные, с кавказским акцентом. Вроде спорили люди или ругались... Пошел на крики, проверил: ни машины, ни людей, ни следов на берегу. Мистика!

Егорыч крикнул и неодобрительно покачал головой: он, как лесной барометр, не признавал ничего не ясного, оттого и чувствовал себя не совсем в своей тарелке.

За окном, внизу, густой застывающей лавой катилась «река» в тумане, лениво ворочалась на перекатах. Из ближних зарослей снялась утиная пара и с реактивным плеском, разрезая воздух, стала набирать высоту. Было так тихо, тревожно и щемяще тихо, что не верилось: неужели еще есть на свете такая тишина!..

Николай Митрофанович сидел у подоконника, подперев голову рукой, и вспоминал... Шел он сегодня утром за грибами, шел медленно, спешить некуда — и вдруг заяц. Сидит на берегу ручья и лапки вычищает. Шкурка на нем чистая, будто отутюженная, так и играет на солнце, а уши окантованы черным с коричневым — очень модный заяц. Подошел к нему Коля-бог, камнем достать можно, а косому хоть бы хны — не боится человека, отвык от человека. Крикнул тот, взмахнул рукой — пора бы зайцу струхнуть и убраться. А он только ушками поводит и травкой похрустывает — и смотрит глаза в глаза. Вот сатана! Наконец уразумел заячьим своим умишком, что худо будет, если человек разозлится, — и ушел. Не убежал, не дал стрекача, а именно ушел — лениво так, с развальцем, то и дело останавливаясь перед вкусной травкой!..

— Чудак на букву «м»... да он же тебе сигнал давал! — почти рассердился Четыркин. Как дикий лес, он был опутан суевериями. — Не ходи дальше, едрит твоя муха! Сейчас Федуловскую дамбу прорвет, а ты и не понял! Примета есть такая: ежли зверь в глаза смотрит — стой на месте и соображай. Вот она, какая штука-то! — Дробно, словно на пределе дыхания, сыпались на нас гневные Егорычевы филиппики с матерком вприкуску: музыкальную речь эту без всякого преувеличения можно было бы положить на ноты... Разомлев от еды и тепла, Четыркин вскоре заклевал носом. стакан, который он держал, выскользнул у него из рук и закатился под нары. Но мы с Николаем Митрофановичем еще крепились, накачивая себя крепким чаем с соевыми конфетами. Кто-то затеял возню на чердаке, стуча когтистыми лапами, всхлипнула гнилая половица. Шарик-Бобик поднял голову, громко, с наслаждением, зевнул, поглядел на нас дремучими глазами и снова уткнулся в Егорычев бок. Мы оба рассмеялись, и этот смех помог нам приблизить момент настоящего знакомства, помог разглядеть друг друга с более близкого расстояния.

— А я о вас слышал, — признался Николай Митрофанович.

— Да и я кое-что знаю.

— Откуда ж вы знаете?

— От людей.

— И что говорят?

— Да всякое...

— Но все-таки?

— Больше хорошего. Например, регулярно ходите в церковь, в крестных ходах участвуете... Мужиков опохмеляете...

— Вы что, издеваетесь? — Он рассыпался короткими смешками.

— Немного юмора никогда не помешает...

— Выходит, вы безбожник?

— Ну зачем так... Религию почитаю, но в церковь не хожу. Не выношу запаха ладана.

— Жаль. — Он повернулся ко мне всем корпусом, буквально впился в меня глазами: — Разумный индивидуализм нынче выродился в дурной эгоцентризм. Каждый сам за себя! Живем вместе, а с ума сходим поодиночке. Идеология сытого брюха... Понимаете, сейчас идет новое перерождение человека. Но не в сторону Храма, а в сторону Хама. Так уж получается: безумству Хама поем мы песню...

— Не понял... какому хаму? — Что-то он слишком быстро завелся на спор. Или, может быть, я его чем-то ненароком обидел? А может, под словом «хам» он подразумевает меня?

— Вы Библию когда-нибудь читали? — спросил Коля-бог с легким презрением и посмотрел на меня, как на ученика-второгодника. — Хам — сын Ноя, который проповедовал правду Божию. А его непристойный отрок поклонялся золотому тельцу...

— Вот теперь понял, — засмеялся я. Никогда не думал, что в какой-то занюханной избушке придется вести ученые разговоры. — Хамы, в вашем понимании, не обязательно закоренелые преступники. Это — новороссы, бритые затылки с кошельками вместо сердец. Те самые, что перековали светлые мечты на зеленые баксы...

— Да не так уж они опасны, что набили карманы, — продолжал он, воспламеняясь от собственных слов. — Самая страшная опасность — в их головах! Я вижу одних только внутренних эмигрантов, которые поневоле живут в *этой* стране, когда им давно хочется переехать в *ту*. Открой Запад ворота пошире — и ни одной «дуньки» не останется. Но даже если кто-то и останется, все равно мы обречены жить в стране иванушек-интернейшнл и аленушек-корпорейшн. Поколение растет на постельном чтиве и телевизионных шоу. Вы заметили, по ящику говорят на каком-то молодежно-блатном сленге, на бульварно-англоязычной фене? Даже писатели, политики, артисты! Зло вышло из берегов, оно не стесняется быть Злом и гордо выпячивает себя. Иномарки обнаглели настолько, что уже раскатывают по тротуарам. Народ Бутылки и Рок-попсы задавил в зародыше Народ Книги. И кругом, куда ни глянь, сплошные хари... хайло... мордovorоты! Ловите миг декаданса, скоро наступит деградация!..

— Слушайте, что вы так волнуетесь?! — перебил я его.

Предмет спора был настолько очевиден, что не требовал от меня никаких возражений. Да и устал я уже от подобных излияний, особенно в устах недавних наших златоустов и властителей дум. Как быстро из-под их интеллигентных физиономий вылазили свиньи и кувшинные рыла!.. Помнится, один полуподпольный бард с небритой улыбкой спел песенку про старый боевой корабль, который превратили наполовину в кабак, наполовину в музей. И финал у песенки такой: «Был там и я и на толпу глазел. И с сожалением понял вдруг мысль одну: чтобы не стать таким вот музеем, в нужный момент лучше пойти ко дну...» Старый корабль-музей остался в целостности и сохранности, а вот улыбчивый бард заповадился вести прибыльное кулинарное телешоу. А ведь какой был бунтарь!..

— Все в мире относительно, приблизительно и неточно, — сказал я своему соседу, чтобы успокоить его, — а точен и драгоценен один лишь душевный покой. Берите пример с Егорыча!

— Может, вы и правы. — Коля-бог растерянно улыбнулся и нацепил очки: говорит ему больше не хотелось.

Вокруг стояла гулкая, неправдоподобная тишина, в которую наплывами входил треск углей в самодельной печурке. Жидкий свет, что сочился сквозь запотевшее оконце, с трудом пробивал густой, устоявшийся сумрак

лесного жилища с его тайными закоулками и паутинными тенями. И хотя мне не раз приходилось бывать в таких избушках и подолгу жить, особенно на архангельском Севере, я всегда испытывал смутную тревогу, знакомую горожанину, жизнь которого проходит как бы в подвешенном состоянии, стреноженная бетоном и стальной арматурой. Ведь какие нервы нужно иметь и душевную крепость, чтобы не впасть в отчаяние посреди первобытного леса, когда лишь только дым из трубы, да подслеповатое оконце с тусклым огнем свечи или керосиновой лампы, да лай собаки, близкого тебе существа, напоминают о том, что ты не одинок в этой крошечной тиши вселенского покоя. Можно, конечно, представить себе эту жизнь, вообразить, так сказать, но полностью понять ее, осмыслить, влезть в нее всеми своими потрохами... нет, не дано! Видимо, в нас утеряны какие-то изначальные связи с землей, простым кровом, работой в лесу. Природа любит пахаря, певца и охотника, а в приبلудную душу поселяет множество грызущих червей.

Вороша сенную труху, кряхтя по-стариковски, Николай Митрофанович взгромоздил свое тело на шаткую лежанку и лежал с открытыми глазами. Снова кто-то заелозил по чердаку, задребезжало стекло от ветра, запахло прогоревшими углями. Вокруг меня кружились одинокие комары, и их зудящий писк превращался в новую форму тишины.

— Ну что умолкли, други сердечные, тараканы запечные?! — неожиданно возгласил Четыркин, сбрасывая с себя Шарика и заново привыкая к сгущенной полутьме лесного пристанища. Был он свеж и бодр после недолгого сна и с ходу потребовал «законную» стопку. — Аще по единой да не сокрушит, историцки говоря. — Глядя на «Монаха», врубил свою коронную: — Рюмочка Христова везёна из Ростова, рюмочка чудесная, девушка пречестная. Присушила молодца पुще матери-отца...

— Ты бы лучше о Ветке подумал. С утра ведь стоит недоенная, — укорил я старика. — Да и Павлина Степановна, наверно, беспокоится. Должно быть, всю Пустыньку на ноги подняла: где мы... что с нами?

Но Егорыч, приняв дозу, махнул на меня рукой. Старик вошел в раж, теперь его уже не остановить...

— Расскажу-ка я вам страшную историю лесную. Давно это было, давно... мой дед еще у матки в животе бегал. Слушайте!.. Пошла одна баба, федуловская родом, по грибы-ягоды. Вот тут где-то рядышком и шла. А лес был тогда не то что нынче, а сплошной забор... болота, мочажины и деревья в три обхвата. Что, не верите? Я ведь не байки сказываю, не потешки пою. Вот вам крест, святая икона!

Ходила она, значит, ходила... а дело уж осенью было. Ходила, ходила — и заблудилась. Видит, медведь стоит... жирный такой медведь. «Ну что, баба, — говорит, — пошли ко мне в берлогу, вместе жить будем». Что делать-то? Не пойдешь — он сам тебя затащит или, чего доброго, пришибет. Понимаете, какая штука-то! Надо соглашаться, думает баба. А осенью у жирного медведя берлога уже готовая. Залезли они туда по-любовному, деревья и хворост сверху накидали и стали жить. О как!

Всю зиму медведь ее кормил и поил. Сходит куда-то, принесет мяса и гусяного кваса — и опять на боковую. («Что за гусиный квас?» — выскокчил с вопросом Николай Митрофанович, и Егорыч тут же поднял стакан: обыкновенная, мол, водичка — речная или родниковая...) У женщины уж вся одежда износилась, холодно ей стало. И еда, как назло, кончилась. Тут баба и замечает: не медведь это вовсе, а медведица... самка. Едрит твоя муха! Того гляди, разродится, потому и за едой больше не ходит. Только мясистую часть лапы протянет — на, мол, подкрепись, женщина. Она медвежий жир с ладони и высасывает...

Ну вот... пришла зима, и родились медвежата. На бабу стали кидаться, едрицкая сила, одежду ей снизу изорвали... видать, кунку унюхали. «Ладно, — говорит медведь-медведица, — негоже так больше жить, да и места

мало. Провожу я тебя к деревне. Только не выдавай!» — «Не выдам!» — обещает баба, а сама не своя от радости.

Пришла домой, а ее уж никто не ждет. Поминки давно справили, и мужик ейный к другой жить ушел. «Ты откуда?» — спрашивают matka с таткой. «Из берлоги, — говорит баба, — меня там медведь содержал. Я евонной лапой питалась». — «А ну покажь место, где берлога?» Женщина тут и призадумалась: не-е-т, не выдам я вам этого места, потому как слово дала, да и медвежат жалко. А мужикам-охотникам сказала: запоматовала, мол, из сил выбилась, пока деревню свою сыскала. Вот она, какая штука-то!..

Шарик-Бобик вдруг сорвался с лежанки и злобно заверещал: мы даже не успели прочувствовать историю во всех ее деталях. Шерстка на нем вздыбилась, обнажились свирепые клыки, в глазах — огненный перелив. По избушке с лаем и визгом метался первобытный убийца, жаждущий крови. И откуда прыть взялась в эдаком тельце?!

В окно ударил пучок света от карманного фонаря, послышались крадущиеся шаги и чей-то голос: «Эй... тут кто-нибудь есть?» И мы поняли: к нам пожаловал еще один усталый и запоздалый гость.

— Аркадий?!

— Игрич... Егорыч?!

— Ты как здесь оказался, мироед?

— А вы что тут делаете, отцы пустынноики? Я чуть грабли себе не сломал в этих буреломах и страху натерпелся полные штаны... Показать?

Шарик-Бобик разрывался на части между гневом на вновь прибывшего бродягу и радостью по поводу всеобщего галдежа.

— Как жизнь, Аркашка? — Приятно было смотреть на этого полнеющего бычка-здоровячка, закованного в джинсу и кожу, легкого в движениях, с девичьим румянцем во всю щеку и намертво приклеенной смешинкой в глазах, но уже с заметной лысинкой в растрепанных кудрях.

— Живу по-сникерски. Съел — и порядок!.. Кстати, у вас пожрать не найдется?

— И не только пожрать! — Зело прижимистый на спиртное Егорыч с легкостью непостижимой выставил недопитую «Чарку», а я достал из рюкзака непочатую бутылку «От Петровича» производства местного виноторговца.

— Как твой бизнес, коммерсант? Как друзья-компаньоны?

— А что друзья? — Аркашка жадно заглатывал оставшуюся от нашего ужина горку холодных макарон и рыбных консервов в томатном соусе и успевал еще поглаживать собачку, дабы ее задобрить. — Сидят, голубчики, сидят! Одни на нарах, другие на Канарах. Жизнь — заверченная штука! — Он окинул нас хитровато-победоносной улыбкой и поднял стакан: — Гляжу, чем дальше в лес, тем толще партизаны... Ну, со свиданьем, робинзоны, и за сбыху мечт! У вас тут, в Лукоморье, полный культуриш-европеиш...

— До дна давай, Аркадий Петрович, чтоб муха ног не замочила, — максимально сердечно приветствовал его Четыркин и замер в стойке, ожидая своей очереди, ибо стакан был один на всех.

От предчувствия неотвратимой выпивки тесная наша конурка словно выросла в размерах и поплыла. В окно повылазили крупные и яркие звезды, с беспечным простодушием объявилась оранжевая луна, высвечивая заросшие паутиной углы и мышинные закоулки. Старик заурчал, как размлевший кот, а Коля-бог неожиданно разулыбался и специально для гостя принялся распечатывать пачку сухого печенья.

— Отечество славлю, которое ест, но трижды... которое булькает! — вовсю разошелся Аркашка, насытив с голодухи утробу и приняв вторичную «От Петровича», с которым, как мне известно, у него был совместный бизнес. — Кто скажет, когда мы начали спиваться? А-а-а, Игрич...

Егорыч... извините, не знаю вашего имени-отчества. Николай Митрофанович? Очень приятно... Так кто мне скажет, когда Россия встала на карачки, как пьяная жаба? Никто не знает! Тогда сидите и слушайте... В 1552 году грозный царь Иван Васильевич вернулся из-под Казани и открыл первый в Лукоморье кабак. Так и пошло: водка в тело, деньги в дело. Петя Романов с Йоськой Джугашвили... эти их мать... подняли кабацкое знамя на недосыгаемую высоту. С тех пор наше могущество только этим и прирастает. Государство пухнет, народ хиреет. У двадцати миллионов водка из-под ногтей сочится, каждый седьмой — дебил...

— Дак ить это... Аркадий Петрович... ты погоди, погоди! — обиделся за народ Четыркин и замахал руками. — Ты ведь сам, жопчик, водочкой торгуешь, так? Чё ж тоды залупайсси, едрит твоя муха?!

Тут все разом грохнули от смеха, и Аркашка громче всех.

— Действительно! — поддержал старика Коля-бог, тоже взявший на грудь. При этом выражение его глаз из-под очков было такое, что не поймешь, какой суп в этой голове варится. — Где вы найдете в Евангелии слова о вреде алкоголя? А, Аркадий Петрович? Нет там таких слов. Сам Иисус воду в вино превращал. Виноградная лоза, говорили мудрецы, приносит три грозди: первая — гроздь услаждения, вторая — упоения...

— ...А третья — гроздь печали... помрачения рассудка... возбуждения похоти... и всеконечной гибели души, — с радостным воплем закончил вместо него Аркашка и подтолкнул меня локтем, как бы пригласящая в свои союзники. — Мы хоть дураки дураками, а разбираемся с лаптем. Чьи это слова, Егорыч? Твои! — выдохнул он вместе с табачным дымом и засмеялся. — Я ведь, робинзоны, отцов церкви еще в Вэ-Пэ-Ша почитывал. Нелегально, конечно. У них там сказано, у отцов: уста пьяницы подобны хлеву скотскому, наполненному нечистотами, а язык его — лопата, которая эту мразь выбрасывает в народ... Эх, да что тут говорить! Трезвый на Руси — это или сектант, или придурок, или стукач. Что смеетесь? Так пить, как у нас пьют, да еще четьреста лет в мировых державах ходить?! Весь героизм, юмор, лиризм нашего народа — откуда? Со дна граненого стакана! Две трети пословиц и крылатых фраз посвящены — кому? Голошмыге проклятому или бормотологу, который либо нажрался до чертиков, либо окончательно спился. («Если водка мешает работе, брось работу»...) Вспомните! «Человек — это звучит гордо», — произносит субъект, который с трудом держится на ногах... Тоска, робинзоны, тоска!

Тут все заволновались, заговорили разом и невпопад. Стакан еще раз обошел круг и вернулся ко мне, и я понял, тоже приняв соответствующие пятьдесят, что в слове больше других нуждается старик Четыркин. Он уже кипел, как чайник на огне, даже крышка подпрыгивала.

— Вы о Ваське-Пупке что-нибудь слышали, а? Бригадир-от у нас был такой — Пупков Василь Харитоныч, орденносец. Может, знаете? До того, понимаешь, шобутной и крикучий! Все рвался куда-то, всюду первым хотел — хоть на ленивом мерине, но впереди... Ну вот, слушайте. Было это, ковды мы Берендеево царство строили — коммунизм называется, исторички говоря... Набрался Пупок под Октябскую на колхозном активе, но показалось мало. А домой иттить неохота. Что делать-то, едрит твоя муха? Решил пошукать по знакомым — может, кто поднесет стопку? Ходил по деревням, ходил... стучал в двери, стучал: кто смилостивится — тот нальет, а кто и палкой благословит. Не глядели, что бригадир-от! До того, понимаешь, человек себя потерял, что на колени стал падать, лишь бы плеснули, и канючил, плакал. Вот она, какая штука-то! А на подходе к своему дому, видать, вспомнил: да у меня же, дурья башка, заначка с брагой в хлеву затырена!

— Бражка — это хорошо, — мечтательно произнес Аркадий. — Захмелешь, но не сопьешься.

— Ты погоди, погоди, жопчик, не вламывайся зря! — Не любит Егорыч, когда его прерывают. — Какой такой бес попутал Васю-Пупка, он уже не скажет, но бражку он вылакал всю. Вместе с этой... как ее?.. дрожжевой заправкой, бардой по-нашему. До дна бутылки достать не мог, дак палочкой себе помогал. Подденет эдак-то снизу жижу эту — и в рот. Вот она, какая штука-то!.. А дальше известно что — смерть. То ли замерз в хлеву, то ли сердце остановилось, мне уже не сказать.

Хоронили Васю по-быстрому, без отпевания. Даже родню не позвали и начальству колхозному не сообщали, а ведь покойник на городской Доске почета висел... Считайте, сутки Пупок пролежал в тепле. Я сам с Жемой-Медоносом домовину ему колотил. Хлипкая такая домовина получилась, из гнилых досок, потому как хороших не достать. А главное — женка евоная шибко нас торопила и подгоняла: давай-давай, мужики! — Егорыч перевел дыхание, хлопнул треть стакана, но закусывать не стал, только крикнул и пустил на нас сивушную волну.

— А как на кладбище пошли — тут все и началось. Страсть и ужась! Несем мы гроб, и слышу: трык-трык!.. клац-клац! Что за чертовщина такая! Спрашиваю у Медоноса: «Это у тебя, что ль, Христофорыч, зубы стучат?» А он молчит, лицо у него блее бумаги и рот шире банного окна: тоже, видать, слышит. Плечом чувствую — шевеление какое-то происходит, едрит твоя муха... толкотня непонятная. Будто доски трещат. Вот те крест, святая икона! Будто ворочается бригадир в тесной камере, вроде как вылезти хочет. И юшка желтая с винным запахом с-под низу каплями набухает...

Я всю войну прошел, ребята, аж с 22 июня, всякого навидался — и горького, и соленого. А тут вроде как мертвец оживает. Волосы у меня шишом заподымались, сердце екает. Страсть и ужась! Не растерялся один Мишка Юкин, санитар бывший. «Бегом, — кричит, — ребята, а то доски разорвет!» Ну мы и дернули. Прибежали на кладбище, быстро-быстро зарыли гроб, приняли по два стакана и тут только маленько образумились... Женка Пупкова нам и говорит: «Бражка проклятая... она во всем виноватая. Он ведь ее, сатаноид, вместе с дрожжами ухайдакал...»

— А дрожжи, как известно, имеют обыкновение бродить и искать выход из замкнутого пространства, — снова вылез Аркашка со своей ученостью, испортив финал Егорычевой истории, которая, как и все его истории, должна была закончиться неизменным возгласом: «Вот она, какая штука-то!»

Вообще Аркашку не слишком жалуют в наших палестинах, но уважают — многие. Потому что, куда ни кинь, связал он нашу жизнь крепким узлом. За его лихой молодецкой внешностью, за наигранной бравадой всегда угадывался матерый ас торговли, который знает себе цену и просто так не станет откровенничать даже в узком кругу. У Аркашки все рассчитано и подсчитано — где, кому, когда и сколько, но есть в его натуре располагающая струнка, которая не позволяет считать его свиньей в золотом ошейнике и заметно выделяет из общей массы шаромыжников-дельцов с тусклыми полтинниками вместо глаз. Видимо, в силу своей безалаберности и абсолютной непригодности к его, Аркашкиным, делам мы с Егорычем вполне устраиваем его как собеседники, с которыми можно и языком почесать, позубоскалить, и раздавить пузырек-другой под обильную закуску, а завтра расстаться с легким чувством, что никто никому ничего не должен.

Всю жизнь он купался в капризных водах комсомольской номенклатуры, достиг вершины служебной лестницы, а объявили перестройку — и прыгнул в рынок без оглядки, как в холодную воду. Первые лет пять только о нем и слышали: в Козлах-2 и Потылицыне открыл продуктовые магазины... в Гробовщине выстроил склад цельнометаллической конструкции... по всему тракту до Костромы расставил игривые павильончики с горячи-

тельными напитками и волоокиими наядами в витринах... в Курзенева скинул упертого главу администрации и на его место поставил своего человека. Оборотистый деляга оптовик и отменный оратор, накачавший глотку на молодежных ристалищах (у него раньше кличка была — Красный Цицерон), Аркашка прочно оседлал наше «Лукоморье», повелевая укладом многослойной крестьянской жизни. Водку, например, продавая дешевле, чем другие коммерсанты, но при этом ставил неперемное условие, чтобы покупатель брал не менее трех бутылок. (Что значит оптовик!) Нас с Егорычем это вполне устраивало, а вот другие мужики, победнее, глухо роптали, обещая пустить купчине «красного петуха».

Однако в последние годы что-то разладилось у него на ниве коммерции. То ли потерял вкус к оптовым операциям, то ли подвели «надежные» партнеры, то ли сбежала к другому, более преуспевающему торгашу его красавица жена, а сын от первого брака пустился во все тяжкие. Много разных слухов витало вокруг неумемной Аркашкиной головушки, и я уже готов был поверить в них, если бы не годовой давности встреча в вагоне поезда Кострома — Москва. Мы случайно столкнулись в тамбуре, зашли в буфет, и Аркадий разоткровенничался... Да, жена действительно ушла, и сын-балбес вот-вот загремит за наркоту, и партнеры оказались с гнильцой. Но разве это причины, чтобы опускать руки? Просто наш герой увлекся психогенетикой и вычислил на основе своей родословной, что сколько бы он ни «корячился, зашибая деньгу», результат будет нулевым, и разум-воля-энергия здесь ни при чем.

Все дело, говорил он, в генетическом коде, который мы наследуем от праотцев. Хотим мы этого или не хотим, но психологические черты и манеры поведения предков прочно записаны в нашем подсознании, и стереть этот родословный гнет практически невозможно. («Прошлое живет и правит нами. Мы только пешки в руках наследственных генов».) А у Аркашки, как он выяснил, вся фамилия до революции вплоть до третьего колена занималась переработкой и продажей льна, и все ее представители разорялись, спивались и умирали в глубокой нищете. Вот он и решил про себя: чего ради стараться и для кого, если модель «потерь» расписана до самой смерти?..

— Мы самого главного не услышали от вас, Аркадий Петрович, — нарушил молчание Коля-бог. — Вы-то как оказались на нашем «острове»?

Ответ его ошарашил и озадачил всех... Оказывается, вышел встречать желтый пикапчик от азербайджанской фирмы «Вавилон» с продуктами и спиртным, а тот словно в воду канул. Ходил Аркашка по лесной дороге, кричал-кричал — и заблудился. Хорошо еще, что фонарик прихватил с собой.

Мы втроем переглянулись и поняли, что бизнесмен искал ту самую машину, которую все слышали, но никто не видел. И где она сейчас, если территория бывшей турбазы имени Ивана Сусанина окружена пришедшей водой?..

Утро было как по заказу. Солнечные снопы пробивались сквозь мутное оконце и ложились жаркими квадратами на пол, стены и грязный, разоренный стол, похожий на мамаево побоище. Я лежал в затененном углу — Егорыча рядом не оказалось, остальные спали — и как бы заново привыкал к нашему сирому, неприютному биваку. Сучок на потолке с разбегающимися трещинами смотрел на меня оком языческого божка, внушая что-то вешее, и спокойно чувствовалось под его неусыпным взглядом. Хмель из головы почти выветрился.

Я приподнялся на локте и увидел сидящего у двери незнакомого «партизана», который кормил Шарика-Бобика. Кто такой, откуда? Он отрывал от ковриги порядочные куски, и песик с жадной ловкостью хватал хлеб на лету, искательно заглядывая в лицо мужику... Я присмотрелся повнимательнее и чуть не свалился с нар. Да это же Генаха... Генаха-Про-

хиндоз... Генаха-Живодрист, или барон фон Триппербах... Сынберия... Мандела — вот кого нам Бог послал! Известного гуляку из деревеньки Козлы-2, мало склонного к усидчивому труду, но зело охочего до выпивки и других молодецких забав. Если бы люди, подобные Прохиндосу, хотя бы треть своих усилий потратили на работу, а не на то, чтобы увильнуть от работы в поисках дурного занятия, мы бы уже давно имели цивилизованное общество... У него была неухоженная, в хлебных крошках, борода, мокрые седые волосы, расчесанные надвое, и единственный зрячий одичалый глаз, излучавший из-под ресниц такое сияние, что поневоле хотелось прищуриться.

Я не видел Генаху, кажется, года два и с трудом узнал. Опух, отек, посинел. Последний раз нам довелось встретиться на Михалкинской ярмарке, когда он прохаживался вдоль торговых рядов с фанерной дощечкой на груди: «Хочу выпить». Вот ведь что учудил балабол одноглазый! Не жаловался, не просил, не клянчил, как заурядный попрошайка, выжимая слезу у чувствительных покупателей, а нагло требовал: «Хочу выпить», высверкивая лазерным своим оком. Прохиндоз — ворюга с незаурядными артистическими способностями, но работает преимущественно словом и в присутствии свидетелей-зрителей. Впрочем, при случае может и в карман залезть — это ему раз плюнуть.

Однажды, будучи под легкой балдой, Генаха уверял мужиков на автобусной остановке, что я был когда-то начальником строительства газопровода и что будто бы мы с ним, Генахой, тянули дюкер по дну залива где-то на тюменском Севере. И что самое невероятное — поверили! А в магазине в Курзеневе он затеял игру в телевидение, изобразив меня пламенным кремлевским оратором, с легкостью ставящим в тупик первых лиц государства, в том числе и президента. Импровизируя на ходу и получая удовольствие от зрительской реакции, он поставил меня в такие условия, что я, сам того не желая, на потеху зевакам, достал кошелек и купил ему бутылку «Пшеничной». «Кум лапти плетет» (то есть собирает информацию, записывает отдельные его выражения), — говорит обо мне Генаха-Прохиндоз, и потрясти мои закрома — дело его чести, доблести и героизма. Правда, его юмор не поднимается выше тазобедренного сустава.

Но сейчас настал мой черед быть на виду в своем пруду.

— Я вас где-то видел, молодой человек, — сказал я из своего темного угла. — Кажется, в Исторической библиотеке. Вы конспектировали второй том «Капитала» Маркса... Не-е-т? Тогда я встретил вас в консерватории на концерте Ростроповича.

Вскочив с нар, Аркашка с ходу подыграл мне:

— Знакомьтесь, Николай Митрофанович: перед вами великий труженик отдыха и праздных удовольствий. Крупнейший в Лукоморье специалист в области пастбищного ежководства!

Но Генаху не так-то просто вышибить из седла, поднаторел он в словесных баталиях, пообтерся среди разнокалиберной публики. Глаз его наливался синим угарным огнем — верный знак того, что он готовится «выйти на сцену».

— Тихо, Маша, я — Дубровский! — Прохиндоз вытащил из-за пазухи две бутылки водки и с шиком поставил их на стол: знай, мол, наших, растудыт твою в кочерыжку! Пили, пьем и пить будем, и все нам нипочем!.. В самом деле, на кой черт ему соха, была бы «белая барыня» да балалайка!

Вошедший в избушку Четыркин сообщил, что вода вроде спала и надо бы поискать брод и собираться домой, но, увидев бутылки на столе, остановился как бы с разбега и потерял дар речи.

— Откедова?!

— А оттедова, где яга обедала, — без промедления выдал ему Генаха, еле сдерживаясь от распиравшей его гордости. Последние лет десять он тем и занимался, что сшибал рубли и пятерки на опохмелку, а тут почув-

ствовал себя хозяином положения... Какое-то время все мы пребывали в шоке: зверюгу лесную увидеть, услышать ее первобытный рев — еще куда ни шло, а тут водка! И до ближайшего магазина — как до ближайшей звезды. Ну и «Дубровский!» ай да хват-парень! до чего же пройдошный тип!.. Он взялся откупоривать бутылку, и мы с болельщицким азартом, кто с осуждением, а кто с нежной тоской, следили за его движениями. Каждый отреагировал по-своему.

Коля-бог: — Между прочим, с утра не пили ни эллины, ни иудеи. У апостола сказано: утренний пьяница опаснее пса бешеного...

Егорыч: — Ты погоди, жопчик, погоди. Ты Премудрости сына Сирахова читал? Плохо, видать, читал. А мы с отцом Мефодием... царство ему небесное... все Писание прошли. И выходит, что с утра надо пить, потому как утро вечера мудренее... Наливай!

Аркадий: — Как говорит мой партнер по бизнесу кореец Чин, «мне маленький чуть-чуть».

Прохиндоз: — Да на тебе два чина: дурак да дурачина!

Я (с примиряющей улыбкой): — Аркадий прав. Предлагаю по маленькой и по-быстро! А то «поплывем» на голодный желудок. Остальное — под жареные грибы. Вы как, не возражаете?

Мы еще не успели выпить, а уже закипели страсти нешуточные, обострились амбиции и полетели искры от сшибки характеров, но наша партия благодаря Николаю Митрофановичу все же взяла верх.

— У меня от вас вибрация нервов, епонка мама, — шумел громче всех Дубровский-Прохиндоз. — Я весь изнервничался до волос дыбом, едрит твою навыворот. — И послал меня с Аркашкой по эротическому маршруту. Так бывает всегда, когда решение выносится не в его пользу. Генаха куражится в ругани, как иной шулер за картами. Он готов при случае еще и обхамить или сделать вид, что хватается за нож, или пустить жалобную слезу, или броситься на землю и кататься по ней в горячечном припадке. Алкаш — он и есть алкаш, поступки его непредсказуемы...

От полога леса на «том» берегу отделилась фигура женщины с рюкзаком за спиной. Она смотрела на нас из-под руки и прислушивалась. Неужели Клавка, младшая дочка Егорыча? Господи, этого еще не хватало! Не успели мы прийти в себя, разгоряченные спором, как она с ходу накинулась на меня, эдакая громкоголосая богиня плодородия:

— Зачем вы спаиваете моего отца? — (Постановочка вопроса — какова!) — Что он вам плохого сделал?.. Я всегда знала, что вы пьяница, а сейчас точно убедилась. Вот придет ваша жена, я ей все расскажу. Все!..

Прапорщик внутренних войск, воспитательница тире надзирательница женского ИТЛ общего режима и отпетая стервозина костила меня с непритворным материнским усердием, хотя я годился ей в отцы, а Егорыч тем временем, приняв вид невинной жертвы, трусливо выглядывал из-за кустов.

— Ты где там, батька, выходи?! Чё прячешься, паразит чертовый! — кричала сиятельная гранд-дама местного УВД и грозила ему кулачком.

— Не пей кровь, Клавушка! Не вели казнить, а вели миловать! — Я прижал руки к груди, изобразив перед ней «версаль». — Мы попали в беду, а ты говоришь такие слова. Нехорошо, Клавушка, нехорошо!

Она попыталась было перейти «речку», высоко заголив ноги, но, увлекаемая быстрым течением, едва не шлепнулась в воду и с визгом выскочила на свой берег. После этого злости в ней заметно поубавилось.

— Ты глян, Игрич, как бедра у нее перекатываются! А-а-а?! И тело сквозь платье просвечивает — о-о-о! — с некоторым опозданием стал раздувать пары владелец оптовых фирм. В джинсах, почти по пояс, он вошел в мутный поток и протянул руки в ее сторону. Егорыч, сидя на корточках, тихо посмеивался. — Клавушка... Клависсимо... ваше августейшество! Вы

наяву или мне снится?.. Вы — как лампочка под абажуром! Солнышко! Вы закружили мне голову, солнышко...

— Ща вот как хрясну промеж глаз — будет тебе солнышко! — с неподражаемой грацией пообещала Клавка и сделала вид, что хватается за корягу. При этом платье у нее задрало до розовых трусиков, а тело напряжилось и набрало ту обольстительно зовущую бабистость, по которой стонут мужики лет сорока и старше. Ведь самое прекрасное в женщине — изгиб, поворот, наклон. Наши старперы чуть не взвыли, а Четыркин недовольно нахмурился... Помнится, кто-то из дачников сказал о дочке Егорыча, что она принадлежит к породе ершей: все слова звучат у нее почти как ругательства и угрозы, но под наружными колючками таятся залежи неразбуженной любви и тепла.

— Ну чё, паразиты, продукты принимать будете — или как?

— Давай, давай! — хором закричали мы, а бугай Аркашка, с трудом удерживаясь на стремнине, изготовился ловить Клавкин рюкзачок. В нем оказались две банки консервов, буханка хлеба, пакет картошки, немного сахара и ложка. («А насчет выпить не найдется?») — всполошился Прохин-доз, но я вовремя закрыл ему пасть...

На нас посыпался ворох деревенских новостей. И самая главная из них: по костромскому радио передали, что прорыв Федуловской плотины нанес ощутимый вред нашему околотку — смял летний лагерь для скота, утопил пьяньегого рыболова, повалил два столба электропередач, и двенадцать часов в Пустыньке не было света... Выходит, одним нам, дуралеям, повезло, и спасло нас конечно же всемогущее «авось». Как говорят в таких случаях Четыркин и ему подобные: «Будет — так будет, а не будет — дак что-нибудь да будет». Трудности их не пугают, впрочем, ничего другого у них и нет.

Егорычеву дочку мы проводили с песней: «Клава — наша слава боевая, Клава — нашей юности оплот, с Клавой мы живем и побеждаем, весь народ за Клавушкой идет», а Аркашка еще крикнул вдогонку, что приглашает ее на собственную виллу у Плещеева озера. Конечно, по такому случаю мы махнули еще по чуть-чуть, и каждый отправился по своим делам. Я с Николаем Митрофановичем — по грибы-ягоды, Генаха — за родниковой водой и дровами, Аркашка согласился навести порядок в избушке и почистить картошку, а Егорыч, как самый рукодельный из нас, вызвался сделать из брошенного листа алюминия некое подобие сковородки.

В глубине леса рождался млечный парной туман, легкими скачками ветра его сносило к прибрежным зарослям ольхи и ивы, и там, коченея и напитываясь холодом, он превращался в сплошное молоко... Тропинка уводила в сосновую чащу, и деревья смыкали за нами ключие лапы, напахивая хвойную свежесть. Дыши — радуйся, смотри — думай! Но думать было некогда, потому что природа выставила здесь напоказ все свои богатства: крупную бруснику, душистую малину, чернику с костяникой и царя витаминов — шиповник. А грибов было столько, что они буквально путались под ногами, и в основном маслята и сыроежки. Все как на подбор крепенькие, ядреные. С красными, оранжевыми, в крапинку и полосочку шляпками и точеными ножками грибы смотрелись как некое законченное произведение, и за каких-нибудь минут пятнадцать не сходя с тропы мы набрали два больших полиэтиленовых пакета.

— Прямо как на Севере! — вырвалось у меня.

— Точно! — выпрямился Коля-бог и засмеялся. — Вы меня просто опередили...

Там, на Севере, не ищут грибы, как в срединной России, где требуется особое чутье и зоркость глаза и где прощупывают палочкой едва ли не каждую лесную затайку. Там грибы попросту собирают, а точнее говоря, «ломают», как выразилась одна архангельская старуха, у которой я однажды останавливался. Соленые грузди, сыроежки и маслята, которыми она

меня потчевала в мае, принадлежали урожаю прошлого года и были собраны за одну ходку. Одна-единственная поездка в лес на подводе или на мотоцикле с коляской — и семья обеспечена грибами на целый год.

— А где вы были на Севере, в каких местах? — полубопытствовал Николай Митрофанович.

— Инта... Ухта... Княж-погост. Эти названия вам что-нибудь говорят?

— А как же! Край, население которого составляли местные «комики» и приезжие «трагики».

— Вот-вот, — усмехнулся я. — Перед вами сын приезжего «трагика».

— Аналогичный случай! — воскликнул он и посмотрел на меня с почти родственной теплотой. — Только я из Норильска... двадцать восемь лет никелевому комбинату отдал. Начиная с сорок шестого года. Получил временный паспорт — и к отцу, на Круглое Озеро. Он тогда только-только освободился...

— Редчайший случай, чтобы на Север ездили по собственной воле...

Мы возвращались низинкой, вдоль «речки», раздвигая мокрые туманы, и белесые волны-облака смыкались за нашими спинами, как занавес. Небо опрокинулось, смешалось с хилым подростковым леском, и оттуда тянуло вязкой болотной прелью, гнилыми испарениями. Под ногами трещал валезник многих поколений, сочно всхлипывала подпочвенная вода, кипела пузырями... Николай Митрофанович рассказывал:

— Из Москвы до Красноярска я ехал на «пятьсот веселом» поезде. Знаете, почему его так называли? Он на каждом полустанке останавливался, и скорость была двадцать километров в час. Удивительный, я вам скажу, поезд: люди запросто знакомились, сходились и расходились, песни допоздна пели, анекдоты травили. Десять суток беспечной свободы и удовольствий!.. Я ведь без билета ехал, и меня подкармливала хорошая девушка Нина, студентка педвуза. Мы потом с ней долгое время переписывались. Я напишу ей огромную «простыню», а она мне ее обратно пересылает с исправленными ошибками. Не поверите, по пятьдесят ошибок сажал! Можно сказать, я по этим письмам правописанию выучился...

Ну вот... приехали в Красноярск, а пароход в Дудинку уже ушел. Денег у меня нет, пропуска тоже. Кто меня кормил, где я спал... подробности опускаю. Помню, очень холодно стало... Наконец-таки дождался «Иосифа Сталина». Тогда по Енисею много пароходов ходило — «Мария Ульянова», «Серго Орджоникидзе», «Спартак», но этот был самый большой, самый красивый. Весь трюм под завязку у него был забит секами, а в каютах и на палубах спали вольнонаемные. На мне был хороший костюмчик, и в чемодане десять пачек махорки. Жить можно, не пропадешь! Как только на «Иосифе Сталине» начиналась проверка билетов и документов, я перелезал на вторую палубу и там прятался под брезентом... Один вохровец меня все же выследил: кто такой, откуда? Вот когда понадобилась махорка! Верите, нет? Мало того, что он охранял мою персону, он еще всю дорогу обеспечивал меня трехразовой кормежкой...

Но самое трудное началось в Дудинке. Куда ни помотришь — зоны... вышки... собаки-людоедки... колючка на колючке. Подробности опускаю... вы это сами все помните! Снова мне билет нужен, чтобы ехать по железной дороге, и новый пропуск. А где его взять и кто мне его даст? Метался по перрону, чтобы в поезд залезть, но у каждого вагона часовой. Что делать?.. Тут один мужчина ко мне подходит — пожилого возраста и в кожанке: «Ты чего суетишься, хлопчик?» — «Да денег нет, — говорю, — и пропуска тоже». — «А фамилия как?» Я сказал. «Ты случайно не Митрофана Кузьмича сын?» — «Да, Колька». Оказалось, сослуживцы: с моим отцом вместе работают на комбинате в турбинном цеху. «А Митрофан Кузьмич знает о твоём приезде?» — спрашивает кожанка. «Нет». — «Что же ты так? — И смотрит на меня как на чумового. Подумал-подумал и говорит: — Ну

ладно... попробую тебя пристроить. Только не мельтешишь!» (Я его с тех пор больше не видел, а помнить буду всю жизнь.)

В это время на станцию подваливает норильская футбольная команда, и Старостин Андрей Петрович впереди, тренер. Все, заметьте, заключенные с большими сроками. Только-только стали чемпионами Красноярского края... веселые, озорные ребята. Победителей определили в теплушку, а в другом вагоне, товарном, они везли с материка капусту, репу, картошку, морковь. Хозяйственный мужик Андрей Петрович! Отказался от всяких там призов и наград, которые полагаются чемпиону. А взамен знаете что попросил? Вагон свежих овощей для всей команды. Вы понимаете, нет? Этими овощами зимой сорок седьмого он не одного зека спас от цинги...

Моя «кожанка» — к игрокам: так, мол, и так, ребята, нужно выручить одного городского фраера, доставить его к отцу. «Хорошо, — говорят, — как объявят посадку, пусть к овощному вагону подходит. Что-нибудь да придумаем!» Если честно, я уже не надеялся, что удастся уехать. А как посадка началась, надежд вообще не осталось. Суматоха... народ с вещами запрыгал, задрыгался... толкотня пошла, чтоб лучшие места занять. Думал, обо мне уж все позабыли. Ан нет! Витек, левый край, часовому зубы заговаривает, а двое других игроков вагон потихоньку открывают. Потом хватают меня за шкуру — и туда. Поехали!

Игрич, я вам еще не надоел? Честно? Ну тогда слушайте дальше... Сiju я на овощной куче и грызу морковку. Приелась морковка — взялся за репу. Чувствую, что околеваю. Холодина зверская, а я в летних ботиночках! Несколько раз поезд останавливался, проверяли документы. А кто ко мне сунется, если тут овощи?» Часов восемь ехали, у меня уж в глазах все поплыло. Слышу: «Вставай... выходи!» — а двинуться не могу. Тогда меня на закорки — и в теплушку. Стали руки-ноги разгибать и спиртом растирать, а Андрей Петрович говорит: «Лучше ему в рот влейте». Валерка Буре так и сделал. Он, как потом выяснилось, с отцом в одном лагере сидел; только отец мастером на стройке работал, а Буре фельдшером на ТЭЦ. Между прочим, заслуженным тренером стал по плаванию, нескольких чемпионов Европы воспитал, я сам у него тренировался. Сейчас его внучата шайбу в Штатах гоняют...

Тут к теплушке подъехала крытая машина, и к команде приставили конвой. Прощай Валера и Андрей Петрович! С левым крайним, вольнонаемным, мы отправились на Круглое Озеро — так поселок назывался под Норильском. Там потом фабрику построили по производству тяжелой воды... А уже поздняя ночь, мороз, темнотища и кругом лагпункты за колючей проволокой и часовые на вышках. Витек мне говорит: «Вон твой дом. Раньше это был лагерный барак, а теперь его под вольняшек переоборудовали. Нарубили комнатонок по шесть человек в каждой — вот тебе и общага. Живи и не жалуйся!»

Я вошел в коридор и постучал в первую дверь. Тишина! Постучал громче — опять глухо. Потом-то я понял: народ, конечно, проснулся, но в комнате лютый холод, и вставать никому неохота. Тогда я забарабанил в полную силу. У-у-у, что тут началось!.. Как свору собак поднял. За какую-нибудь минуту весь словарь тюремного жаргона услышал, всю музыку блатной фени. Ругаться-то они ругаются, а вставать никто не желает! Я говорю: «Откройте, пожалуйста, товарищи!..» Эти «товарищи» — и особенно «пожалуйста» — их окончательно доконали. «Если я встану, падло, то ты ляжешь у двери, сучий потрох!» Такие, понимаете, литературно одаренные личности...

Дверь открыл, помню, Костя Мешков. Его взяли студентом с четвертого курса, отсидел десятку по пятьдесят восьмой, а теперь, как и отец, он отбывал «пять лет по рогам»... «Мне Митрофана Кузьмича», — говорю, а сам волнуясь. Я ведь отца с тридцать седьмого года не видел, узнает он меня или нет? «Вон он... на кровати с краю», — показывает студент. Гля-

жу: кровать в углу, под окном, и на ней человек спит, накрывшись с головой. «Он в ночную смену работал», — объясняет Костя. Я подумал: пускай себе спит, чего я буду его будить, обожду. А с пяти коек как завопят на меня: ты чего, парень, какой тут может быть сон! И к отцу: «Вставай, Кузьмич, к тебе сын приехал!» Сдернули одеяло, растормошили его... Тот протер глаза, приподнялся и спросонья: «Какой сын? Что за сын?» — «Да твой, — кричат, — чей же еще?! Родная, понимаешь, кровинушка!..» Он смотрит на меня и глазами хлопает. «Володя?» — говорит. (Когда отца арестовали, я был еще маленький, а брат Володя старше меня на десять лет.) «Да нет, — отвечаю, — я — Коля...» Стоит он босой на полу — а пол-то холодный! — одной рукой кальсоны поддерживает, чтобы не упали, а другой пытается меня обнять. Я говорю: «Ложись, папа, поспи, потом поговорим». А его соседи глаз с нас не спускают и переглядываются: интересное дело, отец с сыном встретились, а ведут себя как придурки. «Давай, — кричат, — Кузьмич, не жмись, гони за банкой спиртяги. Надо же отметить по-человечески». Они уже одеваются, чтобы бежать на работу, и наказывают нам, чтобы вечером все было в полном ажуре...

И вот мы остаемся одни. В комнате висит гнетущее напряжение, я чувствую, что он не воспринимает меня как сына. Сбежал на улицу, принес раздолбанный ящик, затопил печку. А печка такая: пока топишь — тепло, закрыл заслонку — все выдуло... Вид у отца какой-то суетливый, задерганный: свалился, мол, сукин сын на мою голову! А может, он под агента МГБ работает? И вдруг спрашивает, глядя мне прямо в глаза: «У тебя документ какой-нибудь есть?..» Я так и сел. «А как же!» — говорю и протягиваю ему временный паспорт. Он полистал-полистал книжечку, глаза его потеплели, произнес вслух и по слогам «Мит-ро-фа-но-вич»... быстро меня обнял, и мы оба заплакали...

— Где шляетесь... эн-тел-ли-гэ-э-нсия? — встретил нас с угрюмым видом Генаха-Прохиндос. Его седые, переходящие в желтизну космы почему-то снова были мокрые, а глаза, как всегда, тоскливые, с плотоядной жадностью ожидающие сигнала «Наливай!».

Стреляя искрами, перед избушкой вовсю пылал костер, у которого хозяйничал Аркашка с засученными рукавами. На импровизированной сковородке он жарил картошку на воде и подсолнечном масле и еще приглядывал за котелком, где булькало аппетитное варево. Острый запах лесной похлебки маняще ввинчивался в ноздри, выдавливая на наших лицах блаженные улыбки. Мы с Митрофановичем как по команде сели чистить грибы.

— Аркадий Петрович... епонка мама, — с болью в голосе прохрипел Генаха. — Господом Богом прошу тебя в который раз... плесни на доньшко... нутро, понимаешь, высохло, едрит твою навыворот. Слышь, что говорю, дрочмейстер?..

Однако Аркадий никак не реагировал, продолжал восседать у костра незыблемым монументом, изредка помешивая в котелке и окидывая нас трезвым государственным взглядом.

Егорыч тем временем сортировал свои находки — корни с причудливыми отростками, аккуратные, выбеленные дождями сосновые чурочки и плотные, как репа, каповые наросты с едва приметной текстурой, похожей на накат волны по песчаному берегу... Четыркин когда-то подавал надежды как мастер резьбы по дереву, участвовал даже в самодеятельной выставке со своими ковшами и птицами-вестниками, но почему-то бросил это занятие, хотя зимой, когда нечего делать, руки его по-прежнему тянутся к ножу и резцу. Он поочередно вертел деревянные заготовки на свету, оценивая их природные качества.

— Вот тебе еловый корень столетний. Что из него выйдет, Игрич, ежели старание приложить? Думай, жопчик, думай...

Корень был похож на потрепанного жизнью лешего, вроде нашего Прохиндоза, из которого выжали все соки, и я сказал об этом старику.

— А вот и нет, — засмеялся он. — Плохо у тебя черепок работает. Лесной дух не чуешь. Понимать надо дерево и видеть его наскрозь...

Он забрал у меня заготовку, перевернул ее, и я увидел испуганную птицу, судорожно хватающуюся за воздух, чтобы удержаться на спасительной высоте. Отростки корня превратились в трепещущие крылья, сучок на голове — в яростно распахнутый глаз, а могучий остов напрягся в предсмертном рывке. Не говоря ни слова, Четыркин держал птицу на весу, любуясь неправильными, но чрезвычайно выразительными пропорциями ее тела, а затем отбросил в кусты.

— Брак! — как-то неприязненно изрек он и тут же забыл о своей находке.

— То есть как это «брак»?! — почти возмутился я.

— А так. Негожий материал, и все. На вид вроде ничего, а рассол потечет — это я тебе точно говорю. Да и сердцевина непрочная, пропеллером колотья станет. — Четыркин посмотрел на меня с острым прищуром: — Места надо знать, где деревяшку берешь. Тут все по природному указу должно быть. Вот она, какая штука-то! Ежли поблизости кукушкин лен и сфагновые мхи расплодились — значит, почва выщелочена. Внизу — пылеобразный песок, водонепроницаемая глина. Тут хорошему дереву не вырасти. Сердцевинные клетки разорвутся, когда сушить станешь. Я ведь себе все зубы съел на этом дереве...

Он достал кусок березового капа, легонько подбросил его на ладони и, словно предлагая продолжить игру, спросил:

— Ну а из этого что получится?

Кап был овальной, слегка приплюснутой формы и лоснился, как лысая голова.

— Пепельница, — сказал я не задумываясь.

— Ишь ты... пепельница. — Четыркину это понравилось, и он посмотрел на меня с некоторой симпатией. — А почему, как догадался?

— Материал подсказал, простота обработки. И потом, — прибавил я опрометчиво, — такими пепельницами торгуют на рынках и в магазинах сувениров.

— Я на продажу не работаю, — с холодной мстительностью отрезал старик и утопил глаза в белых бровях. — Наше дело — сделать тело, а Господь душу вложит!

Видимо, сам того не желая, я обидел его словами «рынок», «магазин», «сувенир». Действительно, всю жизнь он никогда ничем не торговал, даже представить себе не мог, что можно встать за прилавком, облачившись в белый халат, и кричать во всю ивановскую, как кричат разбитные торговцы на центральном костромском рынке. Позору не оберешься!.. Так уж он воспитан.

— Пепельница! — бурчал себе под нос Егорыч, пряча от меня заготовку и прикрывая ее берестой. — Да этому материалу цены нет! Три килограмма орехового капа — это знаешь сколько? Полкило серебра! Вот она, какая штука-то!.. «Простота обработки», говоришь. Да пока с ним пыхтишь, с капом этим, чтобы письмо природное не нарушить, пот тебе все сапоги зальет. Все руки ссадишь, пока из него голубка высидишь. Э-э-э, да что говорить!

Он бы, наверное, еще долго рассуждал на эту тему, но Аркадий позвал всех к костру. Сидя на лавке и орудуя деревянными палочками, как китайцы, мы мигом оприходовали сковородку с жареной картошкой, навалили на нее очищенные грибы, посолили и снова поставили на огонь. За хлебку, как обладатель единственной ложки, взялся наш патриарх.

Ел он молча, весь обращенный в тайну переваривания пищи, сосредоточенный исключительно на процессе поглощения. Не ел, а священнодей-

ствовал. Наблюдать за ним было одно удовольствие, как за каким-нибудь ритуальным действием. Все мы в это время шутили и смеялись над пустяками, а для него, Егорыча, словно сомкнулись невидимые кулисы, выключились из сознания привычные краски и звуки. И если он прислушивался к чему-то, то это был, несомненно, хор жаждущих воскрешения клеток и хромосом, зов гостеприимного желудка, взыскующего умного и заботливого насыщения... Отхлебав положенную пятую часть, старик ополоснул ложку крутым кипятком, протянул ее Николаю Митрофановичу (по возрасту тот шел вторым) и с выражением гражданской скорби уставился на Аркашку:

— Дак ить это... едрит твоя муха!..

— Сигнал принял! — с понимающей улыбкой отрапортовал коммерсант и вытащил из загашника последнюю бутылку. Только почему-то не верилось, зная Генахину натуру, что она — последняя...

Погода словно раздумывала, чем бы ей заняться, — то ли нахмуриться, то ли улыбнуться, то ли дохнуть холодом или брызнуть мелким ситничком. Именно такие дни, одетые в призрачную молочную мглу, без теней и звуков, с полунамеком на некую тайну, остаются в памяти, и хочется продлить их и прожить заново. Я оглянулся: «тот» берег отодвинулся в невнятной, колдовской дымке, увяз в парном сумраке. И казалось, что росли там вовсе не деревья, а зеленые дымы, принявшие форму деревьев. Загадочный покой разлился в природе.

— Туман-то, — сказал Егорыч, занюхивая корочкой, — хошь топором руби...

Все молча согласились, но разговор не поддержали, оберегая глазами разливаемую Аркадием водку и ревниво переживая, если кому-то выходило на пять граммов меньше, чем соседу. Шарик-Бобик тоже подключился к этой процедуре, изредка подавая голос и явно болея за Прохиндоза. От виночерпия требовалась недюжинная выдержка и точный глазомер, чтобы не вызвать смуту среди «партизан». Даже почти не пьющий Коля-бог принял участие в этой игре, наблюдая за нашими лицами и втайне посмеиваясь.

— Господи, до чего же мы все русские! Наша бутылка полна разговоров. Наши разговоры — пир естественных радостей и нерасчетливого созерцания. Немцы, французы, китайцы — разве они поймут это? Русским людям, испытавшим колоссальную генную усталость, просто необходима психологическая разгрузка. Всем, всем — от бомжа до первого министра! От нее, родимой, озаренье в мозгах, мысль катит как по маслу... Хотя, — Митрофаныч постучал ногтем по дну стакана, — этот напиток придумали не мы, а генуэзские купцы. И само слово «водка» впервые появилось на свет в польских летописях.

— Во-о-дка? Не русская?! Ты давай ври... епонка мама... да не завирайся! — задохнулся от возмущения Генаха и закашлялся: видно, беленькая вошла не в то горло.

— Было бы сказано, а забыть успеем, — поддержал его Четыркин, озбоченный утратой национального приоритета.

А вот виночерпий наш почему-то промолчал, да и выпил он как-то неаппетитно, по принуждению, словно выработал лимит отпущенных ему природой сил. Куда делся твой запал, герой-любовник горбачевской перестройки?.. Видя, что Аркашка не в настроении, Генаху наконец-таки прорвало, одолела его речистая сила.

— Да ты русский али нет, ёшь твою пять?! — наседали на Митрофаныча, спорадически взмахивая руками. — «Водка — не русский напиток»... Да тебя, дроздмейстер, за деньги показывать надо. Тебя бы наши мужики отделали как Бог черепаху за такие слова. До усрачки, до упоения!.. Слышь, как давление скачет и сердце прыгает? Щас клевроз случится —

беги за доктором, растудыт твою в кочерыжку! — кричал исступленно Прохиндос; глаз его постепенно набирал ударную силу. Видимо, энергия одного потухшего ока перетекала в другое, излучая при этом нестерпимое сияние.

Николай Митрофанович чувствовал себя довольно неуютно и озирался по сторонам, ища поддержки. Не только я, но и Егорыч с Аркашкой не вполне понимали, что происходит с одноглазым: то ли куражится, валяет дурака, чтобы завладеть вниманием публики, то ли пьяный бес кольнул его под ребро...

— «Водка — не русский напиток»... Слышали, а?.. Чурка ты кавказская или перекрашенный жид Иванов, чтоб мне перевернуться с одного бока на другой. Как мартышка, все хитришь... хитришь, а жопа голая. Да ты хошь выверни кожу наизнанку и посмотришь в зеркало — все равно на русского не похож... Что, не нравится? Ишь сколько грации в тебе, ерусалимский лорд, едрена феня, си-бемоль мажор... устроился тут, понимаешь, с понтом, ну прям «Интеллиженс сервис», хоть к Примаку не ходи... епонка мама!

— Еще слово, и ты у зубного, — почти шепотом предупредил его Аркадий, и этого было достаточно, чтобы тот угомонился. Новая брань, готовая сорваться с кончика его языка, враз застряла в глотке, да и глаз его потерял убойную силу.

— Вот что, Геннадий Лаврентьевич, — сказал я, впервые в жизни обратившись к нему по отчеству. (Отсюда старая его кличка — Сынберия.) — Мы сюда не скандалить пришли. Постарайся вести себя, чтобы с тобой было так же хорошо, как и без тебя.

Егорыч тоже не остался в долгу и выдал знаменитую речевку тридцатых годов, памятную еще с пионерских костров: «Если ты русский, а друг твой еврей, вы к коммунизму придете скорей!» На что Коля-бог, насмеявшись вволю, отреагировал довольно своеобразно:

— Самогонщик патриотического кваса, вот ты кто, Гена!.. У меня в родословной намешано много всяких кровей — ну русская, это само собой. Далее — украинская, татарская, мордовская. А вот еврейской крови во мне нет, и я переживаю. Честное слово! Может быть, прожил бы свою жизнь чуточку умнее и удачливее...

За разговорами не сразу услышали лай Шарика из глубины леса. Не то белку облаивает, подумалось мне, не то встречает еще одного отчаявшегося бродягу. Четыркин прислушался и первым поднялся с лавочки: что-то тут не так, ребята, надо проверить. Без всякой охоты мы побрели следом, ощущая подошвами ног мягкую, пружинящую податливость земли, которая отсасывала в себя всю накопившуюся усталость. Но кругом, кроме Шарика-Бобика, не было ни души. Он остервенело бросался на кучу валежника у подножья сосны-великана, хватал сучья, рычал, повизгивал, а заметив нас, увеличил свою активность по крайней мере вдвое. У каждого из нас мелькнули свои догадки.

— Нора, — предположил я. — Тут, наверное, живет барсук.

— А что? Верно! — быстро согласился Егорыч. — Барсук — животная чистая, хозяйственная. Кто из вас в волчье логово лазил? А-а-а, никто... У волка в яме одни объедки да шерсть с пометом, таким смрадом пыхает, хошь святых выноси. А у барсука нет. Хвоя да сухой песочек в норе-то, чистенько, что в твоём профилактории.

— Вот и давай проверим, — загорелся Аркашка. — Говорят, барсучье мясо от всех болезней помогает, и особенно жир.

Митрофаныч слушал их, иронично посмеиваясь сквозь очки, и заученным движением поддевал свою оптику к переносице. И все же он высказал одно интересное соображение:

— А вы не допускаете, что это работа Михалваныча?.. Задрал лося или корову, разделал тушу и засыпал хвоей и валежником. Пусть тухнет мясо! Пусть набирается трупного запаха!.. Он придет сюда дня через три-четыре...

Упоминание о медведе вывело Четыркина из равновесия. Да и все остальные зашумели, загалдели, заперебивали друг друга: какой там барсук, все забыли о нем! Медвежьи истории — это ритуал, любимейшая улада для деревенского уха, и кто слаще зальет, нафантазирует, наплетет с три короба — того и больше слушают. Была такая профессия на поморском Севере — «враль», сочинитель небылиц; рыбаки охотно брали его с собой в море на лов семги. И получал «враль» сразу два пая: один — за промысел, другой — за сказки-побаски...

— Вы деревню Василёво слышали? Деревня, значит, есть такая — Василёво — может, знаете?.. Ну вот, привезли, значит, туда комбикорма, — воспользовавшись паузой, начал свою историю Егорыч. — По большой воде привезли, на барже. Выгрузили мешки на берегу, оприходовали, в склад занесли — все честь честью. И на замок замкнули. Да-а-а... Приходят на следующий день — нет трех мешков, и дверь взломана, трех досок не хватает. Вот те на! Может, ребятишки баловались — они той ночью рыбу неподалеку удили? Нет, не ребятишки — на кой черт им этот комбикорм! У мужиков спрашивают, те тоже — не знаем, не ведаем. Чертовщина какая-то!..

Решили у склада сторожа поставить. Нашли, значит, завалящего пенсионера навроне меня, вручили ему бердан и тулуп — стой, дорогой товарищ, на страже общественного добра! А товарищ этот повадился вино пить да приятелей сюда водить. И как напьются, нащекарятся промеж себя — сразу спать... Еще двух мешков не стало. Да-а-а... Ну, тут у начальства все терпение лопнуло: «Проучим пошехонца!» Залегли ночью за кустами, жаканами стволы забили... ждут. Недолго ждать-то пришлось. Как роса пала, слышат шаги чьи-то, сопит ктой-то не по-нашему, повеньгивает. А в тумане-то и не видно. Вот она, какая штука-то! Ближе стали подбираться, уже и ворота складские показались — а лешак где, пошехонец этот? Нет пошехонца. И уж слышат гул дак — с задней стороны ктой-то копошится. Обошли с фланга: мать честная — медведь стенку разбирает! Когтями эдак как подденет, доски эдак-то и трещат. Прodelал дыру, значит, пролез внутрь и обратно с мешком вылазит. Как дите малое на передних лапах несет мешок этот. Да-а-а...

Тут на наших затемнение нашло: сроду не слышали, чтоб медведь коровью муку жрал. Ну овцу какую прибьет или собаку из-под ворот вытащит — это ладно. А тут комбикорм!.. Вымазался он, как муха в сметане, чихает и облизывается. А путь к лесу держит. Да-а-а... Наши за ним, конечно. Потихонечку идут, чтоб не учуял, биноклем вслед шарят. А он у ручья остановился, когтем нитку р-р-раз, расшил, значит, мешок-от — и в лужу.

Наши сидят, кумекают: что он с ей, тюрей-то этой, делать будет? И на кой ему тюря, когда в лесу своей живности навалом? А медведь знай месит ее ногами, чтоб, значит, не всухомятку было, да в рот лапой и загребают. Налопался, начихался, пустой мешок на плечо — и снова к складу. Пришел, повесил пустую холстину на крюк... — («Во врать-то горазд! — раздались в этом месте восхищенные голоса. — Ну давай, давай, ври дальше!») — Ей-бо, ей-бо... с места не сойти... ежли вру! Все так и было: пустой мешок на крючок и за новый хватается. Наши тут, конечно, не выдержали, жажнули в оглоода из трех стволов. Да медведю-то что?! Он мешком был прикрыт, все пули, видать, в него и ушли. В лес убежал...

— Ну а потом-то поймали? — не выдержал Аркашка.

— Какой там поймали! Третий год караулят, едрит твоя муха, и ничего сделать не могут. По сю пору все так и продолжается. И зимой он не за-

легает, медведь-от. Зачем? Всю зиму, говорят, комбикорм жрет, в затайках его держит. Вот те крест, святая икона, ежи вру!.. Старые бабки сказывают — не медведь это вовсе. Оборотень!..

Сосны и выросшие под их пологом молодые елки сплетали над нашими головами сплошной кров. Я чувствовал себя в полной изоляции, как за семью замками. Впятером мы стояли у подножия дерева-великана и спорили, разбирать кучу или нет. Аркадий, я и Егорыч были «за», а вот Прохиндоз почему-то возражал, упирая на «экологию». С быстрыми, как в панике, глазами доказывал каждому, что нехорошо обижать мишку — придет, мол, голодный, а мяса нет. И станет он реветь на весь лес, птичьи гнезда разорять и муравейники, может и избушку повалить, это ему раз плюнуть... епонка мама.

Трогательная забота о братьях наших меньших Аркадию показалась подозрительной, и он принялся раскидывать сухой валежник. Минуты через три все было закончено: к великому нашему разочарованию, мы не увидели ни барсучьей норы, ни гниющей коровьей туши, любимого медвежьего лакомства. На моховой подушке валялась мятая, помоечного цвета хозяйственная сумка, в которую, рыча, тут же вцепился Шарик. («Вдруг там чеченская бомба?!» — всполошился Генаха.) По характерному приглушенному позвякиванию можно было определить, что внутри находятся продолговатой округлости предметы стеклянного происхождения. При полном молчании Аркашка вытащил из сумки полбуханки хлеба... одну бутылку... вторую... третью. Четвертая была выпита наполовину и аккуратно заткнута бумажным кляпом.

— С горбатым надо говорить по-горбатуму! — взвился Аркашка. Он прижал Прохиндоза к стволу дерева, так что тот хрипел и задыхался. — Признавайся, падло, откуда?

— От верблюда! — ужом извивался Генаха, пытаясь вырваться из его железных объятий. — Секрет фирмы... не твое дело... где надо, там и беру, едрит твою навыворот...

— Необузданный в жадном стяжательстве, обокравший сам себя, рачочитель наследия отца, ты все промотал, Генаха-Живодрист, Генаха-Прохиндоз, барон фон Триппербах и вонючий Мандела, — сам заложился и душу продал! — продекламировал Аркашка кого-то из классиков, переиначив некоторые слова.

— Слушайте, вы его задушите! — взмолился Николай Митрофанович, пытаясь освободить алкаша. Да и я тоже встал на Генахину защиту: в самом деле, что он такого совершил? Ну подумаешь, затырил два литра «Пшеничной», чтобы одному и втихаря предаться пьяной утехе? В конце концов, это его водка, и он не обязан делиться со всякими тут «партизанами»...

Егорыч нес помоечного цвета сумку, прижав ее к груди, словно боясь расплескать, и на ходу отдавал распоряжения:

— Ты, Игрич, давай снова по грибы! Те, видать, уже сгорели на костре... Генаха, едрит твоя муха, за дровами! И лапнику не забудь нарубить. На нары постелим, чтоб чистым воздухом дышать... Тебе, Аркадий Петрович, бежать за ягодами. Чай будем гонять допоздна, и вообще... А тебе, Митрофаных... как малопопьющему... самое ответственное задание. — Он достал Генахины полбутылки, проверил надежность «пробки». — Христом-Богом прошу, спрячь это от нас... заховай так, чтоб и Шарик не нашел, мать его развети. Утречком примем с устатку — и по домам! Вы как, не возражаете?

Какие тут могут быть возражения, когда он кругом прав! В предвкушении удовольствия мы заговорщицки перемигивались и подталкивали друг друга плечами — дух обновления пронесся по нашим лицам. Все времен-

ное, мимолетное, случайное уносилось прочь со встречным ветерком. Он разгонял молочную мглу, а впереди в зыбком дрожании света цвел горизонт, обтянутый пологом синевы, некий подарок свыше, призрак совершенства, и казалось — можно идти и идти до него, сколько хватит сил... На небе обозначились облака, задвигались, раздувая зарумянившиеся бока. И вот объявилось солнце; стряхнув остатки тумана, свежее и умытое, оно накатывалось волнами вездесущей музыки.

Что тут нашло на наших мужиков, я не знаю. Неведомого размаха сила подняла их и бросила в работу. Завелись буквально «вполпинка», с полуоборота. А еще говорят: русский человек — вечный труженик отдыха, случайный гость на земле, все собирается сделать что-то великое. Собирается, собирается — и ничего не делает, только пьет до полусмерти. Праздная мечта и терпение, но отнюдь не труд, часть его культуры. Не умеет он ни в чем держаться меры и идти средним путем, а всегда плутает в крайностях и погибелях. Работает как Буратино, а получать хочет как папа Карло. С ним, мол, хорошо жить в бедности, ничтожестве, здесь он отзывчив и скор на дружбу, а в богатстве сам с усами, еще и обдерет тебя, пожалуй, как липку...

Мало того, что мы досрочно выполнили все Егорычевы указания, мы накололи уйму дров для печурки, поправили разошедшиеся дверь и оконную раму, законопатили щели на потолке, обложив его берестой, и даже сварили черничный морс на десерт. А еще Генаха разжег сухой гриб-чагу, и едкий дым выкурил из избушки всех крылатых тварей...

Разомлевшие от обильного обеда-ужина, мы сидели на лавочке, мирно покуривая. Из зеленого полумрака зарослей тянуло прелым валежником и грибами. Солнце просвечивало сквозь листву, и ягоды брусники вспыхивали багряно и сочно... Бутылка обошла круг и зениткой уставилась у сапог нашего виночерпия. Он нас не торопил, а мы ему не напоминали.

— Ну что, жопчики, вам истории-то сказывать аль надоело? — снова затравил баланду Четыркин. К старику возвращалось прежнее веселое настроение. Глаза из-под кустиков бровей смотрели молодо и отважно. — Не надоело. Ну тоды слушайте... «Встреча на Эльбе», — громко объявил он и затих на мгновение, собирая глазами всех слушателей.

Удивительны законы памяти! Четыркин мог не помнить того, что делал вчера, но то, что было пятьдесят с лишним лет назад, когда он встречал Победу, осело в его душе до мельчайших подробностей как непредвиденное богатство... Историю о том, как юный Егорыч крепил советско-американскую дружбу и какой из этого вышел международный конфуз, я слышал не менее трех раз и уже заранее стал трястись от беззвучного смеха.

Итак, Эльба, май сорок пятого, крохотный костерок на берегу немецкой реки, у которого кашеварят гвардейцы-разведчики 25-й кавалерийской дивизии имени Григория Ивановича Котовского во главе с командиром отделения сержантом Четыркиным.

— Гляжу на реку — а там полным-полно американов. Плывут на резиновых лодочках, руками нам машут и палят с радости в воздух. Они еще с утрава кричали с того берега: давай, мол, Русь, готовь угощение, мы к тебе в гости придем!.. Не поймешь — кто у них офицер, кто рядовой. Одеты одинаково, и только по звездочкам можно определить звание. Все такие, понимаешь, уросливые, мордастые, глаза навывкате...

— Негры, что ли? — перебил его Аркашка.

— Какие там негры! Просто маленько выпимши... Встретились у воды, по рукам ударили, речами обменялись; гляжу — они бутылки откупоривают. И по плечу меня охаживают: ой, молодец! ой, русь! ой, Москва! — и все такое... «Вы что, буржуи, что ли? — спрашиваю. — Вид-то у вас больше гладкий да здоровучий». — «Да нет, — говорят, — какие мы буржуи?»

Дюже харчисто не живем, а сыты...» А угощать-то их чем, Америку? Угощать-то и нечем, кроме пшенной каши да сухого молока, опять-таки американского. Вот положение-то, едрит твоя муха! Мои котовцы стоят, с ноги на ногу переминаются, бытто по нужде хотят, и на вид как ушибленные...

А Америка все понимает — все! Она хоть лопочет по-своему, а жизнь понимает правильно. Наливает нам из фляжек какой-то красинькой жижки: на язык вроде вкусно, а градус не тот. Ну, помычали мы маленько с Америкой, пальцами и глазами объяснились. Еще раз махнули, холодной кашей закусили. А отвечать чем, едрит твоя муха? Отвечать-то и нечем, вот она, какая штука-то! Позор на всю Красную Армию!

Гляжу я на своих ребят, а они глазами же и отвечают: вон, сержант, машина крытая стоит, и в ней бочки со спиртом, для высшего командования приготовленные... Молодцы, котовцы, намек ваш понял! А то, что караул чужой у машины, так это мы вмиг устроим. Что мне какой-то караул, когда я двенадцать винзаводов брал — от Бердичева до Берлина! Вот те крест, святая икона!.. Отвожу ребят в сторонку и говорю: ты, Масанов, берешь шланг резиновый, у Абдулки есть пробой. Делаем дырку в борту, протыкаем пробку в бочке — и туда шланг. «А Америку куда?» — спрашивают. «Америку используем как отвлекающий маневр. Пусть караулу зубы заговаривает. Кто тронет, ежли они союзники?..»

Смотрю я на американов, а они уж совсем веселые, «Катюшу» петь собрались. «Погодите, мужики, — говорю, — у нас есть дела поважней». Ну и объясняю им на пальцах план захвата. А они чуть на шею не вешаются от радости: все сделаем, будь спок, командир, комар носа не подточит! Порусски-то — ни бе ни ме, а такой, понимаешь, сообразительный народ...

— Ну и как, получилось? — чуть ли не хором закричали мы.

— А то как же! — зарделся от удовольствия старик. — Провернули дельце, лучше не придумаешь. Всю тару, какая была, задействовали: ведра, котелки, фляжки... сапоги тоже наполнили. Идем обратно, а в сапогах-то и булькает. И воспаренье винное в голову шибает... ну прям как из бочки. Хорошо погуляли!.. А утром... как это случилось... проверка ли какая... мне уж не сказать... проснулся я под автоматным дулом, и меня за руки держат. Едрит твоя муха! Стоит капитан из соседней части: «Это что за безо-бра-зие?! — кричит. — Ты пошто это людей упоил, басалай чертовый? Ты у меня сейчас под трибунал пойдешь!» Наряд евонный мне руки выворачивает и за собой тянет. А молодой-то я вскипчивый был: «Уйди-ка ты к шаху-монаху, капитан! А то ить обливание мозгов сделаю!» Ну, он тут и осатанел, ревет как зверь: «Молчать! Расстрелять!..» Да какое там «расстрелять», праздник на носу, не до меня им... так и ушли ни с чем...

Гляжу я: где Ванька с Абдулкой, где Джонни с Томми — не разберешь. Все вповалку спят, а Америка еще и босая. Сперли у нее обувку, едрит твоя муха! Были у них, понимаешь, такие ботинки здоровущие, со стальной пластиной изнутри — и как корова языком. Что делать-то? Я бужу своих котовцев: а ну выворачивайте вещмешки! Везде обыскал — пусто. Никто ничё не видел, никто ничё не знает. Нам стыдно, Америке стыдно: ей ведь, босой, на тот берег вертаться натъ, перед начальством отчитываться. Схватились американцы за часы, а их тоже нет — стибрили. Во положение-то! Так и проводили ни с чем. Кое-как зачихнули их в резиновые лодочки, дали спиртiku глотнуть — и гуляй, Америка!..

Не знаю, в чем тут дело, но почему-то разладились наши отношения с бутылкой. Отлетел от сердца суетный день — и слава Богу! «Партизаны» один за другим потянулись в теплую избушку: сначала Коля-бог, потом мы с Аркашкой. Правда, Четыркин еще крепился, проявляя не свойственную его возрасту активность, но уже без прежней удали. Лежа на нарах, я

слышал, как он затянул жалостную песню: «Не плачьте, глазки голубые. Не плачьте, не мучайте меня. Не знали вы, кого вы полюбили, о чем вы думали тогда...» С горечью он сравнивал себя с забытой, невыкопанной картошкой, которую оставили в осеннем поле.

А вот Прохиндоз вовсю наворачивал упущенное. Проводив Егорыча, он еще долго не мог утомиться. Догуливая последние «капли», шарил по кустам, падал, ползал, смеялся и плакал одновременно, кому-то грозил и, воспламеняясь от собственных слов, выкрикивал нечто бессвязно-несушное:

— Мы, ломом подпоясанные, требуем... из всех столиц половину населения отправить на Шпиц... епонка... берген! А то, понимаешь, баклуши бьют и, кроме удобрения, ничего не вырабатывают, растуды их в кочерыжку... Пора Двадцатый съезд собирать, народы мира требуют. Чубайсик прочтет доклад... Донским казакам я хвоста накручу, а то заелись, ёшь твою пять... Пусть мне товарищ Буденный лезгинку сбачает на цырах. Хватит ему вприсядку!.. Да здравствует Английская народная республика имени Анастаса Иваныча Микояна!..

На рассвете я вышел из избушки. Еле слышно накрапывал щебет ранних птах; проснулись кулики-«перевозчики» и с дикими криками, макая в воду кончики крыльев, принялись гонять в салочки. Если раньше «река» вскипала волнами и бросалась пеной, то теперь прыти у нее поубавилось. Вода входила в привычные свои берега. За ночь она убыла почти на метр, оставив у корней деревьев завалы грязного песка. Течение было бесшумным, покорным, словно крадущимся.

Я разделся и взял шест. Будь что будет, а Рубикон перейду!.. Ноги у меня дрожали и подвертывались, когда я входил в воду, тело стонало от напряжения. При каждом шаге я оступался со скользких замоховевших камней, спотыкался о затонувшие коряги, но на «тот» берег выбрался, не замочив даже живота. Четыркин, сидя на корточках, с интересом наблюдал за мной.

— Собирайся домой! — крикнул я, воодушевленный собственным подвигом. — Все, праздник окончился, и рельсы разобрали...

— Да́к ить это... едрит твоя муха!

— Никаких «это»! Ты и так каждый день под мухой. — Его мучнистого цвета лицо, перепаханное морщинами, требовало немедленного к себе сочувствия. Но я был настроен решительно, без поблажек: — Через срок живешь, Егорыч. Хочешь, чтобы твоя Клавка снова мне морали читала? Хватит!.. Встали и пошли...

— Что, так без портков и пойдешь? — ухмыльнулся он и сделал еще одну попытку договориться. — Будь человеком, Игрич, не гони лошадей. Там ить еще полбутылки осталось. Примем по маленькой — и капец...

— Вот пусть Генаха и допивает!

Но тут Генаха сам подал голос. В прохладной, сочной тишине раннего утра выделялся каждый звук, жил долго и распевно, но очень уж странным показался мне его крик. Как будто человек попал в беду и звал на помощь. Гортанные, придушенные вопли неслись из зарослей ольхи и ивы, там, где проходила лесная дорога и «река» делала кругую излучину... Я видел, как Аркашка выскочил из избушки и мчался туда на всех парусах. Пренебрегая тропинкой, я рванул напрямую через кусты.

— Кавказские чурки вонючие! Ваши абреки сколько воруют? А мне нельзя? Ишь вы, азерблюды грузиноподобные! — услышал я хрипчатый голос одноглазого. И через паузу — звуки схватки... сопение... собачий лай. — Вас надо в ошейник с намордником — и на цепь!.. Сами такие маленькие, а жрут... едрит твою навыворот. У меня от вас вибрация нервов! Сидите на России, как мандавошки на Шарике. Бог не фраер, он все видит... Ты меня,

русского человека, за грудки-то не тряси! Слышь, что говорю, Тигр Леопёрдович? Убери лапы, черножопый, а то как дерну за яблочки!..

Сначала я увидел остов затонувшего пикапа желтого цвета с надписью на кузове «Продовольственные товары от личного качества», а потом и самого Прохиндоза. Два кавказца пытались повалить его на землю, утюжили ногами, тот только успевал уворачиваться. Вовремя подоспевший Аркашка сказал «брэк» и развел бойцов в стороны. Только сейчас до меня стало доходить: а не та ли это машина, которую все из нас слышали, но никто не видел?..

Я еще не успел перейти вброд, но уже все понял... Два дня назад пикап фирмы «Вавилон» двигался в сторону Аркашкиной дачи, при переезде через ручей его накрыл федуловский поток, и машина стала тонуть. Кавказцы пытались сдвинуть ее с мертвой точки (вот почему они кричали!), поняли, что это бесполезно, и ушли. А пикапчик целиком погрузился в воду... Да, но при чем тут Генаха? Думаю, он либо ехал в этой машине, и его оставили здесь вместо сторожа. Либо он наблюдал картину потопа, прячась в кустах, а когда «вавилон» ушли, решил проверить содержимое кузова. Как бы там ни было, но он нашел, что искал. Ведь, по словам коммерсанта, пикап вместе с продуктами вез ему три ящика «Пшеничной»...

Ай да Прохиндоз, растудыт его в кочерыжку! до чего же отчаянный тип! При его-то возрасте и никудышном здоровье нырнуть в бешеную пучину, отыскать в беспроглядной тьме дверцу кузова, открыть ее без ключа, нащупать внутри заветный предмет (да не один!) и, выпуча единственный глаз, снова выбраться на поверхность?! К тому же экспроприацию он продел как минимум дважды. На третий раз Генаху застучали вернувшиеся из Курзенева торговцы, за что и врезали ему пару увесистых плюх... Эх, Прохиндоз, твою бы энергию да в мирных целях!

Сейчас он стирал кровь с губы, и руки его прыгали от возбуждения.

— А ну-ка на родину гуталинщика Йоськи — шагом марш! Слышите вы, грызуны и азерблюды? А не то целлофан на голову... утюг к животу... паяльник в задницу! И чтоб в двадцать четыре часа — на историческую пидокавказию, чтоб с ишаками в свайку играть! А то враз голову отвинчу и буду ей до вечера в футбол играть, ёшь твою пять. Вы меня поняли, Махмуды Мухтаровичи?.. Или на остров Врангеля отправлю медленным багажом на подножный корм. Будете у меня оленями работать, епонка мама. Оленевода пришлю по линии Эм-Вэ-Дэ и заживу кучеряво. Клянусь бородой Карла Маркса и усами товарища Буденного!..

Все, с меня довольно! Я наскоро попрощался и, не оглядываясь, покинул место побоища. За спиной слышал, как набирал обороты скандальный гудёж: это коммерсанты, Аркашка и один из «вавилон» выясняли отношения, кто виноват в автомобильном приключении и кому, стало быть, платить за убытки, не считая шести бутылок, уворованных Генахой...

Егорыча и Коло-бога я застал в полной боевой готовности — в трусах, босиком и с шестью в руках. Старик поправил здоровье, это было видно по его глазам, и мне предложил, но я отказался: пусть останется одноглазому, ему это сейчас не повредит... Мы совершили благополучный переход через «речку» и тут же расстались: Николаю Митрофановичу — налево, в Федулово, нам — направо, в Пустыньку. С легкой грустью оглянулись на нашу избушку, последний приют турбазы Ивана Сусанина, договорились встретиться на яблочный Спас, и каждый пошагал своей дорогой.

Вот и все. Остальное, как говорится, скучные материи...



АНДРЕЙ СЕРЕГИН



ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И «НОВОЕ ИРРЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ»

Через сто лет после смерти Владимира Соловьева вышли первые два тома его полного Собрания сочинений¹. Появление такого издания, несомненно, является большим событием для специалистов, получающих отныне прочную текстологическую и историко-культурную основу для последующих интерпретаций соловьевского наследия. Однако значимость этого события безусловно выходит за рамки естественного юбилейного оживления вокруг имени философа, заставляя задуматься и над тем, каково может быть значение творческого наследия Соловьева для современной русской культуры в целом — и имеет ли это наследие какое-нибудь значение вообще. Не наступил ли тот момент, когда сбывается опасение Блока, высказанное в статье «Рыцарь-монах», что философская и литературная деятельность Соловьева «утратит свою жизненную ценность и станет архивным материалом для диссертаций историков философии»? Имеет ли для современности хоть какую-то актуальность та постановка вопроса, которая запечатлена в названии другой статьи поэта — «Владимир Соловьев и наши дни»? Можем ли мы сегодня повторить эти слова, вложив в них новый, созвучный *нашим* дням смысл? И есть ли у наших дней такой смысл?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо оглянуться назад и понять, чем Соловьев в любом случае уже стал для России и русской культуры.

С одной стороны, Соловьев по праву может претендовать на роль первого русского философа в собственном смысле этого слова, своего рода отца основателя «нового религиозного сознания», стоявшего у истоков того, что позже назовут русским религиозно-философским ренессансом. С другой стороны, пожалуй, гораздо влиятельнее, чем собственно философские труды Соловьева, был сложившийся вокруг него мифологический образ поэта и мистика-визионера, чудаковатой, но профетической личности, которой время от времени является то София, то какой-нибудь черт. В этом отношении Соловьев весьма специфическим образом повлиял на символистов и вообще на всю болезненно-экзальтированную атмосферу русского декаданса начала века, проникнутую апокалиптическими настроениями и предчувствием исторического перелома. Сочетание этих двух составляющих в личности и творчестве самого Соловьева может показаться довольно странным и лишенным органичности.

Философствование Соловьева само по себе носило достаточно специальный, интересный скорее профессиональным философам характер и часто вызывало упреки в схематизме, чрезмерной рациональности, а то и склонности к софизмам². С другой стороны, в нем никогда не было радикальной оригиналь-

Серегин Андрей Владимирович родился в Москве в 1975 году. Окончил классическое отделение филфака МГУ. Печатался в журналах «Знание — сила» и «Новое литературное обозрение»; в «Новом мире» (2000, № 6) публиковалось его эссе «Предисловие к будущему».

¹ Соловьев В. С. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Сочинения в пятнадцати томах. Сочинения. Т. 1. 1873—1876; Т. 2. 1875 — 1877. М., «Наука», 2000.

² В этом плане особенно характерна статья А. Кожева «Религиозная метафизика Вл. Соловьева», недавно перепечатанная в «Вопросах философии» (2000, № 3).

ности, никаких переворотов и открытий, которые вносили бы нечто абсолютно новое и прежде невиданное в мировую философскую традицию. Напротив, мысль Соловьева (даже если не вспоминать о ее прямой зависимости от идей Шеллинга и метода Гегеля) более чем традиционна и просто по своим общим тенденциям и предпосылкам вполне укладывается в парадигму платоническо-христианской метафизики, наследуя и все проблемы, связанные с этим далеко не беспроблемным образованием. Можно так или иначе расставлять акценты при определении степени «христианского» или «платонического» в философии Соловьева, а также указывать на безусловно имеющиеся в ней оригинальные философские разработки, но все это не меняет дела по существу. Сами по себе философские тексты Соловьева, с одной стороны, недостаточно оригинальны, с другой — слишком специальные, чтобы приобрести ту степень влияния, которую порой может обрести философия либо благодаря более популярной, эссеистической манере изложения, либо благодаря новаторскому радикализму идей. Новизна и оригинальность Соловьева для современной ему русской культуры была связана не столько с содержательной стороной его философии, сколько с самим неожиданным обнаружившимся фактом, что, говоря словами Розанова, «Боже, наконец Россия имеет философа». «В начале его литературной деятельности, — писал Евгений Трубецкой, — в области публицистики господствовало западничество, в области философии — материализм и позитивизм»³. Эта, на первый взгляд, невыгодная конъюнктура оказалась скорее полезной для Соловьева в том смысле, что сразу выделила его мысль на общем фоне. В мировой философской традиции для него можно было найти множество аналогий и предшественников, но для русской культуры он был беспрецедентен. Собственно философская мысль в России до Соловьева либо не выходила за рамки университетов и духовных школ, либо еще со времен Чаадаева концентрировалась преимущественно на историософской проблематике и в любом случае не добивалась того резонанса, который был естественен для философии на Западе. И хотя во времена Соловьева уже можно было начинать говорить о философском значении Толстого и Достоевского, понятно, что это все-таки не то же самое, что философское значение Спинозы или Канта. Учитывая то обстоятельство, что в России интеллектуальная и общественная жизнь традиционно ориентировалась на литературу, а отнюдь не на философию, становится понятным, как вполне традиционная в контексте европейской философии и к тому же достаточно строгая и специальная мысль Соловьева могла показаться чем-то особенным. При этом она оказалась первой попыткой создания стройной философской системы, первым опытом масштабного усвоения фундаментальной проблематики западной мысли и просто первым значительным прецедентом настоящей философии на русской почве. После Соловьева философия пережила в России бурный расцвет, быть может, сравнительно кратковременный по историческим меркам, но зато плодотворный по результатам. И пусть некоторые плоды этого философского развития оказались способны затмить труды Соловьева большей остротой и эффективностью, ему несомненно досталась не только исторически обусловленная роль основоположника традиции религиозно-философской мысли в России, но и место мыслителя, непосредственным и вполне конкретным образом определившего сам тип и постановку философских проблем в этой традиции.

Однако целиком Соловьев в амплуа профессионального философа не укладывается. И после него в России были не только философы-литераторы вроде Розанова, но и такие вполне строгие религиозные мыслители, как, например, Лосский или Франк. Но никто из них не стал мифологизированной фигурой, как Соловьев. Объяснить этот факт только принадлежащей ему славы первого русского философа вряд ли возможно. Разумеется, тут приходится вспомнить о влиянии мистико-поэтического обаяния личности Соловьева,

³ Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1. М., 1995, стр. 36.

далеко превышающем влияние его философских текстов. Но здесь-то и возникает ощущение двойственности. Конечно, есть возможность предполагать, что даже самые абстрактные религиозно-метафизические построения Соловьева в конечном счете коренятся в его живом, личном опыте, часто имевшем экстраординарный характер. Но нельзя сказать, чтобы непосредственность этого личного опыта была адекватно отражена в большинстве его текстов. Разве что некоторые места в «Софии» и, конечно, поэзия Соловьева составляют тут исключение. В целом же верной кажется характеристика, данная Соловьеву Бердяевым в работе «Русская идея»: «Он был мистиком, имел мистический опыт, об этом свидетельствуют все его знавшие, у него была оккультная одаренность, которой совсем не было у славянофилов, но мышление его было очень рациональным. Он был из тех, которые скрывают себя в своем умственном творчестве, а не раскрывают себя, как, например, раскрывал себя Достоевский со всеми своими противоречиями». О том, что именно эта сторона творческого наследия Соловьева оказалась впоследствии наиболее влиятельной, можно судить по известным строкам из письма Блока Е. П. Иванову от 15 июня 1904 года: «Я в этом месяце силится одолеть „Оправдание добра“ Вл. Соловьева и не нашел там *ничего*, кроме некоторых остроумных формул средней глубины и непостижимой *скуки*... Есть Вл. Соловьев и его стихи — единственное в своем роде *откровение*, а есть „Собр. сочин. В. С. Соловьева“ — *скука* и проза...»⁴ Если абстрагироваться от отрицательной оценки, по сути дела, самого специально-философского из соловьевских произведений, в этой цитате сказывается все то же дуалистическое впечатление, производимое его фигурой: есть Соловьев — мистик и поэт, а есть Соловьев-философ, и хотя ясно, что одно как-то связано с другим, но вот как именно — остается загадкой.

Взятая в отдельности, ни одна из этих составляющих облика Соловьева сама по себе не кажется достаточной, чтобы объяснить, в чем состояло его значение для русской культуры. Ведь если оно, с одной стороны, не исчерпывается узкофилософской стороной его деятельности, которую, при всех ее достоинствах, все же нельзя поставить на один уровень с सर्वостепенными достижениями мировой философии, с тем же Шеллингом и Гегелем, то и сам по себе легендарно-анекдотический ореол вокруг личности Соловьева в конечном счете позволяет сделать, если вспомнить еще и другие слова Блока, лишь «один вывод: Вл. Соловьев был очень симпатичный и оригинальный человек, однако с большими странностями, не совсем приятными, а иногда и неприличными; но, так как все друзья его были тоже очень милые люди, — то они прощали этому романтическому чудаку его дикие выходки»⁵. И только взятые вместе эти разнородные проявления натуры философа выявляют специфику его индивидуальности, его непохожесть и одиночество.

Можно сказать, что своеобразие положения Соловьева в русской культуре складывается из исторически заслуженной славы первого русского философа и довольно заметного контраста между обросшей легендами личностью и далеко не способным увлечь широкую публику творчеством, между «Соловьевым-мифом» и «Соловьевым-текстом». Достаточно ли всего этого для того, чтобы и сегодня произведения Соловьева оставались актуальны? Ответ на этот вопрос зависит не столько от самого Соловьева и его текстов, сколько от степени актуальности всей той традиции культуры, к которой он принадлежал.

Разумеется, для определенной части интеллигенции, сохранившей связь с религиозной культурой, Соловьев может быть вполне актуален, так сказать, «для внутреннего пользования». Тут появление качественного издания соловьевских текстов, безусловно, способно подхлестнуть дискуссии о степени и специфике соловьевского христианства. Совсем недавно в одном достаточно популярном по своему характеру христианском журнале мне довелось на-

⁴ Блок А. А. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 8. М. — Л., 1963, стр. 105 — 106.

⁵ Там же, т. 5, стр. 449.

ткнуться на весьма симптоматичную в этом отношении статью, которая в очередной раз подымала вопрос о том, кто такой Владимир Соловьев — «заблудшая овца или исповедник вселенского христианства»⁶. Что и говорить, на фоне современной секулярной культуры любой из классических религиозных мыслителей сойдет за «исповедника вселенского христианства» даже в узкоцерковной, а не, к примеру, характерной для самого Соловьева трактовке этого понятия. Ибо сам тип метафизического мышления, лежащий в основе как православной догматики, так и русской религиозной философии, конечно, позволяет говорить об их весьма существенной типологической близости.

Дальше, однако, начинается сфера существенных расхождений. Тут ведь надо отличать, скажем, то обстоятельство, что Соловьев при всех метаниях в сторону католицизма умер, оставаясь в лоне православной церкви, от объективного содержания его богословских и философских идей. В мысли Соловьева очевидным образом присутствуют тенденции, несовместимые с догматическим христианством, и это делает вполне закономерным тот факт, что религиозная метафизика Соловьева рассматривалась как весьма уязвимая для критики не только философами, стоящими в стороне от христианства (тот же Кожев), но и многими христианами (Е. Трубецкой, Н. Лосский), особенно же — строго православными мыслителями (В. Зеньковский, Г. Флоровский), как правило указывавшими на тяготение Соловьева к пантеизму, на заметный отход от креационизма, играющего фундаментальную роль в нормативной христианской космологии, на то, что метафизика всеединства ведет к допущению укорененности мирового зла в Абсолюте и подрывает теодицею, на софиологию, проникнутую явными гностическими мотивами. Наконец — просто на сам факт неудовлетворенности Соловьева уже данной исторически формой догматического христианства как такового и связанное с этим стремление модифицировать «веру отцов» в свете современной ему философии, то есть, по характеристике Флоровского, построить церковный синтез из нецерковного опыта⁷.

Безусловно, Соловьев время от времени делал существенные оговорки, так что речь идет именно о тенденциях, и вся острота вопроса сводится как раз к оценке значимости этих тенденций. Но если позволительно думать, что такое произведение, как «София», текст которого несет на себе отпечаток своего рода откровения, выражает взгляды философа в более непосредственной форме, чем сравнительно нейтральные и взвешенные тексты его сугубо философских трудов, то тут мы как раз имеем пример того, до какой радикальности (разумеется, с позиций традиционного христианского богословия) могли доходить эти тенденции. В этой перспективе «София» с содержащимся в ней допущением вечности мира, введением источника зла в Абсолют, критикой учения об адских муках и вытекающим из него тезисом о всеобщем восстановлении, как кажется, может репрезентировать собой тот полюс мышления Соловьева, который наиболее удален от догматического христианства, даже если оставить в стороне описанную в этом сочинении выдержанную в гностическом духе космогоническую фантазмагорию. Что уж говорить, например, о том, что Соловьев находит уместным и нужным подтверждать теоретическую возможность непорочного зачатия ссылкой на явление партеногенеза у пчел: более яркого и одновременно малопривлекательного с православной точки зрения примера вообще часто проявляемой Соловьевым склонности использовать при построении собственной религиозной метафизики «последние достижения» современной ему науки, пожалуй, и не найти. Если при всем этом акцент еще можно делать на «исповеднике вселенского христианства», а не «заблудшей овце», то это само по себе можно рассматривать как частное следствие той самой се-

⁶ Василенко Л. Владимир Соловьев. Кто он: заблудшая овца или исповедник вселенского христианства? — «Истина и жизнь», 2000, № 7.

⁷ Ср.: Прот. Г. Флоровский. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991, стр. 316.

куляризации культуры, которая представляла одну из главных проблем, значимых, а во многом и конститутивных для мысли самого Соловьева. Если бы культура была целиком христианской, никто не стал бы наводить туман вокруг тех или иных «тенденций» мысли Соловьева и на всякое «хотя» отыскивать «тем не менее»: простое и однозначное слово «ересь» могло бы быть применено к нему без излишней щепетильности.

Но в том-то и дело, что в современной ситуации такого рода внутренние разногласия, не выходящие за рамки религиозной культуры, отходят на второй план. Между нашими днями и эпохой Соловьева, когда в России зарождалась жизнеспособная традиция религиозной мысли, годная не только на самоуверенные заявления о непреходящем значении «вечных ценностей» христианства, якобы заведомо им гарантированном, но и на продуктивное участие в творчестве культуры, произошел существенный разрыв преемственности. Как живой факт культуры уже и весь этот христианский модернизм ушел в прошлое. Даже в этой, более приспособленной к современности, форме христианство уже не способно активно определять дальнейшую судьбу культуры, а значит — и тот смысл, который будет в ней самоочевидным образом вкладываться в понятие «человек». И то, что еще и сегодня наряду с радикальным нигилизмом современной «элитарной» культуры и бездумной позитивностью культуры массовой продолжает существовать христианская церковь, а многие люди по-прежнему верят в Бога, само по себе ничего не меняет в том факте, что сил у современного христианства хватает разве что на самоконсервацию, но никак не на то, чтобы играть генерирующую роль в культуре.

Конечно, сама для себя христианская и особенно православная традиция давно уже выработала стандартные приемы, позволяющие морально компенсировать утрату былого влияния. Правильность христианской истины переживается в ней с тем ощущением заведомого превосходства надо всем, что ей не соответствует, которое избавляет от непростой и, кто знает, осуществимой ли задачи адекватно реагировать на позицию своего противника, учитывая ее серьезность и неслучайность. И в то время, как самой современностью суть христианских ценностей в лучшем случае размывается до невнятного, но зато безопасного «общечеловеческого» содержания, якобы им присущего, и тем самым просто неверно понимается, ревнители аутентичного христианства то лишний раз со скорбным удовлетворением напоминают, что они, мол, и не претендуют на победу в рамках реальной истории (перечитайте Апокалипсис — сами в том убедитесь), то, ссылаясь на вневременной характер хранимой ими истины, уверяют, что уже и простой приверженности «вере отцов» более чем достаточно. Да и что такое современность с точки зрения столь удобных представлений о вневременном? Тут заведомо допускается, что динамика развития культуры не может принести с собой ничего настолько нового и существенного, что могло бы поставить под вопрос сами условия возможности христианства. Как сказал в начале XX века, в период своих тесных контактов со старообрядчеством, Михаил Кузмин, «мнение наставника с Охты» так же существенно для двадцатого века, как и мнение Ницше⁸. Что же, для индивидуального самоопределения эта точка зрения еще и сегодня может показаться достаточной, но вот в том, что касается роли христианства в культуре, такая позиция равнозначна самообречению на изоляцию, не говоря уже о том, что, как правило, она не выдерживается вполне последовательно и парадоксальным образом сочетается с ритуальными жалобами на засилье «бездуховности», а то и с апелляцией к, казалось бы, инородным нормам политкорректности, когда по телевидению в очередной раз показывают то ли «Последнее искушение Христа», то ли просто рекламу презервативов. Но если никто и в самом деле не претендует на историческое торжество, то что же раздражаться

⁸ См.: Богомолов Н. А., Малмстад Джон Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М., 1996, стр. 56 — 57 и 75.

по поводу таких пустяков в ожидании пришествия Антихриста? Изоляционизм до конца последователен, только если он не агрессивен и полностью индифферентен к окружающему. Если же за стандартными сетованиями на «неоязычество» и т. п. скрывается желание все еще оказывать влияние на культуру, то следовало бы избрать для этого более продуманную и менее самоуверенную форму агрессии.

Да и слишком многое изменилось со времени Соловьева и Кузмина. Тут одним «не сообразуйтесь веку сему» уже не отговоришься. Следовало бы сперва всерьез задуматься, почему это пресловутое «бездуховное» большинство современных людей уже просто не обращает на христианство никакого внимания и спокойно и удовлетворенно существует помимо него. Западное христианство сделало это еще в первой половине недавно минувшего века — стоит вспомнить хотя бы бонхёфферовскую критику «априорной религиозности». Проблема не сводится ни к секуляризации культуры, ни к тому, что христианство, сохранив конститутивную для него «абсолютную претензию», на практике превратилось лишь в одну из консервативных тенденций культуры и при этом — не самую заметную на фоне господства всепоглощающего плюрализма. Суть проблемы сегодня — в маргинализации духовной культуры как таковой (как христианской, так и секулярной), в том, что у нее больше нет самоочевидного права заведомо исходить из презумпции собственной исключительной значимости для человеческого бытия (как если бы сущность последнего была необходимым образом связана именно с тем, о чем в ней идет речь). Быть может, здесь никогда и не было ничего, кроме иллюзии; быть может, «вечные ценности» только потому и могли восприниматься как реально господствующие в бытии самоочевидности, а не просто как объективация субъективных желательностей, порожденных сознанием интеллектуальной элиты, что существовали они на «культурную ренту» (если вспомнить это выражение Мандельштама, употребленное им, на первый взгляд, по другому поводу). Сегодня же эта «рента» кончилась, и сторонникам «вечных ценностей» следовало бы осознать существенную новизну тех условий, в которых эти ценности придется отстаивать заново, с нуля, если они, конечно, вообще хотят сохранить их как нечто действенное. Это было бы не только реалистичнее, но и эффективнее, чем зависающие в пустоте разговоры о «возвращении к духовным истокам», за которыми не стоит ничего, кроме неуклюжей попытки просто возобновить все ту же «культурную ренту».

От содержания мысли Соловьева, на мой взгляд, не приходится ожидать какого-то существенного вклада в решение этой проблемы. Сами по себе его философские, а тем более историософские идеи в значительной степени устарели и действительно представляют интерес лишь как страница в истории философии. Соловьев жил в то время, когда не только исторический путь двадцатого века еще не был пройден, но и созвучный этому веку опыт современной мысли, поставившей знаки вопроса там, где прежде находили лишь само собой разумеющиеся ответы, и тем самым подорвавшей саму аксиоматику традиционного религиозно-философского мышления, еще не был известен. Содержательно философия Соловьева всегда отталкивалась от самоочевидностей платонически-христианской метафизики, от принятых в ней заведомых ценностных предпочтений, которые он, быть может, уже был вынужден заново утверждать, критикуя позитивизм, материализм, отвлеченный рационализм и т. п., но еще не был вынужден действительно по-новому обосновывать. Конечно, Соловьев глубоко осознавал тот факт, что «истины положительной религии» суть «предметы очень далекие и чуждые современному сознанию, интересам современной цивилизации», а «современная религия есть вещь очень жалкая»⁹. Но он еще мог позволить себе исходить из безоглядной уверенности в «принудительной для ума силе высших метафизических вопросов», в том,

⁹ Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. — В его: Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., «Правда», 1989, стр. 5 — 6.

что «метафизическая потребность» в абсолютной истине и абсолютном благе неотъемлемо принадлежит человеческой сущности и, собственно говоря, делает человека человеком. И в контексте самой религиозной мысли многие характеристики, которые он давал «современному сознанию», точны и пронизательны, как, например, указание на радикальное противоречие между декларируемым абсолютным значением человека в социуме и культуре и ничтожеством его экзистенциального статуса, на то, что человек тут одновременно — «божество» и «атом». Не стоит забывать и о том, что, к примеру, тезис об отрицательных итогах западного развития и заведомой неудовлетворительности любых, даже максимальных социальных успехов утверждался им не только в историософском аспекте — с точки зрения унаследованных от славянофильства мессианских стереотипов, но и в аспекте собственно метафизическом — с позиций радикального и сверхисторического, по сути, духовного максимализма. Но как раз обоснованность претензий последнего на обладание окончательной правдой о сущности человеческого бытия в условиях того, что выше было названо «маргинализацией духовной культуры», и поставлена под вопрос, удовлетворительным ответом на который вряд ли может служить простое оценочное третирование «сознания поверхностного большинства», «узких умов и мелких сердец», «умственного и нравственного vulgus'a» и т. п., что было еще столь естественно и аксиоматично для Соловьева.

Конечно, если заведомо допустить, что человеческая личность не хочет и не может удовлетвориться «никаким конечным условным содержанием», но «хочет еще *абсолютного* существования — полного и вечного», ничего другого и не остается, как только высокомерно поругивать человечество за тот повсеместно обнаруживающийся факт, что практически оно весьма склонно к поверхностной удовлетворенности относительным, смутное же экзистенциальное беспокойство по поводу собственной смертности, в котором теоретически нельзя отказать и «узким умам» с их «мелкими сердцами» (говоря по-человечески — обычным людям), чаще всего удается перенести и без непосредственного обращения к абсолютизму метафизических идеалов. Разумеется, с точки зрения максималистских критериев экзистенциальный факт человеческой удовлетворенности относительным сам по себе не может быть удовлетворителен, но разве ссылка на то, что абсолютного удовлетворения на этом пути не достичь, имеет силу там, где никто *такого* удовлетворения и не ищет? Только реальное господство христианства в культуре способно вообще заставить большинство хоть как-то соотносить свое собственное существование с так или иначе трактуемым абсолютным масштабом бытия. Нынешняя же ситуация в культуре такова, что никого не вынуждает ни к чему подобному. Если кто-то актуально переживает «метафизическую потребность», ему, конечно, еще позволено ее иметь, но благодаря объективно сложившимся сегодня в культуре правилам игры у него заранее нет никакой возможности не то что ожидать того же и от всех остальных, но хотя бы сделать собственную позицию значимой для них альтернативой.

Тут, в частности, сказывается специфика того, что сегодня называют плюрализмом. Декларируя заведомое равноправие всех возможных точек зрения, он одновременно так же заведомо гарантирует каждой из них невозможность реально претендовать на обладание абсолютной истиной. Не удивительно, что в итоге культура вырождается до уровня смакующей собственную истощенность постмодернистской игры. Здесь заведомо позволяют говорить все, что угодно, и очень скоро приходят к констатации: «не все ли равно, кто говорит» (а также — не все ли равно, что говорит, и не все ли равно, говорит ли вообще). В сущности, такой плюрализм искусственно разводит в стороны те тенденции, которые в более естественной и здоровой среде действительно могли бы превратиться в значимые друг для друга альтернативы, теперь же, не сталкиваясь, существуют в параллельных плоскостях, так что в итоге уничтожается, становясь дискретным, единое прежде пространство культуры. Есть ли какое-то серьезное преимущество в том, что тут, разумеется, пока еще свято

блюдется основополагающее право высказывать собственное мнение в эту молчащую в ответ пустоту? В деле стерилизации мысли такая плюралистическая свобода оказывается гораздо эффективнее цензуры и запретов. Да и зачем что-либо запрещать, если можно просто игнорировать? Безусловно, это и есть один из конкретных механизмов, способствующих маргинализации духовной культуры. Ясно также, что для «абсолютной претензии» христианства (если оно все еще хочет ее сохранить) такой плюрализм опаснее, чем прямые гонения. Но парадоксальным образом изоляционизм традиционного христианства, по-прежнему уверенного, что оно в силу очевидности собственной вневременной правоты не должно никому ничего доказывать, сам гармонично и безобидно вписывается в эту парадигму существования либерально-гуманистической цивилизации.

И вот в этом отношении у Соловьева все еще есть чему поучиться. Не конкретное содержание его религиозно-метафизических построений, но сам пафос его деятельности, определенный четким пониманием того, что христианству следует всерьез учитывать опыт секулярной культуры и реагировать на него не только жалобами и самоупоенностью, но и качественной философской мыслью, короче говоря, та чуткость к современности, которая так отличала этого философа, — вот что еще может оказаться актуальным для наших дней. Секулярной культуре своего времени Соловьеву удалось противопоставить адекватную и отнюдь не проигрывающую на ее фоне критику этой культуры с религиозно-философских позиций. Можно считать утопичным его стремление к всеобъемлющему синтезу всех тенденций религиозной и философской жизни в рамках «вселенского учения», что было своего рода частным применением ключевой для него идеи «всеединства» к судьбе культуры. Но невозможно отрицать, что во многом благодаря заслугам Соловьева христианская мысль в форме «нового религиозного сознания» на какое-то время вновь стала движущей силой для развития русской культуры в целом.

Со времени Соловьева христианство получило несколько новых вызовов, гораздо более глубоких в философском отношении, чем современные Соловьеву позитивизм и материализм. Было бы слишком просто полагать, что значимость этого опыта ограничивается интеллектуальной модой — вроде той, что в 1980-х годах охватила околофилософскую публику, в массовом порядке перекрестившуюся из марксизма-ленинизма в бланшизм-делёзизм (*sit venia verbo!*). Феноменология, экзистенциализм, неопозитивизм, постструктурализм и косвенно, и напрямую, но каждый по-разному и на качественно новом уровне ставили под сомнение саму возможность метафизического мышления. И значимость этой критики только на первый взгляд может показаться не выходящей за пределы узкоспециальной философской проблематики. Ведь если сущность христианства сосредоточивается не в этике, при поверхностном отношении еще способной сойти за «общечеловеческую», но в догматике, с ее «абсолютной претензией» и одновременно совершенно не «общечеловеческим» содержанием, то и роль христианства в культуре зависит от того, насколько эффективно оно сможет отвечать на каждый новый вызов той платоническо-христианской метафизике, которая и составляет фундамент этой догматики и которая ныне поколеблена уже не только в своих эксплицитных положениях, но и на уровне имплицитной аксиоматики. Соловьев не только верно и с достаточной для его эпохи адекватностью чувствовал насущную необходимость подобного ответа на вызов секулярной мысли, но во многом и дал этот ответ (опять же для своего времени). Сегодня же «новое иррелигиозное сознание» проделало значительный прогресс, а противостоит ему исключительно старое религиозное сознание, если тут вообще уместно слово «противостоит».

В начале века «новое религиозное сознание», у истоков которого стоял Соловьев, оказалось вполне достойной реакцией христианства на модернизм. Можно ли ожидать, что современная христианская традиция окажется способ-

ной дать хотя бы столь же адекватный ответ на постмодернизм? Этот вопрос остается открытым, но если у христианства как значимого явления культуры вообще еще есть шанс не сойти на нет, то он лежит именно в этом направлении. Выход из кризиса культуры может заключаться лишь во взаимной проблематизации всерьез учитывающих друг друга противоположностей, которые для этого должны быть поставлены в такую ситуацию, когда они не могут «плюралистически» игнорировать друг друга, но должны вступить в настоящую борьбу. Было бы нелепо думать, что достаточным опровержением «нового иррелигиозного сознания» является то, что его нигилистическая суть, явная в элитарной культуре и имплицитно заложенная в массовой культуре и официальной гуманистической идеологии, рано или поздно доведет его до вполне закономерного коллапса. Если нигилизм приводит к краху, то это вообще не аргумент против нигилизма: а к чему еще он должен привести? Этим нигилизм лишь доказывает собственную подлинность. Правда же «вечных ценностей» ничуть не доказывается ссылкой на чью-либо неправоту. Нужно не кивать на других, а сделать что-нибудь позитивное самим. Только так и обосновываются претензии, тем более — «абсолютные». Странники «вечных ценностей» будут правы не тогда, когда они в очередной раз произнесут: «Мы предупреждали», а только тогда, когда они смогут сказать: «Мы предотвратили». Ибо, как верно сформулировал Соловьев, «все испытывается своей противоположностью» (*tout est éprouvé par son contraire*).

Издание полного собрания всего, что было написано Соловьевым, — задача неизбежно долгосрочная, хотя оперативность, с которой уже выпущены два тома (из запланированных двадцати), радует. Задача, кроме того, первостепенной важности не только для изучения наследия самого Соловьева. На фоне многочисленных изданий текстов русских религиозных философов, появившихся за последние десять — пятнадцать лет, вышедшие тома выгодно отличаются своим обстоятельным академизмом. В Собрании предполагается проводить «полный цикл текстологической подготовки с привлечением всех источников текста: черновики, рукописей (автографов), авторских корректур, а в случаях нескольких прижизненных изданий — различных редакций текста». Оригинальные текстологические решения, принятые в данном издании, особенно ярко проявляются в случае с публикацией «Софии», точнее говоря — той совокупности объединенных под этим названием текстов, которые хоть и взаимосвязаны тематически и хронологически, не представляют собой последовательного и законченного произведения, что и позволяет издателям после должной аргументации избрать иной порядок их публикации, чем тот, что был принят в первом французском издании этого сочинения, вышедшем в 1978 году. Во-вторых, крупные философские произведения Соловьева логичным образом встраиваются в структуру каждого тома, которая, как правило, делится на несколько основных разделов (сочинения, рецензии, незавершенное, варианты, приложения, примечания), что дает возможность оценить их место в общем контексте того или иного периода соловьевского творчества, а также проследить историю формирования их замысла. Этому способствует не только публикация вариантов, планов, черновики и отдельных фрагментов незавершенных сочинений, но и сопровождающая каждый том специальная статья, а также предваряющее публикацию каждого текста Соловьева «пространное представление позиций и текстов соловьевских оппонентов, многочисленных откликов как в печати, так и в частной переписке на дискуссии с участием и по поводу В. С. Соловьева». Большая работа, проделанная в этом отношении комментаторами, позволяет согласиться с ними в том, что данное издание не только способно заложить «качественно новую источниковедческую базу для изучения соловьевского наследия», но и внести «серьезные изменения в сложившиеся представления об исторической роли философа». Видно, что в целом издатели Собрания сочинений следуют лучшим традициям академических изданий русской классики. Надо отметить также, что, хотя в осно-

ву издания положен принцип «хронологического расположения текстов внутри каждого тома», издатели, вполне отдавая себе отчет в неизбежной дискуссионности всякой систематизации «имеющегося в наличии материала», не жертвуют в угоду этому принципу удобочитаемостью соловьевских текстов и учитывают также такие критерии, как тематическая близость или организационное единство отдельных произведений Соловьева.

В первом из уже вышедших томов центральное место принадлежит магистерской диссертации «Кризис западной философии (против позитивистов)», вызвавшей в свое время бурную и неоднозначную реакцию в среде русской интеллигенции, которая на сегодняшний взгляд может показаться неадекватно острой. Сам Соловьев позднее говорил, что его диссертация доставила ему *succes de scandale*, и то, что это отнюдь не было преувеличением с его стороны, становится ясно из многочисленных, то резких, то лестных, откликов не только на саму диссертацию, но и на посвященный ее защите публичный диспут, который превратился в заметное событие общественной жизни. Комментарий не только показывает, каково было впечатление, произведенное на русскую публику, по большей части не подготовленную в философском отношении, первым выступлением такого серьезного и самостоятельного мыслителя, как Соловьев, не только изображает переполох в лагере позитивистски настроенной интеллигенции, но и передает массу интересных подробностей — вплоть до деталей поведения Соловьева во время диспута, которые и стали предметом оживленных кривотолков в периодике. Вся эта часть комментария несомненно способна вызвать любопытство не только у специалистов, но и у любого читателя, которому помимо мысли интересна еще и личность философа. Сегодня, когда философские взгляды Соловьева кажутся скорее весьма традиционным и зачастую довольно сухим по изложению образом религиозно-метафизического мышления (по контрасту с более популярным стилем Бердяева, Шестова или Розанова), особенно интересно вспомнить о том, как воспринималась эта впоследствии столь влиятельная религиозная метафизика в русском обществе в момент своего рождения.

Во втором томе Собрания представлены два крупных сочинения — рукописный корпус «София» и «Философские начала цельного знания». Хотя эти произведения остались незавершенными, они имеют огромное значение для уяснения динамики развития взглядов Соловьева. Если «Философские начала цельного знания» хорошо известны публике, интересующейся историей русской философии, то публикация «Софии» имеет отчасти и ознакомительное значение, так как это написанное по-французски сочинение долгие годы оставалось неизвестным и даже после первой публикации во Франции продолжало оставаться практически недоступным для русского читателя. Между тем значение этого, пожалуй, наиболее специфического труда философа (а также подготовительных материалов к нему) для более адекватного понимания как личности, так и наследия Соловьева трудно переоценить. Это проявляется, к примеру, в том, что теократическая утопия, разрабатывавшаяся Соловьевым в 1880-е годы, уже дана здесь, хотя и в наброске (в силу общей незаконченности «Софии»). Некоторые же детали, как кажется, позволяют поставить вопрос о совместимости этой утопии с конкретными эсхатологическими перспективами (в «Планах и черновиках»: «Утверждение вселенского общества есть необходимо уничтожение нашего мира в его вещественном распадении и восстановление его как живого организма богов»), хотя теократия и эсхатология у Соловьева часто противопоставляются, а эсхатологические ожидания, как правило, относятся к концу 1890-х годов, то есть ко времени написания «Трех разговоров». Кроме того, так называемая «эротическая утопия Соловьева», этот «жуткий оккультный проект воссоединения человечества с Богом чрез разнополюю любовь»¹⁰, который принято связывать опять же с 1890-ми годами, и прежде всего с такой работой, как «Смысл любви», уже в «Софии» разработан со всей мыслимой двусмысленностью и занимательными подробностями в некую, с позволения сказать, идеологию платонического адюльтера. Можно ожидать, что публикация

¹⁰ Прот. Г. Флоровский. Указ. соч., стр. 464.

французского текста «Софии» с параллельным переводом на русский язык, давая возможность всем исследователям и просто заинтересованным читателям систематически учитывать и анализировать данные, предоставляемые этим текстом, введет «Софию» в более широкий научный обиход и тем поспособствует определенному развитию и уточнению принятых представлений о мысли Соловьева.

Отдельного разговора заслуживают подробные примечания, которые выполняют задачу одновременно историко-литературного, историко-философского и реального комментария к публикуемым сочинениям. Этот комментарий решает сразу целый комплекс задач, начиная с элементарного перевода иноязычных выражений и предоставления справочной информации о тех или иных упомянутых в текстах реалиях. Значительное место в нем уделяется приведению тех параллелей из традиции мировой религиозно-философской культуры, которые, по общему признанию, имели существенное значение для мысли Соловьева, а то и оказали на нее определяющее влияние (например, традиция европейской мистики в лице Бёме и Сведенборга, новоевропейская философия в лице Лейбница, Спинозы, Шеллинга и Гегеля, а в том, что касается «Софии», — гностицизм и т. д.). Порой проводятся и более свободные аналогии, степень обязательности которых менее очевидна или по крайней мере не мотивирована напрямую (например, параллели с Экхартом и Таулером). Разумеется, наличие подобных аналогий само по себе не портит комментарий, так как для последнего желательны возможно большая полнота и упоминание не только до конца очевидных, но и просто типологически близких аналогий, почерпнутых из всей богатой традиции религиозно-философской мысли. Кроме того, в некоторых случаях комментарий дает представление об эволюции взглядов Соловьева, указывая на изменение его позиции по конкретным вопросам в тех сочинениях, которые еще только ожидают своей публикации в последующих томах. Общая оценка степени адекватности того, как философ представлял себе предшествующую ему философскую и религиозную традицию, не входит в специальную задачу этого комментария; тем не менее в конкретных случаях указываются некоторые допускаявшиеся им неточности.

Понятно, что данное издание знаменует собой только начало пути, и остается лишь надеяться, что в будущем у кого-нибудь в России найдется не только желание, но и возможность пойти по нему дальше. Тот факт, что в настоящем издании задача комментирования соловьевских текстов, пожалуй, впервые всерьез ставится, но отнюдь не решается исчерпывающим образом, явствует уже из того, что даже на уровне простого разъяснения тех или иных фактических данных текста многое еще остается неясным, не удается идентифицировать некоторые цитаты, аллюзии и т. п. Что уж говорить о той стороне комментаторской деятельности, где от комментатора требуется как собственная интерпретация не всегда ясного смысла текста, так и определение места последнего в возможно более широком культурно-историческом контексте. Уже сама в каком-то смысле «первопроходческая» роль настоящего Собрания делает данный аспект комментария заведомо уязвимым для критики с самых разных позиций. Разумеется, любой заинтересованный читатель в зависимости от уровня и специфики собственной философской эрудиции сможет отыскать в нем такие места, где были бы вполне целесообразны те или иные дополнения или уточнения. Так, например, утверждать, будто греческие термины λόγος ὑδάθετος и λόγος προφορικός «Соловьев заимствует у Филона Александрийского», при отсутствии прямых ссылок на этого автора опрометчиво, так как Филон отнюдь не единственный (хотя, видимо, первый) писатель, применивший эту стоическую по происхождению терминологию к теологической проблематике; в христианской литературе схожее употребление этих терминов традиционно связывается прежде всего с именем Феофила Антиохийского. Соловьев же, судя по всему, имел в виду традицию подобного использования этих терминов в целом, без какой-то специальной аллюзии на Филона. Такого рода частности, допускающие доработку и развитие, в комментарии встречаются не раз. Когда в нем затрагивается определенная историко-философская тема, то может случиться так, что ее существенные аспекты остаются не упомянутыми или подаются как нечто периферийное, тогда как внимание сосредоточивается на производных и второстепенных фактах, связанных с ней. Например, когда речь заходит о понимании зла как ли-

шенности или отсутствия должного быть блага, упоминание в этой связи именно Лейбница само по себе, конечно, не вызывает возражений, однако было бы логичнее хотя бы указать на фундаментальную роль такого (восходящего еще к неоплатонизму) понимания зла для христианской патристики в целом, где оно и было подробно разработано, а не только для Августина, который и упоминается-то тут только потому, что его цитирует тот же Лейбниц.

Впрочем, неизбежная неполнота историко-философского комментария осознается авторами: «Мы не беремся претендовать на полное и всестороннее комментирование встречающегося в работах В. С. Соловьева большого количества богословских, философских и иного рода реалий: круг чтения философа был весьма широк и полное выявление названных реалий требует конгениального мыслителя комментатора». Все же порой речь идет уже не о частностях и деталях, а о тенденциях. Если, например, гностические параллели к тексту «Софии» прослежены достаточно подробно, то практически полное отсутствие неоплатонических параллелей, на мой взгляд, бросается в глаза. Между тем в этом произведении постоянно заходит речь о триаде Духа, Ума и Души, гораздо больше напоминающей неоплатонические построения, чем христианскую тринитарную догматику¹¹, и было бы вполне уместно поставить читателя в известность о том, с какой традицией в истории культуры могут быть сопоставлены эти ключевые понятия. Особенно это относится к самому понятию Мировой Души: здесь возможные параллели из античной традиции могли бы быть прослежены начиная по меньшей мере с платоновского «Тимея».

Различна и степень подробности комментария. Если в большинстве случаев она вполне удовлетворительна, то есть подразумевает указание или цитирование источников и непременное разъяснение реалий, то все же порой такой уровень подробности не выдерживается и комментарий сводится к простому упоминанию того, что Соловьев имеет в виду точку зрения того или иного философа или философской школы, без приведения конкретных ссылок, цитат и дат. Так, например, в связи с упоминаемым в «Философских началах цельного знания» «тройственным делением философии» проводится параллель с бытовавшим в античной философской традиции делением философии на физику, логику и этику, которое без каких-либо ссылок приписывается Ксенократу, стоикам и эпикурейцам (хотя в последнем случае это не вполне корректно, так как для Эпикура место логики занимала каноника, или учение о критериях познания). В другом случае при упоминании Соловьевым «школы Гербарта» читатель узнает, что тут «имеются в виду основатели немецкой этнопсихологии М. Лацарус и в особенности Х. Штейнталь», но остается в неведении, кто такой сам Герbart, точно так же как по поводу упомянутого во вступительном сочинении Соловьева Арнольда Брешианского в комментарии указывается только, что «в тексте эта фамилия передана неточно; буква „ш“ вписана экзаменатором синим карандашом вместо „ск“», но ничего не говорится по поводу самой личности этого ученика Абеяра. Между тем все это фигуры далеко не общеизвестны, и было бы естественно ожидать от комментария приведения каких-то элементарных справочных сведений о них для удобства читателя. Такого рода упущения граничат уже с техническими погрешностями. Последние, когда встречаются в тексте комментария, связаны чаще всего с переводами греческих и латинских цитат. Например, в «Кризисе западной философии» Соловьев пишет: «Отсюда понятно, почему этот мир представляет во всем и повсюду несомненный характер ограниченности, непостоянства и зависимости, будучи, по словам Платона, τὸ γυυόμενον μὲν καὶ ἀπολλόμενον, ὅτιος δὲ οὐδέποτε ὄν». В комментарии дается следующий перевод этой цитаты из «Тимея»: «Возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле». Очевидно, что такой перевод не встраивается логичным образом в структуру русской фразы и способен вызвать

¹¹ Можно, впрочем, вспомнить, что Соловьев вообще находил возможным существенно сближать неоплатонический и христианский тринитаризм; в «Чтениях о Богочеловечестве» он говорит об общей «у Филона или Плотина, у Оригена или Григория Богослова... существенной истине» тринитарного учения (Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве, стр. 7).

трудности с ее пониманием у читателя, не владеющего древнегреческим языком. Понятно, что сам этот перевод позаимствован из русского издания сочинений Платона, но следовало бы, во всяком случае, расширить эту цитату, включив в нее подлежащее («а то, что подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет» и т. д.) и соответствующим образом модифицировать, что дало бы следующий вариант перевода: «(будучи, по словам Платона,) тем, что возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле». Схожим образом заимствование буквальных цитат из русского перевода «Этики» Спинозы в тех случаях, когда Соловьев цитирует латинский оригинал этого трактата или просто использует встречающиеся в нем выражения, приводит к неполноте или неточностям в передаче смысла его цитат. Например, в «Кризисе западной философии» о понятии субстанции у Спинозы говорится: «Она сама по себе отвлеченно от модусов (*depositis affectionibus et in se considerata*) уже обладает вполне действительным существованием в силу своей природы или существа, так как она есть *causa sui, cujus essentia involvit existentiam*». Первое латинское выражение, имеющее достаточно точную парафразу в тексте самого Соловьева («сама по себе отвлеченно от модусов»), в комментарии переводится «оставив (эти) модусы в стороне», что соответствует только первой его части (*depositis affectionibus*), но оставляет без перевода вторую (*et in se considerata*). Целиком это выражение можно было бы перевести так: «Если оставить в стороне модусы и рассмотреть ее (то есть субстанцию) саму по себе». Для перевода *causa sui, cujus essentia involvit existentiam*, приводится цитата, представляющая собой самостоятельное предложение: «Под причиную самого себя я разумею то, сущность чего заключает в себе существование», — так что здесь вновь возникает та же ситуация, что и с переводом вышеупомянутой цитаты из «Тимея»: предлагаемый перевод не встраивается в конструкцию фразы самого Соловьева. Следовало бы и тут модифицировать используемый перевод Н. А. Иванцова, например, следующим образом: «(так как она есть) причина самой себя, сущность которой заключает в себе существование».

Вообще в переводе латинских и греческих цитат прослеживается некоторая непоследовательность. Например, от обилия предложенных переводов для понятия *liberum arbitrium indifferentiae* («полная свобода выбора; свобода отдельных поступков; эмпирическая свобода воли, свободное, ничем не обусловленное решение; свободное произволение») у читателя могут разбежаться глаза, при том что некоторые выражения порой остаются в комментарии без перевода или переводятся неправильно: например, ἀρχή τῆς κινήσεως один раз почему-то переводится как «служачий причиной движения», хотя в другом месте дается уже более адекватный перевод этого аристотелевского понятия — «начало движения»; *sit venia verbo* переводится «к слову сказать», хотя и сам смысл этой формулировки, и тот контекст, в котором она встречается у Соловьева, предполагает перевод «с позволения сказать» или «да простится мне это выражение»; для *toto coelo* предлагается лишь буквальный перевод «на целое небо», который затем разъясняется: «т. е. на расстояние от Земли до Луны», — но такое уточнение выглядит особенно странным и излишним в данном контексте, где это выражение используется в часто присущем ему значении «полностью» или «во всех отношениях»; фраза *mens agitat molem*, чья принадлежность Вергилию указывается без приведения конкретной ссылки, переводится как «ум двигает скалу» и далее в целом допустимо для данного контекста разъясняется: «мысль приводит в движение материю», хотя обращение к тексту «Энеиды» (6, 727) показало бы, что слово *moles* (букв.: «масса, глыба») тут не может иметь значения «скала» и контекстуально может быть переведено как «мироздание» (ср. достаточно адекватно передающий смысл этого места перевод С. Ошерова: «И дух, по членам разлитый, / Движет весь мир...»). Правда, отсутствие перевода латинских и греческих цитат в комментарии связано обыкновенно с тем, что в самом тексте Соловьева присутствует либо перевод, либо хотя бы более или менее точная парафраза используемых им слов и понятий, однако сделать отсюда вывод, что комментаторы сочинений Соловьева сознательно решили отказаться от приведения перевода таких выражений в комментарии, трудно, ибо в других случаях перевод все же приводится, даже несмотря на наличие парафразы в тексте Соловьева (ср. вышеприведенный случай с цитатой из Спинозы или пример с понятием τῆς

νοήσεως νοήσις, которое передается Соловьевым как «самомышление», а в комментарии переводится как «мысль, мыслящая сама себя»). Между тем в некоторых случаях перевод таких выражений был бы тем более уместен, что Соловьев порой по-своему обыгрывает смысл используемых им понятий, заимствованных из предшествующей религиозно-философской традиции. Так, в «Кризисе западной философии» он пишет: «Самоутверждение человека не есть, разумеется, утверждение только данного бытия — τοῦ εἶναι, но еще и τοῦ εἶναι, то есть *стремление к счастью*», — и эти оставленные без перевода и комментария греческие термины, обычно переводимые как «бытие» и «благобытие», вызывают ассоциацию прежде всего с Максимом Исповедником¹², но при этом Соловьев придает понятию «благобытия» отчетливый эвдемонистический смысл, тогда как Максим Исповедник использовал его скорее в смысле, имеющем отношение преимущественно к нравственному и онтологическому совершенству.

Некий разноречивой можно обнаружить и в ссылках на те или иные издания упоминаемых в комментарии авторов. Во-первых, иногда даются ссылки на старые дореволюционные издания тех или иных авторов — при том, что существуют более современные издания; и здесь не всегда ясно, в какой степени это мотивировано стремлением указать современное самому Соловьеву издание, которым он либо на самом деле пользовался, либо мог пользоваться. Безусловно, вполне разумно, что в случае с Декартом указывается как современное русское издание, так и французское издание 1850 года, которое использовал Соловьев, а в другом случае специально оговаривается, что Соловьеву мог быть известен перевод Иринейя Лионского, сделанный П. Преображенским и вышедший в 1871 году. Но насколько необходимо давать ссылку на «Жизнеописания» Плутарха именно по изданию 1862 года, далеко не очевидно, тем более что в других случаях ссылки делаются на современные издания античных авторов. Во-вторых, академическому характеру издания более соответствовало бы, если бы ссылки на античных и раннехристианских авторов делались в соответствии с принятой номенклатурой, то есть указанием книги, главы, параграфа и т. п. В этом отношении комментарий также далек от последовательности. Иногда в нем дается просто указание страницы русского перевода. Можно надеяться, что в последующих томах будут выработаны более устойчивые и унифицированные принципы технического оформления комментария.

Некоторые конкретные интерпретационные решения, принятые издателями как в комментарии, так и при переводе «Софии», также могут показаться спорными. Например, фраза «Les esprits du Démoniaque sont ceux qui ne sont ni chauds ni froids» переводится тут следующим образом: «Духи Димиурга — это те, кому ни тепло, ни холодно». На мой взгляд, при таком переводе остается непонятным, что, собственно, Соловьев имеет в виду и в каком это смысле «духам Димиурга» «ни тепло, ни холодно». Нет ли здесь аллюзии на известное место Апокалипсиса (3, 15—16) и нельзя ли в этой связи перевести данную фразу иначе, а именно: «Духи Димиурга — это те, кто ни горяч, ни холоден»? В целом же перевод «Софии» сделан весьма добротнo и учитывает как некоторые особенности орфографии самого Соловьева или современной ему системы транскрипции, так и параллельные тексту «Софии» места из других сочинений Соловьева.

Пример же спорности комментария можно привести в связи с интерпретацией другой фразы из «Софии»: «Если император уступил папе, то король сделал из него своего пленника». Поскольку на полях рукописи рядом с этой фразой стоит примечание: «NB о Константиновом даре», то комментатор полагает, что Соловьев имеет в виду предание, согласно которому император Константин Великий передал власть над Римом и западной частью империи римскому епископу Сильвестру. Однако такое объяснение не кажется логичным. В данном месте у Соловьева идет речь об исторических «грехах» западного христианства, в особенности — связанных с тем, что часто называют «папоцезаризмом». Трудно предположить, что, говоря о Константиновом даре, Соловьев мог проигнорировать общеизвестную со времен Ло-

¹² См., напр.: Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 1996, стр. 73.

ренцо Валлы подложность этого документа и приводить его как пример реальной уступки папству со стороны императорской власти. Поэтому автор комментария вынужден делать оговорки: «Папоцезаризм, на который указывает Соловьев, отнюдь не характерен для эпохи Константина, когда христианство только что стало государственной религией Римской империи. По всей видимости, Соловьев в большей степени апеллирует к позднему преданию». Но видно, что такое толкование вполне определенной формулировки «император уступил папе», которая сама по себе вроде бы указывает на реальное событие, является достаточно свободным, и в том случае, если можно привести конкретный пример такого рода события, есть возможность допустить и альтернативное понимание этой фразы. Например, тут может иметься в виду знаменитое хождение в Каноссу отлученного от церкви императора Генриха IV и вымаливание им прощения у папы Григория VII. Деятельность Григория VII с его *Dictatus Papae* и борьбой за инвеституру (упоминаемая в комментарии по другому поводу), безусловно, может прийти на ум тому, кто склонен обвинять католическую церковь в папоцезаризме, поскольку знаменитый эпизод противостояния папы и императора стал хрестоматийным примером того, как император был вынужден склониться перед папской властью (хотя в конечном счете Григорий VII потерпел поражение в своей борьбе с императором). Так что именно это событие могло быть с полным правом противопоставлено Соловьевым другому упоминаемому в «Софии» классическому эпизоду в истории отношений между папством и светской властью, а именно — унижения Бонифация VIII Филиппом IV Красивым и последовавшего вскоре за этим Авиньонского пленения пап. Что же касается маргиналии на полях рукописи, то нет никакой самоочевидной необходимости видеть в ней своего рода примечание Соловьева к собственному тексту: мол, тут я имею в виду Константинов дар. Это пояснение можно объяснить и иначе, например, как свидетельство намерения Соловьева при дальнейшей работе над текстом сказать несколько слов еще и о Константиновом даре, быть может — как раз о подложности этого документа, что также является весьма уместной темой, когда речь заходит о папоцезаризме.

Как бы то ни было, из таких примеров явствует, что вполне естественная и даже необходимая для нормальной научной работы дискуссионность, прослеживающаяся и в комментарии к данному изданию, вполне способна спровоцировать альтернативные интерпретации соловьевских текстов и тем послужить их более активному обсуждению в научных кругах и в конечном итоге способствовать более адекватному и глубокому пониманию смысла как отдельных произведений философа, так и его творческого наследия в целом. А это, безусловно, является главной задачей как научного комментария, так и всего научного издания.

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН



ТОЧКИ СИЛЫ

Когда столица возвратилась из Петербурга, ведомства безопасности и обороны расположились на Лубянке и Арбатской площади соответственно. Ведомства были советские; но метафизическая точность, с которой оба встали на свои места (очевидней всего обозначаемые монументами Первопечатника и Гоголя), свидетельствует, что столица возвратилась — русская.

1. Кучково Поле

Местоположение Первопечатника, ныне глядящее каким-то закутом, совсем не рядовое. И передвижка монумента не изменила этого. Поставленный сначала вне Китай-города, перед его стенами, памятник, когда стены разломали, был отнесен на несколько шагов назад и вверх по крепостному валу, то есть в Китай-город. Однако стены появились здесь только в XVI столетии, располовинив своим пряслом место, известное с XIV века как Кучково Поле, а позднее и как Старые Поля.

В конце XV века впервые упомянута церковь Старых Полей — Старая Троица. Сколь старая? Забелин полагал ее приходской церковью какого-то из сел Кучковых. То есть сел, принадлежавших Кучковичам, убийцам Андрея Боголюбского. Принадлежавших, может быть, еще тогда, когда на Боровицком мысу был только бор. Добавим, что предание вручает эти села сперва отцу Кучковичей, боярину Степану Кучке, умерщвлением которого отец князя Андрея, Юрий Долгорукий, якобы обосновал Москву.

Троицкая церковь стала каменной в 1566 году, то есть в год отъезда первопечатника в Литву. И наоборот: когда в тридцатые, одновременно со стенами Китай-города, церковь снесли, волнухинский Первопечатник перешел примерно на ее фундамент.

Старые Поля служили местом судебных поединков. Здесь правые и виноватые вручали себя Богу за недостатком других свидетелей. В тогдашнем судопроизводстве это называлось «назначить поле». Принцип поединка — квинтэссенция Средневековья, а уж судебный поединок — квинтэссенция самого принципа. С 1556 года вместо «поля» назначали крестное целование в смежном с Печатным двором Никольском монастыре, на соименной улице Китай-города: традиция не уходила далеко.

Еще одна подробность из удельных лет: за год до Куликовской битвы великий князь Дмитрий Иванович устроил на Кучковом Поле показательную казнь Ивана Вельяминова. «И бе множества народа стояще, и мнози прослезиша о нем и опечалишася о благородстве его и о величестве его». Казнимый был сыном последнего московского тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова. Великий князь воспользовался смертью этого Василия, чтоб упразднить

и его должность, и стоявшую за ней традицию; но сын покойного имел причины надеяться на обратимость перемены: бояре Вельяминовы были наследственными тысяцкими. Иван Васильевич интриговал поэтому против Москвы в Твери и в Орде.

Тысяцкий ведал городом, занимая во властной иерархии второе после князя место. Он представлял верхи посада и одновременно местное боярство, то есть фамилии, владевшие округой раньше князя, как Вельяминовы. Коротко говоря, тысяцкий возглавлял и олицетворял перед князем землю.

Когда в княжение Ивана Красного, отца Дмитрия Донского, был убит — найден мертвым на площади — тысяцкий Алексей Петрович Хвост, выходец из другого боярского рода, то летописец уподобил вдохновителей убийства Кучковичам. И не случайно, как не случайно место казни Вельяминова: мифический боярин Кучка тоже представляет землю перед пришлым Долгоруком. Летописные Кучковичи действительно были древнейшим родом во Владимире, а судя по названию Кучкова Поля, и в Москве. Это они позвали Боголюбского князем во Владимир, привадили Андрея к его будущей столице. Дело кончилось убийством князя, то есть победой земли. А в предании о Кучке и Долгоруком княжеская власть, по замечанию Забелина, взяла реванш.

Коллизии удельной старины в эпоху царства возвратились было с опричниной. Собственно, уход царя всея земли в опричный княжеский удел и был такой коллизией. Но и земщина сделалась неполнотой — частью земли, лежащей за пределами опричной тени. Ущербный месяц тоже светит, но светлее полная луна. Земщина предпочтительней опричнины постольку, поскольку предпочтительней страдать, чем причинять страдание; но всего лучше полнота земли и в ней гражданский мир.

Первопечатник уехал из Москвы в разгар опричнины, но не она, а земщина была причиной этого ухода. При разделении земли Печатный двор остался в земщине, поскольку в городской черте, то есть вне покровительства опричного царя. Именно земщина остановила — и должна была остановить! — станок первопечатника, чтобы раскол земли, опричнина, не усугубился расколом Церкви. При начале печати, как и при начале Раскола, спор шел о букве и о духе книг. И оба раза спорившие стороны подозревали каждая другую в насаждении ошибок, а себе в заслугу ставили их исправление. Правда, во второй раз дело уже не шло о благодатности самой печати, в синодальные времена государев Печатный двор стал Синодальной типографией, а староверы всегда полагали благодатными именно старопечатные, в том числе федоровские, книги. Но сам тип старовера при Грозном был воплощен и в переписчиках. Опричнина с Расколом, не разведенные во времени, могли равняться гибели России.

Покуда Федоров печатал вторую книгу «Часовника» по неисправленным изданиям, исправно перенося ошибки на доску набора, он мог казаться земцем. Казаться, но не быть: Иван готовил правку. Книгопечатание прекратилось.

В следующем, 1566 году опричный царь собрал Ивана с типографией в Литву — и это все, что Грозный смог или захотел сделать для первопечатника. Через два года Печатный двор возобновился на старом месте, в земщине, во главе с другими людьми, и выдал неисправленную «Псалтирь»; но во вторую, безмянную опричину станок наглядно переехал в Александровскую слободу, к царю.

Между Иванцом Московским, то есть опричным государем, и Иваном Москвитиним, первопечатником, есть внутренняя связь: оба вызывали первый, ренессансный, кризис русского Средневековья. (Другой, барочный, кризис вызвал Никон.)

Печатный двор при Федорове, соседствуя с Кучковым Полем, поединки на котором были только что запрещены, сделался новым полем спора двух древнейших сил — великокняжеской и земской. Сделались им и поля книг, ждавшие исправительных помет. Первопечатник в этом споре невольно ока-

зался представителем опричного царя. Его вторжение в один из нервных центров земщины подобно показательной расправе князя Дмитрия над земцем Вельяминовым на том же месте, но почти двумя веками раньше и с другим исходом.

Земщина до и после опричнины, земщина как полнота земли имела Кучково Поле одним из средоточий. Поле среди бора могло казаться образом земли в буквальном, обнаженном смысле. Если же Кучково Поле таинственно, а это так, то и таинственность его как-то наглядна. То есть наглядна исключительная роль Кучкова Поля в самозащите города, или земли, а способ исполнения, природа этой роли доселе остаются тайной.

В день 26 августа 1395 года, когда на Кучковом Поле встречали из Владимира икону Богоматери, Тамерлан отступил от Ельца. Чудотворная сила иконы — отдельная тайна, но здесь составляет с тайной земли. Палладиум Руси встречали на Большой Владимирской дороге, сразу за рытой чертой посада. Рытой годом раньше, в ожидании того же Тамерлана. Рытой, по слову летописи, именно от Кучкова Поля до Москвы-реки. Это трасса Большого Черкасского переулка. Место встречи чудотворной — в конце теперешней Никольской улицы, у выхода ее к Лубянской площади — было тогда же обозначено постройкой Сретенского монастыря, по имени которого разные части Большой Владимирской дороги в разное время назывались Сретенкой. В XVI столетии место вошло в черту Китайгородских стен, взявших больше посада, чем черта XIV века, а монастырь перенесли за стены, далеко вдоль Сретенки. С веками старое место основательно забылось как мемориальное, хотя и было обозначено часовней при Никольских воротах Китай-города, а впоследствии и церковью во имя Богоматери Владимирской. Церковь эта снесена в известную эпоху, вместе с соседними воротами, стеной и Троицей в Старых Полях.

Забвением старого места Сретенского монастыря Москва распространила уже застроенное и потому неразличимое Кучково Поле, или свое представление о нем, вдоль нынешней Большой Лубянки, к новому монастырскому месту. Этот вектор своеобразно подтвержден на рубеже XX столетия и точками строительной активности Страхова общества «Россия». Два его дома — как два фасада одного, раздвоенного. Дом «Россия» на Лубянской площади был позже перестроен для Госбезопасности и в новом виде стал печально знаменит, а знаменитый беспечально дом на Сретенском бульваре остался неизменен. Более протяженный, дом «Россия» на бульваре словно ограничивает край Кучкова Поля в его предельно представимом очерке — и вместе с тем распространяет представление о Поле веером к Мясницкой улице и Чистому пруду. Возле которого боярин Кучка, по одной из легендарных версий, жил и в котором был, по той же версии, утоплен.

Так увиденное Поле есть, в сущности, плоская вершина Сретенского холма, водораздел между Неглинной с одной стороны, Москвой-рекой и Яузой с другой. Тогда как в малом, сдержанном очерке Кучково Поле скорее представляет собой склон Неглинной над поворотом этой речки к северу. Такому видению больше отвечает имя Старые Поля: это такое Кучково Поле, которое не раздалось на северо-восток. Но и к Старым Полям сходились те же московские миры: Неглинный Верх и подкремлевье дальше, лежащее на склонах москворецкого и яузского стока. Кстати, городские стены в этом месте имели, кроме ворот Никольских, обращенных на восток и северо-восток, ворота к северу, на Рождественку, слывшие Троицкими — по церкви Старых Полей.

Рождественка сопровождала Неглинную на север. Когда устраивали стену и ворота, в Старых Полях между Неглинной и Рождественкой уже стоял Пушечный двор, устроенный Иваном Третьим. Вот новый и опять наглядный пример защитного значения Кучкова Поля! Наглядна, на планах Москвы, и градообразующая роль огромного двора с храмовидным ротондальным литейным домом посреди внушительной огады, над вершиной совокупного треугольника Кремля и Китай-города. Двор упразднили и снесли только в начале

XIX века, а потребность в градостроительном акценте стала блуждать поблизости и воплотилась через улицу, огромным купольным домом «Метрополя».

Но и широкий очерк Кучкова Поля оправдан — как обладающий своими точками силы и противоборств. Так, середину правой стороны теперешней Большой Лубянки занимал огромный двор князя Пожарского, вождя земли в исходе русской Смуты. На баррикаде перед домом, во главе посадского восстания 1611 года, Пожарский отражал вылазку поляков из Кремля и Китай-города. Вылазка была не просто вооруженная, но факельная, и князь, пока не изнемог от ран, отражал ее, не позволяя жечь город.

Из этого же дома спустя два века, в 1812 году, московский губернатор граф Ростопчин, наоборот, распорядился о поджогах.

В обоих случаях город, земля оборонялись, боем или жертвой, от внешней, приходящей силы¹.

Рядом с этим домом есть адрес, где та же тема выступает в «снятом», как бы сказал философ, виде. Московвед В. А. Никольский в 20-х годах писал: «С угла Рождественки, по правой стороне Кузнецкого моста, начиналось громадное владение Салтычихи (№ 20). Здесь, в глубине двора, стоял в XVIII веке дом-застенок этой „мучительницы и душегубицы“, замучившей до полутора-ста крепостных... После суда и заточения Салтычихи... это залитое кровью русских крестьян владение, переходя из рук в руки... было собственностью... знаменитого „утрированного филантропа“ Ф. П. Гааза... Так из рук жестокой помещицы, истязавшей крепостных, это владение перешло к Гаазу — заступнику угнетенных, к человеку, жизненным девизом которого было: „Спешите делать добро“».

А ведь Гааз до поселения в бывшей усадьбе Салтычихи не был «утрированным филантропом». Он был преуспевающий, с обширной практикой доктор из немцев, приобретатель фабрик, а теперь вот и огромной, традиционно аристократической недвижимости, выходящей на три улицы, — периметр, внутри которого теперь метро «Кузнецкий мост». Немного времени спустя мы видим раздающего имущества, живущего в больницах святого доктора.

Федор Петрович Гааз переменялся на Салтычихином дворе; можно сказать, он здесь родился. Возник из земли, налитой кровью ста тридцати девяти женщин и трех мужчин, садистски умерщвленных здесь под предлогом нечистот полов и господского белья. До императрицы дошел мужик, лишившийся трех жен; сколько же лет длился кошмар? Десять лет.

Эти полы, нечистые от крови, это кровавое белье четверть столетия отбеливал святой доктор. Отбеливал совесть Москвы и всей России, искупал чужое (некогда общее) преступление. Тяжелое тем более, что Салтычиха прожила еще треть века после гражданской казни, пережила казнившую ее императрицу и все эти годы томила Москву своим присутствием в тюрьме Ивановского монастыря, а поначалу и своим видом там, в клетке, через которую жалил любопытных ее прут.

В труд искупления этой давящей тяжести Гааз недаром вовлекал аристократов (Александр Тургенев окончил дни свои, сопровождая праведника в пересыльную тюрьму, где подавал преступникам и где смертельно простудился), особенно недаром — аристократок. Гааз составил по-французски «Призыв к женщинам» — проповедь, кроме прочего, сочувствия и сострадания к слугам и зависимым людям. Друг Гааза княгиня Шаховская, Святополк-Четвертинская в девичестве, основала милосердную обитель «Утоли моя печали», а ее сестра княгиня Трубецкая, разорив себя благотворением, встретила старость в углу фамильного дворца, принадлежавшего уже другому человеку.

Кто знает, какие горшие несчастья, чем те, что выпали и выпадут, отвел от нас Гааз и эти люди, поспешившие за ним с добром!

¹ Об этом доме и его домовладельческой фабуле подробнее см. эссе: Рахматуллин и Р. Сретенка героев. — «Независимая газета», 1999, 11 февраля.

«Урод рода человеческого», — написала Екатерина Великая на приговоре Салтычихи. Но и Гааз — урод, юрод, вернувший этому слову его плюс. Отбеленный слово, как Салтычихины полы, как общую русскую совесть, от крови, пролитой по адресу: Кузнецкий мост, 20.

Проливой на Кучковом Поле с его трагической темой поединка земли и внешней кровавой силы.

Арестовала Салтычиху Тайная экспедиция, которая помещалась... Но где?

Палаты бывшего Рязанского подворья на Мясницкой, близ угла Лубянской площади, были предоставлены комиссии о Пугачеве в 1774 году, а от нее достались Тайной экспедиции. Хотя Москва впоследствии считала, что дознание о Салтычихе, а это 1760-е годы, Экспедиция правила здесь же. Снос «дома ужасов» в начале XX века вызвал романтическое возбуждение, сообщившееся Гиляровскому. Который утверждает, что открывались подвалы на подвалах, отыскивались цепи и скелеты. Репортеру передали запись рассказа знаменитого Чередины, секретаря московской Тайной экспедиции на целом протяжении екатерининского и павловского царствований, как тот будто бы видел на Мясницкой не только пытаемого Пугачева, но и Салтычиху.

Вообще, московская традиция назначила этому месту быть вечным центром политического сыска. Конечно, дом Малюты Скуратова есть в каждом уважающем себя квартале старой Москвы. Но вот Алексей Толстой в своем романе о Петре Великом поселяет у начала Мясницкой главу Преображенского приказа, князя-кесаря Федора Юрьевича Ромодановского, жившего в действительности на Никитской. Поселяет двумя дворами: жилым и пыточным. Однако Преображенский приказ, основанный в 1686 году и в 1697-м ставший сыскным, помещался на Яузе, в селе, которому обязан был своим названием. А на углу Мясницкой и Лубянской площади располагалось, если верить Сытину, другое детище Петра — Тайная канцелярия. Учрежденная в 1718 году в Петербурге для дознания по делу царевича Алексея, канцелярия действительно имела отделение в Москве, деля (или, напротив, смешивая) свои обязанности с Преображенским приказом. Когда приказ был упразднен, Канцелярия заняла его место, причем буквально — переехала на Яузу.

Петр III манифестом упразднил Тайную канцелярию, запретил «ненавистное выражение» — сыскной клич «Слово и дело!» — и тут же предложил Сенату учредить Тайную экспедицию. В том же 1762 году воцарившаяся Екатерина указом подтвердила упразднение Канцелярии, а Экспедиция считала тот же год датой своего негромкого рождения. Это был год ареста Салтычихи.

Чему служила Тайная экспедиция — тайной ли силе места или внеположной, петербургской власти? Ответ будет двояким, даже двоящимся, как многое в судьбе Кучкова Поля. Например, дознание о Новикове было направлено против предполагаемой опасности международного масонства, но ведь и против франкофонства всей московской аристократии.

И «вечные французы» Кузнецкого моста были не самые чужие городу. К ним в 1812 году принадлежал бонапартистский прокламатор Верещагин, в день оставления Москвы казненный по приказу и перед домом графа Ростопчина. Содрогание Москвы при казни Верещагина было, видимо, сродни древнему содроганию при казни Вельяминова. Жест оказался внешним, административным, не родным Кучкову Полю. Если граф и в самом деле испугался собравшейся перед домом толпы, то он испугался земли, которую доселе представлял. Ибо как поджигатель Москвы Ростопчин был орудие земли. Не он принес столицу в жертву, а она себя — через него. Напротив, суд над Верещагиным был самосудом, проявлением самости и принесением в жертву другого, не себя.

Итак, необходимо различие Лубянки как синонима безопасности — и Лубянки как синонима политического сыска и пыточного двора. Для службы, занимающейся в самом деле общей безопасностью, Кучково Поле служит лучшей подосновой. Но пыточный или тюремный двор в этих местах есть жест опричный, пришлый, когда часть земли — будь то великокняжеский удел или любого цвета партия — склоняет к подчинению всю землю, целое земли. Ког-

да новый порядок из своего центра тяготеет над старыми порядками и центрами. Это есть избиение земли в ее же средоточии. И в этом жесте всякая опричина сличается с интервенцией.

2. Арбат военный

Памятник Гоголя, придя на Арбатскую площадь, пришел в геометрический и артериальный центр арбатского района. Как и Кучково Поле, этот район есть средоточие земли. Но средоточие, при грозненском делении попавшее в опричину.

Оставленное нами Кучково Поле служило центром подкремлевья, продолжением Кремлевского холма, хотя бы это продолжение и называлось Сретенским холмом. Между двумя холмами нет борения, поскольку нет водораздела: это лишь названия двух плеч одной горы, лежащей в междуречье Яузы и Неглинной. Поэтому располагать на продолжении Кремлевского холма структуры власти, как те, что адресованы, к примеру, по Ильинке, Старой и Лубянской площадям, — значит создавать по меньшей мере предпосылки их лояльности Кремлю, по большей — продлевать сам Кремль. Недаром стены города распространялись до конца XVI века в том же направлении, а Занеглименье, Заязье, Замоскворечье оставались пригородами.

Арбат же до конца XVI века пригород. И если понимать его как область, стянутую к соименной площади, то он есть верх и даль Ваганьковского, противостоящего Кремлевскому, холма. Как противостоящего? Ландшафтно изначально, а политически — от раза к разу. Во всяком случае, это отдельный, отделенный от Кремля рекой Неглинной холм. В переднем, надречном крае Ваганьково увенчано Пашковым домом на месте древнего великокняжеского, царского двора и «новым» домом Университета на месте двора Опричного. Эти дворы были застенными, то есть в административном смысле загородными.

Имя «Арбат», как принято считать, того же корня — пригород, предместье. С той оговоркой, что предместной может быть и крепость. Память предместной крепости, то есть, по-видимому, изначального Арбата, географически и эстетически наследует Пашков дом, а политически ее наследовал соседний Опричный двор. В военном смысле крепость на Ваганькове, как возвышавшаяся над торговым перекрестком главных дорог Руси, у брода, дополняла Кремль. Но слово «дополнительность» опаснейше соседствует в своем синонимическом ряду с опочинностью, кромешностью. Нет лучше места для опричного (кроме-) двора, чем укрепление предместное или предмостное, через реку от города, на равной с городом высоте.

И в этом смысле еще один образ Арбата — предмостная Кутафья башня за Неглинной, отводная стрельница, ворота Арбатской улицы.

Перемещая торг и перекресток главных улиц с Боровицкой площади за Кремль, в подкремлевье, Москва тем самым переносила свой форум из междухолмия на холм, с поля напряженного борения холмов в спокойный центр предпочтительного холма.

И, кстати, ближе к Кучкову Полю. Красную площадь, на которой в конце концов остановился торг, можно назвать искусственным Кучковым Полем. Площадь образована послепожарной расчисткой (не леса, конечно, а деревянного города) и взяла себе ритуальную роль. Характерны и явления на ней князя Пожарского, этого добрейшего из злаков Кучкова Поля, — явления то во главе атак, то с храмоздательством, то в виде монумента.

За движущимся торгом двигались междугородние дороги, замещая друг друга на ложе уже оформившихся улиц или образуя новые улицы. Во времена первых князей московских Кремля было так мало, что застенный новый торг располагался на крестце, отмеченном теперь Царь-пушкой. Перенацеливаясь на это место, западные дороги скрестились раньше цели — на нынешней Арбатской площади, где появился и особый торг. Он словно бы отъехал с Боровицкой площади по старой Волоцкой дороге, нынешней Знаменке, до перекрестка с новой Смоленской дорогой.

Две дороги пересекали здесь не только одна другую, но и ручей Черторый, который был естественной оборонительной чертой ближнего Занеглименья. По перекрестку и ручью старая Волоцкая дорога разделилась на нынешние Знаменку и Поварскую, а новая Смоленская — на нынешние Воздвиженку и Арбат. Стрелка на Волок и Смоленск разводитесь доныне старым домом с корабельной надстройкой ресторана «Прага»; на Боровицкой площади это была бы стрелка Знаменки и Волхонки. Сойдясь, обе дороги какое-то время делили в пути к подкремлевскому торгу ложе Воздвиженки, но когда Дмитрий Донской расширил Кремль, Волоцкий путь ушел на ложе Никитской улицы.

Словом, боровицкий торг распался на два: подкремлевский, окончательно остановившийся на Красной площади, и занеглименский, арбатский. Последний стал, по существу, еще- и кроме-торгом, опричным в буквальном смысле слова.

Так расчерчивались и осваивались вглубь оба начальные холма Москвы.

Не позже 1445 года бывшая крепость на Ваганькове стала великокняжеским двором. А ее военный дух словно переместился вслед за торгом на арбатский перекресток. Здесь уже в 1453 году стояла церковь святых Бориса и Глеба, причастная военным ритуалам. Через сто лет она была назначена соборной (старшей) для Пречистенского сорока, то есть для округа Арбата. Само имя которого, впервые записанное в 1475 году, при втором упоминании, в 1493-м, оказывается урочищным определением Борисоглебской церкви: выгорел посад за Неглинной по Черторью до Бориса и Глеба на Арбате. (В том же пожарном известии впервые упомянута Троица в Старых Полях.)

Москва сосредоточивалась, собиралась с силой на Арбате, когда бывала угрожаема от запада, включая северо- и юго-запад, и даже от юга. Враг мог идти Смоленской или Волоцкой дорогой, то есть от перевоза в Дорогомилове, от Сетунского или Пресненского бродов. Но мог и от Крымского брода, которым всего уверенней переходила реку конница, прежде всего татарская. Да и Ваганьковская крепость, прикрывая Всехсвятский брод — нынешний Каменный мост, пристреливала южную и юго-восточную дороги. Словом, Арбат благодаря естественному расположению бродов и искусному расположению перевозов был центром обороны от двух третей мира.

Арбат оборонял треть треть — Кремль, которому служил предместным укреплением. Если же Арбат обращался против Кремля, то делался в его глазах передним краем, цитаделью другого мира, каковым и был Опричный двор, каков и дом Пашкова на месте первоначальной арбатской крепости. Считается же, в самом деле, что опричный «орден» был зеркально уподоблен только что разгромленному ордену ливонцев.

Приуроченный к Борисоглебской церкви военный ритуал лучше всего описан в хрониках под 1562 годом. Ливонская война переросла тогда в войну с Литвой за орденское наследство, и Иван IV дважды выступал в поход: «Ашел царь и великий князь к Борису и Глебу на Арбат за образы, а с ним царь Александр Казанской и бояре и дети боярские многие, которым с ним быти на его <литовском> деле; а со образы шел архиепископ Ростовский Никандр и архимандриты и игумены. И слушал царь и великий князь обедню у Бориса и Глеба на Арбате». В другой раз тем же годом царь с митрополитом Макарием, с Никандром и со всем воинством шли к Борисоглебской церкви за образом Донской Божией Матери, «еже бе тот чудотворный образ Пречистые с прародителем его, с великим князем Дмитрием Ивановичем был, егда князь великий Дмитрей победи безбожного Мамаю на Дону». Царь с войском слушали обедню в храме и совершили молебен, «чтобы их христиан ради святых молит Господь Бог путь его царю дал мирен и безмятежен и победу на враги его, иде же бы дом Пречистые Богородицы и град Москву и вся живущая в них и все грады государства его от всякого злого навета Бог сохранил». Здесь же, у Бориса и Глеба, царя встречали на следующий год, из взятого Полоцка.

Еще два года — и царь разделил землю. Опричина стала тогда почти синонимом Арбата как пространства, совпадая с ним в межах. И в сродоточии —

на нынешней Арбатской площади. И по фасаду: новая крепость Занеглименная, Опричный двор, была поставлена преемственно от старой — в переднем, противокремлевском крае холма, лишь на другом его плече. Преемственность сказалась в том еще, что новый двор тоже пристреливал истоки Смоленской и Волоцкой дорог; просто сами дороги переместились на Воздвиженку и Никитскую.

С преодолением опричного раздела земли Кучково и Арбат могли больше не меряться своими таинственными силами, а вновь сложить их по количеству и знаку, по направленности, равно охранительной.

В Смутное время город востребовал эту земную — только ли земную? — механику. Всего красноречивей, что Пожарский, сражавшийся в прологе освобождения, в 1611 году, у собственного дома на Кучковом Поле, в кульминацию 1612 года сражался на Арбате.

Но сначала надо знать, что накануне Смуты город раздался за Неглинную, за Язу и за Москву-реку кругами Белых и Скородомных стен. Скородом — внешние стены — заключил в себя и пространство Арбата, а Белые стены — внутренние, — взяв ручей Черторый за пристенный ров, легли через главный арбатский перекресток, с устройством ворот над ним. Борисоглебский храм вошел в черту Белых стен, от которых отделялся только крепостным проездом.

Подойдя из Ярославля с ополчением, Пожарский встал в пяти верстах от города, на Язуе (в своем Медведкове, быть может). Дорога его прихода — древняя Владимирская — в черте Москвы не миновала бы Кучкова Поля; но князь послал разведать Арбатские ворота. Польский гарнизон в Москве ждал выручки от короля, стоявшего в Смоленске, и Пожарский должен был развернуться против Кремля и против внешней силы одновременно. Эту возможность предоставлял ему один Арбат, всегда именно так двусмысленно развернутый.

Придя в Москву, ополченцы остановились около Арбатских ворот, поставили станы возле Каменного (Белого) города, у стен, сделали острог и окопали его рвом. Ров, видимо, обводнили из Чертория. Едва успели укрепиться до подхода гетмана Ходкевича, вставшего на Поклонной горе и переправившегося по Сетунскому броду, под Новодевичьим монастырем.

В семичасовом конном и пешем сражении 22 августа у Пречистенских ворот победа осталась за Пожарским. Гетман вернулся на Поклонную гору, а 23-го перешел станом к Донскому монастырю, в Замоскворечье. Тогда Пожарский перешел к церкви Ильи Обыденного, на Остоженку, то есть на москворецкую кромку Арбата. Оттуда можно было равно контролировать Крымский и Всехсвятский броды и видеть с высоты как Кремль, так и Замоскворечье. Где на нынешних Ордынке, Пятницкой и Крымском валу развернулось второе сражение, 24 октября. Гетман был опрокинут и наутро бежал от Москвы.

Еще два месяца длилась осада Китай-города и Кремля. Первый был взят приступом князя Трубецкого 22 октября, а сидевшие в Кремле капитулировали 26-го.

1 ноября мы видим полк Пожарского собравшимся у церкви Иоанна Милостивого на Арбате. Сбор назначался для торжественного входа в Китай-город и совместного с полком Трубецкого молебна на Лобном месте. Милостивская церковь стояла близ Арбатских ворот в черте Белого города. Она была упразднена через два века, пострадал в пожаре 1812 года. Характерно, что престол ее перенесли в соседнюю Борисоглебскую церковь, где устроили придел Иоанна Милостивого. На былом церковном месте еще через сто лет вырос доходный дом, известный как дом «Моссельпрома». Венчающая его зубчатая башня архитектора Лолейта участвует в ансамбле Арбатской площади, напоминая иные времена, а знаменитый тыльный фасад с рекламой Родченко и Маяковского стал главным так же не случайно, как неслучайным было здесь присутствие Пожарского: это фасад на сторону Кремля. Церковь Иоанна Милостивого стояла в той же части домовладения, в нынешнем Малом Кислов-

ском переулке. Из переулка кое-где еще видны верхи Кремля, словно лежащего в низине, и можно оценить все преимущества позиции Пожарского.

Арбат стал полем боя и в эпилоге Смуты, в 1618 году, когда сам королевич Владислав пришел к Москве, пообещавшейся ему за восемь лет до этого неосторожной клятвой. (Почему и новый выбор, сделанный землей в 1613 году, самому выбранному царю казался обратимым.) Владислав встал в Тушине, а его союзник сечевой гетман Сагайдачный — в Замоскворечье. В ночь на Покров, 1 октября, гетман приступил к Арбатским и Тверским воротам Белого города, причем у первых захватил некий острог — видимо, бывший острог Пожарского. «Едва Бог сохранил царствующий град Москву; помощи же Пречистой Богородицы, славного Ея Покрова, тех литовских людей от города отбиша». В осаде сидели Пожарский, князь Федор Иванович Мстиславский, Иван Никитич Романов и другие. Вылазка москвичей за стены, на нынешнюю улицу Арбат, превратилась в сражение и принесла победу. Королевич ушел от Москвы, и вскоре был заключен Деулинский мир.

Когда по условию мира из польского плена вернулся и стал патриархом отец молодого царя, Филарет, и развернулось мемориальное храмостроительство, то раньше событий Смуты была отмечена память осадного сидения 1618 года. Среди Покровских храмов этих лет — вотчинных храмов Романовых, Пожарского, Мстиславского — был и придел в церкви Николая Явленного на Арбате, подле места битвы.

Как новый Сретенский монастырь распространил понятие о местности Кучкова Поля на север от Старых Полей, так церковь Николая Явленного задавала вектор военной ауры Арбата, вышедший из точки Борисоглебской церкви.

Недаром полагают, что в Никольском храме стояла крестильная купель Суворова, родившегося в этом приходе.

Недаром и путь Пьера Безухова, с кинжалом под мужицким кафтаном, 3 сентября 1812 года лежал «на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в вооружении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело» — убийство Наполеона. Правда, «ежели бы он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль...». А накануне и тоже по Арбату вступал в Москву авангард Мюрата. У Толстого Мюрат остановился «около середины Арбата, близ Николая Явленного... ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость „le Kremlin”». Участь иноземцев на этот раз решалась не на Арбате, а на Кучковом Поле, на Пожарском дворе, откуда еще 1 сентября граф Ростопчин распорядился о поджогах города.

В николаевское время Никольская церковь была разобрана и выстроена вновь. С Борисоглебской церковью это случилось веком раньше и получилось лучше: возникло здание изысканно барочное. Обе церкви были бесчинно снесены в 30-х.

Тогда же на место Никольской церкви предположили (но не построили) жилой дом для командного состава Красной Армии. В то время на Арбатской площади расположилось ведомство обороны.

Красное командование выбрало Арбатскую площадь сразу: Реввоенсовет и наркоматы армии и флота поместились в доме Александровского военного училища на Знаменке, угол Пречистенского бульвара. Само училище поддерживало на Арбате военную тему с 1860-х годов, наследуя, в свою очередь, Сиротскому кадетскому корпусу.

Огромный дом на Знаменке образовался при Апраксиных, в исходе XVIII века, из нескольких дворов, даже кварталов, с надстройкой и соединением многих стоявших в них строений. При юнкерах дом представлялся крепостью благодаря протяженной, в квартал, ограде двора, способной напомнить, при всей невыразительности, о стенах Белого города, к черте которых выходила. Эта ограда и создаваемое ею впечатление одни остались неизменны

после перестройки дома Министерством обороны. Крепостное впечатление даже усилилось: над домом появилась башня, перекликаясь с башней «Моссельпрома» через площадь. Перестройка шла в 1944 — 1946 годах и знаменовала, конечно, победу в войне.

У alexандровца Куприна в романе «Юнкера» есть все, что нужно знать об Александровском училище, и трудно вспомнить дом в Москве, описанный на большем числе страниц. (Разве что Воспитательный — дом-город, ставший у Александра Грина домом «Золотая цепь», домом-романом.) Если и на Знаменке стоит дом-город, то он порожден обстоятельствами места — Арбатской площади как дополнительного к Боровицкой артериального узла, как поля встречи противоречивых смыслов. В любом случае это дом-роман.

В котором (доме и романе) значение имеют присяга императору, рыцарство и московскость — такая, что героям удивительно, как император может жить в Санкт-Петербурге. Москва гордится Александровским училищем как средоточием военного присутствия. Училище есть новый образ этого присутствия, образ военного Арбата.

Есть и другой Арбат — интеллигентский. Но интеллигентское теряет силу на пороге дома и романа. В этом смысле они отделены от Арбата стеной. Или решеткой: герою книги, Александрову, припоминается «тот бледный, изношенный студент, который девятого сентября, во время студенческого бунта, так злобно кричал из-за железной ограды университета на проходивших мимо юнкеров: „Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы, пушечное мясо! Душителы свободы! Позор вам! Позор!“». Университет — фасад Арбата на стороне Кремля, как был фасадом и Опричный двор; аудиторный корпус университета занимает северную часть Опричного двора. Такой Арбат против Кремля. В его жестикуляции слиты две фронды — Иванца Московского и Герцена, или, как сказал бы Борис Зайцев, «герценов».

Сила, сосредоточенная в Александровском училище, пока другого рода, и слова студента ей горох. Но в противостоянии гражданском эта сила может быть повернута и слиться с жестом фронды. Так это было, без необходимости, в опричнину и, по необходимости, в исходе Смуты. Во всяком случае, Арбат интеллигентский, чья боевая разрушительная сила рассредоточена пока что по квартирам и особнякам (вроде того, где наверху жил Зайцев, а внизу делали бомбы), — этот Арбат рассчитывает овладеть и древним средоточием защитной силы. Овладеть во зло, как царь опричников, а не во благо, как Пожарский.

На внешнюю угрозу Арбат военный всегда ответит недвусмысленно. «Нет, не прав был этот студентиска, — думает сейчас Александров, допевая последние слова молитвы Господней. — Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськан чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовностью пойду защищать от неприятеля: и этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой. Умереть за отечество. Какие великие, простые и трогательные слова! А смерть? Что же такое смерть, как не одно из превращений этой бесконечно непонимаемой нами силы, которая вся состоит из радости». Это через солдата заявляет себя военный центр Москвы. Но такая ясность станет невозможной в 1917 году.

3. Красное и черно-белое

В семидневном октябрьском междоусобии «белый дом на Знаменке», как называл свое училище Куприн, сделался тактическим, оперативным штабом правительственных сил. Военно-стратегическим стал Штаб московского округа во главе с полковником Рябцевым, тоже располагавшийся в арбатском ареале — на Пречистенке, 7. Штаб округа был, в свою очередь, к услугам московского Комитета общественной безопасности, который образовался 25 числа. Комитет базировался поначалу в Городской думе на Воскресенской площади, и председательствовал в нем городской голова Руднев.

В лучшие свои часы силы правительства держали под контролем Думу и вообще значительную часть Москвы, включая Кремль, куда в разгар событий

перебрался Комитет общественной безопасности. Но только в худший час стало понятно, где помещался силовой и нервный центр белой Москвы: последним, 3 ноября, уже после капитуляции Комитета в Кремле, сдалось Александровское училище. Окопы и баррикады окружали дом-квартал, как стан Пожарского тремя веками раньше окружен был острогом и рвом. Окружной же штаб можно считать, вопреки формальному главенству, тактической проекцией, оперативным отнесением арбатского острога к Пречистенским воротам, переизданием второго стана Пожарского, бывшего у Ильи Обыденного на Остоженке.

Вообще, межи древних уделов и узлы земли явились разом на карте октябрьских боев.

С утра решительного дня 27 октября белый военный Арбат распространяется к традиционным точкам своего контроля — мостам Дорогомиловскому (Бородинскому), Крымскому, Большому Каменному — и даже к Москворецкому мосту и Красной площади. Хотя вечером красный отряд и прорывается через Красную площадь с боем из Замоскворечья на Тверскую, к революционному Комитету в Моссовете, но площадь остается под контролем белых. Граница красного и белого колеблется между Никитской и Тверской, что в мирных обстоятельствах есть только колебание нашего предствления об арбатском мире. Знаком этой неустойчивости служит переход из рук в руки дома градоначальника, то есть начальника полиции, на середине Тверского бульвара. Пространство южнее Никитской как древней опричной границы бесприемно бело, и гагаринский дом у Никитских ворот служит его северным бастионом. Западные бастионы этого пространства суть Катковский (Николаевский) лицей и комплекс Провиантских складов — оба в конце Остоженки, у Крымского моста, а также 5-я школа прапорщиков в Смоленских переулках, на горе между Арбатом и Бородинским мостом. Мост соединяет город с Киевским вокзалом, на который ожидают, но не приходят белые части с фронта.

На следующий день, 28-го, юнкера захватывают здание почтамта на Мясницкой, с телеграфом и междугородним телефоном в нем, и городскую телефонную станцию рядом, в Милютинском переулке. Оба пункта, стратегические в терминах нового века, принадлежат Кучкову Полю. Кроме того, телефонная станция — многоэтажная, на высочайшем в городе Сretenском холме — становится стратегической крепостью и в самом традиционном смысле этих слов. Наружность станции такова, как будто архитектор Эрихсон в 1904 году предвидел ее будущую роль. Делается белой крепостью и гостиница «Метрополь», стоящая в Старых Полях. Белые Кучково и Арбат соединяет цепь укрепленных зданий вдоль нижнего течения невидимой Неглинной: Большой театр, Городская дума, гостиница «Националь», Манеж.

Тем же днем красные роты 56-го полка, заблокированные в Кремле, сдаются и расстреляны вступающими в цитадель юнкерами. Сдающиеся не знают, что за кольцом белой блокады лежит мало сказать не усмиренная — отомблизванная к исходу тех же суток красная Москва: Басманные, Сокольники, Марьяна Роща, Сущево, Бутырки, Пресня, Хамовники, Замоскворечье, Таганка, Покровка и Неглинный Верх. В этих пределах были разогитированы все казармы, кроме Крутицких, где помещалась 6-я школа прапорщиков, и Красных (вопреки названию), более известных как Алексеевское военное училище — вторая юнкерская школа Москвы. Училище соседствовало в Лефортове с тремя Кадетскими корпусами, также белыми.

Итак, белей всего в 1917 году Арбат в границах древнего удела и стремящийся распространиться дальше. Распространиться, во-первых, на Кучково Поле, защитное значение которого перетолковано на революционном языке: почта, телеграф, телефон... — и на языке архитектуры телефонной станции. Распространиться, во-вторых, в Кремль, который поначалу подконтролен красной земщине, и в ближнее подкремлевье. Городская дума с ее Комитетом общественной безопасности оказываются звеном в цепи, связующей Арбат с Кучковым Полем. Знаменательно, что в первые два десятилетия своего суще-

ствования Дума помещалась в доме Шереметева на Воздвиженке, то есть на месте южной половины Опричного двора. Знаменитый городской голова Алексеев почувствовал опасность этой фрондерской по отношению к Кремлю позиции и перенес Думу в специальное здание, решенное как продолжение Кремля, Китай-города, Красной площади.

Далее, белым островом на красном поле земщины глядел бывший дворцовый, а тогда уже военный центр в Лефортове — в опричнине Петра Великого.

Словом, именно опричное, крошечное сделалось белым. Но знаки наших симпатий не будут сбиты, если принять в соображение два обстоятельства. Во-первых, всякая опричина хочет заключить в себя центры силы, в том числе древнейшие. Во-вторых, в Москве 1917 года Октябрь сражался с Февралем. Белой была Россия Февраля и Реставрации одновременно. Белой была поэтому Москва Арбата, где примирились два начала — интеллигентское и элитарно-военное, до Февраля непримиримые. Городской голова Руднев и полковник Рябцев олицетворяли этот союз. При том, что оба были дети Февраля, эсеры разного оттенка. Незаконной силе противостояла псевдозаконная в отсутствие законной, которую они свалили вместе. Военная элита несуществующей законной власти поставила на меньшее из зол.

В отсутствие законной власти земля расходится по древним трещинам, и две неполноты, как новые опричина и земщина, спорят за право распространить себя на целое.

А что же памятники Гоголя? Нам не понять всего о «старом» памятнике, как не понять всего о жизни и о смерти самого Гоголя. Кажется, лишь разорванность природы Гоголя соположена Арбату. Как и опричного царя, Гоголя посещает ад, и оба героя прибегают к аскетическому покаянию; но это самое общее уподобление. Имя Гоголя Николай, и улицей Святого Николая назван по обилию одноименных церквей Арбат, но ни образ этого святого, ни образец, канон его изображения не проступают за изображением Гоголя. Гоголь чужой каждой отдельной составляющей Арбата.

Интеллигентской и военной в том числе. Оба эти Арбата, сойдясь на площади, сошлись на неуместности здесь Гоголя «поверженного». Арбат военный сказался в том еще, что «новый», триумфальный Гоголь установлен от лица правительства. Такой Арбат сказался вновь, когда на площади возник Генштаб. И в третий раз — когда перед Генштабом возвели Борисоглебскую часовню в память прежней церкви: эсхатологичное, помнящее о конце, небесное барокко старого храма сменилось жизнестойким и земным, посюсторонним классицизмом. Но военному храму действительно споспешней классицизм. Та же коллизия двух Гоголей! — и, между прочим, та же траектория перемещений: новая часовня стоит настолько ближе к «новому» Гоголю, насколько «старый» Гоголь на новом месте ближе к месту старого храма.

Но это означает, что в образе Гоголя «поверженного» все-таки есть что-то арбатское. В конце концов, оба Арбата — интеллигентский и военный — знали поражение и знают ныне.

Видимо, «старый» Гоголь принадлежит причинам, а не следствиям арбатской природы. В этом Гоголе Арбат трактуется как выдох, как закат (наблюдение моих коллег Константина Сиротина и Геннадия Вдовина), запад Москвы. Так же трактует заарбатскую периферию — Девичье поле — памятник Пирогова с черепом в руке. Вдох — на востоке, на восходе, где Первопечатник или, к примеру, Минин и Пожарский. На возражение, что Минин и Пожарский и Первопечатник отмечают не восток, а центр Москвы, остается напомнить мизансцену начала города. Есть два холма — восходный и закатный. Прибыток и ущерб. И есть зенит над ними.

ГАЛИНА МУРАВНИК



ЧЕЛОВЕК ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ: ВЗГЛЯД НАУКИ И ВЗГЛЯД ВЕРЫ

...Се, Человек!

Иоанн, 19: 5.

Человек вошел в мир бесшумно...

Пьер Тейяр де Шарден, «Феномен человека».

В зоопарке у клеток с обезьянами всегда шумно и весело. Кажется, никто не пройдет равнодушным мимо этих забавных существ. Что же вызывает это всеобщее оживление? Обезьяны, хотим мы того или нет, удивительно похожи на нас. Но сходство это — мимика, жесты, «ужимки и прыжки» — какое-то карикатурное. Этот невольный гротеск, очевидно, и забавляет нас. Впрочем, отношение к обезьянам не всегда было столь доброжелательно-снисходительным. Если перелистать страницы «Жизни животных» А. Брема, то можно обнаружить следующие нелицеприятные суждения: «Из древних народов только индейцы и египтяне питали симпатии к обезьянам. Арабы считали обезьян потомками нечестивых людей, которые прокляты с того дня, как они по суду Всевышнего превращены в обезьян. Они обречены Богом на вечные времена носить в себе отвратительное соединение человеческого подобия и бесовской внешности. Мы, европейцы, более склонны видеть в них карикатуру на человека, а не существ, имеющих сходство с нами по строению своего тела». Справедлив ли столь суровый приговор? Мы отнюдь не случайно заговорили о представителях отряда приматов, поскольку проблема происхождения человека, которой посвящена эта статья, имеет непосредственное отношение к нашим «ближайшим родственникам», как порой именуют обезьян.

Место человека в системе живой природы определил еще Карл Линней — известный шведский ученый XVIII столетия, автор первой научной классификации природы. Им был введен и термин «приматы», означающий «первенствующие». В этот отряд на основании комплекса морфологических признаков был помещен вид, которому Линней придумал величественное имя *Homo sapiens* — Человек разумный.

Конечно, во времена Линнея о приматах знали не много (парадоксально, но сам он никогда не видел ни одной живой обезьяны, его знакомство с ними было заочным). Однако даже в ту пору было понятно, что их «первенствующее достоинство» состоит в высоком — по сравнению с другими млекопитающими — уровне строения и поведения. Но все же сомнения в правильности систематического положения человека, видимо, не покидали Линнея. И он нашел

Муравник Галина Леонидовна родилась в 1954 году в Орле, окончила биологический факультет МГУ, руководитель секции преподавателей биологии православных школ Москвы, преподает биологию в Московском лицее духовной культуры во имя прп. Серафима Саровского. Выступала в православных изданиях с рядом публикаций по проблемам эволюции и антропологии, взаимоотношения науки и богословия. В «Новом мире» печатается впервые.

поистине соломоново решение, выделив вид *Homo sapiens* в особое царство — Царство человека.

В конце XVIII столетия был опубликован труд Ж.-Л. де Бюффона «История земли». В нем автор, названный современниками «Плинием XVIII века», не только обстоятельно изложил многовековую геологическую и биологическую историю нашей планеты, но и первым из ученых высказал «крамольную» мысль: люди — потомки обезьян. Нетрудно догадаться, какова была реакция. Сорбонна, старейший научный центр Европы, вынесла суровое решение: книга была публично сожжена палачом. Престарелого Бюффона спасла от более серьезных последствий только его блестящая многолетняя просветительская деятельность и слава ученого с мировым именем.

Однако слово о родстве человека и обезьян было произнесено. Независимо от желания автора эта гипотеза стала обретать сторонников и противников. Натуралисты, философы, богословы в течение веков искали ответ на жгучий вопрос — как человек пришел в мир. Каждая эпоха отвечала на него по-своему.

Демииург и другие «творцы». Многочисленные древние мифы, повествующие о происхождении (сотворении) человека, принято называть антропогоническими. Греческое слово «anthropos» означает «человек». Интересна этимология этого слова. Приставка «ано» означает «вверх», «тропо» — «стремиться, оборачиваться». Таким образом, в самом наименовании человека содержится чрезвычайно важная мысль: человек — существо, стремящееся вверх, как бы обращенное к небесам. Это ощущение связи человека с небесами, а значит, и с Богом у древнейших времен присутствовало у всех народов, при значительной внешней несхожести антропогонических мифов.

Наиболее распространенный сюжет мифа — это сказание о том, что божество (у разных народов оно имеет разные имена) лепит человека из глины, высекает из камня, вырезает из дерева или кости. Словом, демииург — «ремесленник, создатель» — выступает в роли мастера, создающего живую человеческую плоть из «подручных материалов», которые, видимо, традиционно использовались данным народом в быту.

Известны мифы, содержащие более сложную идею: человек мыслится не просто как нечто телесное, но имеет еще одну составную часть — душу. Следовательно, уже на заре истории рождается интуиция о двойственной природе человека.

Древняя Греция, страна ученых и философов, подарила миру собственные идеи о происхождении человека — от высказанной Аристотелем парадоксальной мысли о том, что человек существовал вечно, до стихийно-материалистических попыток объяснения его возникновения из самых разных субстанций (воды, воздуха, рыбоподобных существ).

Иную точку зрения находим мы у «бога философов» Платона. Он считал, что начало материальному миру дал демииург, по воле которого произошло заселение Земли. И первым ее живым обитателем стал человек, сотворенный по образцу, который существовал в мире идей. Человек, пишет Платон в диалоге «Тимей», имел не только тело, но и душу, причем не одну, а две — бессмертную и смертную. Но человек — не только первенец Земли, но и прародитель всех животных, которых Платон считал различными несовершенными модификациями людей.

Однако Древний мир оставил нам еще один письменный источник, принципиально отличающийся от вышеупомянутых. Это Библия, первые главы которой повествуют о творении человека. Это краткий, можно сказать, конспективный рассказ, метко названный одним из исследователей «Божественным протоколом» (И. Ш. Шифман). Наверное, нет другого ветхозаветного текста, на который было бы написано такое количество комментариев. В чем причина столь сильной притягательности? Очевидно, в том, что данный текст таит в себе ответы на многие вопросы, в нем скрыта и тайна прихода в мир человека.

Жажда целостности. Наука в сегодняшнем понимании этого слова начала складываться в Новое время, пришедшее на смену Средневековью. Естествознание устремилось к исследованию самых сложных проблем, и в первую очередь — проблемы происхождения человека. При знакомстве с работами этого периода обращает на себя внимание попытка естествоиспытателей (таких, как Ж.-Л. де Бюффон, Эразм Дарвин, Ж.-Б. Ламарк и другие) совместить данные формирующейся науки с христианским учением о творении мира. Задача науки в их понимании — это познание Творца через оставленные Им следы в мироздании. Природа воспринималась как живая икона, естественное откровение. Размежевание науки и богословия, начавшееся в позднем Средневековье и повлекшее за собой десакрализацию науки, еще не достигло того рокового момента, когда наука окончательно покинула свою «колыбель» — религиозную философию — и ступила на самостоятельный, независимый путь поиска.

Именно в это время Бюффоном и была высказана мысль о происхождении человека от обезьяны. Публичное сожжение «богохульного произведения» не могло остановить тех, кто искал ответ на сложнейший из вопросов естествознания. Версия Бюффона, кажется, лишь подбросила дров в костер. Отголоски этой дискуссии можно найти в работах философов (И. Кант) и натуралистов (И.-В. Гёте).

Впервые вопрос о механизме возникновения человека был поставлен автором известной эволюционной теории Ж.-Б. Ламарком. Он признавал, что по своим физическим особенностям человек ближе всего стоит к человекообразным обезьянам, в частности к шимпанзе, поэтому вполне допускал его происхождение от какой-нибудь разновидности «четвероруких». Но как? Ламарк первым разделил проблему на две части: происхождение физического тела в результате эволюции и появление богоподобного разума. Может показаться, что предложенная им схема эволюции человека не отличается от эволюции других видов живых существ. Однако прочитаем внимательно следующие строки его «Философии зоологии»: «Вот к каким выводам можно было бы прийти, если бы человек... отличался от животных только признаками своей организации и если бы его происхождение не было другим (здесь и далее в цитатах курсив мой. — Г. М.)»¹.

Что же отличает человека от других животных, если не признаки его организации? Ламарк считал, что это богоподобный разум, который не мог быть приобретен в процессе эволюции. Богоподобие человека не выводится из естественных законов природы. Но вместе с тем это — решающий этап становления человека, который был осуществлен при Божественном участии, а не в результате какого-либо природного процесса.

Чарлз Дарвин и «обезьяний вопрос». В 1871 году вышла в свет книга Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой подбор». Дарвину обычно ставят в вину, что он первым осмелился утверждать, будто человек произошел от обезьяны. Но здесь «лавры» принадлежат, как уже было сказано, не ему, а Бюффону. Дарвин же пытался обосновать положение о том, что между человеком и обезьянами существовало некое связующее звено — общий предок, от которого они ведут свое происхождение: «Человек должен был развиться от какой-либо обезьянообразной формы, хотя и не может быть сомнения в том, что форма эта во многих отношениях отличалась от членов ныне живущих Primates»².

В своем труде Дарвин опирается на две науки: сравнительную анатомию и эмбриологию, подробно анализируя большой фактический материал. Если разбирать приводимые им аргументы с позиции сегодняшнего знания, становится понятно, что продемонстрировать появление человека путем естественного отбора (и даже опираясь на специально введенный им механизм полово-

¹ Ламарк Ж.-Б. Философия зоологии. Т.1. М., 1935, стр. 279.

² Дарвин Ч. Происхождение человека и половой подбор. М.—Л., 1927, стр. 245.

го отбора) Дарвину не удалось. Признавая, что его теория сталкивается со множеством трудностей, Дарвин был твердо убежден лишь в том, что человек, несмотря на все его достоинства, «все-таки носит в своем *физическом* строении неизгладимую печать низкого происхождения»³. Следовательно, он признал доказанным лишь факт эволюции физического тела человека. Таков корректный вывод ученого. Но тело — это еще не весь человек в его полноте.

Кунсткамера или камера-обскура? Интересно сделать небольшое отступление и приоткрыть читателям одну малоизвестную страницу истории науки, имеющую отношение к обсуждаемой проблеме. Как уже было сказано, Дарвин для доказательства происхождения человека использовал данные эмбриологии. При этом, не будучи эмбриологом, он опирался на работы, выполненные специалистами в этой области, в частности, известным эмбриологом Карлом фон Бэром, который впервые описал феномен так называемого зародышевого сходства. Дарвин понял, что обнаруженное сходство на некоторых стадиях эмбриогенеза между зародышами позвоночных животных есть очень сильный аргумент в пользу его теории, поскольку общность эмбриональных структур у представителей разных классов животных свидетельствует о происхождении одних групп от других в процессе эволюции. Следовательно, основываясь на данных сравнительной эмбриологии, можно проследить эволюцию той или иной таксономической группы.

Надо сказать, что, изучая и сравнивая зародыши разных групп животных, Бэр пришел к мысли, что им обнаружен некий Божественный план, в соответствии с которым идет эмбриональное развитие — процесс строго упорядоченный, выверенный до тонкостей. Однако Дарвин позаимствовал у Бэра лишь ту идею, которая могла служить подтверждением его эволюционной теории.

В дальнейшем классические работы Бэра были преданы забвению, а его учение о зародышевом сходстве претерпело значительные изменения. Автором нововведений был немецкий ученый Эрнст Геккель, который сформулировал так называемый «биогенетический закон», надолго обосновавшийся на страницах учебников по биологии. Однако история его рождения вызывает такое множество вопросов, что поневоле слово «закон» приходится брать в кавычки.

Геккель рано проявил себя как способный естествоиспытатель, но все свои силы и энергию он посвятил пропаганде дарвинизма. В этом, бесспорно, нет ничего неожиданного, однако постоянным лейтмотивом его писаний, своего рода навязчивой идеей, было то, что для торжества истинного учения необходимо разрушить христианские церкви, уничтожить и искоренить веру в Бога. Только это, по мнению Геккеля, поможет снять покров тайны с природы, разрешить все ее загадки.

За что же преуспевающий профессор так яростно ополчился на христианство? В детстве он получил традиционное религиозное воспитание, однако в юности, пережив кризис веры, он не просто разочаровался в христианстве или отошел от него. Геккель решил создать свою собственную религию — «культ монистов», как он ее назвал. Но для этого вначале надо было разрушить христианское мировоззрение, чем он с жаром занялся. Каковы были основные атрибуты нового культа?

Прежде всего он определил свою собственную «троицу», которая включала истину, добро и красоту; «свою библию», роль которой играла его книга «Естественная история миротворения» (Л. Толстой назвал ее «евангелием для неверующих»); свои культовые здания — филогенетические музеи, которые необходимо было создать на месте церквей. Словом, было продумано все необходимое для новой религии, не хватало только «пророка». И таким верховным пророком Геккель «скромно» назначил себя самого.

³ Дарвин Ч. Происхождение человека и половой подбор, стр. 611.

Он предсказывал: «Современное естествознание не только разрушает суеверие (под которым следовало понимать христианство. — Г. М.) и сметает с лица земли остатки его, но оно на освободившемся месте строит новое здание; оно воздвигает храм разума, в котором мы, основываясь на новом монистическом мировоззрении, поклонимся триединому божеству XIX столетия — истине, добру и красоте»⁴.

В Германии, на родине «пророка», стали появляться многочисленные общества «свободомыслящих монистов». Берлинское отделение этого общества даже издало циркуляр, предписывающий спешно «установить официальный культ и обожание „монистов”»⁵. Геккеля предлагалось назначить «первосвященником» нового культа. 30 июня 1908 года Геккель открыл в Йене первое здание, воздвигнутое в честь нового «божества». Он выступил с пышной речью, в которой заявил, что «филетический музей будет храмом для религии чистого разума»⁶.

А далее произошло то, что неизбежно должно было произойти. «В начале 1911 года Геккель вышел с шумом из протестантизма, он сбросил наконец с себя маску, под которой скрывал свою ненависть к христианству. И если в начале своей антихристианской деятельности он говорил о своей вражде лишь к католичеству, то теперь он открылся перед всем миром как враг христианской религии вообще», — писал Н. Соловьев⁷. Таков портрет Геккеля — псевдорелигиозного деятеля. А что представлял собой Геккель-ученый?

Охотно занимаясь словотворчеством, он ввел два научных понятия — филогенез и онтогенез. Филогенезом называется исторический путь развития вида. Онтогенез — это период индивидуального развития особи от оплодотворения до конца жизни. Геккель обобщил взаимоотношения онтогенеза и филогенеза и в 1872 году сформулировал «основной биогенетический закон», гласящий: онтогенез всякого организма есть краткое повторение (рекапитуляция) филогенеза данного вида.

Как ясно из определения, каждый организм, проходя этапы индивидуального развития, в то же время повторяет эволюционный путь своего вида, или, как кто-то пошутил, взбирается при своем развитии на собственное эволюционное древо. Действительно ли так? Каковы конкретные доказательства? Они были предъявлены в работе «Естественная история миротворения». На страницах этой книги можно найти свидетельства того, что эмбрионы различных животных и людей на ранних стадиях развития весьма сходны между собой; что ранние стадии развития человеческого зародыша соответствуют взрослым стадиям тех организмов, которые стоят на более низких ступенях эволюционного развития. Возможно, многие еще помнят схему из школьных учебников биологии, запечатлевшую ряды эмбрионов разных позвоночных животных. Обитатели этой «кунсткамеры» — зародыши рыбы, лягушки, птицы, обезьяны и человека в разные периоды развития. «Отец» этих сравнительных рядов — Эрнст Геккель. Но мало кто знает, что использованные им рисунки эмбрионов были позаимствованы из работ других исследователей. Как же реагировали эмбриологи на появление «биогенетического закона», скомпилированного на основании их данных?

Вот мнение наиболее авторитетных из них. Профессор сравнительной анатомии в Базеле Рютимейер доказал и публично об этом заявил, что Геккель одни рисунки эмбрионов выдумал, для других «произвольно видоизменил или обобщил существовавшие модели»⁸. Он установил, что три рисунка (человека, обезьяны и собаки) были сделаны одним и тем же клише. Эта история «о трех

⁴ Геккель Э. Бог в природе. СПб., 1906, стр. 33.

⁵ Соловьев Н. М. Несколько слов о Геккеле. — В сб.: «Научный атеизм». М., 1915, стр. 19.

⁶ Цит. по сб.: «Научный атеизм», стр. 19.

⁷ Соловьев Н. М. Несколько слов о Геккеле. — В сб.: «Научный атеизм», стр. 20.

⁸ Цит. по кн.: Деннерт Е. Геккель и его «Мировые загадки» по суждениям специалистов. М., 1909, стр. 19.

клише», сделанных по одной и той же деревянной болванке, получила бурное развитие на страницах научной печати того времени. Рютимейер квалифицировал поступок Геккеля «как прегрешение против научной истины»⁹.

Надо сказать, что Геккель никогда не лез за словом в карман, однако его тон и стиль были, мягко говоря, некорректными. Он изливал потоки ругательств на самых уважаемых ученых, если они позволяли себе не соглашаться или критиковать его. Е. Деннерт по этому поводу писал: «Своему подлогу, который был ему доказан, он не дает оправдания; напротив, прежнее уверение о сходстве эмбрионов повторяется с тою же дерзостью»¹⁰.

Спустя семь лет профессор анатомии из Лейпцига В. Гис не просто обнаружил, но и доказал с цифрами в руках другие подлоги Геккеля. Он указал, что у геккелевского эмбриона собаки лобная часть головы вышла ровно на 3,5 мм длиннее, чем у Бишофа (из книги которого, по утверждению Геккеля, был взят этот рисунок); у эмбриона же человека лобная часть укорочена против Эккера (автора, у которого Геккель позаимствовал другой рисунок) на 2 мм и в то же время вследствие сдвижения глаза сужена на 5 мм, зато хвост человеческого эмбриона поднимается вверх в 2 раза более своей оригинальной длины. И нелицеприятный вывод: рисунки Геккеля отчасти в высшей степени неверны, отчасти прямо-таки выдуманы.

Нетрудно видеть технологию геккелевских фальсификаций: берутся рисунки из монографий заслуживающих доверия ученых, потом они копируются, якобы с абсолютной точностью, но при этом где-то убавляется, а где-то прибавляется по несколько миллиметров (ну кто догадается проверять такие мелочи?!) — и вот получается именно тот результат, который нужен. Сходство эмбрионов налицо! Даже Дарвин ссылается на работу Геккеля, не чувствуя в ней подлога. В «Происхождении человека» он пишет, что «Геккель тоже привел подобные рисунки»¹¹, взятые у известных эмбриологов.

Но сами эмбриологи — авторы использованных схем — не стали закрывать глаза на происходящее. Один из них, Карл Семпер, в открытом письме Геккелю писал: «Ваши рисунки отнюдь не основываются на действительном наблюдении какого-либо процесса, они схематизируют только выдуманное представление этого процесса»¹².

Научный мир быстро распознал подлог и не принял «открытие» Геккеля. Однако он нашел себе почитателей среди людей, не посвященных в тонкости эмбриологии и не имеющих возможности проверить его утверждения.

Чем же закончилась эта неприглядная история? Вначале Геккель ругался и поносил оппонентов. Потом свалил вину на своего рисовальщика (известный ход — во всем винить стрелочника). Наконец, припертый неопровержимыми фактами, он вынужден был признать подлог. 29 декабря 1908 года в газете «Volkzeitung» он опубликовал следующее «покаяние»: «Небольшая часть моих многочисленных фигур-эмбрионов, от 4 до 8 на 100, действительно подделаны, именно все те, где наблюдения, которыми я располагал, оказались неполными или слишком недостаточными для обоснования непрерывной цепи развития»¹³, то есть для подтверждения «биогенетического закона».

Можно было бы считать, что научная правда восторжествовала, однако в последующих изданиях своих трудов Геккель ничего не изменил. И именно в таком спекулятивном виде и дожил «биогенетический закон» до наших дней (кстати сказать, на Западе об этом «законе» давно уже никто не вспоминает, разве что — в качестве яркого примера научной недобросовестности и фальсификации).

⁹ Цит. по кн.: Деннерт Е. Геккель и его «Мировые загадки» по суждениям специалистов, стр. 20.

¹⁰ Деннерт Е. Геккель и его «Мировые загадки» по суждениям специалистов, стр. 42.

¹¹ Дарвин Ч. Происхождение человека и половой подбор, стр. 66.

¹² Цит. по кн.: Деннерт Е. Геккель и его «Мировые загадки» по суждениям специалистов, стр. 19.

¹³ Цит. по: Соловьев Н. М. Несколько слов о Геккеле. — В сб.: «Научный атеизм», стр. 20.

«Такая точка зрения, — писал в 1977 году С. Гулд, профессор Гарвардского университета, — была научно дискредитирована даже раньше, чем была предложена. Однако Геккель обладал редким умением показать товар лицом, а его теория с легкостью „объясняла“ человеческий прогресс. Поэтому она распространилась в биологии и общественных науках со сверхъестественной скоростью прежде, чем было показано, что в ее основе лежат ложные послышки»¹⁴.

Но остается вопрос: существует ли на самом деле какая-либо связь между онтогенезом и филогенезом? Вот что пишет С. Гилберт, один из наиболее авторитетных современных эмбриологов: «Все позвоночные достигают особой стадии развития, однако делают они это разными способами... Следовательно, самые ранние стадии развития, по-видимому, крайне пластичны. Сильно различаются также более поздние стадии. Что же касается средних стадий развития, то они... несут в себе нечто постоянное»¹⁵. Таким образом, в эмбриогенезе идет постоянный поиск новых путей развития, но отнюдь не повторение пройденного, как утверждал Геккель. Процитированный нами эмбриолог назвал историю появления геккелевского закона «гибельным союзом эмбриологии и эволюционной биологии, сфабрикованным... Эрнстом Геккелем»¹⁶.

Сейчас становится очевидно, что животные, появляющиеся на более поздних стадиях эволюции, возникают не в результате придуманных Геккелем повторений и надстроек в онтогенезе, а совсем по другим причинам. Ключевую роль играют особые мутации, затрагивающие регуляторные, или гомеозисные, гены, которые представляют собой переключатели эмбрионального развития. Именно мутации в гомеозисных генах способны вызывать у зародышей столь крупные изменения, которые, вероятно, могут вести к появлению новых видов. Надо сказать, что видообразование — это загадка, над которой бился, но так и не нашел удовлетворительного решения Дарвин. Да и для современной науки это тоже проблема с пока открытым финалом.

Итак, «в процессе развития вырабатываются решения, используемые эволюцией»¹⁷, — пишет нобелевский лауреат А. Лима-де-Фариа. По всей видимости, изменения в эмбриогенезе служат главным источником эволюционных преобразований. К осознанию этой мысли постдарвиновская наука шла почти сто пятьдесят лет.

Очевидно, что фундамент, на котором Дарвин возводил свое здание эволюционной теории и происхождения человека, оказался довольно шатким. Геккелевская фанатичная вера в правоту дарвинизма и желание всеми правдами, а чаще — неправдами доказать это сыграли злую шутку. Однако, как сказал однажды Л. Д. Ландау, не так страшна ошибка, как последующее заблуждение. Но все тайное, как известно, становится явным...

В поисках утраченного. Надо отметить, что во времена написания Дарвином своей работы еще не существовало палеоантропологии — науки об ископаемых остатках предполагаемых предков человека. Правда, появлялись отдельные находки, но их анализ был весьма затруднен, поскольку палеонтологический материал в то время был крайне беден и плохо изучен. Дарвин считал, что это — дело будущего. И тут он оказался прав.

В 1856 году в пещере Неандерталь недалеко от Дюссельдорфа были найдены части скелета вымершего человекоподобного существа, названного, по месту обнаружения, неандертальцем. Эта находка стала мировой сенсацией. Долгое время неандертальцев считали нашими прямыми предками, а некоторые богословы даже объявили их деградировавшими потомками библейского Каина. О том, каково место неандертальца в филогенезе человека, чуть позже.

¹⁴ Цит. по кн.: Гилберт С. Биология развития. Т. 1. М., 1993, стр. 146.

¹⁵ Гилберт С. Биология развития. Т. 3. М., 1995, стр. 306.

¹⁶ Там же, стр. 309.

¹⁷ Лима-де-Фариа А. Эволюция без отбора. М., 1991, стр. 283.

В том же 1856 году были обнаружены части скелета еще более древнего и примитивного существа — так называемого дриопитека. Далее находки посыпались как из рога изобилия. Это можно считать рождением палеоантропологии. Именно в рамках этой науки поставлены и ждут своего ответа вопросы о том, какие существа были предками человека, когда и где они появились, как жили, почему вымерли, каковы между ними эволюционные отношения и т. д. Словом, палеоантропология пытается прочесть летопись окаменелостей, чтобы сделать шаг в «превращении описаний природы в ее историю», как пишет антрополог Ричард Левонтин¹⁸.

Однако попытка построить филогенетический ряд человека, который призван реконструировать эволюционный путь вида, базируется на той идее (признанной сейчас устаревшей), что эволюция — это якобы линейный процесс и поэтому все ископаемые формы должны составлять единую векторную последовательность, соединяющую прошлое с настоящим. Но в последнее время стало ясно, что ветви эволюционного древа не только ветвятся, но и пересекаются. Поэтому многие исследователи предпочитают теперь не использовать образ древа, а говорить о так называемой сетчатой эволюции (наиболее точным ее графическим отображением является фрактал — особая самоподобная нелинейная структура).

Итак, поиск ответов на вопросы об эволюционном прошлом человечества переместился в область антропологии. Какие же открытия принесла эта наука? Можно утверждать, что строгий научный анализ персонажей филогенетического ряда человека приводит к тому, что ряд этот «рассыпается» на глазах, его некогда выстроенные в шеренгу персонажи разбредаются кто куда. Каждый из них оказывается предком либо современной человекообразной обезьяны, либо «уклонистом» от магистрального пути развития — боковой, тупиковой ветвью эволюции.

Поиски переходного звена, то есть такого существа, которое уже не совсем обезьяна и еще не вполне человек, пока не увенчались успехом, хотя претендентов на эту роль было немало. Но сформулированные строгие критерии, коим должен удовлетворять кандидат на это звание, пока не позволяют остановиться на ком-то конкретном.

В последние годы довольно оживленная дискуссия ведется вокруг ближайшего «родственника» человека — неандертальца. Это существо во всех филогенетических рядах по-прежнему занимает почетное место в непосредственной близости к кроманьонцу, или человеку современного морфологического типа. Действительно ли между ними существуют столь тесные родственные узы?

Стоянки неандертальцев находили неоднократно (всего обнаружено более 80 «экземпляров» неандертальского человека). Кто из архантропов был их предшественником, пока не вполне ясно. Но изучение костей и остатков их материальной культуры позволило многое узнать об этих необычных существах.

Неандертальцы появились в Европе около 120 — 130 тысяч лет назад. Последние представители этого вида жили не позднее 35 тысяч лет назад. Сделанные по костям реконструкции дают наглядное представление об их внешнем облике: рост до 160 см, грубые и толстые кости скелета, череп с низким лбом и выпуклостью на затылке, валик над глазами, скошенный подбородок, но при этом чрезвычайно крупный, почти как у современного человека, мозг.

За время своего земного бытия неандертальцы менялись. Но в каком направлении? Ранние их формы (пренеандертальцы) по совокупности признаков были ближе к *Homo sapiens*, чем формы, появившиеся позднее (классические неандертальцы). Их эволюционный путь шел в сторону все большей специализации. В конечном итоге это оказалось дорогой в тупик. Их линия развития, как стало ясно в последние годы, не имела эволюционного продолжения.

¹⁸ Левонтин Р. Эволюция человеческого разнообразия. — «Химия и жизнь», 1995, № 6, стр. 26.

Хотя некоторые исследователи выдвигают версию о том, что таинственный «снежный человек», возможно, не кто иной, как прямой потомок неандертальцев, вытесненный в малодоступные районы с суровыми условиями обитания. Это могло позволить реликтовому виду сохраниться до наших дней.

На долю неандертальских людей выпали тяжелые испытания — им довелось жить в ледниковый период. Поэтому они научились выделывать шкуры и шить из них шубы, строить жилища и добывать огонь, используя его для приготовления пищи. Они сообща охотились и собирали съедобные растения, изготавливали разнообразные каменные орудия (мустьерская культура). Общественный строй неандертальцев историки называют «первобытным человеческим стадом».

Однако специалисты считают, что «неандертальцы не были хрюкающими полуживотными»¹⁹. Их социальная жизнь содержала явные человеческие черты. Удивительно, но им не было чуждо милосердие. Пожилые неандертальцы болели обычными болезнями старых людей, например артритами. Однако эти немощные сгорбленные существа все же доживали до 40 — 45 лет — весьма почтенного по тем меркам возраста. Следовательно, о них заботились, кормили, давали им место в пещере. Судя по скелетам, среди неандертальцев часто попадаются не просто больные, но и настоящие инвалиды: одноглазые, однорукие. То есть в этом «первобытном стаде» существовали какие-то «социальные гарантии по старости и инвалидности».

Более того, неандертальцы первыми на Земле стали хоронить своих умерших. Но, совершая обряды погребения, они не просто закапывали тела в землю, а предварительно придавали им «эмбриональную позу», или «позу спящего», а могилы обкладывали камнями. Что это могло символизировать? Вопрос непростой. Не менее удивителен тот факт, что погребения неандертальцев сопровождалось приношениями: могилы усопших они украшали цветами. Так, в одной из могил обнаружена цветочная пыльца, сохранившаяся спустя тысячелетия от тех погребальных букетов. В другой могиле рядом с похороненным мальчиком-неандертальцем лежат рога и кости горного козла. Некоторые авторы усматривают в подобном поведении зачатки религиозных верований. Однако вопрос этот остается весьма дискуссионным.

Бесспорно одно: уровень социального развития неандертальцев был много выше, чем у остальных обитателей Земли того периода. Эти удивительные, чем-то, безусловно, похожие на нас создания прожили на Земле около 100 тысяч лет и неожиданно исчезли. Тайну своего ухода они унесли с собой. Проведенные в последние годы исследования показывают, что между неандертальцами и кроманьонцами, которые в течение 5 — 10 тысяч лет жили бок о бок, не происходило метизации. Другими словами, никаких смешанных браков между представителями столь близких видов не заключалось. О том, как были получены эти уникальные результаты, чуть позже.

Итак, скорее всего, неандертальцы представляют собой отдельную эволюционную ветвь, которая ведет не к современному человеку, а в эволюционный тупик. «Путь развития... к современному человеку, по крайней мере в Европе, прошел мимо неандертальцев», — пишет немецкий исследователь Ф. Кликс²⁰. Этот вывод решаются сделать не все антропологи, поскольку тогда в эволюционном процессе становления человека наблюдается явный разрыв. Кроманьонец оказывается без предшественников, лишаясь тех филогенетических нитей, которые могли связывать его с предковыми видами. Превращение палеоантропа в неоантропа выглядит, судя по палеонтологическому материалу, как резкий, быстрый скачок.

«Нашествие» *Homo sapiens*'а. 35 — 40 тысяч лет назад в Европе, все еще плотно заселенной неандертальцами, неожиданно появились новые обитатели.

¹⁹ Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. М., 1983, стр. 46.

²⁰ Там же, стр. 48.

Палеонтологические данные показывают, что они пришли из Африки через Переднюю Азию. По названию места первого обнаружения (Франция, грот Кро-Маньон, 1868 год) им было дано видовое название Человек кроманьонский. Судя по анатомическим особенностям, кроманьонец — это человек современного типа. Он и есть наш далекий генетический предок — первый представитель вида *Homo sapiens* на Земле.

По мнению антрополога Тома Придо, ископаемые люди сапиентного типа отличались от нынешних европейцев не более, чем ирландец от австрийца. При том, что у кроманьонцев уже был особый дар — дар слова. Как считают лингвисты, строение носа, рта, глотки — все свидетельствует в пользу того, что они могли издавать четкие и разнообразные звуки. Что представлял собой их язык — вопрос интригующий, но пока не имеющий ответа.

Когда в 1856 году впервые обнаружили кости неандертальцев, общество было в растерянности. Библейский рассказ о совершенном, Богом созданном Адаме плохо сочетался с этими «обезьянолюдьми». Но найденный двенадцать лет спустя кроманьонец вселил надежды. Древнейший человек вовсе не был похож на обезьяну, его даже назвали «доисторическим Аполлоном» — так строен он был по сравнению с неандертальцем. Это открытие стало знаковым в истории антропологии.

Наиболее древние кости Человека разумного обнаружены в пещерах Кафзех и Схул в Израиле. Это хорошо сохранившиеся скелеты, возраст которых около 100 — 130 тысяч лет. Скорее всего, «колыбель человечества» находилась на африканских просторах, в Европе таких древних кроманьонцев никогда не обнаруживали. Они получили там «вид на жительство» значительно позднее, не более 40 тысяч лет назад, покинув свою историческую родину.

Кроманьонцы жили родовым обществом. Они охотились, ловили рыбу, собирали растения. Эти мужественные путешественники добрались до холодных арктических районов, научившись шить одежду и сооружать жилища. Даже гончарный круг — их изобретение. Они изготавливали весьма совершенные по тем временам орудия труда, но не только каменные, а также из костей, рогов, бивней. Это была ориньякская культура позднего палеолита, которая отличалась от мустьерской культуры неандертальцев. Видимо, они не заимствовали технические изобретения у своих соседей, а делали их самостоятельно.

Но все эти достижения меркнут по сравнению еще с одним: кроманьонцы были первыми в мире художниками. 30 — 40 тысяч лет назад они расписывали стены своих пещер, украшали рисунками одежду, предметы быта, инструменты. То, что сохранило время, свидетельствует о высочайшем уровне их художественного мастерства. Рисунки и скульптура этих неизвестных художников по праву считаются одними из величайших шедевров, когда-либо создававшихся людьми. Это искусство служит отражением богатой, духовно наполненной жизни людей палеолита. Но создавалось оно не только в качестве украшений. «Есть все основания полагать, что творчество древнейших художников стояло, подобно творчеству нынешних примитивных племен, под знаком религии. Статуи, резные фигурки и пещерные росписи были культовым искусством», — пишет отец Александр Мень²¹. Проведенные исследования творчества народностей, сохранивших черты первобытного социального устройства, таких, как бамбути, бушмены, андаманцы, дают основания для подобных утверждений.

Но если искусство кроманьонцев носило культовый характер, то неизбежен вопрос об их религиозных верованиях. Долгие годы бытовало мнение, что дикарям присущ «стихийный материализм», поэтому многие примитивные племена объявлялись безрелигиозными. Однако тщательные этнографические исследования выявили иную картину. Чем меньше народ подвержен влиянию

²¹ Мень А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7-ми томах. Т. 1. Истоки религии. М., 1991, стр. 158.

цивилизации, тем более отчетливо в его религиозных верованиях видны следы монотеизма. Таким образом, исходной формой религии был не политеизм, как считалось ранее, а монотеизм — вера в Единого Бога, сладости общения с Которым лишился, в соответствии с Книгой Бытия, первочеловек. Далее — по мере развития цивилизации — происходило постепенное отдаление человека от Всевышнего и искажение представлений о Нем, что и привело к появлению разнообразных языческих культов с их многобожием, шаманством и магией. Таково мнение одного из крупнейших этнографов, В. Копперса, много лет прожившего среди огнеземельцев и посвященного во все тайны их религиозных верований. Аналогичны выводы ряда других авторов, основанные не на анализе музейных экспонатов с последующей весьма вольной интерпретацией, а на собственном многолетнем опыте жизни среди примитивных народов.

Что касается кроманьонцев, то чрезвычайно трудно реконструировать, на основании того, что мы сейчас о них знаем, их религиозные представления. Однако внимательный анализ палеолитического искусства свидетельствует о том, что они не практиковали ни шаманство, ни магию. Возможно, вера в Единое Высшее Благое Существо в те времена еще не была ими утеряна или искажена.

Представляет интерес и вопрос о взаимоотношениях неандертальцев и кроманьонцев в течение тех тысячелетий, что им пришлось прожить рядом. Мы упоминали о существовании точки зрения, согласно которой метизация между этими видами не происходила. Но каковы причины такой репродуктивной изоляции? Возможно, отчасти это объясняется биологическим, отчасти культурным барьером, которые существовали между ними. Скорее всего, кроманьонцы вытеснили своих соседей путем «мирной конкуренции». Правда, есть и другая версия. Часто в местах стоянки кроманьонцев находят обглоданные кости неандертальцев. Комментарии, как говорится, излишни... Таким образом, кроманьонско-неандертальские войны (например, за территорию для охоты) могли иметь место в праистории человечества.

Какой же вывод может быть сделан относительно происхождения человека на основании почти стапятидесятилетнего изучения палеонтологического материала? Сошлемся на мнение авторитетного американского антрополога Ричарда Левонтина, который пишет: «Вопреки волнующим и оптимистическим утверждениям некоторых палеонтологов, *никакие ископаемые виды гоминид не могут считаться нашими предками...* Мы не имеем ни малейшего представления о том, какие из этих видов были прямыми предками человека (если вообще хоть какие-то из них были ими)²². Конечно, есть и другие точки зрения. В то же время надо иметь мужество признать, что картина, старательно рисуемая на страницах научно-популярной литературы относительно предков человека, выстроенных в единый стройный ряд, является не более чем анахронизмом, очередным «научно-антропогоническим» мифом. Летопись ископаемых свидетельствует о том, что человек появляется внезапно, или, как говорят ученые, сальтационно, с комплексом тех морфо-физиологических признаков, которыми он обладает и сегодня. Наш вид оказался «эволюционным сиротой» (по крайней мере — на данный момент).

Если окаменелости не могут в деталях рассказать свою историю, то это означает одно: надо искать принципиально новые подходы для реконструкции событий отдаленного прошлого. И они были найдены.

«Митохондриальная Ева» et cetera. Разговор о происхождении человека можно было бы считать на этом законченным, если бы не одно «но». В 1980-х годах произошла, как выразился один из участников этих событий, «бесшумная революция» в антропологии. Появились данные, которые радикальным

²² Левонтин Р. Эволюция человеческого разнообразия. — «Химия и жизнь», 1995, № 7, стр. 32 — 33.

образом трансформировали прежние представления о ранних стадиях человеческой эволюции. Речь идет о выдающихся открытиях юной науки палеогенетики (иногда ее называют молекулярной палеонтологией). Оказалось, что в самом человеке, точнее — в его генотипе, являющемся совокупностью всех генов организма, можно обнаружить следы эволюционной истории вида. Гены впервые предстали в роли надежных исторических документов, с той лишь разницей, что запись в них сделана не чернилами, а химическими компонентами молекулы ДНК. Словом, генетики научились извлекать информацию в буквальном смысле из «праха земного» — окаменевших останков, которые принадлежали весьма древним существам.

Около десяти лет назад в журнале «Nature» появилась статья Аллана К. Уилсона, профессора Калифорнийского университета в Беркли, в которой он утверждал, что все человечество произошло от одной женщины, когда-то жившей в Африке, потомки которой заселили остальные континенты, породив все расовое разнообразие человечества. Подробные результаты этих исследований были опубликованы в 1992 году в авторитетном журнале «Science». Излишне говорить, какова была реакция. А. Уилсон пишет, что в поисках данных об эволюции человека палеогенетики оказались вовлечены в спор с палеонтологами, — который первые, теперь это можно признать, блестяще выиграли.

Группа А. Уилсона разработала две базовые концепции, в русле которых проходили исследования. Как показал сравнительный анализ белков, в молекулярной эволюции с постоянной скоростью накапливаются нейтральные мутации — это первая идея. Скорость изменения генов за счет точечных нейтральных мутаций является постоянной во времени, поэтому ее можно использовать в качестве своеобразного «эволюционного хронометра», позволяющего датировать отхождение данной ветви от общего ствола. Это — вторая идея. В итоге все сводится к несложной арифметической задаче, в которой, зная скорость движения и путь, надо определить время.

В конце 1980-х годов были начаты сравнительно-генетические исследования. Для анализа Уилсон избрал не ядерную ДНК, а ДНК митохондрий — одного из органоидов клетки. Дело в том, что митохондриальная ДНК (мтДНК) — это небольшая кольцевая молекула размером 16 600 пар нуклеотидов, содержащая 37 генов. Из них мутировать могут не более двух процентов, поскольку большинство генов жизненно необходимы. Для сравнения: ядерная ДНК человека содержит порядка 60 тысяч генов, что составляет около 3,2 миллиарда нуклеотидных пар.

Однако не только скромные размеры мтДНК определили выбор. Гораздо важнее другое. Известно, что митохондрии, в отличие от прочих органоидов клетки, наследуются исключительно по женской линии. Когда происходит слияние сперматозоида и яйцеклетки в процессе оплодотворения, митохондрии спермия разрушаются в цитоплазме яйцеклетки. Таким образом, зародыш получает свои митохондрии именно от матери, из ее яйцеклетки. МтДНК отца в ходе формирования зародыша, как пишет в одной из статей Уилсон, как бы «уходит в опилки»²³.

Это обстоятельство позволяет следить за предками индивидуума по материнской линии. Судите сами: каждый из нас получил митохондрии от своей матери, она — от своей, а та — от своей... и так далее. Выстраивается линия родства — генетическая генеалогия, позволяющая заглянуть в весьма отдаленное прошлое. Кроме того, мтДНК накапливает нейтральные мутации, как было ранее сказано, с постоянной скоростью. Это означает, что мтДНК ведет себя, как часы, которые и назвали «митохондриальными часами».

Осознав наличие у любого обитателя Земли этого удивительного хронометра, группа Уилсона приступила к анализу генеалогии человека. Были со-

²³ Уилсон А. К., Канн Р. Л. Недавнее африканское происхождение людей. — «В мире науки», 1992, № 6, стр. 10.

браны образцы 182 различных типов мтДНК, полученных от 241 индивидуума, куда вошли представители 42 национальностей всех рас. Исследовались два участка мтДНК, в которых активно возникают мутации. Понятно, что более молодые нации будут генетически более однородными, а более древние должны иметь значительный спектр мутаций, накопившихся за более продолжительное время существования на Земле.

Проведя сравнительный анализ мтДНК, Уилсон построил генеалогическое древо, которое четко свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке. Более того, все шестимиллиардное современное человечество, как показало это исследование, ведет свое происхождение от одной женщины, некогда обитавшей в северо-восточной Африке. Автор открытия, которое явилось мировой сенсацией, стал «крестным отцом» нашей прародительницы, назвав ее «митохондриальной Евой».

Однако Уилсон, найдя место, являющееся «колыбелью» человечества, пошел дальше. Зная скорость мутирования, он смог определить и примерное время, когда «Ева» появилась на Земле. «Митохондриальные часы» показали, что она жила приблизительно 200 — 150 тысяч лет назад (удивительно, но «Ева» оказалась древнее неандертальца, которого упорно навязывали ей в «эволюционные отцы»).

Данные по анализу мтДНК были независимо получены многими другими исследователями. «Анализ мтДНК, — пишет Сатоси Хораи, — указывает на то, что современный человек возник около 200 тысяч лет назад в Африке, откуда переселился в Евразию, где достаточно быстро вытеснил *Homo erectus* и предположительно полностью (если не будет найден снежный человек) неандертальца. При этом смещения митохондриальных генов практически не произошло»²⁴. Позднее этот исследователь попытался более тонко откалибровать «митохондриальные часы». По его уточненным оценкам, возраст современного человека составил около 143 тысяч лет.

Другие группы исследователей проводили сравнение ядерных генов. Этот подход также показал, что человек появился в Африке, а «расселение африканских предков произошло не ранее 100 тысяч лет назад»²⁵. Ученые из Англии работали с фрагментом ядерного гена, отвечающего за синтез β-глобина. Они проанализировали этот участок ДНК у 349 жителей разных регионов мира. Это исследование также показало, что генетические корни человека ведут в Африку. К аналогичным выводам пришли австралийские генетики и многие другие авторы. Словом, открытие Уилсона стимулировало всплеск исследований в крупнейших лабораториях мира. И все независимо выполненные работы говорят в пользу северо-восточной Африки как места, где впервые появился человек.

Особый интерес представляет предпринятая Л. Кавалли-Сфорца попытка сравнить данные молекулярной генетики и лингвистики. Он показал, что распространение генов удивительно хорошо коррелирует с распространением языков. Таким образом, родословное древо, построенное на основании генетических исследований, соответствует лингвистическому родословному древу. Так геногеография совместилась с этнической географией.

Еще при жизни Уилсона была сделана попытка анализа У-хромосомы мужчин с тем, чтобы проследить «линию отцов» в родословной человечества. Предварительные данные, о которых он сообщает, полученные французским ученым Ж. Люкоттом, также подтвердили африканское происхождение «Адама».

Более детальные исследования были проведены профессором Стенфордского университета П. Ундерхаллом, собравшим материал для анализа почти во всех регионах мира. Как известно, У-хромосома присутствует лишь в генотипе

²⁴ Horai Satoshi et al. — «Annual Reports», 1995, № 46, p. 92.

²⁵ Pritchard Jonathan K. et al. — «Science», 1996, v. 274, № 5292, p. 1548.

мужчин и, следовательно, передается в поколениях строго от отца к сыну. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Родиной «Адама» была все та же северо-восточная Африка. По оценке исследователей, время появления представителя *Homo sapiens* мужского рода — также порядка 200 — 150 тысяч лет.

Аналогичные данные были получены и другой независимой группой под руководством Майкла Хаммера (университет Аризоны, США). Уточненный возраст гипотетического «Адама» — 160 — 180 тысяч лет.

Итак, именно на Африканском континенте около 150 — 180 тысяч лет назад появились наши прародители. Примерно 100 тысяч лет назад их потомки мигрировали по всей ойкумене, замещая всех прочих живших там гоминид, но при этом, что важно, не скрещиваясь с последними. Около 40 тысяч лет назад они добрались до Европы.

Но на этом сюрпризы, преподнесенные палеогенетиками антропологам, не закончились. Профессору Сванте Паабо удалось извлечь мтДНК из фрагмента позвонка неандертальца. Эта работа — поистине высочайшая вершина молекулярно-генетического искусства, результат ее трудно переоценить. Как показали сравнительные исследования митохондриальной ДНК современного человека и неандертальца, последний вовсе не является ни нашим предком, ни даже близким родственником. Путем сравнительного анализа «наших» и «неандертальских» генов было установлено, что различия между ними столь велики, что эволюционные ветви этих двух видов могли (или должны были) разойтись 600 тысяч лет назад, то есть в ту пору, когда самих видов еще просто не существовало. Следовательно, неандертальцы — это совершенно другая, параллельная и тупиковая эволюционная ветвь. Их можно было бы назвать *парагоминидами* (от греч. «para» — мимо, возле, вдоль). Однако автор этих строк не претендует на введение в научный обиход еще одного термина.

Выводы С. Паабо столь коренным образом меняют представления об антропогенезе, что встал вопрос о проверке этих результатов независимой группой исследователей. С фрагментом неандертальской кости на этот раз работал Марк Стоункинг, ученый из группы Уилсона, также высочайший авторитет в области палеогенетики. Проведя исследования, он получил такие же данные, что и Паабо, полностью подтвердив его выводы. В связи с этим в одном из интервью Паабо заметил: мы придерживались строгих критериев судебной медицины, как если бы готовились представить вещественное доказательство суду.

Спустя несколько лет группа немецких ученых выделила ДНК из фрагмента кости самого первого из обнаруженных неандертальцев, останки которого с 1856 года хранятся в Германии. Это независимое исследование показало, что «подтверждается гипотеза, согласно которой *неандертальцы представляют тупиковую эволюционную ветвь и не являются предками современного человека*»²⁶.

Палеонтолог Кристофер Стрингер так видит дальнейшую перспективу: «Возможно, мы стоим на пороге создания единой теории, которая объединит палеоантропологические, археологические, генетические и лингвистические доказательства в пользу африканской моногенетической модели»²⁷.

Действительно, синтез этих наук, вероятно, способен приблизить нас к пониманию тайны нашего происхождения. Но все же антропогенез нельзя свести лишь к чисто научной проблеме, как это пытается делать позитивистская наука. Чего-то явно не хватает...

²⁶ Krings Matthias et al. — «Cell», 1997, № 1, p. 19.

²⁷ Стрингер Кристофер Б. Происхождение современных людей. — «В мире науки», 1991, № 2, стр. 60.

Прикосновение к тайне

...Если современный человек хочет истолковать Библию, он должен иметь мужество мыслить.

Владимир Лосский.

Какой же вывод может быть сделан после нашего экскурса по анналам истории научного поиска? Можно ли «примирить» идею творения человека Богом с данными современной антропологии? Думается, да. Но прежде надо осознать, что приход в мир человека — феномен не только материальный, но и духовный. На этом пути открываются новые горизонты. Подлинная история научных исканий — это и история откровений. Но готовы ли мы к ним сегодня?

Человек, согласно библейскому рассказу, приходит в мир в последний, шестой день творения. Те немногие строки, которые повествуют об этом уникальном событии, безусловно, нуждаются в серьезном богословском анализе, который не только позволяет проникнуть в глубинную суть этого рассказа, чтобы понять истинный смысл обращенного к нам послания, но также дает возможность перебросить мостик от библейской картины творения человека к данным науки сегодняшнего дня. Кроме того, без этого анализа библейский рассказ о сотворении человека рискует стать еще одним вариантом антропологического мифа — грубым искажением сути Откровения.

Оригинал Библии (книги Ветхого Завета) написан на древнееврейском языке, но сложность прочтения заключается в том, что язык Откровения — это язык символический, иносказательный. Отцы Церкви, экзегеты последующих веков не раз предупреждали об опасности буквального понимания Шестоднева. Стремление «мыслить Библию на уровне ее текста», указывает Вл. Лосский²⁸, приводит к искаженному, а в конечном счете совершенно неверному восприятию. Однако читателю Библии предстоит преодолеть и другие трудности. В частности, избежать соблазна понять библейский рассказ лишь расщудочно. Думается, что рационализм в данном случае — плохой помощник, он упраздняет библейскую глубину, выхолащивая текст.

Что же сообщается в Книге Бытия о том великом событии, когда Божественная Воля ввела в мир нового обитателя — человека? Следует сразу оговориться: рассказ о сотворении человека приведен Бытописателем дважды — в 1 и 2 главах. Первая глава, названная Отцами Шестодневом, сообщает следующее: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1: 26). Необходимо обратить особое внимание на слово «сотворим». Нет призыва, как в предшествующие дни: «Да будет свет», «Да произведет вода...». Господь не поручает сотворение человека другим стихиям. Каков же вывод? Человек творится иначе, не только Словом Творца, но и Его действием.

Нельзя не обратить внимание на следующую особенность: слово «сотворим» стоит во множественном числе. Почему? Богословы поясняют: в творении человека участвуют все три ипостаси Святой Троицы: Отец, Сын и Дух Святой. В акте творения наступает своего рода пауза — особенный, таинственный, непостижимый момент Предвечного Совета. Как пишет Вл. Лосский, «появляющееся здесь множественное число указывает на то, что Бог не есть одиночество»²⁹. Но зачем понадобился Совет? Современный богослов, протоиерей Николай Иванов поясняет так: сотворяется тот, кто «есть предел совершенства для творения»³⁰.

²⁸ Лосский В. Догматическое богословие. — В его кн.: «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». М., 1991, стр. 230.

²⁹ Там же, стр. 237.

³⁰ Протоиерей Николай Иванов. И сказал Бог... Опыт истолкования Книги Бытия. Клин, 1997, стр. 128.

Необходимо также остановиться на использованном Бытописателем глаголе «творить». В тексте Шестоднева деяния Господа передаются двумя близкими по смыслу словами: «бара» — сотворил и «аса» — создал, сделал, которые являются, как может показаться, синонимами. Однако это не совсем так. Глагол «бара» имеет значение «творить что-либо принципиально новое, творить первоначально». Значит, при его употреблении речь идет о создании новой сущности, о сотворении чего-то, не существовавшего прежде. Глагол «аса» имеет иной смысловой оттенок — это «создание чего-то из сотворенной основы». Он употребляется, если хотят сказать о тонкой обработке, отделывании чего-либо, сотворенного ранее.

Когда же употребляются в тексте Шестоднева эти глаголы? Слово «бара» используется лишь трижды: при сотворении Богом материи, жизни и человека, то есть когда речь идет о центральных моментах Божественного творчества, глубоко изменивших мироздание, когда появляются принципиально новые сущности.

Глагол «аса» употреблен в тех случаях, когда речь идет о создании чего-то из сотворенной ранее первоосновы, то есть о придании материи некой конкретной формы. Например, Солнце и другие небесные тела не сотворяются, а именно создаются (из той первоосновы, которая сотворена ранее); многочисленные живые существа также создаются после сотворения первой «души живой» и так далее.

Можно видеть, что даже этот краткий анализ дает возможность почувствовать глубину, сложность, многослойность библейского текста. В Шестодневе присутствует и еще одно ключевое слово — «день». Картина творения вселенной со всеми ее обитателями разделена на шесть этапов, названных древнееврейским словом «йом» — день. В течение шести библейских дней-йомов последовательно, постепенно, в соответствии с Божьими повелениями, достигалась полнота творения.

Что такое день в библейском рассказе? Это отнюдь не второстепенный лингвистический вопрос. Обратимся к св. Василию Великому — мудрому толкователю Книги Бытия. Он пишет: «Посему назовешь ли его днем или веком — выразишь одно и то же понятие»³¹. Однако в нашем обыденном сознании «день» прочно ассоциируется с сутками, 24 часами. Между тем это древнееврейское слово имеет еще одно, менее известное, значение — «неопределенный промежуток времени». Причина, по которой Бытописатель (и все те, кто переводил Библию на другие языки) употребил этот, а не какой-либо другой термин, достаточно ясна: «День был самой удобной, самой простой и легко доступной сознанию первобытного человека хронологической меркой», — поясняет «Толковая Библия»³².

Может возникнуть вопрос: почему Библия не сообщает конкретной длительности дней творения? Вероятно, по той причине, что эти сведения не имеют вероучительного значения. Цель Священного Писания — это служение религиозной, но не научной истине. Однако к настоящему времени получены многочисленные научные свидетельства (данные астрофизики, геологии, палеонтологии и прочих дисциплин), позволяющие оценить длительность эпох творения — библейских йомов. С уверенностью можно говорить о том, что продолжительность дней творения не равновелика, один день отличается от другого не только характером происходящего, но и своей астрономической величиной. Но важнейший вывод состоит в другом: Вселенная со всем «видимым и невидимым» создается Творцом не за одну «рабочую неделю». Величественный Божий замысел разворачивается постепенно, подобно бутону цветка.

³¹ «Беседы на Шестоднев». Беседа 21. — «Творения Св. Василия Великого». Ч. 1. М., 1900, стр. 37.

³² «Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета». Т. 1. [Под ред. проф. А. П. Лопухина и его преемников.] Изд. 2-е. Стокгольм, 1987, стр. 6.

Эту мысль развивает Вл. Лосский: «...Шестоднев геоцентрически повествует о том, как развертывалось сотворение мира; эти шесть дней — символы дней нашей недели — скорее иерархические, чем хронологические»³³.

Как уже говорилось, рассказ о творении человека приведен в Библии дважды, но тексты эти не вполне идентичны. Внимательный читатель, несомненно, найдет между ними различие. Каковы причины повтора? Ясно, что два повествования об одном событии — не случайность, в этом есть какой-то глубинный, потаенный смысл. Рассказ первой главы точно указывает, что человек сотворяется последним среди всех живых существ, в самом конце шестого дня. Тем самым нам открывается глубокое изначальное единство всего живого, антропокосмическая общность человека и остальных обитателей Земли. Второй рассказ антропоцентричен. Человек помещен в самую сердцевину повествования, поэтому он предстает в иной перспективе. Мир со всеми его обитателями творится не просто ради обретения бытия, но ради служения. Служения Человеку. Как можно обосновать эту точку зрения? В 5-м стихе 2-й главы читаем о том, что «кустарники и всякая трава полевая» еще не росли, поскольку «не было человека для возделывания земли». Как пишет Вл. Лосский, «...человек предстает перед нами не только как верх творения, но и как самый его принцип»³⁴. Он — причина сотворения Вселенной, ее духовный, смысловой центр.

Какова же картина творения человека во втором, более подробном изложении? Появляется новый мотив: человек, в отличие от всех других живых существ, творится в два этапа: «И создал Господь Бог человека из праха земного» — это первый этап. «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2: 7.) — этап второй. Что же происходит на каждом из них?

Слово «человек» по-древнееврейски — *adam*. Но в данном случае это не имя собственное, а нарицательное обозначение человека вообще, равно применимое и к мужчине, и к женщине. Из чего же создается первочеловек *adam*? Из «праха земного», отвечает Библия. Интересно, что слово «земля» звучит по-древнееврейски как *adamah*. Но это не просто земля, слово *adamah* имеет еще ряд значений: «обработанная, преобразованная, возделанная земля, или материя». Кроме того, слово *adam* сходно по звучанию с глаголом «я уподоблю» — *adame*. Именно этот глагол используется, когда сообщается, что человек создан по подобию Божию. Есть и еще одно созвучное слово — *edom*, означающее красный цвет. Очевидно, что тело первочеловека создается из материальной основы (возможно, красного цвета, как и наша кровь), некоторым образом предварительно подготовленной. Она-то и названа словом *adamah*. Следует заметить, что в древнееврейском языке есть и другие слова-синонимы, имеющие значение «земля» (но с иным смысловым оттенком). Например, *sadeh* — «дикая, необработанная степная земля», или *eres* — «земная поверхность». Но Бытописатель использует именно слово *adamah*. Почему? Только ли ради игры слов: *adam — adamah — edom — adame*? Наверное, нет. Но эта удивительная игра слов, которая безвозвратно утрачивается при переводе на другие языки, многое может нам открыть, она явно не случайна. Не по прихоти Бытописателя, а от Духа Святого рождается этот тончайший лингвистический узор, скрывающий какой-то сокровенный смысл, постичь который чрезвычайно важно, если мы хотим приблизиться к доступному нам знанию о «подготовленной, возделанной материи», из которой творится физическое тело человека.

Прежде всего следует вспомнить, что тело человека состоит из тех же самых химических элементов, что и другие природные тела (это водород, кислород, углерод и азот, а также ряд других элементов в незначительных количе-

³³ Лосский В. Догматическое богословие. — В его кн.: «Очерк мистического богословия Восточной Церкви», стр. 235.

³⁴ Там же, стр. 239.

ствах). И в этом смысле человек действительно создан из «праха земного». И все же слово «земля» в данном рассказе, несомненно, употреблено в переносном смысле. Об этом напоминает нам другая книга Ветхого Завета — Книга Иова: «Вспомни, что Ты, как глину, обделал меня (Иов, 10: 9)». Значит, Господь вовсе не глину — горную породу, в течение многих веков употребляемую для изготовления посуды, в буквальном значении этого слова — использовал в качестве материала для сотворения тела человека. Без сомнения, это очень непростой для понимания эпизод Шестоднева и, может быть, одна из труднейших страниц Библии.

А что говорят богословы? Св. Феофан Затворник поясняет: «Это тело что было? Глиняная тетьерка или живое тело? — Оно было живое тело, — было животное в образе человека с душою животное. Потом Бог вдунул в него дух Свой, и из животного стал человек»³⁵. Св. Серафим Саровский в одной из бесед говорил: «До того, как Бог вдунул в Адама душу, он был подобен животному»³⁶. Св. Григорий Богослов комментировал: «Из сотворенного уже вещества взяв тело, а от Себя вложив жизнь»³⁷. Святитель Филарет Московский в «Записках на Книгу Бытия» отмечал, что человек создан «не единократным действием, но постепенным образованием»³⁸.

Итак, человек становится Человеком лишь после того, как благодать Духа Святого одухотворила его физическое тело, которое становится, по слову апостола Павла, «храмом Святого Духа» (1 Кор. 6: 19). Этот сакральный момент — подлинное начало человеческого бытия. Человек обретает свою ипостасную полноту.

Вывод напрашивается вполне очевидный: человек возведен к высокому своему достоинству, названному богоподобием, из низшей формы материи. «Лишь в тот момент, — пишет протоиерей Александр Мень, — когда в существе, обрешем форму человека, впервые вспыхнул свет сознания, когда он стал личностью, произошло соединение двух мировых сфер: природы и Духа»³⁹.

Что такое этот бесценный дар Божественной любви? Дух человеческий — это его «я», то, что определяет своеобразие его личности. Дары Духа — это свобода, разум, воля, способность любить, творить, стремление к познанию и гармонии — словом, все то, что не исчерпывается одними лишь потребностями материального существования. Но именно это и отличает человека от других живых существ — многочисленных обитателей нашей планеты. Перечисленные качества — это дары из иного плана бытия. Дух не может быть разложен на простые, земные элементы, не может быть приобретен в процессе эволюции или в каком-либо другом естественном процессе. Он «не эквивалентен известным нам состояниям материи и видам энергии», — пишет протоиерей Николай Иванов⁴⁰. Дух — иноприроден. Это дыхание Творца, которое каждый из нас носит в своей груди. Дух — это то, что пойдет в вечность после смерти физического тела, поскольку даже всевластная смерть над ним не властна.

Таким образом, сообщая о факте творения человека Богом, Библия, не будучи научным трактатом, ничего не говорит о конкретном механизме творения. Она дает нам религиозный урок, и мы напрасно стали бы искать в ней

³⁵ «Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника». Собрание писем в 8-ми выпусках. Вып. 1. М., 1994, стр. 98.

³⁶ «О цели христианской жизни. Беседа преподобного Серафима с Мотовиловым». Сергиев Посад, 1914, стр. 11.

³⁷ Святитель Григорий Богослов. Слово 38. — В его кн.: «Собрание творений в 2-х томах». Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994, стр. 527 (репринт).

³⁸ Митрополит Филарет (Дроздов). Записки на «Книгу Бытия». Ч. 1. М., 1867, стр. 69.

³⁹ Мень А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7-ми томах. Т. 1, стр. 102.

⁴⁰ Протоиерей Николай Иванов. И сказал Бог..., стр. 156.

сугубо научные детали. Св. Григорий Нисский (IV век) в работе «Об устройении человека» писал о том, что последним после растений и животных устроен человек, так что *природа каким-то путем последовательно восходила к совершенству*. Но путь этого восхождения Писание нам не открывает. Это — поле научного поиска.

Христианское учение о человеке в лице его величайшего богослова, св. Василия Великого, приходит к такому лаконичному заключению: «Человек сотворен животным, получившим повеление стать Богом»⁴¹.

Главный итог — это понимание того, что библейское повествование, донесенное до нас в предельно сжатом виде, скорее языком хроники, чем истории, при его внимательном прочтении открывает иную перспективу, поэтому его невозможно ставить в один ряд с антропогоническими мифами древности. Первое и самое важное, о чем возвещает Откровение, — это истина о божественном достоинстве человека. Человек не только последнее творение, но и пик высоты, к которому природа шла долгие тысячелетия, исполняя Волю Всевышнего. «Человек — не дитя случая, не результат игры природы и не просто продукт окружающих условий, он сотворен Отцом Небесным, чтобы стать Его сыном», — пишет протоиерей Николай Иванов⁴². В этом заключен главный религиозный урок шестого дня.

Христианская антропология, конечно, не может допустить, что человек во всей полноте, то есть его тело, душа и дух, мог произойти от животного, поскольку механизм биологической эволюции не способен дать начало бессмертному человеческому духу. Поиск решения неизбежно выводит нас за рамки «чистой» науки.

Что же касается происхождения тела человека, то, думается, можно предположить, что оно есть результат *телеологической эволюции* (от греческого слова «telos» — конец, цель), идея которой состоит в том, что эволюционное движение осуществляется не за счет случайных процессов, как полагал Дарвин и его последователи, а направляется Господом к ведомой Ему цели. Надо сказать, что вопрос о механизме эволюции до сих пор является предметом острых дискуссий. Но идея целенаправленности эволюции благодаря работам Л. Берга, А. Любищева, С. Мейена принимает все более ясные концептуальные очертания и обретает большое число сторонников, к числу которых принадлежит и автор этих строк. Однако рамки данной статьи не позволяют познакомить читателей с этим интереснейшим вопросом современного биологического естествознания.

Если же спроецировать идею телеологической эволюции на проблему происхождения человека, картина может выглядеть так. Творец, существующий предвечно, является носителем *идеи (логоса)* — идеального плана мироздания. («В начале было Слово, и Слово было у Бога...» — пишет евангелист Иоанн /Ин. 1: 1/). Творец устанавливает *цель*, к которой идет развитие мира. Он же декретирует *законы*, организующие принципы, в соответствии с которыми осуществляется движение от творческого первообраза к его материальному воплощению в мире. Таким образом, материя — это воплощенный Логос. Такая принципиальная схема телеологической эволюции материи.

Процесс мироздания, направляемый Волей Творца, в целом протекает свободно, в соответствии с установленными Им законами. Господь бережно относится к дару свободы. Но, вероятно, в судьбоносные моменты, когда решалась подлинная судьба мироздания, этот процесс подвергался непосредственному воздействию Его Воли, Его созидающей творческой энергии. «В разворачивании космической истории вполне может обнаружиться последовательность определенных критических моментов, когда Божественное влияние осуществлялось каким-то особым образом», — таково предположение

⁴¹ Цит. по кн.: Протоиерей Николай Иванов. И сказал Бог..., стр. 133.

⁴² Там же, стр. 29 — 30.

Дж. Полкинхорна, ученого и богослова⁴³. Краткие слова Шестоднева «И сказал Бог...» — «И стало так...» знаменуют то, что можно назвать Творящей Божией Волей. «Он, — пишет библиист Д. Щедровицкий, — творит Словом, а Слово содержит в себе мысль и волю»⁴⁴. Наука не знает природы этих сакральных творческих актов Создателя. Однако непостижимость таких феноменов, как возникновение Вселенной, жизни и человека, свидетельствует о том, что Божественная Воля преображала тварное вещество, направляя его развитие к изначальной идее мироустройства. И венцом мироздания стал особый обитатель Земли — человек. Из всех живых существ, эволюционировавших на Земле миллионы лет, Господь избрал именно генетического предка человека, чтобы подарить ему главное — богоподобие.

Научные данные, полученные в последнее десятилетие, убедительно подтвердили то, что два тысячелетия назад было открыто в библейском повествовании: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли...» (Деян. 17: 26) — происхождение человечества от одной пары наших далеких предков.

Но остается другой вопрос: как интерпретировать все те виды существ, некогда обитавших на Земле, которые несли в себе человекоподобные черты? Западные экзегеты комментируют так: «Создатель, очевидно, управлял эволюцией гоминидов, ведя их постепенно к обретению, помимо человеческого строения тела (скелет и мускулы), такого уровня развития мозга и нервной системы, который мог бы обеспечить осуществление высшей психической деятельности как адекватного орудия духовного начала. Духовное начало... создается непосредственно Богом, и Творец мог вдохнуть его в человекоподобное существо, когда психическая деятельность, имеющая материальное происхождение, достигла соответствующей ступени развития»⁴⁵.

Думается, можно принять (в качестве одной из гипотез), что физическое тело человека долго совершенствовалось, вызревало, как зреет плод, чтобы породить новую жизнь. Но в тот момент, когда Господь вдохнул, как говорит Писание, в это выпестованное тело первочеловека Свой Дух, произошло такое значительное, кардинальное изменение его материальной природы, что далее о каком-либо родстве с представителями ранних форм говорить уже невозможно (и генетический анализ это ясно показал). Здесь напрашивается сравнение, которое, как представляется автору, в какой-то мере может облегчить понимание той реальности, о которой идет речь (хотя, безусловно, никакие аналогии не являются вполне адекватными).

Каждый, кто прививал культурный сорт плодового дерева на дичок, знает, что привой получает от принявшего его дерева силы для роста и развития, питаясь за счет его корней, ствола, листьев. Селекционер при этом должен постепенно удалять ненужные ветви дичка. В конечном счете побеги нового сорта станут единственными на принявшем их стволе — будет получено дерево нового, плодородного сорта. Но все же никто не станет утверждать, что в результате прививки культурный сорт произошел от дикого. Ведь это могут быть даже деревья разных видов, например, яблоню можно привить на грушу, персик — на абрикос и наоборот.

Возможно, нечто отдаленно-аналогичное имело место при появлении человека. Поэтому в нас, с одной стороны, так много общего с представителями своего класса (млекопитающих), но в то же время имеются принципиальные отличия от всех других обитавших на Земле антропоидов. Человек — новый пришелец в мир. Он вобрал в себя все, что оттачивала резцом эволюции и бережно копила природа. Он — драгоценная ветвь эволюционного Древа Жизни, привитая Самим Создателем. Однако его появление никогда не осуще-

⁴³ Полкинхорн Дж. Вера глазами физика. М., 1998, стр. 88.

⁴⁴ Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. I. Книга Бытия. М., 1994, стр. 30.

⁴⁵ Гальбиани Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Милан — Москва, 1992, стр. 159.

ствилось бы без того сакрального действия, которое в силу отсутствия сокровенного, всеобъемлющего знания мы можем лишь наименовать, придав ему некую словесную реальность. Это — Творящая Воля Бога. Думается, наш вид вполне можно назвать *Homo paradoxalis* — *Человек парадоксальный*. Все в нем (в каждом из нас) — от воплощения в мире до непостижимости богоподобия — есть парадокс. Поэтому наука, несмотря на свое усердие, останавливается безмолвно перед этой величественной парадоксальной тайной, предоставляя слово Откровению. Однако это вовсе не свидетельствует о бессилии или бессмысленности научного поиска, поскольку, как заметил один немецкий ученый, всякий прогресс в науке есть прогресс в нашем познании управления мира Богом.

Изложенный взгляд на одну из «упрямых» проблем современного естествознания — лишь скромная лепта в дело поиска и обретения животворного концептуального согласия между наукой и богословием, столь необходимого для дальнейшего движения к истине. Их соперничество и противостояние должны наконец кануть в Лету.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ

*

БОРИСОВ КАМЕНЬ

О современных поэтах

Золотое сечение

Желание признания и (в пределе) славы не каприз и не прихоть литератора. «Легко ли быть непризнанным поэтом?» (Сергей Надеев). Очень тяжело. Горько и бессмысленно. Литературное произведение не может существовать без обратной связи, без нее оно неизбежно проваливается в пустоту дилетантизма, не чувствуя сопротивления профессиональной словесной среды. Не бывает людей, которые, взявшись за перо, не думали бы о читателе, об отклике и оценке коллег по цеху. Человек может эти свои мысли не рекламировать, делать вид, что ему все равно, но знаменитое «пишу для себя, печатаю для денег» может повторить только литератор очень известный, читаемый и почитаемый.

Неопубликованная вещь не существует. Непрочитанная — не существует. Почти не существует произведение, не получившее отклика, не подвергшееся внимательному разбору и оценке, не нашедшее своего места в литературном процессе. Это «почти» — только потому, что есть потенциальная возможность оценки, надежда на нее. Можно сколько угодно говорить о некомпетентности, о предвзятости или поверхностности критики, но нет ничего обиднее ее молчания.

Успех пришел к стихам Максима Амелина сразу после первых публикаций. Стихи были отмечены и выделены Татьяной Бек, Евгением Рейном, Олегом Чухонцевым. В 1998 году за две новомирские подборки Амелин получил премию журнала «Новый мир» и авторитетную Антибукеровскую премию («Независимая газета»). Премии вывели имя Максима Амелина из поэтического контекста и даже из чисто литературного, сделали его работу в известном смысле социальным явлением, насколько это возможно сегодня. В случае Амелина литературные премии сыграли ту роль, которую они и должны, на мой взгляд, играть: они привлекли внимание к работе поэта. Когда Михаил Гаспаров получал Государственную премию, он сказал: «Я чувствую себя как лошадь, которой после долгого перегона дали овса». Не хочу сказать, что после перегона лошадей кормить не надо, но надо и до, а то сил на перегон может и не хватить.

Амелин стал третьим лауреатом поэтического Антибукера в номинации «Незнакомка» и встал в ряд — Гандлевский, Кибиров, Амелин. Но если первые двое сделали лауреатами, что называется, по совокупности заслуг, к их признанию премия мало что добавила, скорее это они своим авторитетом установили уровень и создали престижность самой премии, то Амелину она была дана как аванс. Он его блестяще использовал: не дав остыть околоре-

Губайловский Владимир Алексеевич — поэт, математик, автор статей на литературные и общекультурные темы. Родился в 1960 году. Окончил мехмат МГУ. Выступал в «Новом мире» со стихами (2000, № 8) и со статьей «Век информации» (1999, № 8).

миальным разговорам, издал книгу стихов — «Dubia» — и уже одним только временным моментом появления книги обеспечил ей пристальное внимание.

Вообще нельзя не подивиться, как у него все легко и вовремя, как судьба его точно расставляет акценты и учитывает малейшие нюансы. Удача ему просто-таки благоволит, что бы он ни делал — удается, за что бы ни взялся — почему-то оказывается в цене.

Посвящая жизнь литературе, нужно ответить на два вопроса: «как писать?» и «как быть писателем?», и второй вопрос не менее важен, чем первый. Человек может быть творцом замечательной артистической биографии, почти ничего не написав, — другие напишут о нем. Но чтобы прожить целую и полную жизнь, а не быть бухгалтером, который, шалея от бессонницы, пишет по ночам гениальные стихи, а утром является на службу в идеально отглаженной рубашке, но с синими кругами под глазами, чтобы не разрываться между тем, что любишь, и тем, что кормит, необходимо единственным и в каждом случае уникальным образом ответить на оба этих сакраментальных вопроса. Амелин отвечает на вопрос «как быть писателем» так же, как он делает все остальное, — легко и точно.

Прожить на поэтические заработки можно было только в такой стране, как блаженной памяти Советский Союз, где любой вид творчества ангажирован государством и государство использует его как инструмент идеологической формовки масс. Здесь достаточно стать членом писательской организации — то есть доказать свою профессиональную пригодность и политическую лояльность — и получить своего рода цивилизный лист. Издание книги — не коммерческое, а политическое предприятие, гонорар никак не связан с продажной стоимостью книги, тираж — с окупаемостью.

Если внешние требования к тексту сформулированы явно и недвусмысленно, то ясно, как следовать им и как им противостоять. Если талантливо следовать за «социальным заказом» — можно заработать нешуточные деньги, если смело противопоставить ему свою позицию — можно добиться громкой славы.

У Амелина ситуация куда менее выигрышная. Публикуя несколько раз в год поэтические подборки в журналах и раз в несколько лет книгу стихов тиражом 500 экземпляров, особо не забалуешь — не хватит не только на лапти, даже на онучи. Значит, нужно как-то зарабатывать на жизнь, и жизнь эту нужно устраивать внутри литературного процесса, иначе почти неизбежна трагедия дилетантизма, нереализованности, трещины по всей душе сверху донизу.

Лучше всего жить на состояние. Это во всех отношениях оптимальный вариант, жаль только, что среди моих знакомых нет ни одного, кому бы досталось наследство от американского дедушки.

Можно стать литературным кочевником и «пощипывать» понемногу сороков, тёмферов, получать разные прочие гранты, стипендии, творческие командировки, жить месяцами в деревне под Кёльном, в городке Вене или другом таком же благословенном месте. Больших денег так не заработаешь, жизнь будет состоять в основном из переездов и поисков материального обеспечения, но знающие люди говорят, что так прожить можно.

Можно стать литературным журналистом. Это тяжкий хлеб. К тому же из поэтов журналисты, как правило, не выходят — они пишут трудно, нет нужной бойкости и легкости пера. Впрочем, здесь есть и счастливые исключения (Дмитрий Быков). Недостаток этой работы состоит не только в том, что писать нужно очень много, чтобы заработать на сносную жизнь, но и в том, что приходится постоянно высказываться по частным и мелким поводам, ввязываться в бои локального значения, а это приводит к неизбежной раздробленности, и поэт из чего-то большого и чистого — из умытого слона — превращается во множество бегущих в разные стороны мосек.

Максим Амелин — «несменяемый коммерческий директор издательства „Симпозиум“». Издатель. Причем издатель литературы почти классической, но не той, которую проходят в средней школе, на которой уже лежит глянец

общих мест, которая всегда нужна, но спрос на нее не меняется, он один и тот же, как на соль. Такая литература не бывает бестселлером. Амелин издает литературу, которая классической станет лет этак через пятьдесят. Но сегодня она читается как новость, и издает ее «Симпозиум» так, как никто до него не издавал. Набоков, 10 томов. Впервые в таком объеме и с таким качеством перевода и комментария. Кафка, Умберто Эко (эксклюзивные права на издание в России). Книги прекрасно раскупаются, они дороги, но хороши. Это то, что нужно. Это положение на границе, которое дает и независимость от сиюминутной ситуации, и контроль над перспективой развития. Кстати, свою книгу «Dubia» Амелин выпустил не в «Симпозиуме», а в «ИНАПРЕСС» у другого поэта-издателя — Николая Кононова.

У Амелина почти идеально точное чувство меры и дистанции. И это проявляется во всем, что он делает. В поэзии, в литературоведении, в переводах, в издательском деле. За что бы он ни взялся, он делает дело до конца, доводит его до предельно доступного совершенства. Если он пишет центон, то это центон подлинный. Это не легонькая центонность, которая именуется интертекстуальностью и которой не баловался только ленивый. Он пишет центон, составленный из стихов херасковской «Россияды», а это огромный труд, поскольку этот александрийский кирпич нужно знать практически наизусть. Но он никогда не берется за дело с неясной, рискованной развязкой. Никогда не пытается совершить невозможное. Мера — главная его Муза. Можно увидеть в этом недостаток, неприемлемый для поэта расчет и рациональность, а можно — трезвость самооценки и строгий отбор средств и целей.

Он как издатель не будет открывать новое имя, хотя бы оно в будущем его и озолотило. Он издает Набокова.

Он не будет «воскрешать» Кариона Истомина — это слишком трудно, потому что здесь недостаточно сменить контекст и провести ревизию ценностей, необходимо этот контекст еще и создать и ценности утвердить. Он «воскрешает» графа Хвостова. Трудно представить себе более одиозную фигуру. Тут Пушкин постарался, он так прошелся по бедному графу, что на том не осталось живого места; имя его гений увековечил, сделал почти нарицательным, оценку же выставил — твердый ноль. Амелину нужно было просто внимательно перечитать Хвостова и показать — он не ноль, это ярко и неожиданно.

Амелин перевел Катутлла — идущего в утвержденной иерархии после Вергилия, Овидия и Горация, но самого популярного и читаемого из римских лириков. И перевел образцово — свежо и полно.

Самая яркая новизна — это новизна привычного, но увиденного заново.

Когда начальство ушло и стало можно писать и печатать любые тексты, волна подлинного и мнимого новаторства хлынула, сметая со своего пути любые ограничения, игнорируя любые направляющие, любые лексические, метрические, синтаксические табу. Появилось много свежего, но не меньше мутного, как всегда при шторме. Амелин выступил со своими стихами как раз в тот момент, когда бурный поток начал слабеть. Хотя он был еще достаточно силен, уже ощущалась не высказываемая прямо, но отчетливая тяга к строгой форме, которая противопоставила бы свои рамки растекшейся бесформенности верлибра, иронической и концептуальной игре, и сделала бы это не нейтрально, а открыто и декларативно. Амелин сыграл на противоходе, использовал силу встречной инерции — чувство дистанции и здесь его не подвело. Эти стихи, как неожиданно выяснилось, ждали.

Ирина Роднянская сравнила «Dubia» с пастернаковской «Сестрой моей — жизнью» («Новый мир», 2000, № 4). Это неочевидная, но точная параллель. Пастернак в самом ядре своей поэтики — последовательный и строгий консерватор. Он писал в «Нескольких положениях» — предполагаемом предисловии к этой книге стихов: «Безумье — доверяться здравому смыслу. Безумье — сомневаться в нем». Если первое кажется вполне очевидным для поэта «навзрыд» и «взахлеб», открывателя новых путей синтаксиса, мастера метафоры, то второе — по крайней мере неожиданно. Но если внимательно взглядеться в

пастернаковскую лирику, то можно понять, чем сцементированы разлетающиеся строки и образы: здоровым смыслом, этой логикой быта. Пока стихи находятся в мощном силовом поле привычного, затвержденного, почти неощущаемого, они поразительно свободны. Здесь допустимы любые сближения, любой ракурс — он будет оправдан незримым присутствием здравого смысла, который создает необходимый контекст, эффект припоминания, узнавание в поэтическом образе самой обычной вещи. Это она же — но вид сверху на просвет. То же самое происходит и со стихами Амелина. У него все другое, даже противоположное Пастернаку, как и должно быть у самостоятельного поэта, но ориентация на здоровый смысл, одним из главных качеств которого является трезвость оценки, та же.

Здравый смысл кристаллизуется в языке прежде всего в виде фразеологизмов, в «точном смысле народной поговорки» (Баратынский). Именно она становится той формой, которую использует поэт, ориентирующийся на здоровый смысл: «Поэзия, когда под краном / Пустой, как цинк ведра, трюизм, / То и тогда струя сохранна, / Тетрадь подставлена, — струись!» Вот как с трюизмом работает Пастернак: «...в лагере грозы / полнеба топчется поодаль» — он раскрывает и преобразует нейтрально-языковую метафору «гром пушек». А вот как работает Амелин:

Я памятник тебе... В земной юдоли
нет больше смерти, воскресать пора
и снова жить безудержно, доколе
жив будет хоть один, хоть полтора.

(«Графу Хвостову»)

Это четверостишие строится на встречной инерции, на изломе фразеологического сращения. Особенно хорошо, что самые добрые слова о Хвостове окликаются словами его самого жестокого насмешника. Или:

Откуда что берется? — Никогда
мне не был свет так нестерпимо ярок:
гори, гори, сияй, моя звезда,
мой ветром растревоженный огарок!

Опыт перекрестного интертекстуального опыления не прошел даром: «Я памятник» или «жив будет хоть один» и тем более «гори, гори, сияй, моя звезда» не воспринимаются как цитаты, они выступают в точности в роли поговорки. И не сразу замечаешь, что «гори, гори, сияй, моя звезда» — цитата неточная, она склеена из двух строк оригинала. Это как бы строка из романа, но не совсем. Цитаты у Амелина отсылают не к литературному источнику, а к реальному опыту читателя, который слушал романс по трехпрограммному радиоприемнику «Маяк» и учился в средней школе, где Пушкина проходили. Но даже если Амелин цитирует В. И. Майкова (точно) или Вакхилида (в пересказе), слова ни на что не намекают, не подмигивают — «а помните?», потому что помнить нечего: и Майков, и тем более Вакхилид отсутствуют в близких современному читателю контекстах. Рождение мысли и слова происходит сейчас и здесь.

Балансирование на границе здравого смысла очень выигрышно и очень трудно. Выигрышно потому, что читателю не нужно никакого дополнительно усилия, никакой интерпретации, стихи предельно открыты для него, это его повседневный, хотя и преобразованный опыт. Трудно — потому, что при малейшем нарушении дистанции стихи не существуют. Чуть дальше от здравого смысла — они уже бьют крыльями по пустоте, превращаются в произвольное словоблудие. Чуть ближе — становятся банальностью, повторением прописных истин.

Стихи Амелина — это прекрасно сделанные вещи. В них много света, но совсем нет воздуха, это — граненый хрусталь. Поэт это знает:

задача, увы, не из легких —
дальше — без воздуха — петь.

Любовь к античной лирике, античным размерам и реалиям — очень важная составляющая амелинской поэтики. Главный принцип античного искусства — пластическая соразмерность частей и целого, мерой которого является человек. Это очень близко к стихам Амелина, идущего «вослед пиндарам и гомерам».

Золотое сечение — любимая пропорция античности: разбиение отрезка на два, так что длина меньшего относится к длине большего так же, как длина большего к длине целого. Золотое сечение считалось божественным, ему следовали строители храмов. Когда сегодня человек смотрит на оставшиеся античные постройки, он не знает, какой принцип положен в основу архитектурного плана, и, конечно, не вычисляет отношений высоты и ширины фасадов, но странным образом испытывает чувство покоя и комфорта. Храм не подавляет своими размерами, но производит впечатление величественное. Амелин строит стихотворение, сознательно придерживаясь классических пропорций. Соразмерность частей и целого, визуальная пластика, соотносённость с человеком как с мерой вещей — это, на мой взгляд, основа его стиха. В поэзии, в отличие от алгебры, не к чему приложить мерную линейку, чтобы вычислить золотую пропорцию, ее можно только чувствовать и помнить. Этому нельзя научиться, это — дар. Но найдя это сечение, этот преображенный здравый смысл, можно обратиться вовне, как это сделал Пастернак, который одухотворил мир, превратив его в калейдоскоп собственных впечатлений и отражений, а можно попытаться с кратчайшего расстояния прикоснуться к человеческому сердцу.

Ты в землю вращаешь, — я мимо иду,
веселую песенку на ходу
себе под нос напевая
про то, как — теряя золотые листы —
мне кажешься неотразимой ты,
ни мертвая, ни живая.

Ты помощи просишь, страдания дочь, —
мне нечем тебе, бедняжка, помочь:
твой предсмертные муки
искусству возвышенному сродни,
хоть невпечатлимы ни в красках они,
ни в камне, ни в слове, ни в звуке.

Сойдешь на нет, истаешь вот-вот, —
благой не приносящие плод
пускай не расклеятся почки,
поскольку ты — смоковница та,
которую проклял еще до Христа
Овидий в раздвоенной строчке.

Это стихотворение не могло быть написано «до Христа», античность не знала такого интимного сочувствия.

Я привожу стихотворение целиком. Им можно любоваться, как совершенным творением мастера, а можно уколоться «золотой иглой», пораниться острой гранью и опечалиться: о смоковнице этой несчастной, о близких и ближних, — но эта печаль будет промыта чистым светом подлинной поэзии.

Белая бабочка Йокко

Одной из первых публикаций Ирины Ермаковой был напечатанный в журнале «Арион» (1996, № 4) цикл стилизаций японских классических танка «Алой тушью по черному шелку» с подзаголовком «Стихотворения Йокко Иринати в переводе Ирины Ермаковой и Натальи Богатовой».

Перевод классической японской поэзии дело очень трудное, стилизация — рискованное. Рискованное, потому что очень легкое в самом первом приближении, которое создает у читателя, незнакомого с оригиналом, обманчивое впечатление близости далекой культуры, и почти безнадежное на самом деле, когда ставится задача создания оригинальных русских стихов в классической японской форме.

Первая, самая очевидная трудность состоит в том, что классические танка и хайку пишутся иероглифами (по крайней мере значимые слова), а восприятие иероглифа совсем иное, нежели восприятие знака алфавита. Воспринимающий не столько читает иероглиф, сколько его рассматривает, как небольшую картину, и стихи не только произведение искусства поэзии, но и искусства каллиграфии, что, естественно, нельзя передать при переводе и сразу следует зачислить в список неизбежных потерь. Восприятие иероглифа имеет так называемый правополушарный характер (правое полушарие мозга воспринимает образную информацию, тогда как левое — символическую и логическую). «Количество информации, приходящейся на один японский иероглиф, в 500 раз больше, чем количество информации, приходящейся на одну английскую букву. Согласно с той точкой зрения, по которой количественная сложность решения задачи приводит к использованию преобразований Фурье, именно эта сторона иероглифики и может быть связана с ее первичной переработкой правым полушарием, имеющим черты сходства с голографическим устройством»¹. Иероглиф читатель не прочитывает символ за символом, а распознает как целое. Если текст к тому же предельно краток, как хайку, информационная значимость иероглифа становится важнейшим изобразительным средством. Очень велика разница между последовательной передачей информации в виде цепочек букв и слов и образным сгустком, который представляет собой иероглиф.

Другая трудность — это противоположность христианской европейской культуры и культуры дзэн-буддизма, в лоне которой развивалась японская классическая поэзия на протяжении тысячелетия. Христианская культура — это культура Слова. Дзэн — безмолвия. «В поэзии... пустым пространством является тишина... чувство, которое она [поэзия] вызывает, тем сильнее, чем короче оно выражено. К семнадцатому столетию японская литература довела эту „бессловесную“ поэзию до совершенства в хайку»². Тишина, безмолвие в искусстве дзэн — пауза между словами, которая важнее самих слов. «Тридцать спиц соединяются в одной ступице, [образуя колесо,] но употребление колеса зависит от пустоты между [спицами]. Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты»³. Можно сказать, что пустота и есть содержание вещи или представления. Тишина европейца имеет черный цвет — отсутствие света, тишина японца — белый, сложение всех возможных цветов. И такова система координат, в которой существуют стихи. Переводя танка или хайку на европейский язык или создавая оригинальные стихи, ориентированные на классический образец, об этом необходимо помнить, хотя заведомо невозможно в кратких строках передать огромную культурную память.

И наконец, третье. Краткость хайку — это очень странная краткость. Хайку никогда не существует само по себе, это всегда реплика в диалоге. В том диалоге, где Басё отвечает жившему за четыреста лет до него Сайгё, и отвечает так, как будто они сидят за одним столом. Этот разговор продолжается ты-

¹ Иванов Вяч. Вс. Нечет и чет. — В его кн.: «Избранные труды по семиотике и истории культуры». Т. 1. М., 1998, стр. 449.

² Уотс Алан В. Путь Дзэн. Перевод с английского. Киев, 1993, стр. 267 — 268.

³ «Дао дэ цзин», § 11. — Цит. по кн.: «Древнекитайская философия». Собрание текстов в 2-х томах. Составление Ян Хин-шун. Т. 1, стр. 118.

сячелетия, поэтому высшим мастерством считалось не создание новых хайку, а составление антологий — собраний лучших или тематических хайку разных поэтов. Один и тот же образ, повторенный тысячи раз, например, мокрые рукава — символ печали, набирает огромную инерцию, и даже небольшая его вариация, малейшее отклонение от традиции прозвучит свежо и революционно, но только для человека, выросшего внутри японской стиховой культуры. Для европейца все хайку на одно лицо, как японцы. И тем не менее...

...под утро где-нибудь часам к семи
когда полоска света под дверьми
краснее чем «Стрела» из Петербурга
ты может быть прочтешь меня подряд —
снег

едкий клевер

черный виноград

подумаешь лениво что жила
как бабочка которую достала
прожгла адмиралтейская игла
что час восьмой и смысла нет ложиться
что поздно слава богу жизнь прошла
что все бывает именно потом
что крылья отсыхают под стеклом
хотя куда видней из-за стекла
что я была занятным экземпляром
в коллекции твоей
что я была...

Грустно и прозрачно. Стихи о любви — бабочке. «Нет необходимости особо подчеркивать, что коллекционерам не следовало бы обходить вниманием менее заметные семейства, особенно мелких бабочек, которые по степени изученности пока еще несколько отстают от крупных чешуекрылых» (автокомментарии к стихам). Негромкий, вынесенный за пределы стихотворения упрек «коллекционерам». Конечно, эта бабочка и принадлежит к малоизученным и неброским семействам. Ясен и другой смысловой ряд — взгляд москвича на Петербург, город знакомый, но знакомый экскурсионно, вскользь, город, с которым связана недлинная дорога на «Красной стреле», Адмиралтейство, которое смотрит через реку на Стрелку, где стоит здание Зоологического музея с прекрасной коллекцией бабочек. Несколько навязчивое, после Бродского, сравнение адмиралтейской иглы с иглой энтомолога — «Мы не приколем бабочку иглой / Адмиралтейства — только изуевичим» («Похороны Бобо»). Москвичи так любят сбежать в Питер на несколько дней с любимым человеком. Побродить по городу, не слишком обращая внимание на достопримечательности, чувствуя себя вне времени и пространства на той полосе отчуждения, где существуют только двое. И стихотворение — воспоминание о такой поездке, поездке не слишком памятной для героя — для него она одна из многих, у него их целая коллекция, а у героини — оставившей незаживающую рану. «Полоска света под дверьми» красна, как струйка крови. Форма стихотворения напоминает невыстроившийся обратный сонет: два терцета, сквозная рифма на два катрена. Но восемнадцать строк, не все рифмованные, забытые «сироты» (вайсе) посередине текста. Не оставляет ощущение, что в этом стихотворении есть еще что-то, что оно не исчерпывается внешней картиной.

«Ты может быть прочтешь меня подряд». Героиня этого стихотворения — поэт, и одно из ее имен — Белая бабочка Йокко. «Любимица императора — она была прекрасна! Одна нога ее была короче другой, и посему она принимала гостей всегда лежа, на ложе, украшенном мелкими красными китайскими хризантемами. Лучшие танка Йокко стали фольклором». Основными темами ее стихов в книге «Стеклянный шарик» (1998) были:

снег

едкий клевер

черный виноград.

Снег — «Белый звук, слуховая накладка». Белый звук или, более точно, белый шум — термин теории связи. Он означает наложение всех возможных сигналов, или неотфильтрованный хаос. Любой информационный сигнал содержится в белом шуме, но, пока не выполнена резонансная подстройка, он неразличим. «Белый снег забивается в щели, белый свет набивается в дом». Снег — это тишина, но тишина, до предела наполненная возможностью звука, тишина, заполняющая собой все.

Едкий клевер — трава забвения. «Милый, пока ты шлялся, все заросло клевером», «Я заварю тебе клеверный, горький, бессмертный настой» («Колыбельная для Одиссея»).

Черный виноград — капли туши на белом листе рисовой бумаги и воспоминание о Керченском проливе — родине автора.

В этой строке дана антология. Дана вскользь, упоминанием без дополнительных мотивировок. Но каждое слово раскрывается и становится в ряд: белая бабочка (бабочка тишины), Питер — город внезапной свободы, любимый и забытый человек — человек, выпивший «клеверный, горький настой». Поэт не разрабатывает образ, он намекает случайным касанием. Точно так же дана и бытовая ситуация, в которой находится герой, — утро после бессонной ночи — точными разговорными клише — звуковыми иероглифами, каждый из которых вызывает в памяти законченную картину. Звуковой иероглиф — это не метафора. Описывая феномен правополушарной речи, Вяч. Вс. Иванов (в помянутой статье) пишет, что правое полушарие, в общем случае ответственное за обработку и хранение образов, может работать с некоторыми собственными именами, словами или выражениями, обозначающими целую ситуацию. Например, «здравствуйте» или «простите». В этом случае слово воспринимается не как последовательность фонем, собранная в семантическую единицу, а как целое нерасчленимое единство, то есть так же, как самый настоящий зрительный иероглиф. В стихотворении звуковые иероглифы идут подряд, они почти не связаны — только перечислительной интонацией, пересекаются не вербальные смыслы, а те устойчивые ситуации, которые иероглиф порождает: «час восьмой», «смысла нет ложиться», «поздно», «слава богу», «жизнь прошла», «все бывает» — отсутствие знаков пунктуации позволяет словам объединяться неединственным образом. Уже не отдельные слова, а порождаемые ими ассоциативные ряды «плавают» в насыщенной пустоте и порождают то одну, то другую картину. То, что стихотворение напоминает недостроенный сонет, заставляет вспомнить слова Веры Марковой: «Для танка характерен нечет. И как следствие этого постоянно возникает то легкое отклонение от кристально-уравновешенной симметрии, которое так любимо в японском искусстве. Ни само стихотворение в целом и ни один из составляющих его стихов не могут быть рассечены на две равновеликие половины. Гармония танка держится на неустойчивом и очень подвижном равновесии. Это один из главных законов ее структуры, и возник он далеко не случайно». Стихотворение намекает на твердую сонетную форму, идет к ней, но не приходит.

Это стихотворение кажется мне маленьким чудом. Ермакова так почувствовала дальневосточную поэзию, так овладела ее опытом, что этот опыт обогатил поэзию русскую. Удача пришла не на пути прямого воспроизведения формы танка, а при соединении очень далеких стиховых форм, на первый взгляд не имеющих никакого отношения к японской или китайской лирике, — сонетной формы и концептуальной поэзии Всеволода Некрасова и Льва Рубинштейна. И удалось их скрещивание с Дальним Востоком только благодаря глубокому чувству, которое расплавilo столь далекие культурные формы и само отлилось в единственно возможную.

Стихотворение начинается с многоточия, со строчной буквы — рождается из паузы, и заканчивается многоточием — паузой.

Колеблющаяся иррациональная гармония приводит Ермакову к музыке, но это не плавный, устойчивый параллелизм народной песни, а джазовая импровизация.

В радиопередаче из цикла «Джазовый лексикон» Михаил Бутов заметил: «Сегодня любой человек, знакомый с джазом действительно хорошо, на вопрос, какое же самое существенное отличие имел джаз от европейской музыки, ответит не колеблясь: в джазе мелодическая линия не совпадает с ритмической, они противостоят друг другу и контрапунктируют». На первый взгляд, такого рода контрапункт не имеет отношения к построению стиха просто потому, что поэзия — это голое соло, здесь трудно выделить инструмент, который «держит» основной ритм. Но Ермаковой удастся создать аналог — роль главного носителя ритма она дает инерции восприятия, метрическому и рифменному ожиданию. Яркий пример (но далеко не единственный) такой работы с ритмическим рисунком — стихотворение «Погружение», оно и посвящено джазу. Ритмическое ожидание нужно создать, и оно задается очень жесткой метрикой стиха:

оркестр играет никому играет как сбилось
уже по барабан ему волнистый купорос
и дирижер прозрачно тих его глаза — слюда
часы смываются на тик сплывают навсегда

Ритм предельно отчетливый: семистопный ямба, разделенный на четырех- и трехстопные рифмованные полустишия с мужской рифмой. Очень важно, что рифма именно мужская — четкий ударный слог в последней позиции строки или полустишия обрывает речь и создает непререкаемое требование ритма. Должно быть так, и только так. И на этом фоне начинается мелодическое отклонение, раскачивание:

труби аншлаг играй за так *(темп ускоряется, четырехстопное полустишие
разбивается надвое внутренней рифмой)*
родимую чуму
набух на дирижере фрак *(после плотной последовательности ударных стоп
два полустишия подряд с провисанием пиррихийев)*
уже по бабочку ему *(ритмическая инерция наталкивается на сбой, на
лишнюю стопу, и сразу дробь — па-ба-ба).*
Тяжелая вода.

Четверостишие разрешается длинной четырехстопной паузой, и дальше восстанавливается заданный с самого начала граунд-бит:

и саксофон с морской травой и с контрабасом спрут
оркестр играет как живой часы плывут плывут

Вполне свинговый пассаж. В последних строках стихотворения темп снова ускоряется:

играй мой свет сыграй хоть раз
ведь мне видны со дна *(консонансная внутренняя рифма: «ведь мне» — «видны» —
«со дна» — буквально дробит строку на стопы)*
вся эта жизнь
весь этот джаз
вся эта тишина

Последовательно: две двустопные ступени — одна трехстопная строка — лестница восхождения к тишине. Полустишия последней строки подчеркивают семантически важное созвучие жизнь-джаз, и стихотворение заканчивается почти цитатой из «Гамлета»: «Дальше — тишина».

Стихи Ермаковой сопровождаются примечаниями, играющими важную роль в структуре книги «Стеклянный шарик». В этих примечаниях она под-

ставляет стихам кривое зеркало, которое иногда усиливает нужные автору смысловые и конструктивные особенности стиха, иногда изменяет прямой смысл источника. «Примечания тоже изобретены китайцами, виртуозами уклончивости... Все видимые противоречия подобных комментариев кажутся». Отчасти это реальный комментарий. Но лишь отчасти. Сноска к слову «Пенелопа» — «возлюбленная Гомера». Конечно, это пример интертекстовой игры. В другом стихотворении Ермакова в свою очередь это примечание прокомментирует, даст ответ на естественный вопрос: «А кто же, в таком случае, возлюбленная Одиссея?»

все видали, как в сторону моря спешил Одиссей,
обнимая за смуглые плечи свою Одиссею.

И ведь придется признать, что Одиссей свою «Одиссею» любил больше, чем Пенелопу.

В примечаниях постоянны отсылки к японским и китайским реалиям и перетолкование привычных слов в этих реалиях. Например, «Фаренгейт — Накамура (1881 — 1921), известный японский метеоролог, географ и энтомолог-любитель», хотя в тексте стих «Я могла бы уже превратиться в сосульку — по Фаренгейту» и так понятен, безо всяких комментариев, и Фаренгейт, конечно, другой — Габриель Даниель (1686 — 1736), немецкий физик, изобретатель термометра и температурной шкалы. Ермакова цитирует Лао-дзы, упоминает японские праздники и названия цветов и всем этим прямо и недвусмысленно указывает на главный источник своей поэтики — дальневосточную стиховую культуру. Ей необходимо этот источник еще раз подчеркнуть, чтобы у читателя не осталось сомнений, чтобы его память работала единственно нужным автору образом. Ермакова как бы говорит своими комментариями: я — бабочка «Зорька (семейство Белянки, *Anthocharis cardamines PHARENGHEITUS*, 1910), прежде в Японии не встречавшаяся, впервые изловленная и описанная Накамурой» и — добавлю от себя — Мацуо Басё.

Современны метры

Можно ли в конце двадцатого века всерьез писать силлабические стихи? Именно писать стихи, используя силлабическую метрику, а не стилизуя семнадцатый век? Стилизация всегда до некоторой степени пародия, она акцентирует характеристические черты, делая их более видимыми современникам стилизации, для современников стиля они таковыми не были. Они были органичны и неотделимы. Силлабика была на протяжении почти столетия основной метрикой русского стиха, значит, она имеет в этой поэтике, в этом языке нормальное законное бытование. Почему она не используется? Кажется, двадцатый век сделал с метром и ритмом все, что возможно. Кроме силлабики. О ней как-то забыли. Возвращались к истокам, искали предшественников, но дальше Ломоносова, редко Тредьяковского, почти никогда не шли. Там пустота? Конечно нет. Неужели польский силлабический стих дальше от нас, чем немецкий ямб?

«Плач по деревянам» — одно из тех стихотворений Дмитрия Полищука, которое воспринимается как образец современной силлабики. Ирина Роднянская в отзыве на книгу «Страннику городскому» пишет: «Несмотря на эпиграфы из Григория Сковороды и русских виршевиков, подражанием их стихосложению можно посчитать только „Плач по деревянам“» («Новый мир», 2000, № 4). Необходимо отметить отличия этого стихотворения от силлабики классической. Оно написано с использованием парной женской рифмы, как этого требует канон, но строки содержат разное число слогов, и длина строки колеблется от строфы к строфе: (13 — 11 — 13 — 11; 13 — 11 — 13 — 11; 14 — 11 — 13 — 13; 13 — 13 — 13 — 12; 7), последняя укороченная строка — нерифмованная.

Муж, кто дань дважды сбирал, не добил, не дограбил,
 по хрупким слезам злым жеребцом правил,
 плачешь ли по древлянам, птенцам, старцам, женам,
 намертво затоптанным, заживо сожженным?

Это безусловное нарушение метрики. То, что оно не ощущается, говорит, конечно, о подавляющей силлабо-тонической инерции восприятия. Но само по себе нарушение метрики свидетельствует: поэт вовсе не стремится быть стерильным силлабиком, что неизбежно привело бы к искусственному подчеркиванию буквы и формы метра. Поэт решает не игровую задачу, он пишет стихотворение в современном мире, в контексте сегодняшней поэзии.

«Птенцы» здесь не только дети, но и птицы, принесшие огонь и сторовшие в страшном пожаре. Поэту хватает силы сочувствия и внимательной памяти, чтобы и их не забыть и оплакать.

Сознательная ориентация на силлабику, на мой взгляд, не «служит только „манком“, личной „сетью“, улавливающей импрессию» (И. Роднянская), а играет роль концептуального каркаса. Выбор силлабической традиции сразу задает дистанцию, изменяет ракурс восприятия.

Современный читатель практически не знаком с классической силлабикой. Даже среди профессионалов очень мало кто может процитировать целиком хотя бы одно стихотворение. При чтении силлабического текста возникает желание перевести его в более знакомый план нерегулярной или даже регулярной силлаботоники, наложить на стих типовой трафарет. Интересно в этом отношении сравнить стихи Полищука со стихотворением Виктора Коллегорского «Буква „К“» (из Кариона Истомина) («Новый мир», 1999, № 8):

Букваря премудрость всяк алчущий познати,
 В сих вещах начальный знак должен так писати:
 В море жительствоет Кит; Кипарис на суше.
 Отрок, разум твой да бдит, отверзай же уши.

Коллегорский гораздо строже выполняет требования метра: точный тринадцатисложник с парной женской рифмой. Но именно эта строгость и говорит о том, что он здесь гость и должен соблюдать все предписания этикета. При чтении уже во второй строке становятся слышны рифмованные полустихия, трехстопный хорей, и стих объединяет с Карионом Истоминым только архаичная лексика, которая из русской поэзии никогда не уходила, просто здесь она покруче замешена. Вспоминать о силлабике как о метре смысла никакого нет.

Напротив, стихи Полищука до конца в силлаботонику непереводимы. Всегда остается трудноопределимый, но явно улавливаемый оттенок звучания, обертон. И в первую очередь это намеренно замедленный темп речи. Затрудненность движения дает возможность каждому слову дозвучать до конца, требует дослушивания, дочувствования, додумывания. Слова становятся тяжелыми, полными смысла, далекими от легкой болтовни. Этот эффект достигается многочисленными инверсиями, на первый взгляд кажущимися неоправданными, скоплениями ударных слогов, лексикой, сплавленной из самых разных слоев — от жаргона до молитвы, но в первую очередь силлабической метрикой, которая, как песок, рассыпанный по льду, нейтрализует гладкое метрическое проскальзывание, дает возможность на равных правах с ударными звучать безударным гласным, поднимая их из западания редукции на свет полноречия, стирая пыль оглушения, проявляя новый звук и смысл слова.

Как сильно звучит полногласное «деревяне».

Отношение к архаической традиции может быть различным, даже диаметрально: с одной стороны, можно обращаться к ней как к эталону, к завершенному и совершенному и потому являющемуся мерой для всякого совершаемого сегодня, единственным ориентиром, недостижимым и потому вечно привлекательным. С другой стороны — традиция может быть источником вдохновляющей провокации, свободы и поиска, но источником, влиятельно

структурирующим произвольный полет, задающим обязательные направляющие и тем самым дающим санкцию на эксперимент. Так относится к традиции Полищук. Я испытываю благодарность поэту уже только за то, что он своей работой заставил многих обратиться к русской силлабической поэзии, прочесть и открыть замечательных виршеписцев, за то, что он сделал актуальным сам разговор о силлабической традиции. Это похоже на открытие нового континента.

Влияние силлабики, преломленной и переплавленной, проявляется и в регулярных силлабо-тонических стихах Полищука. Он и здесь добивается полноты, используя, в частности, замечательное строфическое богатство. В трех стихотворениях, опубликованных в восьмой книжке «Нового мира» за 1999 год, даны три разных вида строфы, и все они не частые гости в современном стихотворчестве: октава («Гиппогриф»), сапфическая строфа («Ода к Му») и странная строфика «Стансов».

Стихотворение написано сапфической строфой со схемой рифмовки аВаС. Последняя — укороченная — строка в катрене нерифмованная (кроме первой и последней строфы). На укороченной строке всегда акцентируется внимание, но здесь оно обостряется еще и обманутым ожиданием рифмы, и на первый взгляд возникает некоторая шаткость, неустойчивость структуры. Но рифма переходит на следующую строфу, «цепляется» за катрен, возникает «падающий» ритм, который постоянно подхватывается и окончательно выравнивается в последних строфах, уже традиционно перекрестно зарифмованных.

Где вчера — метла, нынче впору веник!
Так реку тебе, «дворник» пиериды,
с мертвого — сюда языка изменник
бардов Киприды.

Тут как не рыкать?.. Строгий метр потерян.
Мелос наш, каданс — топора обиды
злые, так сказать. На аршин отмерен
логос без слога,

иль без сути стиль, или прописные
выверты постмо-дерма. Нуль итога
вящих трех веков! Службы чтить ночные
музам не модно.

Кто в одну строку, кто строкой стостопной
под себя писать что и как угодно...
Свой пометил троп новый расторопный
приватизатор!

Если изменить разбивку на строфы, то можно убедиться, что стихотворение написано самыми обыкновенными катренами с перекрестной рифмой. Это неожиданно. Катрен с перекрестной рифмой — может быть, самая распространенная строфа в русской поэзии. Слух воспринимает его почти всегда безошибочно, но в «Стансах» поэту удается настолько изменить строфу, что традиционный катрен практически исчезает; однако уходит он только с первого плана — его все равно слышно. В результате возникает отчетливое, утвержденное многократным — из строфы в строфу — повторением несоответствие и даже противопоставление семантической и ритмической группировки, подчеркиваются словесные связи вопреки ритмической монотонности, а это присуще именно силлабической организации стиха.

Стихи Полищука проникнуты глубокой иронией и самоиронией. Чарли Чаплину принадлежат слова о том, что смешное возникает при полном несоответствии поведения человека и обстоятельств, в которых он находится. Например, человек висит вниз головой и поправляет галстук — это смешно. Человек роет «новую яму под старый нужник» и говорит об этом терцинами, а Муза его оказывается при ближайшем рассмотрении коровой — это тоже весело.

В строфе:

Черный точишь ход, до червя низведен, —
от земных паров слог высокопарен...
Нынче знаешь как говорят? — кто беден,

тот не талантлив, —

привычка к быстрому чтению и инерция смыслового и рифменного ожидания невольно подставляет в четвертую строку: «тот бездарен». Ан нет. Автор как будто говорит читателю: «Ну что вы, зачем так грубо? Бездарен. Нет, все не так безнадежно: не талантлив», — и читатель вынужден признать, что поторопился с выводами. Ирония проявляется не только в комических положениях, не только в подтрунивании над чересчур торопливым читателем, но и в соположении и пересечении несовместимых лексических рядов, в непосредственном соседстве архаичного и просторечного.

Это — в куцах, глянь, где огонь веселый,
в свадебном еще осыпанье праха...
Женщину сию ты ведь видел голый?
Ты ее трахал??

Се — Сестра твоя! — Да уймись, корова,
я вкушал твои и «му-му», и жижу.

В собственно силлабических стихах (книга «Страннику городскому») процент архаичной лексики и словоформ сравнительно невелик, и он резко возрастает при переходе к регулярному стиху, как будто требуется компенсация, как будто поэту необходимо выдержать дистанцию между своей поэтикой и сложившейся на сегодняшний день нейтральной стиховой нормой. Для этого он использует все современные средства инструментровки стиха, которыми свободно владеет.

Греби ж, грабать, шурши еще, смешон
в тщете разворошить толщ свежей прели
иль залежь прошлых лет, вооружен
крылом граблей. На солнечном простреле
иль в шумный дождь, надвинув капюшон,
следи окоченело, чтоб горели...
Теплом огня минувшего обвет,
царит повсюду желтый чистый цвет.

Аллитерация шипящих в первых трех строках очень точно передает звук сухой сгребаемой граблями листвы, его сменяет «на солнечном простреле» светлое «л», и дальше — шум дождя по капюшону.

Точные наблюдения, без которых настоящие стихи не существуют, рассыпаны с произвольной щедростью, поэт совсем не стремится их выделить, специально подчеркнуть, он «роняет слова», как камни, и идет дальше, но стоит задержаться и еще раз рассмотреть оброненное:

Но! Но!.. Как далеко заносит лист,
кровь газирюя свежим ветром страха!

Мурашки, бегущие по коже, щекочущие пузырьки адреналина.

И даль знобит прозрачностью горенья.

Прозрачный осенний день. Пейзаж подрагивает сквозь восходящий над костром горячий воздух. В саду холодно, и видно далеко-далеко.

Если даже одну строку можно было бы пересказать прозой, стихотворение бы не существовало. Это верно для любого стиха, но для стихов Полищука эта

невозможность важнейший принцип: его стих не имитирует нормативную речь, а ей сознательно противостоит.

Рецензия на книгу «Страннику городскому» в «Ех libris НГ» вышла с характерным подзаголовком «Карион Истомин — это наш достойный ответ Деррида». В частности, в ней говорилось, что силлабические стихи, составившие книгу, написаны на уровне чистого примитива, как будто не существовало русской поэзии последних двух с половиной веков, и это — истинная деконструкция.

Я полагаю, что стихи Полищука не деконструкция, а реконструкция, действительное возвращение к началам русской стиховой культуры, но не для того, чтобы остановиться на примитиве, а для того, чтобы попытаться еще раз пройти весь путь и нащупать возможный выход в будущее, в иную несуществующую поэтику.

Полищук обратился к силлабике так, как отступают назад, чтобы разбежаться перед прыжком.

...На аршин отмерен
логос без слога,

иль без сути стиль, или прописные
выверты постмо-дерма. Нуль итога
вяхих трех веков!..

Логосу нужен адекватный слог, и никаким самым изощренным стилем не оправдать отсутствие сути. «Нуль итога» — это и есть победившая деконструкция. Неужели это главный результат «трех веков»?

В «Заметках о поэзии» Осип Мандельштам писал, что весь путь русского стиха — это путь секуляризации, уход от «литаний гласных» к цоканью и шелканью согласных, от византийской иностранщины и интеллигентщины к чисто русскому звучанию. Это путь снижения штиля и обмирщения поэтической речи. Мандельштам этот путь приветствует в статье, хотя, на мой взгляд, далеко не всегда ему следует сам.

Каким должен быть предел этого движения, если он существует? Пройденный до конца, он приводит к практической смерти речи, к ее исчезающе малой глубине, к цоканью копыта и шелканью клюва. Остается сухой порох непроносимых смыслов. Это в точности «нуль итога». Но, дойдя до нуля, не обязательно на нем останавливаться, можно заново начать восхождение во всеоружии опыта и знания, которое дает анализ. Силлабика здесь оказывается неожиданно мощным оружием со всей своей не востребованной, нерастраченной энергией, своим вниманием к безударным гласным (повторюсь). Гласные в силлабике несут структурную нагрузку, но они и размыкают согласный ряд, пропитывая его влагой человеческого голоса. Если говорить, артикулируя каждый звук, подчеркнуть смысл неожиданной инверсией, столкнуть нормативное словоупотребление с чуждым стилистическим рядом, то можно заставить слово звучать заново.

Может быть, так нельзя говорить, но так можно и нужно писать стихи.

Поэт в жанре комментария

Все три поэта, о которых я пишу в этих очерках, сочли необходимым прокомментировать свои стихи. Комментарии поэтов — это действительная попытка рефлексии собственных стихов, и то, что эта рефлексия оказалась необходимой, очень показательно. Поэт, пытающийся уяснить себе, «что же я делаю» и «как я это делаю», ищет дополнительную внестиховую опору, которая нужна только в том случае, когда нет априорной уверенности в однозначности пути. Это еще одно, может быть, и лишнее уверение в собственной правоте. Необходимость в комментарии возникает тогда, когда предмет комментария осознается как самостоятельное целое, вычлененное из стиховой материи.

Рефлексия возникает не над стихами, а над способом создания речевой конструкции.

У каждого из поэтов форма комментирования своя. Это — построчные примечания Ирины Ермаковой в книге «Стеклянный шарик», послетекстовые заметки «Вместо комментария» в книге Дмитрия Полищука «Страннику городскому» и «Речь в защиту поэзии», произнесенная Максимом Амелиным на церемонии вручения премии «Нового мира».

О примечаниях Ирины Ермаковой я уже говорил. Главная роль ее комментариев — указание первичного импульса, ориентация семантического вектора в культурном пространстве. Своими почти игровыми примечаниями она переосмысливает слово, дает ему нужный контекст, отсутствующий в нейтрально-языковом словоупотреблении, указывает новый источник — почти всегда Дальний Восток.

«Речь в защиту поэзии» Амелина имеет самый общий характер, и сказанные в ней слова как бы о поэзии вообще. Она выглядит репетицией Нобелевской лекции (ну что ж, дай Бог, чтоб так и было). Еще она похожа на поэтические программы и декларации, которые создавали поэты, образуя творческие объединения и в девятнадцатом, и в начале двадцатого века. Но, несмотря на ее всеобщность, интересна она именно моментом рефлексии собственного творчества. Если бы эту речь произнес не Амелин, ее содержательный момент стремился бы к нулю.

«Речь» произнесена (а она была реально произнесена) в почтенном риторическом жанре Демосфеновой филиппики. Итак, от кого следует защищать поэзию? Если ответить на этот вопрос, можно дать отрицательное определение поэзии, по принципу — это то, что не... «У поэзии есть враги, внешние и внутренние... Прежде всего поэзию стоило бы защитить от воинствующих филологов. Поэзия, как никакое другое искусство, своим существованием доказывает бытие Божие. Филология же, как никакая другая наука, особенно на протяжении последнего столетия, безуспешно, но с особым рвением стремится доказать обратное... Основные понятия, которыми оперирует современная филология, текст и контекст, — не что иное, как труп и его парадно-похоронный наряд. Но настоящее поэтическое произведение, представляющее собой звуко-смысловое единство, несводимо к этим понятиям, поскольку является особым живым организмом, существующим по своим законам».

Поэзия своей практикой являет чудо преображения слова, а филология это чудо пытается объяснить, редуцировать к заранее известным, более-менее постоянным схемам. Объясненное чудо перестает существовать. Поэтому филологи — «маньяки-потрошители». Но вера, не вооруженная знанием, близорука, она не может отличить чудо от фокуса, от ловкости рук. Филология, безусловно, должна посчитать и объяснить все, что можно посчитать и объяснить, чтобы показать в конце концов, что же на самом деле необъяснимо. Я думаю, Амелин это прекрасно понимает, но почему он так резок и безапелляционен?

При чтении его стихов у меня неоднократно возникало ощущение, что прямо у меня на глазах художник рисует окружность. Медленно, постепенно скругляя линию, движется остро отточенный мягкий карандаш, кажется, сейчас дрогнет рука, но она тверда и уверенна, кажется, начало и конец линии не совпадут, нет, художник закончил работу и оторвал карандаш от листа в то неуловимое мгновение, когда линия замкнулась. Передо мной идеальная окружность, которая могла начинаться в любой своей точке. И в этот момент сама окружность перестает меня интересовать, она не более чем тонкая граница, очертившая круг. В нем нет ни одного штриха, но только он и существует. В стихах Амелина слова настолько точно поставлены в соответствие друг другу, что текст перестает играть образующую роль. Он «снят», потому что единственно возможен. Он означает только то семантическое целое, которое он отграничил. Слово допускает единственный контекст, оно ни на что не намекает, не дает никаких побочных ростков, оно отшлифовано до прозрачности.

И сделано это для той реальности, которая лежит внутри прозрачной сферы. Эта реальность зыбка и слаба, потому что не названа, а возможно, и неназываема. Филология, естественно, разбирает стихотворение на ритмические и семантические конструкции, она создана для этого и по-другому работать не умеет. Но при этом сфера будет разбита, и то единственное, ради чего она создавалась, будет утрачено. Как тут любить филологов!

«Несмысленные поэты — порча поэзии изнутри... Стремление ко мнимой понятности, призрачные старания не отрываться от народа привели к упрощенчеству. Поэзия свелась к четырехстрочной строфе, равносложным строкам, простым предложениям и тому подобному. Особым достижением считалась прозаизация поэзии». Все перечисленные «недостатки» (именно в кавычках, потому что для другой поэтики они вполне могут оказаться достоинствами безо всяких кавычек) неприемлемы для Амелина, потому что они по внешнему сходству приводят к тому же эффекту снятия текста, которого добивается Амелин в своих стихах. Текст также не ощущается как самостоятельная ценность, но это слишком легкий путь. Приведя стихи к нейтральному языковому ожиданию, можно потерять всякое содержание вообще. Вместо сферы мы получим оконное стекло, не имеющее к искусству никакого отношения. Сфера все равно сверкнет, под неожиданным углом преломляя луч, а оконное стекло мы заметим, если только оно не чисто вымыто. Именно внешнее сходство с подобной поэзией требует от Амелина резкой отповеди.

«Для противостояния хороши все средства: разнообразие рифмы, риторические фигуры, богатая строфика, сложность русского синтаксиса». Нужно использовать все эти средства и не превратить стихи в скопление филологических изысков, сохранить их реальное содержание. Это, конечно, трудно, но труд того стоит.

В отличие от Ермаковой, чей комментарий прежде всего игра, и Амелина, чья гневная речь должна повергнуть в прах филологов и графоманов, Дмитрий Полищук в своих заметках «Вместо комментария» серьезен и сосредоточен на своих стихах. Это в чистом виде автокомментарий и самоанализ. Что же волнует поэта настолько, что он счел необходимым сказать об этом прозой? «Словесная форма... не пустая сеть... она сама часть улова... Принципиальное отличие [силлабики от силлаботоники] обнаруживается не для читателя, а для пишущего». Это — рефлексия речевой конструкции, выделенной как самостоятельная ценность. Сознательное применение новой метрической схемы приводит к ощутимым уже не только автором, но, по-видимому, и читателем последствиям: «Можно говорить о „словесности” силлабики (недаром: „словес плетение”) в противоположность „метричности” силлаботоники». Здесь с поэтом можно только согласиться. При силлабическом письме фонетические ударения перестают играть роль узлов, на которых держится стиховая конструкция, тоника умалывается. Ритмическая группировка уступает место семантической. Стихи сближаются с прозой, но выделенность строки, наличие рифмы и слоговой меры не позволяет стихам окончательно в нее превратиться. Может возникнуть вопрос: «А если это дольник?» — но не может: «А если проза? Да и дурная?», который так часто возникает по отношению к верлибру. «Это послесловие и пространные подзаголовки с эпитафиями — отчасти из-за прихоти увлеченного автора указать на внутренний контекст» — тот же самый прием указания контекста использует, как мы видели, и Ермакова в своих примечаниях. Поэт предпринимает метрическую перестройку стиха для того, чтобы подчеркнуть и выделить семантическую ценность слова, затертого привычной ритмикой, и это ему, на мой взгляд, замечательно удается. Слово опять тяжело, и его произнесение требует усилия.

Амелин — все знает о поэзии.

Ермакова знает, что подлинная поэзия есть на Дальнем Востоке и пишут ее иероглифами.

Полищук колеблется даже в назывании метрики, в которой работает, — «было бы лучше называть эти метры тонической силлабикой».

Позиция всезнания зыбка, потому что любое всеобщее утверждение элементарно опровергается любым контрпримером, а их сколько угодно.

Хорошо, конечно, знать, что где-то все хорошо, но отсылка Ермаковой очень похожа на «пойди туда — не знаю куда».

Незнание колеблется на уровне нуля, где любая продуктивная попытка сразу же разрушается сомнением и нужно заново учиться говорить.

Все три поэта находятся в состоянии неустойчивого равновесия, а это самое плодотворное состояние, остается (всего лишь) ответить на вопрос: «Куда ж нам плыть?..»

В поисках реальности

Юрий Тынянов в статье «Литературный факт» пишет: «В эпоху разложения какого-нибудь жанра — он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин wpłyвает в центр новое явление». Что же это сегодня разлагается у нас на глазах? Поэзия — которая «свелась к четырехстрочной строфе, равносложным строкам, простым предложениям и тому подобному», в которой «особым достижением считалась прозаизация...» Этой «несмысленной» поэзии объявляет войну Амелин, это она настолько не удовлетворяет Полищука, что ему захотелось «попробовать чего-то иного, добиться иного звучания», это от нее отвернулась на Восток Ермакова. Но эта традиционная поэзия, настолько традиционная, что уже Пушкин говорит: «Четырехстопный ямб мне надоел», — еще достаточно сильна сегодня, и все эксперименты героев этих очерков проходят на ее фоне, и все их достижения новы по сравнению именно с ней. Противостоять-то ведь приходится не каким-то анонимным писателям на заборе, а, в частности, Олегу Чухонцеву, чья поэма «Однофамилец» как будто нарочно аккумулировала все те «недостатки», которые объявляет неприемлемыми Амелин. Она написана четырехстопным ямбом с перекрестной рифмой, четверостишиями и предельно прозаизирована — собственно, это бытовой рассказ. Но ее стих силен и выверен, поэту удается полностью сплавить стиховую инерцию с движением сюжета и заставить стихи говорить о реальном происшествии. А поэтическое слово слишком самодостаточная вещь, чтобы просто так забыть о себе и говорить о постороннем. Скромная, неподчеркнутая, точная рифмовка, полное отсутствие поэтических красот — и тем не менее это большая поэзия. Значит, нельзя не считаться с традиционной формой — у нее еще есть что сказать, и много есть. Поэты полностью отдают себе в этом отчет, и потому их эксперименты проходят в непосредственной близости от «мейнстрима» и, кажется, уже начинают понемногу изменять его направление.

Если фон эксперимента для всех троих примерно один и тот же, то «литературные задворки» у каждого свои. «Вся суть новой конструкции может быть в новом использовании старых приемов, в их новом конструктивном значении», — пишет Тынянов.

У Полищука это русская силлабика, своего рода прапоэзия. Он берет разбег от начала. Русская силлабика не входит ни в основной поэтический корпус, ни даже во вспомогательный. Со второй половины восемнадцатого века она оставалась невостребованной и сохранила в себе огромный запас энергии, не растроченной ежедневным употреблением. В ее далекости заложена мощь, создаваемая огромной разностью потенциалов. Путь к освоению силлабического пласта русской поэзии только один — надо ее использовать, и делать это так, чтобы силлабический стих снова стал современным, перестал быть экзотикой и полем эксперимента, его не нужно прививать к стволу традиционной поэзии, нужно склонить традицию в его сторону. Многие на этом поприще Полищуку удалось, но мне кажется, что его ждут еще большие успехи. Он поэт очень большого потенциала, до конца еще не раскрытого.

Амелин ориентируется на одическую традицию восемнадцатого столетия. С одой как жанром произошло то же, что и с силлабикой. Общее понижение

штиля, прозаизация (секуляризация) поэзии, вызванная работой Карамзина и закрепленная Пушкиным, который, закрыв весь поэтический горизонт, сделал практически невидимыми успехи предшественников (за исключением, может быть, Державина, который сам и начал прозаизацию высокого стиха), вытеснила оду на границу поэзии и оставила ее доживать в стихах графа Хвостова (что бы Амелин о нем ни говорил, невеликого поэта). Амелин взял одическую интонацию, предельно усложнил строфическую форму, смешал высокую лексику с просторечием и, что действительно достойно удивления, придал этому убойному коктейлю очень тонкий вкус. Позиция Амелина близка традиционной поэтике, но столь же явно с ней не совпадает, чувство меры и здесь ему не изменило. На мой взгляд, Амелина интересует не столько ода как таковая, не столько воскрешение забытых и потерянных имен, сколько сегодняшний запутавшийся в означающих человек, который говорит рекламными слоганами и давно забыл, что значат те слова, которые он произносит. Для Амелина одическая форма как раз сеть, «а не часть улова». «Улов» для него — просторечная, разговорная лексика и традиционная поэтическая форма, он заставляет их вспомнить самоё себя. Поэзия Амелина перспективна в самом прагматическом смысле — она уже принесла поэту «условленную славу» и еще принесет. Она достаточно отчетливо очерчена его безупречным выбором и, кажется, тем поворотом, который создает новую традицию.

Видный хайкуист и теоретик хайкуизма Алексей Андреев в Интернет-журнале «Лягушатник» написал о стилизации Ирины Ермаковой и Натальи Богатовой: «А сами танки Иринати — ну, ничего себе... правда, американские Иры и Наты пишут такие штуки не сотнями, а сотнями килобайт» (<http://www.net.cl.spb.ru/frog/neku.htm>). То, что хайку и танка пишут на всех европейских языках, в трудно представимых количествах, — это правда. Даже не сотнями килобайт, а сотнями мегабайт. Интернет переполнен хайку и танка во всех видах. Точные — с выдержанной силлабической мерой — 5 — 7 — 5 слогов на строку для хайку, 5 — 7 — 5 — 7 — 7 для танка, свободные — любой текст из трех или пяти строк. Складывается впечатление, что

любой трехстрочный
текст многозначителен
до совершенства, —

что достаточно приблизительно следовать классической форме, чтобы написанное было высокой поэзией. Достаточно поднять палец вверх и торжественно возгласить пару фраз, лучше с нечетким смыслом и недостроенной грамматической формой. Хороши также назывные и безличные предложения, особенно внезапно оборванные перехватившим горло восторгом от собственного творческого взлета. Пишут сцепленные хайку, в которых последняя строка одного является первой строкой другого, пишут рэнгу — сцепленные танка. В Сети есть сайты, на которые выложены хайку, написанные детьми дошкольного возраста, и всерьез обсуждается вопрос использования классических форм дальневосточной поэзии в процессе обучения литературе. Я не привожу ссылок, потому что любой поисковый портал в Интернете отзывается на ключевое слово «хайку» или «haiku» лавиной ссылок — десятками тысяч, и нормальный здравый смысл предупреждает: не бывает столько стихов. В подавляющем большинстве эти хайку не имеют к поэзии никакого отношения, но они создают среду, насыщенную ожиданием поэзии, а такая среда плодотворна, как хорошо унавоженная почва. Чтобы вырастить что-то стоящее, нужна мелочь — талант, как и всюду, как и в самой традиционной поэзии. Ирина Ермакова относится к переводной и оригинальной поэзии хайку и танка аккуратно и избирательно. Она берет из нее не тему, а модус, поворот: стремление удержаться в стихе мгновенное состояние живого, сквозь которое нечаянно проявляется изначальная красота. Ее стихи — живое о живом. Ее мир колеблется и предстает перед читателем в изменчивости и протекании. И оказывается, что он вечен, потому что мгновенен. Писать о вечности, оказывается, можно

и так. Не обязательно брать время как целое, как реку, на которую смотрит Бог и видит сразу ее исток и устье. Можно свести время к исчезающе малой длительности, к никуда не движущемуся «сейчас». Это путь Ирины Ермаковой, и училась она этому пути в школе Басё, и принесла свое знание в русскую поэтическую культуру.

Стихи каждого из трех поэтов рождаются на пересечении двух семантических плоскостей. Этих плоскостей ровно две — ни больше, ни меньше. Поэты никак не ограничивают себя в выборе реалий или ассоциаций. Но все, что бы они ни взяли, оказывается разложимым на две составляющие: современная поэзия и обязательная традиция или секущий контекст, который для каждого из поэтов уникален.

Амелин, например, любит писать о памятниках: памятник Петру, который «сработан бессмертным Зурабом», памятник Маяковскому — «кучкующихся проституток, / смотри, В. В., не потопчи», памятник русско-грузинской дружбе на Тишинке — «чернела по-над площадью „залупа”». Насколько памятник как жанр связан с одой, можно и не говорить (стихотворение о Маяковском так и названо, кстати, — «Классическая ода»), но ода здесь амелинская: ее пафос предельно снижен лексикой и предельно осложнен строфически. Организация стихов о памятнике Петру взята у античной трагедии: строфа — антистрофа — эпод. Можно, кроме того, вспомнить о том, что пластическая статуарность вообще присуща классической культуре, но это уже не обязательно.

Полищук называет большое написанное октавами стихотворение «Гиппогриф», отсылая читателя к поэме Ариосто «Неистовый Роланд», где впервые встретилось это животное — полуконь-полулев с крыльями грифа. Но ведь современная силлабика такая же химера — подровненный слоговой мерой и зарифмованный верлибр. Полищук использует силлабическую традицию уже не только как метрику, но и как формообразующий принцип целого. Его «Змеи» и андрогины («Отрывок») — это порождения природы в начале ее эволюции, когда из хтонического хаоса и мрака еще не родился дивный божий мир. Они принадлежат доклассической пракультуре, и их силы огромны и разрушительны.

Два стихотворения Ермаковой посвящены Великому Пану. Но ведь Пан — единственный греческий бог, который умер. Трудно подобрать более точную метафору вечности и в то же время ускользающей мимолетности жизни.

В предпочтении и разработке ровно двух источников семантики есть и своего рода вызов и ответ на практику постмодернизма, с его принципом интертекстуальности, то есть произвольной множественности ссылок и интерпретаций. Взаимодополнительность двух интерпретаций становится у поэтов обязательностью смысла. Слово, оказавшись на пересечении двух семантических полей, отбрасывает отчетливую смысловую тень, возникает перспектива и однозначно восстанавливает источник света — означаемое. Смысл не «размывается», он однозначен, как прямая, лежащая на пересечении плоскостей. Если допустимых интерпретаций много, семантическое зрение не фокусируется, значение «плывет» и множится. Этот подход может быть интересен и плодотворен, но не он выбран поэтами — они предпочитают вернуть слову смысл, а вещи имя. На это направлены труд и талант. Реальность-то груба, она даже не простое, а «препростое».

Путь поэтов, о которых я пишу эти очерки, только один из возможных.

Можно целенаправленно следовать традиции (Александр Кушнер).

Можно строить свою поэтику с нуля, отказавшись от традиционных схем радикально (Всеволод Некрасов).

Можно использовать те немалые полисемантические возможности, которые дает интертекст, по полной программе и передать не ставшее, а становящееся, ускользающее, безопорное бытие, сделать целью само протекание — время (Иосиф Бродский).

Можно, напротив, так выстроить изобразительный ряд, что он будет передавать только вневременные объекты, отказаться от диалога с историей и действительностью (Ольга Седакова).

У каждого из этих путей есть свои преимущества и трудности, свои победы и поражения. Русская поэзия, слава Богу, настолько богата, что дает шанс самым разным способам выражения, и в ней достаточно талантов, чтобы этими шансами воспользоваться.

В Коломенском, неподалеку от которого жили и живут три поэта, есть странная достопримечательность — Борисов камень. Этот гранитный валун XII века лежит у боковой аллеи, в стороне от празднеств, которые здесь в последние годы нередки. Сопроводительная табличка гласит: «Знак владений Полоцкого князя Бориса в верховьях Западной Двины. На камне выбиты крест и надпись». Как он попал в Коломенское от верховьев Западной Двины, кто и зачем его перевез, я не знаю, он слишком велик, чтобы его можно было взвалить на подводу. Пока я писал очерки о трех современных поэтах, я часто этот камень вспоминал, и не только потому, что упоминания о Коломенском есть в стихах всех троих и отношение к нему поэтов самое теплое.

В лучший полдень в Коломенском с удочкой в легкой руке.
Можно все что угодно увидеть в прозрачной реке.

(Ирина Ермакова)

...Мне придется
и эту зиму перезимовать
в двенадцатизатальной — не из кости
слоновой — башне на последнем (или
от меди неба первом — как считать!),
одним окном в Коломенское, парой
других на непроглядную Москву
побликивая...

(Максим Амелин)

Глянь-ка, невестой в цвету,
тягою к прорицанью,
зимних садов слепоту
прорезая за гранью
рассудка — левой, правой
белоснежно, нелепо,
меж черных еще ветвей, —
синие цветы неба.
Коломенское.

(Дмитрий Полищук)

Общее для всех трех поэтов, при всем разнообразии форм и тем, метров и смыслов, к которым они обращаются, — ответственность и серьезность в отношении к поэтическому творчеству вообще. Слова об ответственности были бы не более чем декларацией, если бы они не были подтверждены результатами практической работы над стихом. Поэты вновь открывают перед нами реальность, которую мы как-то стали подзабывать в наших виртуальных играх, держат перед этой реальностью ответ и дают ей отчет.

Каждый из поэтов прекрасно знает, что поэтическое слово слишком тяжелая и сильная вещь, чтобы быть только предметом интеллектуальной, сколь угодно изощренной игры. Они ничем не ограничивают свой словарь, дерзко экспериментируют с самыми рискованными методами метрической и строфической организации. Их стихи молоды, свежи, ироничны. Печальны до трагедии, веселы до гротеска. Разнообразие стиховых форм, которые встречаются в их немногих пока книгах, хватило бы на поэтическую культуру небольших

размеров страны. Я привел в очерках лишь малую толику. И Максим Амелин⁴, и Ирина Ермакова⁵, и Дмитрий Полищук⁶ знают: ответственность за сказанное слово наступает не когда-то, не где-то, а здесь и сейчас.

Коломенский Борисов камень кажется мне совершенно конкретным, материальным воплощением сущности поэтического творчества героев этих очерков. Гранитный валун — необходимый балласт, который придает кораблю устойчивость своей тяжелой реальностью.

Камень, который секли и обтачивали дожди и ветры девяти столетий, который хранит в себе неизмеримую мощь земли и почвы, на котором высечена полустертая, но различимая надпись: «Господи, храни раба твоего...»

⁴ «Расплатиться — какой валютой? / за каким конкретно углом?» Именно так. Амелин — прагматик, который даже своему alter ego предлагает сделку на «условленную славу», но платить-то здесь нужно стихами, а «стихи валюта нетвердая».

⁵ «Виновата — отвечу; в праздник, третьего марта» (Ирина Ермакова). Конечно, в праздник, конечно, третьего марта: в ничего ни для кого, кроме автора, не значащий день, но единственный и неповторимый для него. Может быть, день рождения?

⁶ «Умея словом убивать, как трудно / не говорить с людьми». Вообще-то люди в поэтике Полищука немного лишние. На той стадии поэтической эволюции, на которой живут его стихи, играют такие стихии, рвут пространство такие силы, что человеку там неуютно. Здесь пока царство химер и андрогинов, люди будут позднее, когда немного оформится мировая гармония.

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



РИТМ КАК ТЕОДИЦЕЯ

То, что сегодня называют верлибром и что вытесняет по всему свету прочие способы писать стихи, за редкими исключениями таково, что, если мы называем верлибрами определенные стихотворения старых поэтов от Клопштока и Гёльдерлина до Тракля и Мандельштама, пожалуй, даже до Элиота и Целана, до скромного Бобровского, в которых ритм не укладывается в единообразные метрические схемы, но, однако, совершенно явственен от первого слова до последнего, — для нынешней продукции надо было бы подобрать какое-то другое имя. Старый верлибр, во-первых, существовал в соотношении с метром, давая особенно резко ощутить ритмическую организацию поэзии на самой ее границе, во-вторых, как и приличествует явлению пограничному, маркировал какой-то взрыв, — вспомним хотя бы псалмодическую экстаичность голоса Уитмена. Иначе говоря, он жил острым напряжением между ним и стихом традиционным. С элиминированием (или хотя бы размыванием и расслаблением) последнего исчезает и напряжение.

Однажды мне случилось подряд прочитать в одной немецкой антологии два австрийских текста: один классический — сцену из драмы Грильпарцера «Сон-жизнь», когда Рустан просыпается после целой прожитой им во сне жизни (известный мотив, трактованный прежде Кальдероном, а позднее Германом Гессе); один новейший — монолог из «Самообвинения» Петера Хандке («Я оказался в мире. Я возник. Я был зачат. Я зародился. Я разросся. Я родился. Я был учтен статистикой рождений. Я стал делаться больше...» и т. д. и т. п.). При вопиющем несходстве обоих текстов, чисто тематически в том и другом — по ту сторону бидермайеровского морализирования в случае Грильпарцера, по ту сторону шестидесятнического «бунта» в случае Хандке — определенно есть нечто общее: оба дают жуткий, неуютный взгляд на жизнь извне жизни, из какого-то нечеловеческого пространства, откуда вся человеческая «экзистенция» видится совершенно нереальной.

Но контраст, лежащий глубже, чем внешние атрибуты историко-литературных эпох, обусловлен прежде всего иного попросту тем, что у Грильпарцера — четырехстопные хорей, а у Хандке — преза, и притом проза нарочито, подчеркнута аморфная. Поэтому у второго появляется то, чего не было у первого: полное отсутствие дисциплины, человеческой выдержки и осанки, нужной, как всегда считалось, именно перед лицом жути. Что бы ни приключалось с героем Грильпарцера, — но за одной хорейческой строкой непреложно последует другая, и так будет до конца драмы; примерно так, как после нашей смерти будут до конца мировой драмы продолжать сменяться времена года и возрасты поколений, каково знание, утешая нас или не утешая, во всяком случае, ставит на место и учит мужеству. «...И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять», — Пушкин, ровесник Грильпарцера, только однажды эксплицировал это в словах; но разве не об этом говорит неустанно самый его стих?

...Литературная теория и литературная критика любили рассуждать о соответствии формы и содержания в классической литературе. Пора поговорить о том, что это соответствие контраста. В «Евгении Онегине» всячески тематизируется настроение, достаточно близкое к отчаянию; и притом весь роман — тут исключительно к месту вспомнить все рассуждения Бахтина о романе как противоположности эпосу! — развертывается как причудливо непринужденная *causee* автора с читателем, принципиально начинающаяся ни с чего и заканчивающаяся ничем. Однако онегинская строфа принадлежит к числу самых строгих, самых сложных и музыкально-упорядоченных строф. Какие ужасы встают перед нами, когда мы свежими глазами читаем, скажем, 2-ю песнь «Энеиды», прямо-таки предвосхищающую макаберные темы эпохи мировых войн; но движение вергилиевских гекзаметров дает контрастный противовес неприкрашенным кошмарам.

Так называемая форма существует не для того, чтобы вмещать так называемое содержание, как сосуд вмещает содержимое, и не для того, чтобы отражать его, как зеркало отражает предмет. «Форма» контрапунктически спорит с «содержанием», дает ему противовес, в самом своем принципе *содержательный*; ибо «содержание» — это каждый раз человеческая жизнь, а «форма» — напоминание обо «всём», об «универсуме», о «Божьем мире»; «содержание» — это человеческий голос, а «форма» — все время наличный органичный фон для этого голоса, «музыка сфер». Содержание той или иной строфы «Евгения Онегина» говорит о бессмысленности жизни героев и через это — о бессмысленности жизни автора, то есть каждый раз о своем, о *частном*; но архитектоника онегинской строфы говорит о *целом*, внушая убедительнее любого Гегеля, что *das Wahre* — это *das Ganze*¹. Классическая форма — это как небо, которое Андрей Болконский видит над полем сражения при Аустерлице. Она не то чтобы утешает, по крайней мере, в тривиальном, переслащенном смысле; пожалуй, воздержимся даже и от слова «катарсис», как чересчур заезженного; она задает свою меру всеобщего, его контекст, — и тем выводит из тупика частного.

(Честно говоря, если я вижу в чем религиозную ценность пушкинской поэзии, так уж не столько в учтивом ответе владыке Филарету или в переложении преп. Ефрема Сирина, сколько в неуклонной верности контрапункту, в котором человеческому голосу, говорящему свое, страстное, недоброе, нестройное, отвечает что-то вроде хора сил небесных — через строфику, через отрешенную стройность ритма. Старые поэты — всё больше грешники, но вящий грех и притом непроходимая глупость — пытаться словить их поэзию на слове, потому что в ней-то всегда есть не только слово, но и тайный, потому что метасловесный, музыкальный ответ на слово; кто имеет уши, пусть слышит этот ответ, а кто не имеет, пусть воздерживается от чтения стихов. «А вот он, гад, сам сказал то и то! Вот где он проговорился!» Да, сказал, да, проговорился, — и ритм дал на все свой ответ. С некоторым преувеличением рискнем сказать, что когда мятеж и отчаяние выражают себя в такой безупречно дисциплинированной и притом живой форме, как у Пушкина, — это почти так, как когда псалом принимает вовнутрь своего пространства слова *безумца*, как известно, сказавшего: «*несть Бог*», — и тем преодолевает их.)

Как странно, как нелогично, что Лев Толстой, так восхищавшийся манерой русского крестьянина умирать, одновременно ругательски ругал, во-первых, церковную обрядность, во-вторых, условность поэтического обихода. Уж не будем говорить, что значила обрядность — не только церковная в собственном смысле — для жизни и смерти этих самых мужиков, как она превращала беду из патетической катастрофы или постпатетического «абсурда» — в дело, требующее делового отношения. Странно, что он сравнивает соблюдение ритма и рифмы с нелепыми приседаниями во время сельского труда — он-то знал

¹ Истинное... Целое (нем.). (Примеч. ред.)

лучше нас, как ритмичны были движения при традиционных формах работы и как характерны были для быта прежних времен трудовые песни, эксплицирующие именно эту ритмичность. Но как он не понимал, что Пушкин, заключая свои *«змеи сердечной угрызенья»* в неспешный ход шестистопных ямбов, чередующихся с четырехстопными, — в этом, именно в этом принадлежал тому же порядку вещей, что и невозмутимо принимающий свою кончину мужик!

...Стих выбран для рассуждения, именно стих, просто потому, что в нем концентрированнее и осязаемее присутствует то начало, без которого невозможно, конечно, и проза, скажем, *«Записок о галльской войне»* и *«Капитанской дочки»* — в отличие от простого не-стиха, от той «прозы», которой, помнится, говорил г-н Журден.



ЗАЛОЖНИК И ПРЕДСТОЯТЕЛЬ

Леонид Зорин. Зеленые тетради. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 491 стр.
 Леонид Зорин. Маньяк. Современная комедия. — «Современная драматургия», 2000, № 2.

В некотором смысле Леонид Зорин накликал неровное и пристрастное отношение критики к своим «Зеленым тетрадям». В этой книге он приводит шуточный диалог:

— Как вы относитесь к критике?

— Спокойно. А она ко мне — совсем спокойно.

До последнего времени, невзирая на несколько проработочных кампаний и череду запретов, все, что писал Зорин, пользовалось стойким критическим успехом. Он остается драматургом и прозаиком с безупречной репутацией независимо и доброжелательного интеллигента. «Тетради» — сборник коротких эссе и набросков из записных книжек за сорок лет — вызвали не только искреннее одобрение, но и столь же искреннее неприятие. В их авторе поспешили увидеть брюзгу, который из уютного советского мира, где можно было без особого риска фронтировать и без особенных усилий казаться интеллектуалом, попал в неудобный и несоветский мир, где возникают проблемы с самоидентификацией.

Честно говоря, я могу понять, чем так раздражает эта книга — в особенности неприятная для ангажированных авторов, принадлежащих к конкретным кланам и тусовкам. Примерно такие же чувства вызывает у многих поздняя проза Лидии Гинзбург с ее упорным и последовательным переносом принципов «формальной школы» на человеческие отношения. С юности привыкнув рассматривать текст как сумму приемов, Гинзбург рассматривала человека как сумму его вранья — себе, окружающим, читателю. Эта система последовательных разоблачений и саморазоблачений (причем довольно жесткому анализу подвергаются даже такие срыватели масок, как Толстой или Ахматова) поневоле вызывала неприязнь к автору — наряду с восхищением, разумеется. У Зорина нет той ледяной невозмутимости, да и вообще, будучи южанином до мозга костей, он куда элегичнее и снисходительнее. Но все-таки никогда прежде он не позволял себе такого упрямого разоблачения любых самоутешений, опровержения множества конвенций, которые делают жизнь выносимой. Попытка подвергнуть предельно трезвому разбору, без каких бы то ни было обольщений, все социальные иллюзии, которыми мы жили в последнее время; издевательство над «трудом со всеми сообща и заодно с правопорядком»; вполне доброжелательный с виду и вполне беспощадный по существу разговор о таких великих самогипнозах, как любовь и сочинительство, — вот внутренняя тема «Тетрадей», и чтение их, наряду с удовольствием от точности и краткости иных авторских замечаний, далеко не всегда радует читателя — в особенности когда дело касается его собственных проблем и утешений. Зорин не позволяет себе традиционных *senillia* — публикаций из архива, тщеславных воспоминаний... Он вообще чрезвычайно скрытен, даже когда автобиографичен: то ли это хороший тон, то ли борьба с почти неизбежным возрастным эгоцентризмом, то ли, напротив, какой-то застарелый и тщательно маскируемый комплекс. Даже в автобиографической «Авансцене» он рассказывает о чем угодно, кроме себя, и книгу о своем пути превращает в хронику заблуждений и надежд российской интеллигенции. Но если «Авансцена» по определению касается каких-то вех его жизни и работы, в «Тетрадах» Зорин вообще не саморазоблачается. Не меняется и тон его заметок — тон иронического и предельно жесткого разговора с собой. Хоть здесь ничего не смягчать — вот принцип этих очень законченных, точных, кратких эссе, менее всего похожих на наброски к будущим пьесам. Это даже и не дневник, а скорее попытка сохранить планку и критерий. Есть у Зорина в ранних записях прекрасное (и многим, вероятно, приходившее в голову) сравнение собственного внутреннего мира с заброшенной, давно запертой комнатой. Входишь туда с тоской и ужасом: видишь, как пыльно. Контакты с собственной душой, с независимо живущей

творческой сущностью (главной загадкой бытия, по Зорину, любящему цитировать на этот счет Ходасевича), становятся все реже и все мучительнее — ибо приходится признаваться во всем, а это и горько, и зачастую бессмысленно. «Зеленые тетради» — хроника таких визитов, встреча с тем загадочным и бесстрастным регистратором, который «все видит, все слышит, все понимает», пока прозаик и драматург Зорин живет свою жизнь.

Эта жизнь и без «Зеленых тетрадей» была бы честной — ведь все, что Зорин хотел и должен был сказать, он сказал в пьесах. Но драматургия — дело условное, по определению держашееся на обмане. «Исповедальная пьеса» — в известном смысле оксюморон. Хороший вкус и самоирония не позволили бы Зорину самоидентифицироваться с Дионом, Фонвизиным, Пушкиным, Бараташвили — теми, о ком он писал заветные пьесы. Высказаться полностью он мог только в эссе. Наконец, ум и талант Зорина разноприродны: талант его — счастливый дар бытописателя, лирика, жизнелюба, спортсмена, бакинца, наконец. Он зачастую не в ладу с суровым и придирчивым умом социального мыслителя, историка, коллекционера заблуждений. Именно поэтому пьесы Зорина с их неизменной теплотой и снисходительностью к героям (даже когда речь идет о самых интеллектуальных и ядовитых сочинениях вроде «Римской комедии») так разнятся от его прохладной, несколько умозрительной, но напряженной и увлекательной прозы. Любитель отыскивать во всем национальные причины задумался бы тут о сложном соотношении еврейского, бакинского и русского в зоринском характере и темпераменте, но я не из таких любителей — хотя бы потому, что Зорин, при всей верности своим корням, остается подчеркнутым европейцем во всем, от пристрастия к камерным фабулам до неизменной внешней элегантности. Может быть, именно эта разноприродность таланта и ума предопределила позицию Зорина в главном вопросе человеческого существования. Именно южное упоение жизнью, счастливый дар чувствовать ее прелесть и ее музыкальный смысл не позволили ему превратиться в плоского советского атеиста. И тем не менее современность в изображении Зорина — мир без Бога: «Господи, ты от нас отвернулся, и чем мы стали?» (примечательно, что эта мысль возникает в эссе о всевластии безобразия, о торжестве антиэстетизма — именно эстетика лежит в основе религиозного чувства таких разных, но одинаково трезвых и ироничных эссеистов, как Зорин и, например, Синявский, не говоря уж об их общем друге Белинкове). «Зеленые тетради» — книга о богооставленности, понимаемой как общая драма человечества в конце века. Именно предстоятелем, ходатаем за это измелъчавшее и опошлившееся человечество чувствует себя автор, не переставший, однако, ощущать себя мельчайшей и ничтожнейшей его частью. Ничего пророческого: малый среди малых. И это не сознательное самоумаление, не отказ от героики борьбы, риска — но своего рода экзистенциальный вызов, защита позиции частного человека, сочинителя и наблюдателя.

Зорин справедливо замечает, что у всякого значительного писателя есть своя навязчивая идея, мания, без которой — как бы назойлива она ни была временами — дар как-то ущербен. Есть такая идея и у него — это сквозной сюжет, впервые очень приблизительно намеченный в «Царской охоте», развернутый в отличной повести «Алексей» и окончательно оформленный в лучшей, на мой вкус, зоринской драме — «Пропавший сюжет» (в недавних «Сюжетах» эта же история с постоянством мании напоминает о себе снова). Формально это история о роковой влюбленности: героиня обречена, герой пытается ее вытащить из этой засасывающей воронки и не преуспевает. Обреченность бывает разного рода: иногда, как в «Сюжетах», героиня руководит воровской шайкой, но чаще оказывается авантюристкой или диссиденткой. Как бы ни был влюблен в нее главный герой, сквозной зоринский персонаж — одинокий и печальный интеллеktуал, не склонный обольщаться, — он бессилен перед чужой волей и чужой страстью, которая сильнее любой привязанности. Можно сказать, что он завидует этой способности втягиваться во всякого рода роковые воронки — в политический террор, в диссидентство, в авантюры — и смотрит на своих избранниц, как береговой житель на лодку беглеца или контрабандиста в бурном море. Всю жизнь Зорин доказывает, что эта позиция наблюдателя — никоим образом не трусость и не слабость, но прежде

всего трагедия хорошего вкуса. Средний вкус Пастернак называл бедствием, хороший вপুরу назвать трагедией: он мешает и драматургу (как замечает сам Зорин), и человеку.

Для Зорина одинаково иллюзорны любые попытки компромисса с Системой и любые попытки оппонировать ей на ее языке. Заложник хорошего вкуса, таланта, просто знания истории, наконец, он, выигрывая в независимости и интеллектуальности, проигрывает в темпераменте и знает это. Но никакая любовь к авантюристам и борцам не заставит его отречься от собственной позиции честного и упрямого «двух станов не бойца» — то есть одни гипнозы сменить на другие и еще уважать себя за это. Он раньше многих понял, что «где надежда, там и крах». Может быть, именно это понимание помешало Зорину реализоваться как лирическому поэту — а ведь некоторые его стихотворные фрагменты, приводимые в «Тетрадах», превосходны. Это же, возможно, предопределило успех его пьес с их нотой неутолимой и неразрешимой печали — печали, не находящей утешения.

Кстати, новые пьесы Зорина циничнее, жестче и как-то безвыходнее прежних: остроумие прежнее, легкость и грация диалогов налицо — но воздуха нет и сопереживать некому. В этом ряду — его отличная пьеса «Маньяк»: можно себе представить, что сделал бы из нее молодой Зорин с его тогдашней верой во всеобщее подспудное родство! Зорин сегодняшний вообще не верит, что двое могут о чем-то договориться. Страх самостоятельности, тоска по силе и усталость от любых надежд — вот атмосфера этой пьесы: Зорин так жить может, но каково его героям?

В любом случае Зорин остается едва ли не единственным советским и постсоветским литератором, которого на всем протяжении его биографии не интересовали ни социальные утопии, ни мрачные антиутопии, ни отвлеченная метафизика. Его интересовал только человек со всеми его слабостями и с главным противоречием, которое автор «Зеленых тетрадей» сформулировал с такой почти циничной точностью: «Человек — или строительный материал, или мера всех вещей. Страшнее всего, когда и то, и другое».

Тот, кто научится жить с таким пониманием, сможет разглядеть в бесстрастных на первый взгляд эссе Зорина и самую горячую ненависть к «простоте», и самую искреннюю радость от сознания сложности всего настоящего.

Дмитрий БЫКОВ.



ГОЛОС НЕВИДИМЫХ ПТИЦ

Анатолий Найман. Ритм руки. М., «Вагриус», 2000, 127 стр.

«Ритм руки» — не сборник новых стихов, а книга. Интересно посмотреть, как разворачиваются ее темы. Стихи не просто подхватывают — то мотив, то вроде бы не главное слово, то характер звука или особенное освещение предыдущей страницы. Они устремлены в одну сторону, к какой-то одной, еще не различимой вначале цели. Связность этой книги такова, что многие тексты начинаются как бы с «ибо...».

Первое стихотворение — по замыслу увертюра: обещание, пучок еще не разработанных тем. Все в нем пока лишь *реквизит*, еще не освещено вспышкой чувства. Эта первая из трех частей книги так и называется: «Театр вещей». Странной, однако, оказывается впоследствии эта увертюра, темы в которой предназначены не к развитию, а к самоуничтожению. «Снеси за кулисы все до последних лепт, / все, что имел, все, чем себя измучил...»

Ибо если и есть в книге главная тема, то, кажется, впервые у Наймана она — прощание со словами, и речь в книге идет не о речи, а о ее потере как желанной цели. Потере, столь трудно достигаемой нами, *наученными говорить*.

До сих пор, на протяжении как минимум века, мы наблюдали любопытные попытки речь разломать, посмотреть, что внутри. Двадцать последних лет рвались

внутри слóва, дорвались и удивились: полое. Гремели вокабулами, как связкой бубенцов, чтоб доказать: внутри-то ничего. Что слова — всего лишь *коды* или привычка.

Но тут мы говорим совсем о другом — о потере речи как идее, о сведении любовного объяснения — к любви, о возвращении от «мыслена древа» к «одинокому дереву», а затем — само понятие «одинокое» становится лишним — к дереву вообще. Так нам и видится эта книга — как путешествие внутрь вещей, к Целому. «Что такое дерево? — дыры и пещеры, / как фонтанчик пляшущая в пустоте мошка»... «Вяза облетающего легкий шар и парус, / набранное золотом по контуру крыло / в голубое лоно, в ребра упиралось, / пчелками, чешуйками прядало, трясло» («Одинокое на холме»).

Точка отсчета: мысль о смерти, она же память, она же «блеск октябрьский», заморозки, подсвечивающие живые цвета, — мертвое, подсвечивающее и освещающее живое. Отсюда — к сливающейся, как, в общем, и ожидает читатель, в одну реку «воде Невы и Гудзона» — в первой же строфе: «Как странно: полжизни ходить по мостам над рекой, / пустой, ледяной, одинокой, пышной, угрюмой...»

Что и выводит нас к прошлому — то есть, где бы ни жил сейчас говорящий, к *той стране*. И речь тут, конечно, помимо прочего — о самой речи. «На жреческом греческом и на профанной латыни / я стал лепетать посредине сибирской пустыни — / в ответ выражал себя полно на „г” и на „б” / наивный туземец, последний из кагэбэ» («Друг Пятница»).

Небольшое отступление на тему неисчерпаемую и слишком заезженную, однако тут не проехать просто невозможно. Речь, конечно, о поэзии петербургской и московской. Найман связан с первой рождением, со второй — сегодняшней жизнью, и интересно наблюдать, как эти две несмешивающиеся струи тут сходятся. И *рука*, и *ритм*, конечно, — от Петербурга. Это рукотворный град с заданными извне тактом, тропом, стопой.

Московская же кажущаяся неразбериха нерукотворна. Москва и разбегается, как Вселенная. Ритм ее — волновой (толпы в московском метро — разливаемые). Москва в плане — как картинка радиоволн вокруг Останкина, которую можно было долго смотреть в детстве ранним вечером до начала передач (еще светло, родителей еще ждать и ждать). Оттуда и эта Москва-товарная: все это — вроде бы столичное, официальное, помпезное — расплзается мартовской грязью и становится грустно-своим. «*Улица Вишневецкого, Институт зерна, / Отделенье связи — вот моя страна...*»

За этим, «московским», — первое ударное стихотворение книги:

ТОСТ

И за тебя я пью.

Анна Ахматова.

Я пью за милый край — но не
за то, что в нем любил,
не за вдали, как у Моне,
желтеющий люпин, —
и вообще не за ландшафт
вдали, в окне, в душе —
в ландшафте слишком много правд,
чтобы не стать клише.

Тем более почти уж нет
того, что я любил.
Я пью за милый край — за свет,
в котором стал он мил,
за луч, поток корпускул, за
то, почему, слепя,
всё видеть он учил глаза
и начал, край, с тебя.

Но главное, за воздух, им
пронизанный насквозь,

за тот, вдохнуть с которым дым
Отечества пришлось,
припавший к рекам и леску,
снегам и стае птиц,
как к неподвижному лицу
еще горячий гипс.

За воздуха незримый хлеб —
из форточки струю, —
который я гортанью ем,
голодным ртом жую,
дыша которым, клокоча,
звуча, — тебя, увал
земли, которая ничья,
я милым называл.

Стихотворение связано с предыдущим — именно своей обратностью ему. Стихотворение это, конечно, петербургское (вот как интересно опровергаются общие места: размеренное спокойствие московского, жар петербургского).

Что же это за ландшафт, за который так торжественно пьет автор? А это вообще не ландшафт, не зеленое, не желтенькое, не импрессионистски пестрое. Не край — но свет, «в котором стал он мил», «луч, поток корпускул», «воздух, им пронизанный насквозь». Кем — им? краем! Итак — «За воздуха незримый хлеб».

Превращение довершилось, замкнулся круг перевоплощений: милый край — ландшафт с люпином — луч света (поток корпускул) — воздух, пронизанный (то есть пронзенный) этим лучом, — струя из форточки — то есть хлеб (плотное, зримое) воздуха, — наконец, опять земля, «которая ничья». (Читая многие стихи Наймана, явственно ощущаю именно запах травы — но не гладко зачесанное ветром русское раздолье, а какой-то беспокойный, жесткотравный, взъерошенный, сухой луг: *увал*.)

Есть такие увалы, называются: озы. Их много в центре и на севере России. По форме — как тельце осы, осыпающееся, сухое. Это то, что оставляет, отступая, ледник: накопленный в русле ледяной реки материал опускается и остается, становится увалом. Было выемкой, стало горой. Это слепок, маска ледника. Озы — не произведения тектоники, силы. Они сироты природы, ничьи. Даже имя их необременительно, прозрачно, как воздух.

Но самое интересное, что ничего этого, как видно, автор не задумывал — и все равно оно там есть, как и многое другое. Так прощаются — с местом, с человеком. Потому и чуть ниже холодающая песенка:

В Предсибирии, в Зауралии
из реки Сысерть
убежала Смерть,
прибежала в Рим
полюбоваться с ним —
как-то слаще оно в Италии.

А от песенки — к молитве: *Господь, пожалей меня, зверя!*

Молитва у Наймана — всегда настоящая *трудная* молитва (как тост — всегда тост). Читая эти его стихи, не испытываешь стыда, знакомого нам по чтению современной, поигрывающей с Господом поэзии. А от молитвы — уже погружение звука жизни — в хаос:

Песий лай, хриплый, как падающая струя
кипятка в заварку, и регулярность пауз
чмокающей капли — очерчивают края
звука жизни, погружающейся в ночь и хаос.

Но и очертания хаоса оказываются в этой книге четкими, как плацдарм:

Траченная молью полунеба карта,
черно-золотого полотно штандарта —
то, что вносишь ночью в тесноту передней, —
осеняют землю почестью последней.

Плоти отслужившей, почве и планете
уплывать снарядом гроба на лафете,
прибылью вселенной больше, чем уроном,
ибо всякий живший — воин и астроном.

Ад, не дуй в свирели, смерть, не бей в литавры,
ночь, зажги шутихи, запали петарды,
ибо сын вселенной хоть и сбился с курса
и попал на землю, но домой вернулся.

Уже не тост — гимн. Торжественный шестистопный хорей. Торжественность так редко уже волнует. А тут все стихотворение вносится на щите, на плоских блестящих поверхностях «д», «т».

Женская рифма имеет свойство звучать и длиться; последний, безударный слог — как отзвук в тишине. Все рифмы этого стихотворения — женские. Более того, ударные гласные в них следуют друг за другом монотонно, как шаги часовых: аа. ее. ее. оо. аа. уу. Никаких цветов, кроме черного и золотого. Стихотворение — как тело воина, но в то же время само — как разворачивающийся *штандарт*.

Смерть (человека, планеты) как *прибыль вселенной* происходит за счет духовного опыта, совершенного за жизнь. Дух превращает комок хаоса в крупицу гармонии: *ибо всякий живший — воин и астроном*.

Да, дом человека — вселенная, мандельштамовский «раздвижной и прижизненный», но как прекрасно это короткое земное путешествие, в которое нас отпускают. Увлекательность его не в том, где пришлось быть, а кем. В цикле под названием «Я» это «я» начинает звучать уже не безымянным воином, а как единственная данность судьбы: «Что бы там ни было, / Бог для *меня* выбирал это. *Я человек*».

Стихотворение «Червь» — последнее в первом разделе книги — начинается так: «Ты чей портрет рисуешь, червь, / скользя по слякоти на чреве?» Хоть сколько-нибудь опытный читатель не удивится. Ну да: *я царь, я раб...* Но тут дело, однако, обстоит сложнее: никакого самоумаления тут нет, как нет игры в антитезы — хотя бы оттого, что сей червь оставляет след. Найман понимает природу, он видит в черве творящее творение, перерабатывающее смерть в жизнь, звено в божественной цепи.

Червь имеет волю — на *земляном* отрезке своей жизни (отметим изящную подмену) червь волен в своей чередности «сжатий, судорог, растяжек». Волен, оставляя след на сырой земле — влажной фреске. Ценность тут именно в том, что это не о поэте и не о художнике вообще. Ибо *каждый* червь оставляет след на *влажной фреске*.

Все эти темы продлятся, изменяясь, во второй и третьей частях книги.

«Поговорим обо мне» — так начинается третий раздел «Ритм руки». А следующее стихотворение — бесконечно нежное — «Я знал четырех поэтов». Такое прозрачное, что не может быть и речи об «а ну-ка угадай». Первый на протяжении книги заявленный отказ от слова в пользу чистой любви: «...из четырех любому / мне сладко вернуть любовью / то, что любил вначале. / То, чего в слове нет». В этой строчке, может быть, одна из загадок всей поэзии Наймана, а не только этой книги: попытка сказать в слове то, чего в слове нет. Вот, например, устойчивый словообраз: роза. «Береза, приписанная к избе, / как черно-белая к клумбе роза...»

Стихотворение это («Береза, приписанная к избе...») намеренно кривое, как покосившийся забор на снегу, праздник разрухи и зрения, света, такого зимне-яркого, что делит мир на два лишь цвета: черный и белый. И роза тут — не поэтический цветок-символ, а может быть, плюха черной влажной земли на снегу. Чей-то след.

Такова эта густо сплетенная книга. Невозможно упомянуть все переклички и связи. Но есть в ней еще просто радость узнавания.

Автомобиль останавливается у сада,
по сигналу из дома распахиваются ворота,
вспугнутая лиса через каменную ограду
прыгает. Это и есть Европа.

Почему нам сразу ясно видится Европа, с ее приглушенным светом, линиями, слегка высохшие цвета? Непонятно — в том и прелесть.

При всей интеллектуально-ассоциативной нагруженности его кибитки, взгляд этот очень непосредственный, очищенный. Вот, казалось бы, что можно еще сказать об американских хайвеях? А у Наймана дорога 95 узнаваема сразу:

Автобус компании «Питер Пен» на спине хайвея,
я еду на нем в город Нью-Йорк, благоговея, —
обочина здесь широка, как плечо, а съезды как лапы
тюленя: хайвеи, как звери, стремительны и коренасты.

И вправду, если посмотреть сверху, то растопыренные, разветвляющиеся съезды похожи на лапы, — и когда я теперь съезжаю с подобной дороги, то часто это стихотворение, улыбаясь, вспоминаю. И обочина — не только крепка и широка, как плечо американского парня, но и называется по-английски «плечо»: shoulder!

Так, когда дремлет я, пробуждается, волшебным отражается сам в себе мир: «Нежит чашу рыба стая / шевеленьем плавников, / дремлет рыба золотая / в оперенье облаков» («Из миниатюрной глыбы...»).

Начав путешествие с мысли, завершаем — восклицаньем, начав с луча — в финале оказываемся ослепленными световым, водяным солнечно-прохладным потоком: «...восклицанье в форме чистой, / в чистом виде бытие».

А что есть воплощенное бытие, творенье Божье? Дитя. И заключительные стихи — о дитяти («Софья»). Ими и заканчивалась бы книга. Но законы композиции требуют росчерка, росписи. Ею служит короткое шестистрочное стихотворение без названия на такой высокой — физически — ноте, на какой иногда кончаются, растворяясь, скрипичные пьесы.

Пропой, синица, два колена
про жизнь без плена, жизнь без плена,
вспорхни и прозвени, артист,
про царство семени и снега,
в котором альфа и омега —
полет и свист, полет и свист.

Этот красивый росчерк, однако, оставляет нас в недоумении. Потому что дело шло не к этому, не к артисту. К чему-то другому. К прозвучавшему несколькими страницами раньше:

...смыслом жизни стирается жизнь,
как любовь объясненьем любовным.

Ирина МАШИНСКАЯ.

Нью-Йорк.

*

ИЕРУСАЛИМСКИЕ КАРТИНКИ

Елена Аксельрод, Михаил Яхилевич. Стена в пустыне. Иерусалим, «Alphabet» Publishers, 2000, 156 стр.

Зинаида Палванова, Вениамин Клецель. Иерусалимские картинки. Иерусалим, издательство «Скопус», 2000, 88 стр.

Темы произведений художника, как писателя, так и живописца, во многом определяются жизненными впечатлениями, а вот тональность мировосприятия — всегда одна и та же и зависит в основном от внутренних характерологических особенностей. С первых же ранних стихов Елены Аксельрод вырисовывается духовный образ поэта, который не изменился и в стихах сегодняшнего дня: гордый, тонко чувствующий и потому особенно беззащитный человек. Много всего наслоилось: родовая память местечек с нищетой, кровавыми погромами, боль

И всепобеждающая любовь к сыну:

Сколько живу, вдоль пустыни изгнания бреду.
Манны небесной отведасть едва ли сумею.
Но если от сына кару небес отведу —
Значит, придет он, значит, придет в Галилею...

(«Я никогда не поверю, что Авраам...»)

Стихи Елены Аксельрод — стон, плач, молитва — близки каждому, кому присуще чувство отдельности и кто в своем одиночестве слышит боль другого; подобное познается подобным.

Мироощущение поэтессы в сборнике «Стена в пустыне» становится еще явственнее благодаря живописи ее сына Михаила Яхилевича. Дети часто наследуют от родителей внешнее сходство, но сродство душ — явление редкостное. Здесь же — счастливый случай дыхания в унисон. Мы говорим о тональности притяжения мира, которая остается постоянной на протяжении всей жизни. На картинах и в стихах этой книги — человек наедине с вечностью. Одинокая фигура, как стрелка компаса в ночи, обращена лицом не к зрителю, а к пустынному пейзажу. Стены домов — «шалаша из камня», будучи укрытием от холода и зноя, не защищают от призрачности существования. Лифт, несущийся в пропасть среди гор, сторожевая вышка над бездной или край балкона — вот-вот небесное притяжение пересилит, и человек потеряет связь с землей. «Здесь в небо я погружена, / Я у него в кармане...» — читаем в стихотворении «Здесь под горой в Святом краю...».

Картины Михаила Яхилевича и стихи Елены Аксельрод делают ненужными вопросы об известности и безызвестности художника, которые поэтесса задавала еще в начале творческого пути: «для кого» всю жизнь писала ее мать, «для кого» отец был неразлучен с мольбертом («Вместе и врозь, кто был дорог, исчезли...»)?

...Меняется в стихах и пейзажах книги «Стена в пустыне» краснеющее солнце заката, ночная темь, зеленеющий рассвет, утро, день, ночь, снова утро... И всегда присутствует чувство дали, дороги, которой нет конца.

Тяжелая работа жить определяется объективной данностью, то есть фактами истории, биографии, и субъективной — разладом душ. В 1943-м встретились на поселении после лагерей два вольнонаемных: еврейка и каракалпак. «Вот и родилась я, слава Богу», — пишет Зинаида Палванова в стихотворении «Где мои ровесники?» (сборник «Утонувшее море»). Могла и не родиться — военное поколение, лагеря, война... Поэтесса называет это время «черной дырой на белом свете». Только и осталось от отца, что давний пожелтевший снимок, в который вглядывается дочь (поэма «Второе детство» из книги «Деревья не копят обид»).

Стихи Зинаиды Палвановой — «жизни страницы» как в психологическом, так и в фактографическом плане. Кто знает, может быть, для того, чтобы две души стали одной, требуется большее чудо, чем случайная встреча. Страхи, сомнения, готовность к чуду — и всего лишь «вечерние звонки, смахивающие на стезжки». Своя боль помогает понять, вжиться в невзгоды случайно и не случайно встретившегося человека. Картинка — стоп-кадр, за которым угадывается прошлое и будущее. Люди сходятся, расходятся — обыденные и трагические сюжеты. Когда на смену «удушью обид» приходит смирение и равнодушие, воскресает стихийное жизнелюбие, воскресают и стихи. Творчество, будучи осмыслением жизни, спасает от жизни.

А вот и новые сюжеты: мать с сыном в Израиле — жизнь продолжается.

Тает снег подсознания — страх,
Торжествует кровная связь.

После центра абсорбции — чужая холодная квартира в Тель-Авиве, хроническое безденежье и беззащитность перед скадами (ракетами) в январе 1991-го. Невзгоды репатриантской жизни преодолеваются силой самосознания личности:

Мысли тяжки, шаги легки
В этом чуже-родном краю.
Восстанавливаю стихи,
Вспоминаю душу свою.

Поэзия Зинаиды Палвановой при всей ее лиричности наполнена философским содержанием, умением абстрагироваться от действительности сегодняшнего дня и сподобиться веселью нищих, которым нечего терять. Снова и снова расправляет крылья возрождающаяся из пепла бессмертная птица надежды.

Новая страница жизни — теперь уже в Иерусалиме. И новая книга стихов, посвященных городу Танаха, Евангелия и Корана. Сборник открывается стихами об улице Ха-Даф ха-Йоми (улице Дневного листа Талмуда), где люди, словно небожители, ходят по высотам Рамота. Отождествлению с городом помогает необъяснимое чувство узнавания, припоминания:

И сладко памятен он мне,
Как новый мальчик в пятом классе,
Как новая страна во сне,
Как жизнь еще одна в запасе.

Озвученная стихами жизнь: восходы в Рамоте, закаты в Эйн-Кареме, «пронизанный солнцем туман», «Дождь за окном чертеж бессмертья чертит»... И удивительны, в резонанс стихам, иерусалимские рисунки Вениамина Клецеля. Одна обложка новой книги чего стоит: встречаются на фоне приткнувшихся к горам невысоких построек два еврея с пейсами, в шляпах, лапсердаках, как сказала бы Дина Рубина, при полной амуниции. В одной руке у каждого хлеб насущный, в другой — Книга: пища для тела и для ума. Листая книжку, видим старые покосившиеся пристройки — голубятни, сохнувшее белье на веревках, лица евреев, внимательных к подробностям быта и поднимающихся над таковым, — то же, что и в стихах: единение земли и неба.

Дина РАТНЕР.

Иерусалим.

*

ИСКУССТВО СОСАТЬ КАМЕШКИ

Сэмюэл Беккет. Моллой. Малон умирает. Перевод с английского и французского В. Молота. СПб., «Амфора», 2000, 349 стр.

«Я доволен, но не настолько, чтобы хлопать в ладоши», — может сказать читатель словами беккетовского героя при виде двух романов трилогии, не досчитавшись третьего. Конечно, отсутствие «Безымянного» можно считать минусом, фигурой умолчания, парадоксальным образом заменяющей несметные полчища слов, переминающихся в этом романе. Можно говорить и о том, что именованное всего подряд — лишь другая сторона безмолвия, к чему в конце жизни сам Беккет и пришел. Но из песни слова не выкинешь, и читатель вправе чувствовать себя обделенным на две сотни страниц — и скорей всего по причинам не концептуального, а технического порядка. (Господа! Не ждите милостей от издателей! Учите иностранные языки!) Книжечка получилась инвалидной, что ни говори, наподобие обрубка Махуда, торчащего из урны при входе в ресторан, заметьте, для украшения (реалия из опущенного романа). Чтобы дать хоть какое-то представление о канувшем в никуда «Безымянном», позволю себе привести отрывок из него в своем переводе: «Они любят друг друга, женятся, чтобы любить друг друга лучше, удобнее, он уходит на войны, он умирает в войнах, она рыдает, с чувством, оттого, что любила его, оттого, что потеряла его, да, снова выходит замуж, чтобы снова любить, снова удобнее, они любят друг друга, ты любишь столько раз, сколько нужно, сколько нужно, чтобы быть счастливым, он возвращается, другой возвращается, с войн, в конце концов он не умер в войнах, она идет на вокзал

встречать его, он умирает в поезде, от чувства, при мысли, что снова увидит ее, снова будет обладать ею, она рыдает, рыдает снова, снова с чувством, оттого, что снова потеряла его, да, возвращается домой, он мертв, другой мертв, свекровь снимает его, он повесился, с чувством, при мысли, что потеряет ее, она рыдает, рыдает громче, оттого, что любила его, оттого, что потеряла его, вот вам история, я должен был уяснить для себя природу чувства, что зовется чувством, что чувство может делать при благоприятных условиях, что может делать любовь...»

Казалось бы, типичный абсурд, знакомый нам по хармсовским старухам, аккуратно выпадающим из окон, поданный как история. Но для Беккета важна не повторяемость ситуации «любила — умер — рыдает», а повторяемость испытываемых при этом чувств, которые от многократного использования становятся скомпрометированными. Или привычными. А привычка, по Беккету, — это компромисс между человеком и миром, гарантия тупой неуязвимости.

Дыхание — это привычка. Жизнь — это привычка. Поскольку любое чувство скомпрометировано, Беккет не желает расставлять приоритеты, ценностных иерархий в его книгах не существует, все равнозначно. Эта недопустимость разграничения на главное и неглавное влечет за собой прием перечисления, при котором исчерпываются все возможности. Прием сей простирается даже на календарь и время суток, время вообще, в усилии остановить его, изобразив: «...Я говорю о вечере, кто-то говорит о вечере, возможно, это еще утро, возможно, это еще ночь, лично у меня нет мнения». Это музилевский «Человек без свойств», комбинирующийся с неживой материей или с материей языка. Трилогия Беккета — это записанные монологи, не чуждые технике потока сознания, но выстраиваемые не по ассоциации, как у Джойса, и не ретроспективно, как у Пруста, а перебиранием вариантов слов, их ощупыванием, обсасыванием и выплевыванием, в умножении их валентностей, в поиске несформулированного, неоформленного (этакое плюшкинское натаскивание словесного хлама) и в доведении сформулированного до своего предела, до точки, до тупика, который внезапно обнаруживает логическую брешь (как правило, при перенесении качеств живого на неживое) и разрешается новым рядом слов, опровергающих сформулированное. К сократическим диалогам это отношения не имеет, хотя выведение логики из тупика и слово «абсурд» пошли оттуда. То, что делает Беккет, можно назвать герметичным абсурдом, потому что его герои, как правило, заключены в четырех стенах. Или абсурдом разгерметизации (кажется, варианты исчерпаны), поскольку он отказывается от причинно-следственных связей, нарушая их прежде всего в языке. Его задача — проделать в языке дыры, чтобы что-то (или ничто), прячущееся сзади, начало просачиваться сквозь них. Поэтому персонажи трилогии — логоцентричны, это организмы, выражающие себя через слова, черепные коробки, мыслящие словами, на увечных или парализованных телах.

Собирательный портрет героя таков: бессильный индивид, заключенный в разлагающемся теле в поиске самоидентификации. Он обездвижен, сведен до состояния предмета, но болящая плоть — его единственная достоверность, его тварное отечество, а сознание его, при полной психической неопределенности, продолжает извергать слова, которые причудливым образом пытаются совладать с хронологией, ожиданием, реальностью, личным тождеством и освобождением от себя. Он ничему не удивляется, считая естественным все, что с ним происходит. У него нет цели, кроме говорения, все, что с ним происходит, происходит случайно, его повествование эмоционально никак не окрашено. Необычность происходящего, и простота, и естественность, с которыми об этом повествуется, создают эффект абсурда. Это изнанка сознания за мгновение до распада. Коротание времени в ожидании конца за рассказыванием историй и тем самым отсрочиванием смерти: «Кажется, я сумею рассказать несколько историй, каждую на свою тему. Одну историю — о мужчине, другую — о женщине, третью — о неживом предмете и, наконец, еще одну — о животном или, лучше, о птице. Мне представляется, что этим исчерпывается все. Возможно, я расскажу о мужчине и женщине в одной истории, ведь между ними так мало разницы, между мужчиной и женщиной из моей истории, я хочу сказать. Вероятно, мне не хватит времени, и я не окончу свои

рассказы. Но не исключено, что закончу их раньше времени. Опять я стою перед проблемой времяделения. Слово подходящее? Не знаю. Если я не успею их закончить, это ничего. А если закончу раньше времени? Тоже ничего. Тогда я расскажу о тех предметах, которыми еще обладаю, а ведь я всегда хотел сделать именно это. Произойдет нечто вроде описи имущества. Но надо постараться, чтобы она произошла не раньше самого последнего момента, дабы быть абсолютно уверенным, что ошибки не случилось».

Беккет — человек, родившийся со вкусом смерти во рту. Еще в первой своей работе — эссе о Прусте — он объявляет войну времени: «Время — ядовитое обстоятельство нашего рождения, оно непрерывно изменяет нас неведомо для нас самих и, наконец, убивает без нашего согласия. Мы обречены жить во Времени, потому что совершили первородный, извечный грех... родившись на свет». Попыток изобразить время у Беккета несколько, самая частая сродни открытию кубистов, когда они дробили предмет, показывая его с разных сторон, пытаясь ввести в картину третье измерение, временное. Беккет нанизывает разновременные истории, создавая хронологическую многослойность образа, исчерпанного в каждом эпизоде, но при совмещении — объемного. И конечно же он привлекает на помощь гиперлогику, описывающую возможные варианты в разных грамматических временах: «И я вошел в дом и записал: Полночь. Дождь стучится в окно. Была не полночь. Не было дождя».

Абсурд связан с избытком логики, избыток логики тянет за собой избыточность слов, в результате чего рождаются фразы вроде той, чья известность грозит ей превращением в общее место: «Скоро я, наконец, совсем умру несмотря ни на что».

Елена КАСАТКИНА.



ПРОСТОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Марк Поповский. Мы — там и здесь. — Holyoke (Philadelphia). «Побережье», New England Publishing, 2000, 359 стр.

Современная журналистика — вещь опасная. Известное дело — «четвертая власть». Впрочем, журналистику как власть Поповский не признает и даже порицает. Он наблюдатель за родом человеческим. Во всем его многообразии и обыденности. Врачи, инженеры, ученые, таксисты, уборщицы — словом, «маленький человек»: вот нынешний герой очерков известного публициста; «пишу я не о политике и социальных проблемах, а только о людях, о конкретных человеческих ситуациях». Скажем, о Любочке и ее муже — благополучной паре эмигрантов с Брайтона, отметивших третий супружеский десяток. Эта новелла из очерка «Дама средних лет» меня заинтересовала чисто профессионально, ибо описан был случай зауряднейший, о котором, по правде говоря, нечего написать. Он — неудавшийся прозаик-эмигрант, тратящий заработанные женой деньги на бесконечные «творческие замыслы», а в общем — иждивенец на шее жены-уборщицы. Она — мужа боготворит, безмерно счастлива, готова и дальше мыть чужие полы во имя его... Одним словом, незатейливая бабья Любочкина любовь, в которой вычленять, скажем, классическую женскую жертвенность будет большой натяжкой — просто «прикипела», прилепилась Любочка к непонятому гению — и все дела. Заинтриговал меня в этом очерке — как, впрочем, и во всем сборнике — сам Поповский-журналист, отважившийся сделать книгу о *положительном негерое*.

Не знаю, что удивляет более — «положительность» персонажей Поповского или их бессудбинность, неприхотливость жизни. (Признаюсь, даже анализировать этот материал — и то непросто, все время тянет на банальности. Тогда как книга — отнюдь не глупа.) Вот и попробуем разобраться. Начнем с ореола положительности вокруг героев, вызывающего у любого российского человека отторжение или по крайней мере недоверие. И не потому, что мы с вами такой мрачный по

природе своей и циничный по воспитанию народ. Отнюдь. Просто шахтеры да свинарки, получившие «путевку в жизнь», нашедшие свой «светлый путь», прочно связаны для нас с советской идеологией; просто из собственной жизни слишком известно, что кухарки не управляют государством, а обреченно затухают среди полной «безнадеги» и «беспросвета». Потому, к стати, недолгая, но правдивая история российского очерка дает возможность заметить: от Овечкина до последних и лучших его последователей-«деревенщиков» уважающие себя очеркисты придерживались строгой традиции *критического* реализма (за что и были всегда мальчиками для битья у советской власти). В прошлые, социалистические времена для честных журналистов было нечестно «в позитиве» говорить о простом хорошем человеке — настолько бесчеловечным ощущался контекст его жизни и труда. Вот на этом, вроде бы праведном, пути обличения и отстаивания достоинства отдельной личности как-то незаметно, но безвозвратно и был потерян собственно человек. Авансцену прочно — и по сейчас — занял образ Истории-молоха. В этой «борьбе борьбы с борьбой» уже в нынешние, «лучшие», гласные времена журналист обрел признаки циника-папарацци, а журналистика — качество «чернухи» с явными чертами садизма.

Тогда как между этими абсолютными «плюсом» и «минусом» всегда жил, да и по-прежнему живет реальный живой человек, со всем грузом своих бед и радостей. Образцом такой девственно-обаятельной журналистики и по сей день служит, скажем, газетка амишей из Пенсильвании (бежавших несколько веков назад из Европы меннонитов, и поныне не признающих технику, электричество и дьявольский наш прогресс). Почитать меннонитскую газетку мне довелось прошлым летом, посетив сей благостный край. И узнала я с удивлением, что у мистера Смита — еще одна дочь, а в соседней деревне была ужасная гроза, молния даже свалила дерево... И мир сквозь эти «новости» проглядывал такой домашний и незащищенный — руками бы прикрыть, оградить. Мир был детально доступен и обжит. С ним можно было работать, одухотворяя его. Мир не был прост и беспроblemен, но он не вызывал языческого ужаса и не требовал жертвы.

Вот именно такой мир и описал Марк Поповский в своей книге очерков «Мы — там и здесь», книге о российских эмигрантах в США. Хотя, казалось бы, уж у кого, а у эмигрантов жизнь не просто тревогу должна вызывать, а панику или депрессию (помню признание одного из эмигрантов третьей волны: «Было ощущение, что здесь идет атомная война, а нас, голых, сбросили с парашюта прямо в эпицентр взрыва»). Поповский же радостно пишет о еврейском подростке, мечтающем стать американским генералом; о переводчике Президента и о модной танцовщице — выходцах из России, об американцах, отправляющих нам посылки помощи... Не видит проблем своих героев? Видит, понимает и сочувствует. Но знает и то, что «излишняя подробность» существования не открывает правду о человеке; есть фабула жизни, но важен — сюжет, то есть фабула, вдохновенная смыслом. Поэтому при всей бытописательской манере Поповского детали-то и не важны. Не важны карьеры, профессии и житейские перипетии — существенно лишь *жизнестроительство*. «Найти смысл и назначение своей жизни удается не каждому, даже очень богатому и знаменитому. Старший сержант военной академии Митчел Черняховский может гордиться: он себя нашел. И в этом его главное достижение», — так закончит Марк Поповский очерк о юном эмигранте, решившем стать американским генералом. На мой вкус, о чересчур тщеславном и жестком мальчишке — но Поповский и не старается сгладить шероховатости, четко определяя то главное, что заинтриговало его в характере этого американизированного подростка, да и во всех остальных его героях: обретение «маленьким человеком» жизненной цели.

И не будем цепляться за уничижительный оттенок выражения «маленький человек» — да, «маленький», да — Девушкин среди нью-йоркских небоскребов, да — простой обыватель, мещанин, «обычный» человек, каких большинство. Простенькое «обыватель» содержит в себе основу «быть», бытие. А вот — какое?

Эмигрантское. Пожалуй, это вторая черта, объединяющая героев Поповского. Говоря «эмигрантское», не имею в виду безденежье, неустроенность, неопределенность (хотя на первых порах, а у многих и на вторых, и на третьих, именно из это-

го состоит быт приехавших — в американском будущем уже сытый и благополучный). Эмигрант — это прежде всего человек, прервавший постепенное и последовательное развитие своей жизни, поспоривший с судьбой: кто кого (ответа не узнаешь, пока сам не попробуешь). Поэтому все время так или иначе, но Поповский возвращается к мысли о назначении человека, размышляет о корнях, о памяти, о традиции, о фундаменте человеческого существования. Можно тут, конечно, и руками развести: ну какой уж там «фундамент» у Моти и Васи. Вспоминаешь прежние громкие книги Марка Поповского — «Дело академика Вавилова», «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» — книги, принесшие ему мировую известность (а заодно определившие его судьбу изгнанника), — тут же сплошная Любочка вместо Луки... Но если уж на самом деле вспомнить (а не только по названию) книги и о Вавилове, и об архиепископе Луке, так ведь и там Поповского занимали не регалии и подвиги, а все то же *жизнестроительство*, из которого вырастали и подвиги, и открытия, и сам человек. Об этом, кстати, и очерк-воспоминание о работе над книгой «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого...» — «Мой любимый герой», в котором возникнет образ еще одного необыкновенного человека — отца Александра Меня. Именно он помог в свое время «странному писателю-еврею» понять духовную основу характера Войно-Ясенецкого, приблизить Поповского к православию. Не из той ли встречи 1973 года вырос и очерк о настоятеле храма Христа Спасителя отце Михаиле Меерсоне-Аксенове (крестил которого, кстати, отец Александр Мень). Храм этот очень популярен в Нью-Йорке, и главная заслуга тут — его настоятеля, видящего цель своего священнослужения в том, чтобы помогать «вырастанию личности в присутствии Бога», ведь люди «нуждаются в присутствии рядом отцовства, родительства».

Да, одиночество — от бытовой и языковой изолированности до экзистенциального сиротства — главный бич эмиграции. Забвение прошлого наказывает в будущем. Порой мы даже не способны воспроизвести ту сложную цепочку промахов, ошибок и предательств, что приводит нас к конечному краху. Первым сильным индикатором внутреннего неблагополучия становится здесь, в Америке, потеря нутряной связи с детьми. Конфликт отцов и детей — из разряда вечных и повсеместных, но в эмиграции он стимулируется еще и невозможностью для молодого поколения идентифицировать себя в мировой культуре: прошлое-то — перечеркнуто... Пишет Поповский и о распадающихся в эмиграции семьях, об одиночестве стариков — каждый по-разному адаптируется в новом мире, психологические драмы здесь — обыденность, а не исключение. Ведь эмигранты Поповского — не диссиденты, не борцы за демократию и против коммунизма, за идею или против, они борются за себя, за свою жизнь, свое достоинство и счастье. Таких в Штатах — многие тысячи: из Латинской Америки, с Ближнего Востока, последние десять лет — массово — из Восточной Европы. И проблемы у них у всех — общие, эмигрантские: выучить английский, найти работу, получить гражданство — и просто нормально зажить вдалеке от вечных катастроф и потоков крови на своей исторической родине (любопытно, но Поповский не однажды заметит на страницах книги, как важно ему писать слово «родина» с маленькой буквы — как устали он и его герои от этого пафоса избранности и исключительности, от устремленности в светлое будущее — при этом почему-то обязательно растоптав свое и чужое настоящее). Бессмысленно и даже безнравственно давать этическую оценку выбору героев жить там, где они хотят жить, где получается. Разве это не есть неотъемлемое право личности — оценив себя и свои реальные силы, честно и смиренно выстраивать собственную судьбу — в конце концов, единственный прочный фундамент и поколенческой, и национальной, и исторической судьбы?.. Ну да, теория «малых дел» — а какие еще дела у «маленького человека»? Благо были бы праведные.

Среди реальных проблем в эмиграции первая — язык. «Нужен ли русский язык в Америке?» — так назван один из очерков Поповского. И хотя нынешняя прагматичная российская эмиграция активно переводит своих детей на английский, сознательно отказываясь от русского, Поповский видит в затертом выражении «наше богатство — русский язык» не только метафору, но и практический смысл: да, русский язык может обеспечить и накормить здесь, в Америке. Расска-

звая о судьбе эмигрантов первой и второй волны — о переводчике Президента Дмитрие Заречняке и главном редакторе «Записок русской Академической группы в США» Надежде Жернаковой — Поповский замечает: русский язык в жизни этих людей дал им возможность выстоять в эмигрантской бессудьбине и упрочиться в новой их жизни. Приведенная же Научным центром иностранных языков (Университет Дж. Хопкинса) статистика свидетельствует: курс русского читается в 552 университетах и колледжах США, в школах страны русский учат 16 000 юных американцев...

Тем не менее вопрос о русском языке — конечно же не вопрос бизнеса, да и не чисто лингвистический. Это вопрос о том, какой культуре принадлежать и от какой традиции отталкиваться; это вопрос жизненной ориентации и самоопределения. Это вопрос о том, что есть культурная диаспора в контексте доминирующей культуры метрополии. А история русской эмиграции свидетельствует: четыре ее потока так и не слились в единое русло. Проблема их сосуществования — точнее, проблема их несуществования, равнодушия (если не вражды) — эта проблема горька для Поповского. Уходит старая эмиграция, накопившая колоссальный духовный и практический опыт сохранения и развития локальной национальной субкультуры, уходит одинокая и непростившая, уходит с болью за Россию, но с прежней, нерастроченной верой в нее. «Единство и помощь нуждающимся русским людям» — так, например, определены практические задачи Русского Дворянского Объединения Америки и Канады. Средства для приютов и монастырей, помощь неимущим и вдовым — первые две эмиграции за долгие годы своего изгнания показали себя на редкость активными, только в Нью-Йорке и окрест работает более десяти объединений: «Общество галлиполийцев» (остатки армии генерала Врангеля, зимовавшие в 1920 — 1921 годах около турецкого городка Галлиполи) и «Союз монархистов», «Объединение кадетских корпусов» и Комитет «Духовные книги для России», или организация «Сеятель», глава и создатель которой, потомок калужских помещиков Новосильцов, посылает семена российским фермерам и верит, что и Россия, и российская экономика возродятся за счет того, что «народ одумается, начнет работать. Страну может спасти лишь напряженный, сознательный и созидательный труд, а не массовая спекуляция...» Любовь этих людей к России полна терпения и кротости. Нужен ли кому-то сегодня этот опыт или старую эмиграцию воспринимает и там и здесь как мецената, на чувствах которого можно сыграть собственную мелодию?

Не знаю. Во всяком случае, сегодня на американский берег вынесена свежая российская эмиграция, не страдающая идеализмом и ностальгией — и в силу этого обреченная на поглощение и растворение Новым американским Светом, на растворение без остатка. Впрочем, в большинстве своем она, эта новая волна, подобному химическому процессу только рада. Российские многонациональные иваны-родства-не-помнящие не хотят помнить и о «соседе по квартире», слишком жив в них недавний душок коммуналки. «С обеих сторон я наблюдаю подозрительность и недоверие. Мы для них — „советские“, они для многих членов „третьей“ волны — „белогвардейцы“ и конечно же антисемиты», — заметит Поповский в очерке «Соседи по квартире». А разобраться — из одной жизни, из одной культуры, с одной и той же земли.

Вот таковы негероические герои очерков Поповского — чаще все же люди счастливые, обретшие себя и свое место в жизни. Изобретатель и бизнесмен Александр Калина, чье рацпредложение куплено «Дженерал электрик», ученый-экономист и философ Арон Каценелинбойген из Пенсильванского университета, Наталья Кларксон, сорок пять лет проработавшая на радиостанции «Голос Америки», Петр Будзилович, один из создателей Конгресса Русских Американцев... Их активная жизненная позиция, «энергетика упорства» (название одного из очерков) близки Марку Поповскому. Который и сам за долгую свою жизнь, за почти пятидесятилетнюю творческую деятельность не растратил ни интереса к людям, ни веры в *положительную* природу человека. Его герои — лучшее подтверждение собственного кредо публициста: жизнестроительство как духовное оправдание и смысл человеческого существования.

Марина АДАМОВИЧ.

Нью-Йорк.



АНАТОМИЯ ЛЕВИАФАНА

А. А. Чанышев. История политических учений. Классическая западная традиция (античность — первая четверть XIX в.). М., РОССПЭН, 2000, 479 стр.

Ты видишь... как нужна философия всем правителям. А в этом преславном Русском королевстве она особенно необходима, поскольку здешние государевы думники политических и философских книг не ведают.

Юрий Крижанич.

В высшей школе России формируется новая ветвь образования — политология. Другими словами — осуществляется попытка перейти от модели, по которой политическая практика существовала под прикрытием косвенно связанной с ней идеологической доктрины, к модели, по которой политическая наука реально обеспечивает технологиями деятельность политиков. Этот многосложный путь от идеологии к науке, осваиваемый Западом примерно полтора последних столетия, в современной России только начинается, но его нужно пройти: вряд ли удастся найти окольные тропы или перепрыгнуть через надлежащие этапы. Поэтому учебник, только что подготовленный на политологическом факультете МГИМО, вызывает любопытство как одно из свидетельств происходящего в новорожденной науке. Его автор, профессиональный философ, известный коллегам как интерпретатор и издатель Шопенгауэра, предлагает студентам свою версию истории политических учений классической (от греков до Гегеля) эпохи.

Небольшая преамбула будет нелишней, если вспомнить, что перед нами учебник, а в нем — «учения». По моим наблюдениям, слово «учения», если оно касается сферы моральной и политической, вызывает иногда раздражение и провоцирует саркастические упражнения на тему: «История учит тому, что она ничему не учит». Но надо все же признать, что учит. Все, чем располагает наличная культура, это — «уроки», закрепление и воспроизведение удач в культурной памяти. Дело лишь в простом условии: надо хотеть научиться. А это желание встречается реже, чем следует из презумпции нашей «просвещенности» и «благоразумности». Например, в те времена, когда «Хам» был еще только «грядущим», российские интеллектуалы не только призывали освоить политические уроки прошлого, но и, собственно, сделали это. Блистательная послечичеринская, послесоловьёвская школа политической, правовой и философской мысли в России (если взять ее как целое и отвлечься от темпераментной межличностной полемики) сумела своевременно понять предреволюционную ситуацию, более того — сумела все предсказать и дать правильные советы. Но кому они были нужны? Более того — сегодня мы даже не можем сказать (как могли бы, пожалуй, в конце XIX века), что политический опыт человечества является для нас надежным «стратегическим запасом». XX век принял такую мощную и успешную деструкцию базисных понятий европейской цивилизации — права, государства, нравственности, личности, разума, — что они из разряда культурных аксиом перешли в разряд «проблем» или в лучший случае «ценностей». В короткий — ничтожный для большой истории — срок значительная часть Евразии вернулась в своем тоталитарном эксперименте к такой дремучей архаике, которая либеральным этнографам XIX века представлялась скорее мифом, чем историческим прошлым. Казалось бы, что может быть устойчивее понятия «политического», которое, начиная с античности, было умственным пространством для построения разнообразных теорий общества и его благолепного устройства. Но очевидность оказалась иллюзорной — со времен Руссо нарастают усилия по разоблачению «политического» как абстрактной и небескорыстной выдумки; на смену ему предлагают «национальное», «социальное», «народное» — все, что нельзя перевести на язык политических и правовых категорий, что может быть репрезентировано лишь интуицией вождя и подкреплено верностью его дружины. Так, может быть, рано Макс Вебер стал призывать к «расколдовыванию» власти и сведению ее к рациональным структурам? Может быть, рациональность еще не го-

това статья окончательной инстанцией объяснения политического бытия и, значит, нуждается в продолжении своего пути, где роль стоянок играют те самые политические учения, о которых нам рассказывают их историки?

Книга достаточно традиционна по структуре. Перед нами классическая цепочка больших эпох: Античность, Средневековье, Ренессанс, Новое время. Бросается в глаза лишь необычная пропорция основного текста и примечаний: иногда примечания оказываются чуть ли не параллельным текстом. Это не всегда удобно читателю, но с этим приходится мириться, поскольку здесь, видимо, концептуальная особенность книги. Примечания играют роль ответвлений, придающих повествованию многомерность. Модное понятие «гипертекста» здесь, пожалуй, ни при чем: скорее это просто способ сохранить жанр учебника, дающего необходимый, взвешенный минимум информации, и в то же время указать на то «лишнее», без которого теряется культурный, духовный контекст факта. Возможно, студенту, хватающемуся за учебник перед сессией, не так важно знать, что думает Аверинцев о свободе, Хайдеггер об ортодоксии, в чем специфика морали Эпиктета или какова этимология слова «ges»: но это «лишнее» задает горизонт и позволяет не только *принимать к сведению*, но и *понимать*. Другая особенность текста, с которой сталкивается читатель, — это элементы научного исследования, которые в некоторых случаях (главы о Цицероне, Августине, Монтескьё, Канте) едва ли не перевешивают чисто дидактические части. (По этой причине некоторые пассажи написаны непростительно усложненным, излишне терминологизированным языком.) Но и здесь можно найти по крайней мере два оправдательных аргумента: во-первых, хорошо, если учебник демонстрирует не только результат мышления, но и его процесс; во-вторых, наличие авторской мысли делает книгу интересной не только для студентов и преподавателей. Это «во-вторых» и будет отправной точкой моих рассуждений.

Когда возникает в истории человечества политическое измерение? Как ни странно, оно имеет сравнительно короткую традицию: путь, пройденный от еще собственно неполитической патриархальной власти, от Рода, окормляемого Отцами, до уже, по сути, неполитической власти тоталитарной хунты, до Массы, которой манипулируют вооруженные последними технологиями Вожди и Шаманы. В промежутке между этими состояниями и находится это загадочное «политическое», открывшееся человеку или открытое им и позволившее худо-бедно соединить то, что, казалось бы, соединить невозможно: личную свободу, природную необходимость и социальную справедливость¹. Первые великие «речные» цивилизации начинают осваивать это измерение сначала стихийно, а затем, примерно с VIII — VI веков до н. э., со времени, названного Ясперсом запомнившимся словосочетанием «осевая эпоха», — сознательно, то есть продуцируя соответствующие моральные и политические доктрины. До цивилизаций власть обосновывали или тем, что выше человека, или тем, что ниже: Божьей волей или природой. Понятно, что ответственность человека за систему власти была при этом не слишком велика. Но вот в какой-то момент зарождается представление о законе, который человек усматривает в мире, а затем и представление о *свободной воле*, которая полагает этот закон. Отныне власть обосновывается природой человека (или тем, что соразмерно ей) и *государством* (отчужденным от людей институтом, но в то же время ими порожденным). Тем самым рождается политическое измерение, в котором оказывается возможной волшебная арифметика свободы: из хаоса частных волей складывается космос общего блага. В классически чистом виде эту интуицию раскрыли греки, и, уж конечно, они, и только они, первыми воплотили ее в невиданный политический строй — полисную демократию. Система эта продержалась в

¹ Я не хочу сказать, что эпоха «политического» закончилась, но и не думаю, что военно-политический ответ, данный цивилизованным миром тоталитаризму, является достаточным и окончательным. Может быть, все еще только начинается. Ведь плохо продуманным остается даже феномен Первой мировой войны. Научная же литература, анализирующая тоталитаризм (и наша, и зарубежная), склонна понимать его как трагический эксцесс. (Научная, но не художественная, оказавшаяся — к ее чести — более чуткой и глубокой.) Наконец, эта литература просто не слишком обильна. Случайна ли эта неадекватность?

Средиземноморье лет триста, но в превращенных формах она постоянно возобновлялась и с таким же постоянством разваливалась под воздействием внутренних или внешних причин. Так что «политическое» предстает перед нами не как «вечная ценность», а как по-авангардному дерзкий непродолжительный эксперимент, об удаче которого говорить еще рано. Но, во всяком случае, ясно, что в поисках корней «политического» как такового погружаться глубже греко-римской архаики не имеет смысла.

Выстраивая последовательность политических учений античности, А. А. Чанышев высвечивает некоторую драматургию этого сюжета. Она создается напряжением между двумя полюсами: с одной стороны — это стабильность античных представлений о мире и историческом времени, с другой — динамичные поиски справедливости. Действительно, эти два фактора порождают богатство политической мысли древних, но их же столкновение в какой-то момент отчуждает античную парадигму от реальной истории. Космос (гармоничное единство мирового смысла и всех его воплощений), его циклическое время (вечное возвращение всех состояний к исходному), его судьба (безлично бытийное предписание, удерживающее космос в рамках необходимости) в своем триединстве задают образец для античных моделей общества. Сначала классический античный полис, затем эллинистический космополис, затем римская мировая империя одинаково осознают свою встроенность в универсальное природное целое. Современному субъективистскому сознанию может показаться странным, что это инициировало моральную и социальную активность, гражданское достоинство древних, но так оно и было. Ведь это значило, что порядок и справедливость естественны, обеспечены устройством космоса, и дело только в том, чтобы каждая часть целого поняла, какой модус действия предписан именно ей. Но понять — значит осуществить морально-интеллектуальное действие и тем самым заявить о своей свободе, принять на себя ответственность: меньше всего античные модели мышления похожи на идеал пассивного созерцания; как правило, предлагается образ циклически возвращающегося к себе пути, который надлежит пройти. Чанышев прав, подчеркивая при этом роль вербальной (по-другому: акустической) культуры в политической жизни античности. Дело ведь не в том, что иных «медиа» у древних не было, а в том, что живое слово оптимально соединяло разумный довод, моральное действие и личную ответственность. Таким образом, естественное и общественное соединялись посредством разумно-личного в политическую инициативу. Отсюда же представление древних о воспроизведении космической целостности на разных уровнях (употребляя новомодный термин — о «фрактальности» универсума): человек, государство, мир взаимоподобны друг другу. Значит, одно можно познавать через другое по аналогии. Если чего-то не хватает в обществе — смотри как на образец на космос или же загляни в себя. Но отсюда также следует, что цель политического действия (Благо) уже задана миром, ее надо не столько создавать, сколько реализовать. Здесь потенциально скрыт конфликт судьбы и свободы. Автор фиксирует этот склад мысли как «нравственно-телеологический» характер представлений о власти, особо отмечая синкретизм морали и политики, поскольку распад именно этой связи станет границей и знаком зарождающегося Нового времени. Беря за основу цитируемую формулу, Чанышев обобщает античное понимание гражданского общества как множества людей, связанных *согласием в вопросах права и общностью интересов*. При этом он обращает внимание на то, что возникающее на этой основе государство трактуется в своей основе как «этно-генетическая» община: это действительно важно, поскольку такой примат «природно-семейной» связи до поры до времени является гарантом против отчуждения гражданина от государства, смягчает возможный конфликт между «общим благом» и личной совестью. Между тем этот конфликт был, и автор четко прослеживает его логику.

Переломным моментом античной культуры было появление софистов: гуманисты и просветители — с одной стороны, с другой (а может быть, с той же самой) — они были источником деструкции исконных полисных идеалов. Именно они открыли чисто человеческое (а не космическое) измерение справедливости, закона, истины, но они же тем самым поставили под вопрос бытийную укорененность этих ценностей и спровоцировали появление поколения циничных политиканов,

виртуозов того, что автор назвал «манипулятивной практикой». Стоит заметить, что в самой античной политической парадигме было, следовательно, что-то, делающее сознание беззащитным перед вирусом софистики. Обрисованная в книге дальнейшая история политучений подсказывает нам, что хотя теоретически софистика была побеждена и изжита как «детская болезнь», она все же высветила драматический парадокс античной цивилизации: субъект гражданской *свободы* никак не хотел оставаться еще и частью *природы*, но понять человека по-другому античность не хотела.

В крестовый поход против софистов двинулись знаменитейшие мыслители древности: Сократ, Платон и Аристотель. Сократ видит выход из кризиса в опосредовании политической реформы нравственным очищением души, в свою очередь опосредованным интеллектуальным очищением сознания. Но в его учении уже нет места интуиции благостного космоса: важнее диалог человека и человека, а еще важнее диалог человека и Бога. В свете этого и полисная демократия оказывается под подозрением: вопрос в том, на какое «общее благо» она ориентируется, от Бога ли эта общность или от солидарности в самоуправстве. Еще радикальнее протест против народовластия у Платона. Здесь, несколько отвлекаясь от темы, надо сказать, что для любого историка политических учений тяжелым испытанием является необходимость вынести приговор двум великим теоретикам общественного устройства: Платону и Гегелю. Дву(по крайней мере)смысленны их учения, невероятно широк разброс их интерпретаций, крайне политизирована полемика вокруг их наследства. Чанышев с редким эпическим спокойствием репрезентирует теорию первого, отнюдь не вуалируя ее шокирующие моменты; завершая главу о Платоне, он дает выразительное резюме: Платон предлагает *идеократическую* технику управления, в рамках которой человек не важен и почти не нужен. Правит идея блага, для которой человек — материал, а здоровый социальный организм — цель. Платон, по выражению автора, предлагает не сократовское очищение, а чистку. При этом у автора мы не встречаем обличительного пафоса: книге вообще свойственны некоторая академическая отстраненность, спокойный объективизм. Автора больше интересует типология учений и вытекающий отсюда диагноз, чем своя и чужая идеология. Но, как представляется, в случае с Платоном есть и другой мотив. Древний философ, как бы мы его ни толковали, все же создал самую жуткую в истории социальной мысли утопию; трудно при этом отделаться от ассоциаций с теорией и практикой фашизма, обидно, что такое учинил величайший в истории человечества светоч мысли. Но все же есть два момента, которые позволяют строить апологию Платона. Во-первых, как ни тривиально это звучит, Платон — человек древнегреческой культуры, и значит, для него невозможно смешение литературы и жизни, которым грешили утописты Нового времени. Для последних переход от кабинетной фантазии к реальности не составлял проблемы — была бы власть и сила. Для античного человека реальность все же принадлежит богам и природе, а фантазия — человеку; запросто пересечь эту границу нельзя. Даже греческий дровосек, срубивший дерево, приносил искупительную жертву, что же говорить о проекте переделки мира. Утопия Платона поэтому должна восприниматься прежде всего как литературно-философский текст, хотя и в высшей степени серьезный. Похоже, самому Платону и в голову не приходило реализовывать свою утопию, когда на Сицилии ему было позволено ставить политические эксперименты. Во-вторых, почему-то всегда забывают, что нечеловеческая власть, сосредоточенная в руках платоновских «правителей-философов», потому и принадлежит им, что они уже не совсем люди, в них действительно воплощена и через них правит Идея. Тогда как тоталитарные властители Нового времени — это по платоновской классификации тираны, самозванцы, которые присвоили власть как частные люди, но правят от имени всеобщего. Хуже этого, по Платону, нет ничего; это уже не просто зло, а сам ад. Другими словами, если мы, обвиняя Платона, кричим: «Бей разруху!», то не правильнее ли «лупить себя по затылку», в котором сидят новоевропейские утопические установки. Во всяком случае, автор имел право, как мне кажется, уклониться от обличения Платона. Важнее другое отмеченное Чанышевым «преступление» Сократа и Платона: они переступили рамки античного полиса, по существу, уже отказались от полисной модели мышления, от полис-

ного понимания человека. Я, правда, не уверен, что шаг был сделан, как утверждает автор, в сторону космополитического типа гражданского сознания, который свойствен эллинизму. Возможно, следует говорить о более радикальном их «выпадении» из античной духовности: ведь морально-политическая реформа, к которой подводят учения Сократа и Платона, предполагает уже сверхкосмическое «благо», за пределами миру измерение, которое философы позже назовут трансцендентным. Поскольку это «благо» неким образом дано человеку, меняется и его моральный, и его гражданский статус. Он уже не гражданин космоса — большого или малого, но гражданин «идеального царства», как бы его ни понимать. Но это будет уже сюжетом Нового времени.

Другое дело — Аристотель, вершина именно античной политической мысли. Может показаться странным в свете сказанного, что Новое время чаще и охотнее обращалось за политическими рецептами к Аристотелю, а не к Платону с его трансценденцией, но акценты, расставленные в соответствующей главе книги, позволяют понять, что Аристотель как никто другой выявил чистую специфику политического², что и было жизненно важной проблемой для Нового времени с его программой тотальной секуляризации культуры и автономизации ее областей.

Как и положено, венчает античную тему глава о римско-эллинистической культуре. Чанышев счастливо избегает здесь привычных штампов, не повествуя нам ни о «закате античности», ни о «злодеяниях империи». В центре анализа — две в определенном смысле оппозиционные системы идей: космополитическая этика стоиков и «римская идея», породившая небывалое в древнем мире государственное строительство. Последняя тема, рассмотренная сквозь призму учения Цицерона, особенно примечательна. Автор видит в идее «вечного Рима» новую политическую модель, выходящую в своей значимости за пределы античной цивилизации. Впервые здесь размыкается горизонт полисной общины и открывается перспектива расширения Рима до мирового государства, историческое время вместо замкнутого судьбой круга предстает как оптимистический вектор. Существенно — добавим, — что Цицерон, Вергилий и другие создатели мифа о Риме видят в этом великую моральную миссию, а не империалистическую экспансию: Рим объединяет не силой, а правом. Он имеет право на власть, поскольку только римлянин ставит волю выше любой — благородной или низкой — страсти³. Но Чанышев показывает, что эта мессианская программа сталкивалась с фатальным противоречием: утвердить величие Рима Цицерон предполагает через возрождение общинной, республиканской добродетели, которая радикально не приемлет космополитизма. Никакие искусственные конструкции (типа учения о «небесной справедливости») не смогли, говорит автор, разрешить этот конфликт, и понадобилась «новая соразмерность» человека и государства, которую смогло установить лишь христианство⁴.

Христианское Средневековье иногда называют «молчащей» эпохой. И это, пожалуй, справедливо, даже если оппоненты укажут на полки с толстыми томами по истории средневековой литературы, философии, богословия. Эпоха сдержанно вы-

² Вот, как пример, классическое различие *патриархальной* и *политической* власти, приведенное в учебнике Чанышева: первая — это власть над рабами, вторая — над свободными и равными. Душа, поясняет для наглядности Аристотель, властвует над телом как господин, а разум над стремлениями — как политик. Похоже, что это различие все еще нужно напоминать.

³ Христианская историософия также была охвачена обаянием этой идеи. Если Августин еще видел в Риме символ умирающего язычества, то его ученик, историк Орозий, уже учит о провиденциальной роли Рима, осуществившего политическое единство мира для того, чтобы сделать возможным духовное его единство во Христе. Рим начинает это великое дело силой, но закончится оно любовью. Стоило средневековому книжнику прочесть ROMA справа налево, как он понимал, что так оно и должно быть.

⁴ Глава о «Вечном Риме» — одна из самых интересных в учебнике, но в ней, как, пожалуй, и во всей книге, ощущается дефицит правовой тематики. Формально, конечно, история политических учений не обязана включать в себя историю правовых учений, но все же некоторые эпохи европейской культуры останутся непонятными, если не заглянуть в их философию права. Во всяком случае, таковы Древний Рим и новоевропейские XVI и XVII века.

ражала себя в образе, а слово, особенно публичное слово, на силе воздействия которого держалась античная культура, перестает служить средством самопознания и самовыражения. Ограничены не бытовое слово, не слово проповеди, которые — каждое по-своему — интимны, а именно словесность как общественность, *res publica*. Только на своих границах — в начале (патристика) и в конце (проторенессанс) — эпоха размыкает уста, и ее самосознание нам известно в основном по этим свидетельствам. Но и тут — загвоздка. Средневековье сохраняет стилистику, лексику, топику античности, и трудно понять, где оно говорит о себе, а где просто играет в античные игры⁵. Как, например, писать историю политических учений христианства, если даже то немногое, чем мы обладаем, как правило, написано почти без связи с тогдашними политическими реалиями (а ведь теперь — спасибо современным медиевистам — мы знаем, что это был многоукладный мир сложнейшей, пестрой политико-правовой жизни) — так, как будто мыслителям были заданы упражнения на античные темы, как будто между Августином и Данте вообще ничего не происходило. Такова и философия, и — во многом (страшно сказать) — богословие.

Чанышев осознает эту странность Средневековья и размышляет о том, почему христианское сознание не торопится покидать пространство античной культуры. Он также отмечает, что, с одной стороны, христианство открывает новое измерение человечности, в координатах которого неповторимая свободная личность осуществляет необратимый труд спасения и, значит, становится также активным источником преобразования общества, но с другой стороны — доминантой политических учений остается «архаизирующая и охранительная тенденция», отделяющая динамику спасения от статики повседневной истории, для которой в силе остается античная политическая премудрость. Для полноценной презентации эпохи автор вполне резонно выбирает ключевые фигуры (Августин, Фома Аквинский) и дополняет эти главы маленькими, но содержательными очерками о других значимых персоналиях (Оккам, Данте, Марсилиус Падуанский...) и тенденциях (политическое сознание раннего христианства). Пожалуй, эта мозаичность оказывается более адекватной предмету, чем «гладкое» повествование, создающее иллюзию непрерывного прогресса мысли⁶. В главе об Августине автор реконструирует сложную, многосоставную историософию великого богослова, выделяя как высшее его достижение «перспективизм», который сломал клетку античного антропоцентризма, ввел эсхатологический вектор истории и тем самым радикально ее очеловечил. Действительно, задолго до Ницше Августин сказал, что человек есть путь, а не цель, но в отличие от базельского профессора он еще и объяснил, к чему ведет этот путь. Кроме того, утверждает Чанышев, Августин трансформировал христианский принцип неотъемлемой от лица свободы воли в принцип политической свободы и, по сути, реабилитировал государство как тему и проблему для христианской мысли. Отсюда ясно, почему Реформация для переосмысления соотношения личности, государства и церкви востребовала в первую очередь идеи Августина.

Если об античности и Средневековье можно говорить с надлежащей ученой отстраненностью, то с Новым временем не так. Оно не совсем закончилось и все еще держит нас в своем культурном пространстве. К тому же мы знаем, что политические учения этой эпохи несут немалую долю ответственности за современные злодеяния. Но поскольку автор ограничивает себя «классической» эпохой, он сохраняет корректную аналитичность и в этом разделе, представляя, в соответствии с

⁵ Что-то можно объяснить религиозными табу; что-то еще проще — бедностью эпохи, вынужденной строить свои хижины из остатков разрушенных дворцов, сохраняя эту привычку даже тогда, когда были накоплены свои богатства. Но аура загадки все же остается.

⁶ Оспорен может быть другой выбор: автор предпочитает вывести за рамки учебника арабо-исламское и византийское Средневековье. Это, конечно, соответствует манифестированной в подзаголовке книги теме: «Классическая западная традиция». Но все же учебнику не помешали бы некоторые восточные вкрапления, хотя бы как дополнительные точки отсчета. Ведь мусульманская культура создавала настоящую, довольно прагматичную политологию, которая просачивалась в западную культуру. Да и византийская мысль не была абсолютно изолирована от Запада.

избранным методом, политучения Нового времени через деяния великих⁷; *dii minores* остаются в тени, но зато тем рельефнее видны эпохальные парадигмы.

Для начала автором блестяще расследован казус Макиавелли. Выясняется, что его загадочность сильно преувеличена. Чанышев просто и убедительно показывает, что Макиавелли осуществил естественный для культуры XVI века переход политической мысли от нормативности к функциональности. От теологизированной этики, предписывающей, *как должно*, к научному исследованию, показывающему, *как есть*, к политтехнологии, рекомендующей, *как достичь цели*. При этом на этические ценности великий флорентиец и не думал покушаться: он их перенес в другой регион бытия, где они могли быть востребованы для неполитических целей. Таково было общее и несомненно плодотворное веянье эпохи. От церкви пытались отделить светскую культуру, от государства — церковь, от экономики — политику etc. Не отрицая друг друга и не мешая друг другу, эти культурные силы смогли раскрыть свои собственные возможности. Но драма была в том, что первоначальный проект мирного размежевания интересов со временем переродился в торжество того, что в термодинамике называется «наиболее вероятным состоянием». Особенно наглядна эволюция науки: сначала от контроля теологов освободилась философия, затем от философии отмежевалась «позитивная» наука, затем от науки — «прагматичная» техника. Идеи без веры — наука без идей — техника без науки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — апокалипсис, ад самоутверждающейся силы. (Впрочем, я думаю, что все как-нибудь уладится.) Макиавелли вписывается в этот печальный проект, и сейчас его обычно воспринимают как апологета имморализма. Чанышев показывает односторонность этого восприятия. Особенно интересны обнаруженные автором механизмы ограничения внормативной функциональности: «ответственно проектируемое будущее» и «перспективная национально-государственная задача», которые, будучи исторической миссией властителя, подчиняют себе возможный его произвол. Поэтому в его «благочестивой жестокости» есть благородство жертвы. Автор все же со скепсисом относится к программе Макиавелли, отмечая, не без аллюзий на будущую европейскую историю, «изолированность элитарного сознания» и «пугающе-непонятную „сверхчеловечность”» в макиавеллистском идеале.

Очень важно, что автором не был забыт Лютер. Ведь он действительно — глубокий политический мыслитель. Конечно, и сама Реформация была величайшим *политическим* событием, опытом духовного (а не по-петровски административно-го) вхождения в политическое пространство Нового времени, — опытом, пережить который не было дано России. Но Лютер сумел придать такую конкретную форму вероисповедным требованиям, что они не могли не раскрыть все свои политические импликации. Главное — это то, что «требование свободы совести приобретает черты *универсального правового императива*». В результате свобода проповеди оказывается прототипом свободы слова, деятельность по распространению Писания обеспечивает свободу печати, гарантируются права частной собственности, «поскольку человек является неподменным автономным свидетелем перед богом» и, стало быть, свободно распоряжается своими духовными и физическими способностями. Отделение церкви от государства (весьма амбивалентный исторический процесс, который мог легко обратиться против Реформации) Лютеру удалось направить на «восстановление утраченной церковью роли всеобщего коммуникатора средневекового общества, которую она выполняла благодаря своему духовному лидерству». Так что не только «дух капитализма» был в родстве с протестантизмом. Политическое, философское, эстетическое воспитание Нового времени не понять без вдумывания в суть Реформации. Одна из российских тайн — нераскрытые исторические миссии нестяжателей и староверов — также может проясниться в ходе этого исследования. Поэтому не стоит думать, что Максом Вебером поставлена точка в исследовании внерелигиозной функции протестантизма.

⁷ В этом ряду явно не хватает Бодена и Фихте. Другие дополнения, которые приходят в голову, — это отдельные идеи (Бёрк) или процессы (политическая идеология Французской революции, французский консерватизм), введение которых, возможно, нарушило бы авторский принцип презентации больших доктрин.

Классикам политической мысли XVII — XVIII веков Чанышев посвящает не только самые объемистые, но и, может быть, самые «авторские» главы, что вполне понятно. Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо — учителя Нового времени. Они создают аксиоматику его политического сознания, закладывают такие базисные теоретические концепты, как «политическое общество», «политическая свобода», «неотчуждаемые права». Это — своего рода алфавит свободы, который и сегодня лучше всего изучать по их трудам. Автор выделяет сквозные сюжеты реальной или виртуальной полемики этих мыслителей и показывает, почему одни и те же аксиомы порождали разные теоремы. Гоббс и Локк исходят из принципа свободы «в качестве универсальной меры и идеального источника нормативности права», оба признают исходное «естественное состояние», но у Гоббса «эгоизм» индивидуума становится движущей социальной силой и в конечном счете — источником жесткого этагизма. Единство общества на основе народного суверенитета «оборачивается программой унификации политической и духовной жизни в конструируемом мыслителем „политическом государстве“ (гражданском обществе) и сакрализации этого государства». У Локка же индивидуум заключает в себе «нравственно-обязующий, социально-связующий элемент», что дает в результате принципиально иную, либеральную модель. В этой коллизии поучительно то, что философы, подражая геометрии, мечтая о дедуктивно-последовательной, ясной и убедительной для всех модели общества, пришли к радикальному разногласию, совершенно поразному увидев (а не вычислив) природу человека. Историзм и плюрализм Монтескьё обогащает абстрактные «договорные» модели общества своих предшественников. Не отказываясь от построения универсальной нормативности, он, как показано в книге, обращается к живому историческому субъекту, который нуждается не в поучении и административной регуляции, а скорее в конкретно-социологическом самопознании.

Руссо — момент слома традиции, критик цивилизации, чья «генерализация понятия воли» стала апологией многих грядущих революций, — также притягивает пристальное внимание автора. Руссо, по определению Чанышева, присуща «тенденция к тотальному пониманию свободы... как характеристики целостного политического субъекта, народа — подлинного суверена и носителя всех прав и свобод». Отсюда и вывод о том, что целое вправе принудить к свободе, — вывод, в каком-то смысле перечеркнувший вековые труды европейского либерализма, но — по злой исторической иронии — им же и порожденный. Кант в своей доктрине спасает честь европейской философии свободы и возводит ее на небывалую высоту, но — увы — он остается учителем для учителей, а не для тех учеников-троечников, которые делают историю.

Кант и Гегель, естественно, венчают череду классиков. Чанышев дает блестящее, профессионально безупречное изложение моральной философии Канта, которая является ключом к его политическому учению. Ведь суверенитет автономной в моральном отношении личности обосновывает саму возможность морального санкционирования власти. Власть по Канту, разъясняет автор, ограничена не правом народа на возмущение, но суверенитетом единой народной воли и автономного «лица». Человек является в силу присущей ему нравственной автономии самостоятельным источником и внутренней меркой правопорядка. Этим Чанышев объясняет возможность приписать кантовскому субъекту гражданского общества такие полярные предикаты, как «законопослушник» и «радикальный правозащитник». Открытая Кантом креативная мощь морали инициировала новый виток политической мысли, опирающейся теперь на трансцендентализм, обосновавший возможность порождать, конституировать объективность, а не только лишь приспособляться к ней. Жаль, что жанр учебника не позволил автору обрисовать ту культурную ситуацию, которая составляет путь от Канта к Гегелю: хронологический промежуток ничтожен, но насыщенность событиями здесь невероятна.

В гегелевских текстах не случайно постоянно всплывал мотив «конца»: «конец истории», «конец искусства»... И в самом деле, в учебниках (особенно российских, не без марксистского гипноза) его по традиции помещают в финале «классической» эпохи. Но в цепочке политических учений он и правда — последний классик (уже несущий в себе авангард, как и положено настоящему классику). Гегелев-

ский гимн правому государству в известной мере можно расценить как итог поисков Нового времени. В то же время не случайно Гегель постоянно оказывался в дурной компании мнимых наследников: что-то притягивало их в его политической доктрине. Чанышев предлагает свою версию гегелевской поливалентности. Философу — с этой точки зрения — не удастся преодолеть естественно-антропологические основания политической теории, и поэтому он остается, по сути, в метафизическом измерении, заданном еще античностью. Принципы политической связи вводятся им априорно и служат деталями «конструктора, который позволяет собрать конфигурацию правового государства». Поэтому Гегель еще не сделал решающий шаг к положительной политической науке. В утверждениях автора есть резон, хотя напрасно им так легко принимается схема перехода от политической философии к политической науке. Эту фавулу подsunул отец позитивизма О. Конт, и ее подхватили марксисты. Остается все же дискуссионным вопрос, насколько безболезненно можно изъять метафизику из науки, не выхолостив тем самым смысл самой научности. Не уклоняется Чанышев и от прояснения самой мучительной проблемы для гегелеведов-политологов: какова природа этатизма Гегеля. «В той мере, в какой Гегель субстантивировал и персонифицирует разум в нечто надчеловеческое, он утрачивает постулат безусловности неотчуждаемости гражданского суверенитета личности... и превращает человека в функционера высшего смысла, в средство самоосуществления и самопознания абсолютного духа. Так он разрешает коллизии между нравственностью и политикой: политика „возвышается“ до средства самореализации абсолютного духа; нравственность, национально-государственная историческая жизнь обнаруживают свое более высокое, чем человеческое, предназначение». Но если читатель подумает, что Чанышев готов согласиться с Поппером и отправить Гегеля в те круги преисподней, где томятся теоретики «закрытого общества», то он ошибется. Автор не отрицает, что существует возможность консервативно-этатистской интерпретации учения Гегеля, но доминантой все же считает «консервативно-либеральную направленность». Этот выбор, сделанный вдумчивым исследователем после обстоятельного взвешивания всех «за» и «против», мне кажется знаковым. Не следует ли из этого, что сегодняшняя политология в отличие от вчерашней полуйдеологии чурается публицистических штампов и предпочитает спокойную экспертизу мысли, выраженной в тексте. Разве не было с самого начала ясно, что гегелевская система антитоталитарна по своей сути и исходной направленности? Что гегелевская «гипертрофия государственного» (мнимая, потому что государство, по Гегелю, *сначала* становится воплощением свободы и всеобщего, но только *потом* и *в результате* этого — политической тотальностью) противоположна тоталитаризму как атрофии государственного?⁸ Но оказалось, что поколениям толкователей Гегеля проще было его «разоблачить», чем понять. Чанышеву же — проще понять, и это, конечно, радует.

Читателям, которые захотят узнать, каким теоретическим багажом богата европейская политическая культура, можно рекомендовать эту книгу хотя бы потому, что в авторе они найдут глубоко и самостоятельно мыслящего, заслуживающего доверия толкователя.

Александр ДОБРОХОТОВ.

⁸ У Гегеля можно обнаружить рискованные религиозно-утопические мотивы грядущего постполитического состояния общества. Тоталитаризм же мечтает о возвращении дополитического состояния общества. Тоталитарной идеологии принципиально важно было от мертвящего (с их точки зрения) духа вернуться к «неиспорченной» нерефлексирующей жизни. Например, к естественности связи вожака (лидер), стаи (партия) и народа (стадо). Однако очевидно, что можно возродить умершую культуру и сделать ее частью живой (таково гегелевское «снятие»), но нельзя мертвое непретворенное прошлое делать частью живого — это смерть.

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО

+7

Русский Журнал. 1997 —... М., «Рудомино», 2000, 570 стр.

«Русский Журнал» (главный редактор и владелец проекта — Глеб Павловский) появился в Сети в 1997 году (<http://www.russe.ru>). Ориентиром, виртуальным «близнецом-соперником», по признанию его создателей, послужил американский сетевой проект журнала для интеллектуалов, задуманный, но так и не воплощенный Биллом Гейтсом в начале 90-х. «Мы рискнули, — читаем в предисловии к сборнику, — объединить невиданные ранее в Рунете крупномасштабные формы и солидность содержания, свойственные скорее „толстым” бумажным журналам, с чертами, типичными для электронных СМИ: портрет нашего читателя/пользователя размыт, текст нелинеен, а у процесса изготовления продукта нет ни начала, ни фиксированного конца».

Стилистически бесстрашный сетевой обозреватель Лев Пирогов так встретил выход бумажной антологии «РЖ» под редакцией Бориса Кузьминского: мол, пока честные люди пытаются раздавить гадину Гутенберга, russ.ru тычет им в спину «предательским пятисотшестидесятивосьмистраничным ножом в звонком картонном переплете». Как пользователь, подписанный на рассылку материалов «РЖ», я с интересом прочел на бумаге то, что пропустил в Сети, а увидев знакомые сетевые тексты, понял, что *мутировал* — роман или стихи все еще хочу держать в руках, а небольшую статью, беседу, рецензию — уже необязательно. Тем более, что, как заметил Вячеслав Курицын (*Vesti.ru*), в антологии есть тексты, «чья структура и ткань прямо связана с большим количеством забытых в них гиперссылок, которых на бумаге, понятно, нет. Но участки текста настолько вопиют, что здесь должно стоять другим цветом и на букву www, что ждешь: вот сейчас она прямо полезет из бумаги, как трава через асфальт. На ночь том оставлять страшно; откроешь утром, а страницы ссылками кишат, как червяками».

Лучшее в сборнике — эссе Псоя Короленко (2.12.99) о его котях в связи с книгой Уильяма Берроуза «Кот внутри» (Тверь, 1999).

Красные холмы. Общественно-политический, литературно-художественный и научно-популярный альманах. Руководитель проекта М. Ф. Шатров. М., 1999, 512 стр.

Олег Павлов, «Русские письма»; Стивен Козн, «Смута — российская действительность»; Геннадий Лисичкин, «О наших реформаторах и об их реформах»; Вадим Белоцерковский, «Совместима ли Россия с капитализмом»; Виталий Гольданский, «Эпитафия XX веку»; Джульетта Кьеца, «Русское уравнение»; Иммануил Валлерстайн, «Глобализация или переходная эпоха?»; Владлен Логинов, «Не ждите Страшного суда»; Никита Моисеев, «На пороге»; Юрий Пивоваров, «Два века русской мысли»; Юрий Пивоваров, Андрей Фурсов, «Русская власть, русская система, русская история»; Генрих Йоффе, «Заметки к политической истории»; Вадим Межуев, «Социалистическая идея — шанс на будущее»; Ирина Добровольская, «Московская элегия»; Карл Шлёгел, «1996 — Москва в строительной лихорадке»; Сергей Колесников, «Москва — третий путь»; Сергей Волков, «Интеллектуальный слой в советском обществе»; Александр Кустарев, «Система ценностей и стиль жизни»; Михаил Гаспаров, «Интеллигенция и интеллигентность: от этимологии к морали»; Александр Якимович, «Русское искусство в XX веке»; Георгий Кнабе, «Местоимения постмодерна»; Инна Борисова, «Катастрофа»; Юрий Буртин, «Другой социализм».

На эту странную социалистическую антрепризу, организованную тем самым Михаилом Шатровым, автором известных пьес о Ленине, а ныне — предпринимателем, уже были отклики: статья В. Гольданского вызвала резкую отповедь Вадима Кожина («Завтра», 2000, № 40), две большие полемические статьи появились в

интернет-журнале «Русский переплет» (<http://www.pereplet.ru>). Автор одной из них («*Riverside Towers* — третий путь»), В. Варавя, пишет о том, как в альманахе переплетаются и перетекают друг в друга социалистический и постмодернистский дискурсы. В частности, он обращает внимание на то, что новый «дом у Красных холмов», выбранный в качестве символа альманаха, — это *Riverside Towers*, бизнес-центр. «Архитектурная грамматика дома на набережной у Красных холмов именно потому, что переплывала все устоявшиеся стили в игровой метастиль свободы от всего, не имеет преимуществ перед унылой громадой сталинского ампира. Краснохолмский архитектурный постмодерн — это застывший хаос монологично-замкнутых „я“-атомов — зеркальное отражение сталинского ампира. Причем отражение в кривом зеркале... Величие и трагизм — вот сталинский ампир. В его тяжелой безликости и давящей тусклости... просматриваются нерадужные черты трагического лика России. Россия — болевая точка мира, как ни загромождай ее безутешное жизненное пространство всевозможными стилистическими изысками — суть остается той же. Болевой нарыв как извержение вулкана-трагизма рано или поздно прорвется катастрофой, революцией, бунтом, да и просто коллективной скорбью...» И далее: «Сам дом [стилистически] — храм религии *New Age*, нежилой космодром инопланетян, прибывших из эры Водолея и десантировавшихся в Москве».

Несколько содержательных публикаций стоят в альманахе не то что особняком, а *поперек* (так статья Олега Павлова о письмах, адресованных Солженицыну, была на месте в журнале «Москва» и не на месте в «Красных холмах»); а все нивелирующий контекст такой — сахаровская конвергенция, моисеевская глобализация, белоцерковское самоуправление, лужковское градостроительство, такой социализм и вот такой социализм, другим путем, не таким путем... Стоит ли удивляться, что один из, казалось бы, не ангажированных авторов вдруг начинает оправдывать «художественную» акцию Тер-Оганяна с разрубанием икон *неблаговоной* политической атмосферой в России.

Словом, социалисты наозонировали.

Экономическая деятельность Русской Православной Церкви и ее теневая составляющая. Под редакцией и с предисловием Льва Тимофеева. М., 2000, 189 стр.

«Данное издание (под грифом РГГУ и Центра по изучению нелегальной экономической деятельности. — А. В.) задумано как сугубо научное, и любое вольное публицистическое истолкование содержащихся в нем материалов решительно противоречит нашему замыслу», — уверяет Лев Тимофеев. В сборник вошли работы Михаила Эдельштейна «Церковная экономика Центральной России: приход, монастырь, епархия», Николая Митрохина «Русская Православная Церковь как субъект экономической деятельности», а также справочные материалы о некоторых наиболее известных предприятиях Русской Православной Церкви и околоцерковном предпринимательстве. Самый интересный, но не имеющий, впрочем, «сугубо научного» значения раздел — «Живые голоса», в котором представлены фрагменты выразительных бесед с анонимными священниками. «Специфичность темы, ее имманентная враждебность „православной этике“, невозможность оперировать декларированными сведениями да и сам подход — все это определило досадную фрагментарность, неполноту оценок, преобладание эмоционального над рациональным...» — итожит рецензент Николай Константинов («Деньги Церкви и попытка их посчитать» — «НГ-Религии», 2000, № 19, 11 октября), отдавая, впрочем, должное этой *первой попытке*.

Послевкусие от сборника у меня такое: если видеть в Церкви всего лишь один из общественных институтов, то нам еще раз объяснили, что ни один из общественных институтов не существует в безвоздушном пространстве, не свободен от состояния всего общества и государства (а то мы не знали); если же вспомнить, что Церковь в ее полноте включает в себя Церковь земную и Церковь Небесную, то выходит... да то же самое и выходит (земная, она и есть земная).

Ю. М. Галенович. Прав ли Дэн Сяопин, или Китайские инакомыслящие на пороге XXI века. М., «Изограф», 2000, 288 стр.

Китайские реформы давно уже служат живым укором отечественным реформаторам: мол, в Китае — ого-го, а у нас — увы... То, что в КНР отсутствует политическая свобода, это поклонники китайского пути могут счесть достоинством. Обыкновенно они нам ставят в пример (мнимое) отсутствие в КНР «шоковой терапии» и тому подобных безобразий. Так нет, оказывается, в 90-е годы, годы несомненного экономического бума, в Китае тем не менее люди травились недоброкачественными спиртными напитками; лжеудобрения губили урожай; расширился рынок наркотиков; коррупция становилась безудержной; загрязнение окружающей среды стремительно росло; государственные предприятия становились банкротами; рабочие, которым не платили зарплату, бастовали; банки завязли в трясине безнадежных долгов; рос разрыв между богатыми и бедными; опоздания с выплатой заработной платы, частичная выплата зарплаты или ее невыплата стали обычным явлением для государственных рабочих и служащих всех отраслей, включая чиновников и учителей (по нашумевшей книге Хэ Циньянь «Западня для Китая»).

Радоваться, конечно, нечему, а все же...

А. Р. Небольсин. Le soleil inconnu. Неведомое солнце. Выпуски I, II, III, IV, V-VI, VII, VIII. М., Христианское издательство, 1996 — 1999.

Аркадий Ростиславович Небольсин (внук убитого в Кронштадте контр-адмирала Небольсина) родился в 1932 году в Монтрё, Швейцария. Учился в Гарварде и Оксфорде, преподавал в различных университетах США, а также в Свято-Сергиевской гимназии в Нью-Йорке. Защитил в Колумбийском университете диссертацию «Пошлость», став доктором философии по сравнительной литературе. С 1966 года — постоянный автор нью-йоркского «Нового Журнала». После 1978 года он оставляет преподавание и посвящает себя общественной деятельности.

Мне уже приходилось («Новая Европа», 1997, № 11) откликаться на оригинальные брошюры А. Небольсина «О золоте» (1995), «О серебре» (1995), «О красках» (1996), «О свете» (1996), «Возвращение к классицизму» (1996), которые были посвящены актуальным проблемам реставрации, спасения памятников культуры и природы, защиты культурного ландшафта от разрушения модернизмом. Почти все они, так же как и выпуски «*Le soleil inconnu*», — о падении европейской архитектуры, искусства и цивилизации в целом в XIX — XX веках, изданы при финансовой поддержке основанного Небольсиным в 1979 году «Американского общества по охране русских памятников культуры».

Стилистически, я бы сказал, это что-то движущееся от розановских *опавших листьев* к гапаровским *запискам и выпискам*. «Вроде книги предложений», — объясняет автор. Лучшая, на мой вкус, запись (сдвоенный выпуск V-VI): «Собаки любят дома с открывающимися дверями, чтобы постоянно то входить, то выходить из них».

Мэльд Тотев. 56 тетрадей. Стихи и поэмы. Составление и редакция Татьяна Калининой и Марины Тотевоы. Предисловие Бориса Дубина. Издание осуществлено за счет М. Тотевоы. М., Издательство РУДН, 1999, 272 стр.

Отцом его был болгарский политэмигрант, и в имени Мэльд, если я правильно понял, присутствуют Маркс, Энгельс и Ленин. Родился Мэльд в Москве в 1937 году, умер в 1993 году, при жизни опубликовал несколько стихотворений. Борис Дубин в предисловии пишет, что у него нет преимуществ перед читателями, он тоже читает стихи Мэльда Тотева впервые. Впечатление у него такое: «Стихи Тотева живут нагнетанием внутреннего давления, алмазным уплотнением смысла, а потому чаще обходятся без рифмы. Порой этой тектонической тяжести не выдерживает даже обычный у Тотева тугой ритм: он вдруг срывается в сердечный перебой, сминается в тахикардическую гонку». В результате уплотнения смысла, добавлю я, у Тотева порой разрушается не только «звук», но и смысл, а стихи становятся

ся похожи на среднего качества переводы, местами — просто на подстрочники. Долго искал, что можно процитировать (так и Дубин старается обойтись без цитат, деликатно приводя отдельные строчки). Вот — из неуплотненного:

Каждый может меня потрогать,
 Разрешаю: вот ухо, вот ноготь,
 Вот спина, вот (пропустим), вот губы...
 Я живею заболевшего зуба.
 Заходите ко мне, бога ради.
 Расскажу о себе, покажу и тетради.
 Ну, давайте!.. Не вижу энтузиаста...
 Спустя годков полтора,ста,
 Когда трухой расползется мой гроб,
 На бумаги наткнется какой-нибудь сноб
 И, в пику врагу или другу в опору,
 Предаст их всеобщему взору,
 Означив по белому черным:
 «Мэльд Тотев. О жизни сведений нет».
 Или: «Имя автора спорно».
 Или еще безысходней: «неизвестный поэт».

Книга — в контексте судьбы — необходимая, но именно жизненного контекста в книге не хватает, хоть бы один мемуарный очерк... На обложке — цитата из предисловия В. Тучкова к первой публикации Тотева (в московской газете «Арена», 1991): «Его судьба типична для подлинного интеллигента второй половины XX века — он никогда не писал под всеобщую дуду, а с другой стороны, не искал скандальной славы». Увы, на рубеже веков одиозное выражение «подлинный интеллигент» звучит иначе, чем еще десять лет назад. И набегают странная мысль: может быть, стоило прислушаться к *всеобщей дуде* или поискать *скандальной славы*? Кто же это, не помню, заметил, что непризнанных гениев не бывает? Ведь и вправду не бывает.

Игорь Бурлаков. Homo Gamer. Психология компьютерных игр. М., Независимая фирма «Класс», 2000, 144 стр. («Библиотека психологии и психотерапии», вып. 86).

Большая часть книги посвящена психологии DOOM-образных игр-стрелялок (*Архетип агрессивного лабиринта. Архетип чудовища. Архетип смерти. Четвертое измерение Дум-образных игр. Символизм и реализм в Дум-образных играх. Дум-образные игры и нравственность. Агрессия и Дум-образные игры. Отрицательные эффекты Дум-образных игр*). Активным геймерам пользы от нее немного. В то же время тем, у кого совсем нет личного опыта таких игр (у меня есть), будет трудно представить себе некоторые нюансы, а также проверить правильность некоторых утверждений. Сам автор признает, что психологическое знание редко удается транслировать в виде текста, его нужно *прожить*.

Самое существенное содержится в начале книги и, к сожалению, не получает дальнейшего развития: «Их [компьютерные игры] никто не ждал и на их появление никто не рассчитывал... Вычислительная техника ассоциировалась с идеей математики, логики, рациональности. Предположение, что большинство людей станет использовать ее в абсолютно иррациональных целях (для игр), казалось абсурдным — как словосочетание „компьютерная игра“...» Собственно, я и купил книжечку, раскрыв ее в магазине на этом месте. Другое забавное место: «Возможно, в 2001 — 2002 годах эротические игры будут доминировать так же, как „DOOM II“ в 1994 — 1995 годах».

Более широкий взгляд на игры я обнаружил в «Русском Журнале» в статье Генри Дженкинса (*Technology Review*) «Искусство цифровой эпохи» (http://russ.ru/ist_sovr/other_lang). Он обращает внимание на то, что люди 20-х годов, доказывая, что кино — не настоящее искусство, ссылались на те же его свойства, что сейчас приписываются компьютерным играм, — коммерческая ориентация, технократическое происхождение, склонность к изображению насилия и эротическим сюжетам.

там. Считалось, что кинематограф не сможет произвести на свет ничего нетленного. На самом деле компьютерные игры — *новый вид живого искусства, порожденно-го цифровой эпохой*. «Будут ли грядущие поколения вспоминать сражение Лары Крофт с рычащими волками так, как сегодня мы вспоминаем пробирающуюся по льдинам Лилиан Гиш из фильма „Путь на восток“?» Хорошо сказано. «Об играх еще надо научиться писать умно и остроумно». Тоже верно.

-3

Виктор Феллер. Новый миф о будущем. Самара-Уральск, Самарский Дом печати, 2000, 256 стр.

Справка об авторе: по образованию преподаватель физики, экономист, профессионально занимается анализом и прогнозированием ситуации на рынке ценных бумаг. *Замысел:* познакомить читателей «с новой научной теорией, которая дает исследователю (которым может стать любой любознательный человек с интуицией и определенным кругозором) несколько серьезных аргументов для прогноза». *Аксиомы:* «В основе прогностики лежат пять фундаментальных идей. Первая. Бог физически существует как Бог общины, это и есть Бог Живой, или Бог как личность. Бог Живой — это коллективный общинный разум, существующий параллельно нашему индивидуальному разуму... Вторая... Нет Бога вне нации. Христианский католический Бог французов лишь родной брат христианскому католическому Богу итальянцев. Это не один Бог, потому что французы — не итальянцы. Третье. Бог нации смертен, и время его жизни 768 лет...» *Методология:* «Не буду углубляться в обоснование предлагаемых ниже схем, т. к. считаю, что лучшим доказательством или опровержением станут сами исторические описания с использованием предложенных схем...» *Собственно прогностика:* «Как когда-то в казаке слились монгол и русский, так и в XXII веке произойдет новый синтез — синтез русского и китайца...»

В книге имеются два приложения. «Словарь основных понятий, введенных автором», например: «S-переход — 12288-летний (3 года × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4) цикл, имеющий не гармоническую, а S-образную форму...» Второе приложение — «Краткое описание теории историографической прогностики», тут любопытна сноска о том, что это описание является результатом уточнения основных положений книги, а потому представленные здесь схемы несколько отличаются от тех, что даны в книге... Умри, Денис!..

Автор почему-то надеется, что его работа вызовет общественную дискуссию, но его предположение, что книга поможет работникам фондового рынка, очень трогательно.

Д. В. Данилов-Абросимов. Скандальный детектив, или Философия порока. Харьков, «Фолио», 2000, 60 стр.

Замысел: «частное расследование истинных намерений и поступков, совершенных известным коммунистическим авторитетом — Карлом Марксом (он же Мавр), который обвиняется в хищениях, маниакальной страсти к террору и матереубийстве». *Источники:* использованы выдержки из 85 писем Маркса за период с 1848 по 1882 год. *Стиль:* «мысль стать властелином мира не покидала эту бородатую голову ни на мгновение». *Методология:* «По мнению некоторых современных исследователей ономастических теорий, значение имени „Барабас“ происходит от библейского разбойника Вараввы, чье имя в правильной арамейской форме — Бар Абба. Вслушайтесь еще раз в корявое сочетание звуков — К-а-р-а-б-а-с Б-а-р-а-б-а-с. Они дают далеко не приятные ощущения: что-то нечеловеческое, угрожающее, безжалостное и одновременно издевательское — К-а-р-л М-а-р-к-с, — этот гимн спотыкающихся, прерывистых сигналов вызывает ассоциацию с чем-то ненадежным, ложным, хотя само имя — Карл, имеющее немецкое происхождение,

означает буквально: сообразительный, сметливый... Что касается приведенных выше словосочетаний, то их обладатели — Карабас Барабас и Карл Маркс — несут на себе явную печать внешнего и сокрытого, духовного уродства... Не только зрительное, но и качественное сходство Мавро-Маркса с негативным персонажем Карабасом Барабасом — их злоба, коварство и необузданная жажда власти над марionетками — выплеснулось в реальный мир в виде кукольных балаганов: Интернационалов — 1, 2 и 3 — Советского Союза».

Да, Карабас... тьфу, Карл Маркс был дурным человеком; отчетливо выраженные религиозно-нравственные убеждения автора, приславшего мне свою работу, вызывают уважение; но книга все равно плохая. Кстати, в библиографии явно не хватает знаменитой работы С. Н. Булгакова о Марксе.

Адольф Гитлер. Моя борьба. Перевод с немецкого. М., «Витязь», 2000, 590 стр. ISBN 5-86523-066-2.

Джордж Оруэлл написал в марте 1940 года весьма примечательную рецензию на английское издание «Майн Кампф» (цит. по кн.: Оруэлл Джордж. Скотный Двор. Сказка. Эссе. Статьи. Рецензии. М., «Известия», 1989): «Гитлер, лучше других постигший это („лживость гедонистического отношения к жизни”. — А. В.) мрачным своим умом, знает, что людям нужны не только комфорт, безопасность, короткий рабочий день, гигиена, контроль над рождаемостью и вообще здравый смысл; они также хотят, иногда по крайней мере, борьбы и самопожертвования, не говоря уже о барабанах, флагах и парадных изъявлениях преданности... В то время как социализм и даже капитализм, хотя не так щедро, сулят людям: „У вас будет хорошая жизнь”, Гитлер сказал им: „Я предлагаю вам борьбу, опасность и смерть”; и в результате вся нация бросилась к его ногам... Коль скоро мы вступили в борьбу с человеком, провозгласившим подобное, нам нельзя недооценивать эмоциональную силу такого призыва» (перевод А. Шишкина). В 1940 году, когда были написаны эти строки, Оруэллу не то что не все было известно о нацизме, но многое еще просто не произошло. Спустя шестьдесят лет, когда все уже произошло, отечественный литератор, особо любимый в Германии (это, конечно, Владимир Сорокин), признается, что воспринимает выступление Гитлера на съезде в Нюрнберге как «диковинный, интересный цветок», а всю эпоху советского и немецкого тоталитаризма как музейный экспонат: «Если вы оказались в пещере со скорпионами, эта ситуация страшна, а если те же скорпионы нанизаны на булавки и помещены под стекло, то разглядывать их доставляет эстетическое наслаждение...» («Время МН», 2000, № 141, 31 августа).

О выходе «Майн Кампф» по-русски я узнал из публикуемого «Ex libris НГ» списка новых поступлений в Российскую государственную библиотеку (ББК: ТЗ(4Г)63-496,02. Шифр: 1 00-8/159-4; в РГБ имеется и предыдущее русское издание 1998 года, шифры: 2 98-25/286-0 и 2 98-25/287-9). Чтобы не ходить в библиотеку, я скачал анонимный перевод из Сети (<http://www.magister.msk.ru/library/philos/gitla001.htm>). Но вопрос, является ли «Моя борьба» актуальным пропагандистским материалом или она уже превратилась в *памятник* политической истории XX века (подобно «Моей жизни» Троцкого), вопрос этот остался открытым, ибо книгу я не осилил. Лев Борисович тоже был гадина, но писал лучше.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

О литературном ландшафте Интернета, о загадочной энергетике писателя Сорокина и о «просто литературе» — о поэме Глеба Шульпякова, прозе Дмитрия Бавильского, Сергея Соколовского, Дмитрия Новикова

Я уже признавался однажды читателю, что бескрылый я человек. К дерзающим поставить в искусстве все с ног на голову, быть на самом-самом острие

эстетических исканий новых времен отношусь с любопытством. Иногда почти с сочувствием наблюдаю, как упираются, как тужатся в этом направлении ребята и с каким энтузиазмом принимает эти потуги продвинутая литературная общественность, как разносятся по литературному Интернету волны восхищения по поводу все новых и новых свершений. Нет, правда, я не иронизирую. Люди честно стараются, их, можно сказать, ведет и корчит на этом нелегком, тернистом пути, и муки их сладкие — от молодого задора и истовости (на другие мотивации — типа сохранить рейтинг самого крутого или, извиняюсь, бабок срубить на очередной проект — я как-то стараюсь не глядеть; да и меньше их там, чем принято считать, там в основном служение бескорыстное). Короче, наблюдаю с интересом, но близко к сердцу не принимаю. Не потому, что боюсь быть опаленным нестерпимым жаром их горения или арктическим холодом достигнутых ими горних вершин духа. Нет, не поэтому. И жар их горения меня не греет, и холод не освежает. Скажу честно, мне просто скучно. Не могу я всерьез читать, скажем, Пепперштейна с Ануфриевым, или Болмата, или Армалинского. Я люблю литературу, но, видимо, странной по нынешним временам любовью. Как та тетка любила котлеты. Формулировка, увы, не моя — коржавинская. Это как же? — попросили Наума Моисеевича уточнить. А вот представьте, объяснил Коржавин, заходит тетка в столовую, берет котлеты, а они какие-то несъедобные. Несет к поварам, плохие, говорит, котлеты, дайте другие. Да вы что, накидываются все на нее, это на самом деле замечательные котлеты, вы не понимаете, тут такие ингредиенты! такая технология! Тетка даже смутилась, да нет, говорит, я ведь ничего против не имею, но вы и меня поймите, я же их покупала, чтобы есть. А-а, сказали повара, ну тогда, конечно, тогда дайте ей другие котлеты.

Ничего не могу с собой поделаться, мне скучен даже — страшно вымолвить — сам Сорокин. «Голубое сало», например. Нет, я все понимаю и про ингредиенты, и про технологии. И уровень исполнения порой даже восхищает (без дураков, сделано блестяще). Но — скучно. Дразнит аппетит ошметками научной фантастики, что-то от триллера, что-то от антиутопии, ну а все остальное — это уже внелитературное, остальное держится на, если так можно сказать, «закадровой энергетике идеологических противостояний в эстетике», обработанных пелевинским («Чапаев и Пустота») способом остранения исторических персонажей. И совсем не острой, а скорее пикантно-тухленькой воспринимается мысль о гибели, вернее — изначальной вымороченности, классической русской литературной традиции.

Хотя справедливости ради надо сказать, что во взаимоотношениях Сорокина со сложившимися традициями русской литературы возникает свой (тоже закадровый) сюжет, и сюжет по-своему трогательный. Автор объявил, что полностью исчерпал для себя интерес к собственно литературе, ничего от нее не ожидает и испытывает к ней скорее отвращение. Нормально. Имеет право, как любой из нас. Потому как — не любит. Равнодушен. Какие проблемы? А вот поди ж ты. Раз заявил. Потом еще раз. Потом еще. И никак успокоиться не может. Вроде как всем и самому себе доказал, что вся эта литература наша, тургеневы-ахматовы, — туфта. Изготовить это проще простого. И вроде как блистательно это доказал, изобразив на бумаге все, из чего состоят тексты классиков, — тут тебе и Толстой, и Пастернак, и вообще кто угодно. То есть доказал, что того, что мы ищем в литературе, на самом деле нет, а значит, и ее, литературы в традиционном понимании, тоже нет. Но чуть в сторону отошел полюбоваться, а она, ну совершенно непонятно почему и как, опять возникла, цела и невредима. Но ведь нет же ее, ну вот рукой потрогай (и трогает) — ведь нет! И действительно, когда он рукой трогает — ничего под рукой Сорокина не оказывается. А убирает руку, и она (литература) непонятно как и откуда встает на прежнее место. Есть она... Это ж мука-то какая мученическая! Который год человек изобличает! Можно сказать, жизнь на это кладет. А ей хоть бы что.

Ну а может, сделаем еще одно осторожное предположение: перед нами совсем другой — тоже по-своему драматичный и тоже трогательный — сюжет? Никуда не денешься, очень уж много в этом сорокинском сюжете провоцирующего на аналогии с ситуацией, когда мужчина заявляет женщине, которая его не любит, что и он тоже отныне не любит ее, то есть совершенно не любит и совершенно равноду-

шен, и что он теперь внутренне абсолютно независим от самого факта ее существования. И заявив это раз, через год заявляет второй раз, и в третий раз заявляет через пару лет. И в четвертый, и в пятый, и в девятый. И никак, бедный, остановиться не может. Сюжет богатый... Но что-то не тянет особенно в нем разбираться. Ей-богу, есть более увлекательные занятия в литературе. Максимум, который я могу здесь из себя выжать, — это сострадание (издаля) к усилиям и титаническим борениям превосходящих литературную традицию, ну и, разумеется, некий естествоиспытательский интерес. А читать их тексты, имея, скажем, два свободных часа в электричке, конечно, не стал бы. Мне про другое интересно. А кому интересно это — пожалуйста: на сайте Вячеслава Курицына есть специальная страница, посвященная творческой судьбе и литературно-идеологическим прениям вокруг текстов Сорокина (<http://www.guelman.ru/slava/writers/sorokin.htm>). И оттуда, кстати, можно обозреть очень даже приличный сектор того «дискурса», о котором я пишу, — страницы, на которых отслеживается сегодняшняя жизнь текстов Болмата, Пепперштейна и прочих (<http://www.guelman.ru/slava/logo.gif>). Не забудьте заглянуть и в сами обзоры Курицына (<http://www.russ.ru/krug/news/20001109.html>), и в выставленную там книгу о постмодернизме (<http://www.guelman.ru/slava/logo.gif>), являющие одну из самостоятельных акций в этом пространстве, а не только стороннее описание.

Я же, набирая материал для очередного обзора, решил прогуляться у подножья этих горных вершин — там, где произрастает «просто литература». Захотелось почитать что-нибудь для обыкновенного удовольствия. И если что найдется, поделиться этим удовольствием с читателем.

Искал я в местах уже знакомых: на сайте того же, прошу прощения за неподобаемость, Вячеслава Курицына, на «Вавилоне», в «Тенётах» и «АРТ-ЛИТО». Поначалу просто открывал тексты незнакомых авторов, но быстро устал:

«Испуганно кричали чайки. Темное грозное небо зависло над морем. Тревожные волны, пенясь, бились о пустынный берег, гася жар раскаленного песка, и мириады мельчайших капель летали в воздухе...» и так далее.

Или: «Невысокое деревянное здание аэропорта было переполнено народом. Люди сидели и лежали на стоящих посреди зала ожидания лавках, на чемоданах, узлах, коробках... Аэропорт, отгороженный от всего мира пеленой дождей, тоскливо плыл среди пустоты бесчисленных туч в четвертые сутки ожидания».

Адреса не указываю, чтобы не огорчать людей, — от чистого сердца писали. Чего тут кривиться. Не нравится — не читай. Я и не читаю. Просто ландшафт описываю. С одной стороны Пепперштейн, с другой — «испуганно кричали чайки». Ну а посередине?..

А посередине, пусть и не так эффектно поданная, — собственно литература.

Например, совершенно неожиданно для меня поэма Глеба Шульпякова «Грановского, 4» (<http://www.guelman.ru/slava/texts/gran.htm>). До сих пор я больше знал Шульпякова как регулярного газетного обозревателя и как вполне квалифицированного переводчика поэта Одена. Но ожидаемое (прошу прощения у Глеба) полублюбовство встретил только в первых двух строчках. Все остальное действительно поэзия (для меня по крайней мере).

Прежде всего автор не стесняется себя и не стесняется своей простодушной любви к литературе, к старой русской поэзии и прозе. Ему хватает ума и вкуса, а может, это его поэтический талант (дело не в масштабах) не позволяет играть в крутого, продвинутого поэта (а мог бы, человек достаточно осведомленный).

В поэме — ностальгическое проживание воспоминаний о ранней юности и прочитанных тогда книгах. И сама она по всем приметам, и внешним и внутренним, поэма очень «литературная»: Москва на переломе 80 — 90-х годов, зима, мороз, полукочевая жизнь, еще не одиночество, но блаженное уединение в старинном московском доме, знаменитом своими давними жильцами («Большая комната с лепниной по углам / в старинной многоуровневой квартире, / досталась мне случайно», «...тишина, / которая висела как пустой / рукав пальто. / Но как же в этой самой тишине / спалось за пазухой зимы! какие сны / мне снились под спадающей лепниной!»), запойное чтение и писание стихов, неожиданное знакомство и пьяная ночь с экзотичным соседом, антикваром-старьевщиком; пещера Аладдина,

вдруг открывшаяся в этой огромной коммуналке, с медвежьими шкурами на паркетном полу, камином и фарфором старинных ваз. Сосед, назвавший себя Монте-Кристо, спрятавшись в своем укрыище и своей криминальной деятельности, взращивает сладкую обиду на мир и мечту о мести.

Что было дальше? Дальше мы всю ночь
закусывали курицей тушеной
и «Жигулевским» жадно запивали
«Сибирскую», где тройка с бубенцами
и сорок пять прозрачных оборотов.
Мы, кажется, о чем-то говорили.

Пьяная ночь и утреннее — комфортное и для автора, и для сюжета поэмы — исчезновение Монте-Кристо, уносимого санитарями на носилках поутру, разоренная комната, исчезнувшие сокровища.

Дальше? Дом
купили то ли шведы, то ли финны
и наше коммунальное гнездо
за сорок восемь мартовских часов
разворошили.
...я тогда свалился с жутким гриппом,
который по Москве гулял в ту пору.

Уютное ностальгическое повествование, написанное уютными обжитыми размером и интонацией. Литературно обкатан композиционный прием, который использует Шульпяков, — это набокровский прием из рассказа «Круг», когда финал еще неведомой истории с неведомым читателю именем героя поставлен в начало. И, дочитав последнюю строку рассказа, поневоле возвращаешься к первой. Хороша рамочка, в которую вставлено романтическое повествование о давней зимней Москве, внезапно возникшем и так же внезапно исчезнувшем соседе — повествователь рассказывает все это своей юной подруге в кафе, там же, на Герцена («...и мы сидим в кружочке желтой лампы, / а за окном поблескивают лужи»). И «вкусно» подана здесь география старомосковских теперь уже баров и кафе. И хороша степень прозаизированности речи. То есть практически все, из чего сделана эта поэма, придумано и обкатано в нашей поэзии уже давно. Но ощущения литературности почему-то не возникает. Автор честно обозначает самой манерой повествования жанр, в котором работает, — это что-то вроде шлягерного «московского романса»: в качестве материала здесь используется не только жизнь (воспоминания о своей юности), не только прочитанная когда-то и любимая до сих пор литература, через которую пропущено это воспоминание, но еще и стереотипы нашего восприятия этой литературы. И наличие четко проартикулированной в поэме рефлексии по поводу последнего компонента сообщает тексту свежесть первоизданности. Это шлягер, но отнюдь не кич. (Перечитайте по строкам большинство стихов архаичнейшего по языку, с цыганско-романсовой составной, наследия Блока, не теряющего обаяния на фоне поэтического языка, скажем, футуристов или акмеистов.)

Порадовавшись неожиданному для меня Шульпякову, я тут же, не уходя с сайта Курицына, открыл страницу другого критика, отжавившегося на публичные занятия художественным творчеством. И каким! Когда год назад Дмитрий Бавильский, ушибленный Сэй-Сэнагон (а кто ею не ушиблен? — даже крутой Фассбиндер не удержался), объявил в Интернете свой проект «Изгололье Бавильского» (<http://www.guelman.ru/slava/bav/11.htm>) и предложил всем желающим присылать свои «сэй-сэнагоновские списки» того, что любят и что не любят, чем живут, я не мог не умилиться наивности многоопытного уже к тому времени газетного обозревателя — ведь ясно же, что предложенный жанр мало кому по зубам. Сложить из как бы случайных, рассыпанных впечатлений, из бытового «мусора» протекающей жизни ее образ, ее свет, воздух, тепло, нежность — тут дар особый нужен. И если Бавильский так уж сильно загорелся, то вряд ли кто, кроме него, это исполнит. Хотя бы потому, что скорее всего представит себе неисполнимость такой задачи. А Бавильский, похоже, не представлял — вот это неведение и было его силой. И Ба-

вильский, срываясь иногда в многословие, в приблизительность, в литературный штамп, тем не менее заполняет все новые и новые списки и выставляет их на своей странице, озаглавливая «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». И честно говоря, читая их, непроизвольно чувствуешь зуд в руках: все-таки замечательное это дело — литература. Даже вот в таком странном ее изводе.

Из «Зимы» Бавильского:

«Новая дубленка Принцессы (она же Таня — лирическая героиня прозы Бавильского последних лет. — С. К.).

Переход с вина на водку.

Невозможность путешествий, но лишь утомительные командировки.

Дурман цитрусовых над торговыми рядами.

Постоянные разговоры о погоде: почему-то считается (общественный стереотип), что сильные холода — это хорошо. Это типа по-нашему.

Жалость к животным.

Поливаешь цветы и вдруг натыкаешься на запах парной земли и неожиданно-го озона...

Такая тишина, как в деревне вечером.

Вот и Джулия Робертс говорит, что больше всего любит Нью-Йорк именно зимой: когда темнеет рано и много огней.

Долгие, горячие ванны.

Шелестящая тишина падающего снега.

Планирование летнего отдыха, способствующее выживанию.

Желание быть испанцем»

(<http://www.guelman.ru/slava/bav/5.htm>).

Собственно, это уже и не вполне проза. Точнее, проза, но писавшаяся по законам поэзии.

Начитавшись Бавильского и движимый не вполне осознанными ассоциациями, я начал искать доступную сейчас в Интернете прозу Сергея Соколовского, молодого, интернетовского по преимуществу писателя, постепенно набирающего имидж одного из лидеров своего поколения. Я уже упоминал его имя в этих обзорах, но слишком бегло. Нашел три текста. На сервере «Вавилон» — цикл «Ужасная новость» и три рассказа, на сайте «Молодая литература» — «Отрывки из Красной книги» (<http://www.friends-partners.org/newfriends/culture/literature/alexey/sokolovsky.htm>).

Рассказ «Жираф» (<http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon7/sokolovsky.html>). Протокольным почти стилем изложены обстоятельства ненаписания обещанного друзьям романа «Жираф» про белорусского диссидента, отставного полковника по кличке Жираф, укрывшегося от властей в своей квартире и полгода удерживавшего там насильно — для общения — двух молодых бродяг-тусовщиков, путешествовавших автостопом Карла и Леночку. Романа уже точно такого не будет, но повесть про Жирафа, обещает в этом рассказе автор, он, наверно, допишет, потому как «несмотря на то, что Жираф уже давно внушает мне отвращение, остались некоторые детали, сохранившие свою прежнюю привлекательность. Например, зеленое байковое одеяло, которым Карл и Леночка укрывались в Крыму. Мой собственный сон про рыбу, плывущую над далеким городом, приписанный Карлу. Искусственные цветы, украденные Плевакой с кладбища в качестве натур для композиций, которые фотографировал Жираф. Шляпа Леночки, которая доподлинно существовала на чьей-то голове лет десять назад. Короткий путь — в конечном итоге мне самому пришлось им воспользоваться. Старые газеты. Бесконечные макароны. Самосвал, обрызгавший грязью Карла и Леночку после того, как они покинули квартиру Жирафа. Ну и так далее...». Это финальный абзац рассказа.

Странный рассказ и странная проза. Хотя в контексте уже обнародованной прозы Соколовского этот рассказ воспринимается почти прозрачной классикой. В качестве визитной карточки этого писателя я бы назвал сегодня цикл совсем коротких рассказов «Ужасная Новость» (<http://www.vavilon.ru/textonly/issue1/sokol.htm>). Прежде всего это подчеркнуто поколенческая проза, так сказать, голос новейшего поколения в литературе, принципиально дистанцирующегося от пред-

шественников, — проза замкнутая в жаргоне нового городского поколения и малопонятной атрибутике их жизни (наркотики, фотошоп, имена рок-музыкантов, о чем-то говорящие им, и так далее), написанная как бы с принципиальным нарушением всех полагающихся законов и правил — кратчайшая, отрывистая, драная. Написанная непонятно про что. И при этом, читая ее, я чувствую неведомо откуда возникающее ощущение значительности вроде как небрежно проговариваемых (очень тщательно отделанных!) «бессодержательных» отрывков. Слышу тягу некоего чувственного и сильного, абсолютно реального проживания жизни, муку от томлящей своей близостью и недоступностью гармонии и красоты, несомненно присутствующей в наперекосяк проходящих днях. Жжет она автора. Автор пытается передать как бы некий код своего ощущения этой жизни.

«СЛЫШУ ГОЛОСА

— В этом фильме все время слушают музыку...

— Музыку.

— Да. И мелькают полосы, как в телевизоре. У меня горло болит.

— Скоро пройдет. То есть у них магнитофон все время играет?

— Ну да, мыльница такая... И они слушают всякие записи начала семидесятых.

— Прокол Харум, Фэмили... Кримсон, само собой.

— И анашу курят?

— Нет. Они просто сидят и слушают музыку. А потом одного из них убивают.

Польский фильм. Очень хороший».

«КИЕВ В 1991 ГОДУ

Убивали негров в ЮАР, развлекались иными способами. А я приехал в Киев и остановился в Святошино у слабознакомых книготорговцев.

В их холодильнике присутствовал чистый ян: пачка геркулеса, большая банка с хмели-сунели и маленькая банка с нещелоченым винтом.

В Киеве в то время было много русских бандитов. В Вильнюсе, кстати, в то время их тоже было немало. Не знаю, с чем это связано.

В Киеве русские бандиты однажды зашли в кафе-мороженое, закрыли за собой дверь и забрали деньги у всех посетителей, а потом ушли. У меня они не забрали денег, потому что денег у меня не было.

Книготорговцы из Святошино пили водку и воровали дорожные знаки. У них была большая коллекция.

Если не считать воспоминаний лирического характера, то это все».

При описании прозы Соколовского возникает желание употребить многозначительное, в общем-то, вполне бессмысленное слово «психоделическая». Как обозначение, что ли, интуитивности письма, когда руку пускают на волю в надежде, что сам автоматизм письма и свободного течения ассоциаций выведет к неясно ощущаемой цели. И это только кажется, что такой способ писать самый легкий. Разболтанный. Необязательный и проч. Здесь свободы ровно столько, сколько и несвободы. Спонтанность здесь не означает произвольности. Искусство воплотить как бы мимолетный, необязательный, но значимый для художника отпечаток первоначального эмоционального импульса требует очень даже немало мастерства и работы. К сожалению, в литературной критике не употребляются термины, которыми искусствоведы описывают абстрактную живопись. Абстрактная она только по отношению к фигуративной, но никак не по отношению к эмоциональной, образной и интеллектуальной внутренней жизни. Не пугает же нас абстрактность любой музыки.

У Соколовского я чувствую наличие и внутренней свободы, и одновременно жесткой самодисциплины, и уже приличное наработанное мастерство. Есть искус объяснить его прозу как простодушные писания Сэй-Сёнагон нынешнего «поколения X», точечными касаниями к окружающей их реальности складывающих не картину, а только ощущение жизни, присущее новому поколению. Но такое уподобление было бы слишком поверхностно. Соколовский, при всей как бы легкости и необязательности письма, отнюдь не наивный импрессионист. Он способен достаточно жестко и изощренно выстраивать свои сюжеты. Сэй-сёнагоновский

список в конце его «Жирафа», приведенный выше, — далеко не полная характеристика его стиля. Два других рассказа, помещенных рядом с рассказом «Жираф», — это новеллы с соблюдением жестких законов жанра. Разумеется, написанные языком современной литературы. Вот рассказ «Бисквит Берроуза» (<http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon7/sokolovsky.html>) — описание того, как повествователь, владелец ста тысяч (в те еще времена происходило), решает возвратиться к некогда испробованному способу выйти из депрессии, по телефону он узнает существовавшие тогда цены на опий (пятьдесят тысяч за грамм) и договаривается о повторном звонке через два часа. Движимый неожиданным желанием и мерцающей в памяти сценой, переходящей из одного романа Берроуза в другой, — джанки, часами сидящий в кафе с куском бисквитного пирога и кофе в пластмассовом стаканчике и кого-то ожидающий, — повествователь заходит в старое привычное кафе на Знаменке, ставшее баром, и заказывает кофе, а заодно, увидев в меню бисквитный пирог, еще и пирог. Отсюда, из бара, кстати, можно будет потом позвонить и продавцу опия. И только расплачиваясь за все это, герой обнаруживает, что кофе и пирог стоят семьдесят тысяч: «Поедая пирог, я вспомнил соответствующий пассаж из Берроуза и обнаружил, что необходимость в телефонном звонке отпала сама собой...» Таковую вот шутку пошутил с повествователем лукавый образ из романа знаменитого джанки.

Мир в прозе Соколовского, при авторской дотошности всяких уточнений времени, места и обстоятельств, всегда как бы недостроен, как бы весь в прорехах. Сквозящая через эти прорехи энергия близкой, дразнящей автора, но недоступной внутренней жизни описываемого им мира завораживает. И Соколовский обычно не торопится с последними формулировками и универсальными, затыкающими прорехи образами. В этом, на мой взгляд, его сила. Когда же он эту «зыбкость» смыслов своей прозы начинает отливать в бронзу универсальных лирико-философских символов, рвется сама ткань живущей в его прозе реальности. Изображаемое уплощается и мельчает, как, например, в «Пидермайере» из «Ужасной Новости», где автор пытается создать фантастический образ Старого Города, хранилище Ужасной Новости, с неведомой зловещей жизнью, с выстрелами и каким-то скрежетом, у стен которого «мы ходили по улицам и смеялись», а потом, в финале, вошли туда и увидели мертвецов. Жалко будет, если Соколовского поведет в навязчивый жанр «философской фэнтези».

В заключение обзора — о повести Дмитрия Новикова «SECTIO» (<http://www.anekdot.ru/an/an0004/h000418.html>), появившейся на сервере «Салон» и попавшей в списки конкурса сайта «АРТ-ЛИТО». О его рассказе «Муха в янтаре» как рассказе замечательном я уже упоминал в прежних обзорах и, обнаружив его новый текст, разумеется, приступил к чтению с некоторым естественным страхом: выдержит или нет новая проза Новикова сравнение с его прежним, несомненно, удачным рассказом. Выдерживает. Вполне. Хоть написано не так ровно.

«SECTIO» — это попытка, в целом удавшаяся, написать лирико-философскую притчу на внешне вполне заурядном материале. Повесть состоит из двух параллельных повествовательных потоков, у нее два героя. Две судьбы. Главки, обозначенные именем Толика, описывают вечер и утро студента-медика, только начинающего свой разбег по жизни и не сомневающегося, что у него получится все. У Толика — молодость, здоровье, образованность, живой ум, ясно обозначенные цели, внутренняя дисциплина. Параллельно в главках, помеченных именем-ключкой «Анатолик», в монологе, данном в форме несобственно прямой речи, — предсмертная исповедь спившегося бича, бывшего когда-то в юности, вероятно, и Толиком, потом — Анатолием Петровичем, интеллектуалом и победительным жизнелюбом («был большой и сильный, как скала»), а затем ставшим «Анатоликом», смердящим алкоголиком, пьющим на случайные заработки с бичами. Пытаясь водкой перебороть невыносимую боль уже фактически разлагающегося своего тела, Анатолик напряженно размышляет, где и на чем он сломался, что стало причиной душевного надлома. Ничего экстраординарного пережить ему не пришлось — обычная жизнь; но жизнь, проживаемая с открытыми глазами, точнее, открытым сердцем, для некоторых оказывается непосильной. Даже «обыкновен-

ная» любовь мужчины и женщины возникает здесь как страшная смертельная схватка, в которой обречен тот, кто чувствует полнее. Физическую боль и страх (а он, как бывший врач, отдает себе отчет в происходящем с его телом) Анатолик переносит с мужеством философа-стоика («Он постоянно, с тайным интересом наблюдал за своими реакциями на разные события: „Это меня бьют ботинками по лицу. Ах, как ему, то бишь мне, больно. Интересно, как он себя дальше поведет. Это мне сказали, что у меня цирроз. Я — славный представитель армии больных циррозом. Это смешно и достаточно нелепо»»). Другая боль, другая мука убивает Анатолика — невозможность понять, почему и что сломило его). Он точно знает, что ответ надо искать в формуле так и не обретенной им внутренней свободы. И как бы находит ее в последнюю минуту своей жизни: «Свобода — самое главное, воздух жизни, круг, очерченный любовью. И внутри этого круга он был волен делать все, что угодно, а вне его — зло и хаос. Но очень важно было не переступить грань...» Здесь стреляет предусмотрительно подвешенное Новиковым в тексте «ружье» («Вот смерть... — думал Толик, — римляне в ней хорошо разбирались. „Если тебе не повезло в жизни — значит, повезет в смерти”»). Но, честно говоря, по сравнению с художественной убедительностью вопроса, поставленного автором, эта формулировка разочаровывает излишней универсальностью и риторичностью.

Удачно применен в повести прием с художественным временем: оба повествования, про Толика и про Анатолика, изображают действие, развивающееся в настоящем времени, — мучительные и бесконечные блуждания Анатолика в замороженном городе и в эпизодах собственной жизни идут параллельно с описанием занятия по судебной медицине, на котором Толик с однокурсниками вскрывают тело замерзшего алкоголика. Где-то к середине рассказа читателя оповещают, что это тело Анатолика. Сняв кожу с черепа мертвого Анатолика и отколов отпиленную верхушку черепа, Толик берет в руки синеватый, бугристый мозг и с невольным прорвавшимся уважением говорит: «Тоже ведь, наверно, думал о чем-нибудь важном». Толик еще не понимает до конца, что на самом деле ему показано, но некоторое беспокойство он уже чувствует. Первые симптомы возможной судьбы победительного Толика уже явлены: «С некоторых пор он стал замечать за собой странную убежденность, что не все в мире поддается разумному осмыслению, что бывают понятия, не доступные определениям и при этом гораздо более важные, чем те, которые можно сформулировать словами...»; «Им овладело сильное желание познать не только книжную науку, но и пройти самому все крайности критических состояний, на острие которых и открывается Истина...».

Вообще-то истина — вещь труднодоступная. И потому я с легким сердцем отвожу взгляд от некоторой декларативности ответов писателя на «проклятые» вопросы, а также от дополнительного, уже ненужного в крепко сложенном каркасе повести усиления голоса, скажем, в эротической сцене или в сценах вскрытия тела, — я искренне радуюсь художественной убедительности всего остального в этом тексте.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Евгений Гришковец. ОдноврЕмЕнно. Диалоги к «Запискам русского путешественника». М., «Сегодня на сцене», 2000, 54 стр., 1500 экз.

Первое типографское издание двух пьес («Все, что напечатано в этой книжке, — это все, что я написал вообще...») молодого, но уже заслуженно именитого кемеровского драматурга и режиссера, лауреата «Антибукера» 1999 года и «Золотой маски» 2000 года.

Евгений Звягин. Очевидец. Роман. СПб., «Борей-Арт», 2000, 206 стр.

Авантюрное «петербургское» повествование современного прозаика, автора книги «Кладоискатель» (Л., «Васильевский остров», 1991), сочетавшей энергетику питерского художественного андерграунда 70-х с традицией русской романтической повести первой половины прошлого века. Новый роман — попытка использовать наработанное в собственно литературе на пространстве приключенческого боевика. В «Очевидце»: отсыревшие старинные пейзажи Островов, богемные квартиры на Пушкинской, криминальный торговый Апраксин двор, бар на Рубинштейна и прочие приметы второй столицы, на фоне которых разворачивается сюжет с погонями, слезками, мордобоем и стрельбой, магом-изобретателем и безработным созерцателем, с японским ниндзя и ветераном нынешних войн русским морским офицером; с любовью и разлукой и прочими атрибутами «остросюжетного». И параллельный сюжет — неравная схватка высокополобого элитного литератора с канонами крутого коммерческого боевика.

Ясунари Кавабата. Снежная страна. Повесть, новеллы. Перевод с японского З. Рахима. СПб., «Амфора», 2000, 283 стр., 5000 экз.

Первая повесть Кавабаты «Снежная страна» (1937) и две новеллы «Элегия» и «Танцовщица из Идзу».

Артур Кестлер. Век вожделения. Роман. Перевод с английского Аркадия Кабалкина. М., «Гудьял-Пресс», 2000, 400 стр., 5000 экз.

Поздний (1951) роман автора «Слепящей тьмы». «Принципиальный пессимизм, русские фамилии, надрывные чувства, протяжные философские диспуты. Только действие происходит не в сталинских застенках, а в парижских трущобах середины 50-х. Впрочем, обитатели этих трущоб вот-вот переключаются в застенки: Франция под каблуком Союза, и скоро грянет нашествие... еще одна антиутопия» (из рецензии Б. Кузьминского).

Марина Новикова. С Богом и платочек. Книга стихов. 1966 — 1998. М., Издательство «МХТ», 2000, 164 стр.

Новая грань творчества известного филолога, фольклориста и культуролога, профессора Симферопольского университета, постоянного автора «Нового мира» Марины Новиковой — ее поэтическое творчество, книга, написанная «в соавторстве» с Робертом Бёрнсом, Юлианом Тувимом, Вильямом Шекспиром, Христо Ботевым, Лесей Украинкой, Константиносом Кавафисом, Редьярдом Киплингем и другими европейскими и средиземноморскими поэтами, которых Новикова переводила более двух десятилетий, находя у каждого из этих поэтов «свои стихи». Тексты переводов перемежаются оригинальными стихами. Стихи расположены в четырех разделах: «У каждого человека есть свое детство — юность — молодость — зрелость. Но они же есть и у каждого поколения, у каждой эпохи. Радость начала — напряжение поисков — шок разочарования — медленное обретение нового. Позднего опыта... Четыре „времена жизни“ человека» (из авторского послесловия).

Елена Шварц. Стихотворения и поэмы. СПб., «ИНАПРЕСС», 1999, 512 стр., 2000 экз.

Самое полное сегодня собрание сочинений одного из ведущих современных поэтов. «Стихотворения в этой книге взяты из всех сборников, хронологически. Второй раздел книги составляет мой излюбленный жанр — маленькие поэмы. Третий — книга в книге — может быть, роман в стихах, — „Труды и дни монахини Лавинии“... В целом эта книга — главный труд моей жизни, в ней собрано все самое для меня важное» (от автора).

Лиля Брик — Эльза Триоле. Неизданная переписка (1921 — 1970). Составление, вступительная статья В. Катаняна. М., «Элис Лак», 2000, 688 стр., 5000 экз.

Впервые публикуемая переписка двух сестер, незаурядных женщин, ставших музаями двух поэтов (Луи Арагон начинал как поэт-сюрреалист).

Евгений Винокуров. Жизнь, творчество, архив. Составители Ирина Винокурова, Александр Колчинский. М., РИК Русанова, 2000, 320 стр.

Сборник статей и очерков о жизни и творчестве известного поэта и многолетнего сотрудника «Нового мира» Евгения Михайловича Винокурова (1925 — 1993). Среди авторов очерков и статей Татьяна Рыбакова, Константин Ваншенкин, Белла Ахмадулина, Олеся Николаева, Вадим Сикорский, Ирина Роднянская, Новелла Матвеева, Евгений Евтушенко. В отдельном разделе представлены мемуарные записки самого Винокурова о родителях, о Борисе Пастернаке, Илье Эренбурге, Ярославе Смелякове, Михаиле Светлове, Борисе Слуцком, Т. В. Розановой, а также письма Анастасии Цветаевой к Евгению Винокурову.

Рене Жирар. Насилие и священное. Перевод с французского Г. Дашевского. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 400 стр.

Перевод на русский язык знаменитой книги живущего в США современного французского философа и антрополога — «разыскание о мифах и ритуалах», концепция которого способна, по мнению ученого, стать основой теории первобытной религии. Центральными в концепции Жирара стали понятия насилия, жертвоприношения и «жертвы отпущения». Один из выводов автора: «Религия — это в первую очередь снятие огромной преграды, которую насилие ставит созданию любого человеческого общества. Человеческое общество начинается не со страха „раба“ перед „господином“, но с религии...» «...религия есть не что иное, как жертва отпущения, учреждающая единство группы одновременно и против и вокруг этой жертвы. Лишь жертва отпущения может предоставить людям дифференцированное единство в тот момент, когда оно и необходимо, и самим людям недоступно, то есть внутри взаимного насилия, которое нельзя прекратить ни надежным его укрощением, ни подлинным примирением».

Л-критика (Литературная критика). Ежегодник Академии русской современной словесности — 2000. М., АРСС, 2000, 288 стр.

Своеобразная творческая визитная карточка АРСС, собрание статей и литературно-критических эссе активно работающих сегодня литературных критиков, членов Академии русской современной словесности (АРСС). Основу сборника составили материалы Первых чтений имени Аполлона Григорьева, темой которых было: «На перекрестке истории и автобиографии: из опыта современной прозы». Авторы сборника: Агеев, Аннинский, Архангельский, Арьев, Бавильский, Басинский, Бахнов, Василевский, Генис, Елисеев, Ермолин, Золотоносов, Зорин, Наталья Иванова, Костырко, Курицын, Латынина, Липовецкий, Марченко, Немзер, Новиков, Роднянская, Топоров, Чупринин, Шкловский, Эпштейн. В «Приложении» — эссе лауреатов премии Аполлона Григорьева Юрия Давыдова «Наш век — это век Иуды» и Юрия Буйды «Замок Лохштед», а также интервью с Юрием Давыдовым. Предисловие к сборнику написано Натальей Ивановой. Составитель ежегодника Евгений Шкловский.

А. Г. Макаров, С. Э. Макарова. Вокруг «Тихого Дона». От мифотворчества к поиску истины. М., «Пробел», 2000, 104 стр.

Работа современных исследователей, посвященная проблеме авторства «Тихого Дона». Проанализировав существующие ныне версии, проделав собственный анализ текста, истории создания и публикации романа-эпопеи, авторы приходят к выводу о ложности авторства Шолохова. Публикация глав, легших в основу данного исследования, была осуществлена «Новым миром» в 1993 году («К истокам „Тихого Дона“» — № 5, 6).

Л. Павлищев. Из семейной хроники А. С. Пушкина. **А. Арапова.** Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. М., «Три века истории», 2000, 512 стр., 2000 экз.

Четыре работы племянника Пушкина — воспоминания о поэте и эпизоды его гибели. Вторая часть написана старшей дочерью Н. Н. Гончаровой-Пушкиной от второго брака. Комментарии Георгия Галина.

Расстрельные списки. Москва 1937 — 1941. «Коммунарка», Бутово. Ответственные составители справоч А. Л. Кудрявцев, Л. Г. Новак. Под редакцией Л. С. Ере-

миной и А. Б. Рогинского. Автор послесловия А. Б. Рогинский. М., Общество «Мемориал» — Издательство «Звенья», 2000, 500 стр., 2000 экз.

Новый том «расстрельных списков», мартиролог которых содержит 4527 кратких биографических справок расстрелянных в Москве со 2 сентября по 16 октября 1941 года по ложным политическим обвинениям и захороненных в двух «зонах»: «Бутовский полигон» и «Коммунарка» (по данным «Мемориала» в этот период в Москве было расстреляно около 32 тысяч человек).

«В „Коммунарке“ тела расстрелянных закапывали в общих рвах. Убийцы, заботившиеся о том, чтобы скрыть следы совершенных ими преступлений... попытались истребить саму память о казненных... Мы рассматриваем записи публикуемого мартиролога как единственную возможность поставить надгробие каждому...» (из предисловия составителей).

Жан Поль Сартр. Бытие и ничто. Опыт феноменологической антологии. Перевод с французского, предисловие, примечания В. Колядко. М., «Республика», 2000, 639 стр., 5000 экз.

Впервые на русском языке одно из центральных сочинений Сартра-философа, над которым он работал с 1930 по 1943 год.

Христиане и мусульмане: проблемы диалога. Хрестоматия. Составление, вступительная статья и комментарии Алексея Журавского. М., Библейско-богословский институт святого апостола Андрея, 2000, 558 стр.

Подборка текстов мусульманских и христианских (католических в основном) богословов, посвященных проблемам взаимодействия двух мировых религий.

Натан Эйдельман. Статьи о Пушкине. Вступительные статьи А. Г. Тартаковского и В. Э. Вацура. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 458 стр.

Собрание статей Натана Яковлевича Эйдельмана (1930 — 1989) о Пушкине, не входивших в прижизненные авторские монографии и печатавшихся в журналах, газетах, коллективных сборниках; издание готовилось к десятилетию смерти известного историка и литературоведа. Восемнадцать работ, среди них — «По смерти Петра I...» (о работе Пушкина над историей Петра), «Карамзин и Пушкин. Из истории взаимоотношений», «Придет ли час моей свободы?» (о годах ссылки), «Пушкин и его друзья под тайным надзором», «Пушкин. „Замечания о бунте“», «Пушкин и Чаадаев. (Последнее письмо)», «В родню свою неукротим...». Редактор книги С. Панов. Составитель представленной в издании и самой полной на сегодня (376 позиций) библиографии публикаций работ Эйдельмана с 1960 по 2000 год О. В. Трунов.

Составитель Сергей Костырко.



ПЕРИОДИКА

«Вести.Ру», «Время МН», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Зеркало», «Знамя», «Искусство кино», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Логос», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Европа», «Новая Юность», «Новое литературное обозрение», «Огонек», «Октябрь», «Персона», «Пределы века», «Русский Журнал», «Содружество НГ», «Субботник НГ», «Труд», «Уральская новь»

Виктор Астафьев. «Сейчас в обществе состояние усталости». Беседу вел Геннадий Сапронов. — «Литературная Россия», 2000, № 41, 13 октября. Электронная версия: <http://www.litrossia.ru>

«Дожили — книга пропойцы („Москва — Петушки“. — А. В.), о пропойцах, о полной деградации человека приравнивалась к великой гоголевской поэме. И ведь она не на пустом месте выросла. Все это вполне закономерный скопившийся душевный мусор. Грязь, мусор, они скапливаются во всякой душе. Как же в нашей зачумленной действительности жить и не замараться».

Белла Ахмадулина. Сны о Грузии. Стихи. — «Дружба народов», 2000, № 10. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhba>
Это *новые* «Сны о Грузии».

Василий Белов. Тяжесть креста. — «Наш современник», 2000, № 10. Электронная версия: <http://read.at/nashsovr>
О Шукшине.

Инна Борисова. Борис Можаяв: воля к независимости. — «Дружба народов», 2000, № 10.

Тут же в рубрике «Частные воспоминания о XX веке» напечатаны мемуары жены Можаява Милды Шноре «На хуторе Уки».

Дмитрий Быков. Как нам обустроить «Титаник». Со времени публикации статьи Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию» прошло десять лет. — «Огонек», 2000, № 33, сентябрь. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>
«...Ибо царства, которым надлежит распасться и возродиться, не должны быть обустроиваемы. Дело пассажиров на „Титанике“ — посылить спасти женщин и детей, а дело оркестра, в котором где-то сбоку играю и я, — играть до последней минуты».

Петр Вайль — Алексей Герман. «Трудно быть богом», — сказал табачник с Табачной улицы. — «Искусство кино», 2000, № 8. Электронная версия: <http://www.kinoart.ru>

Беседа о новом фильме Германа по роману Стругацких. А также о том, что, когда Германа приглашали с «Хрусталева, машину!» в Канн, ему не то чтобы обещали главный приз, но что-то вроде этого, а вышло все не так и даже наоборот.

Верю. Не верю. Беседу вел Леонид Плешаков. — «Персона». Общественно-публицистический иллюстрированный журнал. 2000, № 4. Электронная версия: <http://www.ram.ru/persona>

Академику Борису Раушенбаху смертельно надоел космос. Интересно было, когда все только начиналось, все впервые. А потом одно и то же. Побольше, подлиннее, повыше. Скучно.

См. также в «НГ-Наука» (2000, № 9, 18 октября) дискуссию о пилотируемой экспедиции на Марс: Юрий Караш уже не первый раз выступает с призывом объявить ее *национальной задачей России*, Дмитрий Пайсон видит в призывах Караша чуть ли не провокацию, а Гелий Салахутдинов считает печальной ошибкой пилотируемую космонавтику как таковую.

Игорь Виноградов. Памяти Юрия Буртина. — «Литературная газета», 2000, № 43, 25 — 31 октября. Электронная версия: <http://www.lgz.ru>

«...Когда Твардовский уже был снят (это был первый период его редакторства в „Новом мире“ — 1950 — 1954), [Юрий Буртин] дважды попытался — вопреки всем партийным указаниям — выдвинуть его на собрании избирателей в депутаты Верховного Совета СССР, за что поплатился сначала выговором, а потом и исключением из партии, восстанавливаться в которой впоследствии уже не пожелал...»

Владимир Войнович. Чонкин в Америке. — «Труд», 2000, № 198, 21 октября. Электронная версия: <http://www.trud.ru>

Смешное: «Мне навстречу прошли муж и жена, и, поравнявшись со мной, он сказал: „Смотри, вот Войнович идет, и без телохранителей“...» *И не смешное:* Войнович не утерпел и написал продолжение/окончание «Чонкина», действие которого происходит в 1990 году.

Александр Галушкин. «И так, ставши на костях, будем трубить сбор...» К истории несостоявшегося возрождения Опояза в 1928 — 1930 годы. — «Новое литературное обозрение», № 44 (2000 год). Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine/nlo> См. также сайт «Нового литературного обозрения»: <http://www.nlo.magazine.ru>

Тут же напечатана вторая редакция известной статьи В. Б. Шкловского «Памятник научной ошибке» («Литературная газета» от 27 января 1930 года).

Рената Гальцева. Условная эсхатология Владимира Соловьева. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 2000, № 13.

К столетию со дня смерти философа. См. в настоящем номере «Нового мира» статью А. Серегина, поводом для которой послужили первые два тома из выходящего академического собрания сочинений Соловьева.

Александр Генис. Фотография души. В окрестностях филологического романа. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Всевозможные «романы-эссе», «романы без вранья» Генис предпочитает называть «филологическими романами». См. также статью Вл. Новикова «Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столетия» («Новый мир», 1999, № 10).

Геном человека. — «Знамя», 2000, № 10. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

Будущее накатывается как тайфун; один из участников оживленной дискуссии в традиционной рубрике «Конференц-зал» даже сулит появление «розовых» и «голубых» государств, а все потому, что расшифровали геном.

Александр Гольдштейн. Аспекты духовного брака. Фрагменты книги. — «Зеркало», Тель-Авив, 2000, № 13-14. Электронная версия: <http://members.tripod.com/~barashu/zerkalo>

«Пространство вокруг буржуазно, сам же я неустроен», — жалуется антибукеровский ларуеат.

Геннадий Гор. Корова. Роман. Вступительная заметка Г. Ю. Гора и А. Ю. Гора. Публикация Ю. Г. Гора. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 10.

«Гор начал рано, но опоздал: книжка [„Живопись“] вышла в год „великого перелома“. Чудо, что успела выйти... Книжка успела выйти — перспектива захлопнулась. Изменить своим вкусам, своим поискам молодой Гор не мог. И он попробовал изменить не тему (он ее еще не обрел), а тему. Вера в то, что исповедуемый им художественный метод всемогущ, была неколебима. Можно было пожертвовать всем, кроме метода. Коллективизация, раскулачивание, соцсоревнование, великий почин, пионеры, партиячейка, трюклизм, антирелигиозная пропаганда, „головокружение от успехов“, „Поднятая целина“, даже будущий Павлик Морозов — всё, пожалуйста... И он стал переписывать советскую газету 1929 года: то, что надо, но — по-своему. Получилась „Корова“. В ней столько простодушия в хитрованстве! Проповедь колхоза и апология Живописи... В финале романа Корова горит, как у Эйзенштейна и Тарковского; Кулак погибает на рогах польхующей Коровы. Оптимистическая трагедия! — вот еще образец. Несмотря на такой светлый финал, „Корову“ не напечатали» (из вступительной статьи Андрея Битова).

Нина Горланова. Коммуналии. — «Уральская новь», 2000, № 3 (8). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/urnov>
Коммуналка. Люди. Вши.

Две Нины Садур. Беседу вел Дмитрий Бабич. — «Время MN», 2000, № 174, 17 октября. Электронная версия: <http://www.vremyamn.ru>

Драматург и прозаик Нина Садур считает, что искусство — это особая среда, которая не имеет национальности, «это как масонская ложа на весь мир». См. другую беседу с Ниной Садур в газете «Книжное обозрение» (2000, № 43, 23 октября).

М. А. Дмитриевская. «Стрела, попавшая в цель». Телеология В. Набокова и Г. Газданова. — «Логос», 2000, № 5. Электронная версия: <http://www.ruthenia.ru/logos>

Расширенный вариант доклада, прочитанного на Газдановских чтениях 5 января 2000 года в Калининграде.

Евгений Добренко. Три матери. — «Искусство кино», 2000, № 8.

«Мать» (1906) Горького. Три экранизации — В. Пудовкин (1926), М. Донской (1955), Г. Панфилов (1989). Книга плохая (и автор так считал), но ее *своевременности* хватило почти на столетие.

Венедикт Ерофеев: последние годы. Из дневников Натальи Шмельковой. — «Литературная газета», 2000, № 43, 25 — 31 октября.

«2 июня [1989]... Не доволен выступлением по телевизору Татьяны Толстой. „Не люблю победоносную самоуверенность. Писатели должны ходить с опущенной головой“, — сказал он».

Зоя Ерошок. Уму Коржавина — 75, а выглядит на все пятьсот. — «Новая газета», 2000, № 56, 16 — 22 октября. Электронная версия: <http://www.novayagazeta.ru>

Из разговоров с Коржавиным: «Если бы Корнилов взял Петербург, его до сих пор бы поносили. Особенно те, кто благодаря ему остался бы жив».

Сергей Есин. 1999. — «Наш современник», 2000, № 4, 6, 7, 8, 9, 10, продолжение следует.

Труды и дни ректора Литинститута. Среди прочего: «[Владимир] Орлов вспомнил, как читал писателя [Платонова] несколько месяцев и вынес ощущение, что от последнего просто пахнет могилой: „Он труп человека любит больше, чем этого самого человека“...»

В. Залотуха. Русский крест. Маленькая утопия. — «Искусство кино», 2000, № 8. В процветающей России 2012 года умер последний праведник, а, как известно, не стоит село...

Сергей Земляной. Клерикально-консервативная мифологическая дистопия: Алексей Лосев. — «Русский Журнал». <<http://russ.ru/politics/meta>>

Автора интересует *период наивысшей политической активности Алексея Лосева как поборника имяславия* — 20-е годы. В «Русском Журнале» можно найти другие статьи философа С. Земляного «Право-консервативная нигдеия» и «Российская пореволюционная консервативная оппозиция: Николай Трубецкой». Эти три статьи из «Русского Журнала» как бы суммированы автором в большой статье «Музыка консерватизма. Николай Трубецкой, Павел Флоренский и Алексей Лосев как идеологи» («Фигуры и лица», 2000, № 17, 19 октября).

Михаил Золотоносов. Голубой Нарцисс. — «Московские новости», 2000, № 39, 3 — 9 октября. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

По мнению критика, выпущенный петербургским издательством Ивана Лимбаха дневник Михаила Кузмина за 1905 — 1907 годы показал, что собственно творчество было для Кузмина делом второстепенным, а на первом месте стояли самолюбование, кокетство, любовные интриги с «мальчиками», посещение парикмахерских и бань, прыщик любимого Сережи Судейкина.

Михаил Золотоносов. Гнусные ожидания были обмануты. — «Московские новости», 2000, № 42, 24 — 30 октября.

Составитель и комментаторы тома неизданной переписки Лили Брик и Эльзы Триоле (М., «Эллис Лак», 2000) постарались, по мнению критика, обойти все острые углы, что при публикации лишь четверти всей переписки (295 из 1223 писем) не так уж сложно было сделать.

Искушенный жизнью. Беседу вела Диляра Тасбулатова. — «Персона». Обще-ственно-публицистический иллюстрированный журнал. 2000, № 4.

«Я не выпиваю, правда, но все равно в бодром расположении духа», — говорит Андрей Битов.

Александр Казинцев. Дао тун. — «Наш современник», 2000, № 9, 10.

Внутри заметок о Китае — эмоциональная полемика с книгой А. Паршева «Почему Россия не Америка» (М., 2000).

Рейн Караст. В чужом пиру. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 9.

Критика странных комментариев Э. Власова к поэме Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» (еще более сокрушительную критику этих комментариев см. в статье А. Плущера-Сарно в октябрьском номере «Нового мира» за 2000 год), а также полемика с антиерофеевским выступлением Владимира Новикова «Выдуманный писатель» («Столица», 1994, № 31; то же в кн. Вл. Новикова «Заскок» /М., «Книжный сад», 1997, стр. 103 — 112/).

См. также статью А. Плущера-Сарно «Некодифицированные спиртные напитки в поэме В. В. Ерофеева „Москва — Петушки“» («Логос», 2000, № 4).

Ольга Ключкина. Воля к игре: исследование игроков казино. — «Логос», 2000, № 4.

Для рассмотрения такого сложного культурного явления, как игра в казино, можно/нужно использовать самые разные гуманитарные дисциплины — философию, психологию, культурологию, социологию, экономику.

Леонид Костюков. Поэзия нового века. — «Дружба народов», 2000, № 10.

Бродский *научился писать стихи*, превратил поэзию в регулярное занятие; вопреки распространенному мнению, он не ужесточил требования к технике письма, а снял эти требования, продемонстрировав, что дело не в этом. Далее — о стихах Дмитрия Веденяпина, Сергея Самойленко, Виталия Пуханова и Алексея Кубрика.

Владимир Крупин. Новорусская премия. Крыша течет. Рассказы. — «Москва», 2000, № 10. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

В первом рассказе писатель жалуется, что новые хозяева жизни ему премию как бы дали, а денежки зажалили... Почему это лауреатов премии Аполлона Григорьева никто не обманывает?

Жан-Мари Леклезно. Диего и Фрида. Перевод с французского Н. Кулиш. — «Иностранная литература», 2000, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Диего — это Диего Ривера, а Фрида — его жена, мексиканская художница Фрида Кало (1907 — 1954).

Михаил Леонтьев. Цвет патриотизма. — «Завтра», 2000, № 40, 3 октября. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Тот факт, что крах Советского Союза, безусловно, был катастрофой, отнюдь не умаляет того, что большой растянутой латентной катастрофой другого порядка был сам советский строй».

Илья Лепихов. Та сторона эфира. — «Русский Журнал». Адрес в Сети: <http://russ.ru/krug/kriga>

В сборник Александра Солженицына «На краях» (М., «Вагриус», 2000) вошли восемь рассказов, написанных до 1966 года, и восемь, написанных с 1993 по 1998 годы, а также повесть «Аллиг Швенкиттен», законченная в конце девяностых. Впечатление критика: *с годами Солженицын пишет лучше.*

Евгений Майзель. Николай Носов *Forever*. — «Русский Журнал». <<http://russ.ru/krug/razbor>>

Автор перечитывает *шедеврально* трилогию о Незнайке. «Искусство у коммунистически ориентированных коротышек находится в большом упадке и служит только двум целям: социально-нравственным (чтобы поучало чему-нибудь хорошему) и декоративным (чтобы было красиво). Неудивительно, что „дикий“, „неприрученный“ Незнайка, испробовавший себя на различных поприщах и всякий раз актуализирующий в них эстетические или мистические аспекты, снискал разве что скандальный успех у непросвещенной публики. Как музыкант Незнайка обогнал свое время („Моей музыки не понимают, — говорил он. — Еще не доросли до моей музыки“). Судя по описанию, это было что-то из разряда *musique concrete* или *generative*). Незнайка-поэт изобретает сюрреализм и автоматическое письмо задолго до их эвентуального теоретического обоснования главным ученым коротышек — Знайкой, утилитаристом и технарем. Теоретические импровизации самого Незнайки отличает радикализм: „Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть“...»

Михаил Майков. Бремя белых. Косово, Чечня, Палестина... Далее везде? — «Пределы века». Еженедельная общественная православная газета. 2000/7508, № 8, 17 — 24 октября. Электронная версия: <http://www.predely.ru>

«Почему Европа и Америка раз за разом принимают не только глубоко аморальные, но и абсолютно невыгодные им решения? Почему практически во всех крупных мировых конфликтах последних лет Запад последовательно занимает сторону тех, кому ненавистны базовые ценности европейской цивилизации, европейский образ жизни как таковой? <...> По моему глубокому убеждению, в основе всех этих ложных ходов лежит прежде всего интеллектуальная нищета современных лидеров, их советников и экспертов. <...> Причину же следует искать, видимо, в истории европейской мысли, точнее — в распространившейся несколько столетий назад и сегодня почти всеобщей убежденности в равенстве культур. В свое время теория эта сыграла роль безусловно положительную, однако сейчас она уже угрожает самому существованию западной цивилизации в ее нынешнем виде. Толерантность без границ постепенно превратилась в самоцель, и сегодняшний европеец с умилением смотрит на людоеда: „Он не лучше и не хуже меня, он просто другой“. Даже у американцев на смену их вечной розовой убежденности в преимуществах своего образа жизни пришла скучная серая политкорректность. Самое забавное, что идеологи этой самой политкорректности, горячие борцы за равенство вегетарианцев с людоедами, на поверку оказались совершенно неспособны вообразить себе кого-либо, отличного от них самих. Косовские, чеченские или палестинские боевики представляются им теми же самыми американцами, разве что чуть по-иному одетыми. <...> Мы присутствуем при окончательном перерождении благородного просветительского гуманизма в опасный политический дальтонизм. Сегодня у европейцев еще срабатывает инстинкт самосохранения, и при решении проблем, касающихся их лично, они проявляют необходимые мужество и твердость. Но на некото-

ром географическом отдалении они уже перестают различать черное и белое. <...> Европейцы должны вновь поверить в Европу. Пора наконец признать, что только в рамках христианской цивилизации была выработана достойная человека модель человеческого общежития. Все остальные цивилизационные модели, безусловно, хороши в кул-сткамере, но не все, что представляет интерес для этнографа, пригодно для житья. Пришло время отказаться от чувства вины перед бывшими колониями — право слово, период господства европейских держав был лучшей эпохой в истории азиатских и африканских стран. Пора разлюбить романтических бандитов, Стенек Пугачевых и Фиделей Че Гевар, и отказаться от восторженного придыхания при словах „малый народ” — угнетенные меньшинства, взяв верх, оказываются, как правило, несравнимо хуже своих недавних угнетателей. Пора перестать, комментируя конфликты, подобные чеченскому или палестинскому, рассуждать об „экстремистах с той и с другой стороны” или о „нарушениях прав человека с обеих сторон” — это не рыцарские поединки, а „борьба жизни с черт знает чем”. Когда полиция арестовывает членов банды, не существует „двух противоборствующих сторон” — есть лишь полицейские и бандиты. <...> Россия должна наконец устыдиться детского лепета о своем евразийстве и, осознав дело спасения христианской цивилизации как общеевропейский долг, помочь Западу сделать ответственный выбор. Увы, Россия пока тоже руководствуется скорее инстинктом, нежели глубинным пониманием ситуации — чем иначе объяснить, что мы до сих пор не осознали невозможность бороться с чеченскими террористами и одновременно заигрывать с их арабскими близнецами?.. Жил-был великий английский поэт Редьярд Киплинг. Сто лет назад он написал гениальное стихотворение „Бремя белых”... (Ср. с одноименным стихотворением Дмитрия Быкова; см.: Быков в Д. Отсрочка. Издание второе, дополненное. СПб., „Геликон плюс”, 2000, стр. 46 — 49. — А. В.) Сегодня „Бремя белых” уже не включают в сборники стихов Киплинга — видимо, составителям неудобно за отсталого поэта. Но давайте на несколько минут забудем о том, что вместо серых клеточек у нас уже давно остались лишь шаблоны и стереотипы; давайте прочитаем еще раз этот гениальный текст и поймем, о чем на самом деле говорит нам Киплинг. Тогда, может быть, мы вспомним о той огромной, для многих непереносимой ответственности, которая лежит на каждом из нас. Ответственности за судьбы тех людей, которые живут во „тьме египетской” и бегут света; ответственности за тот островок света, на котором нам выпала честь жить и который грозит поглотить сгущающаяся тьма.

Сгущающаяся тьма Михаила Майкова рифмуется с *азиатской ночью* Александра Гольдштейна («Зеркало», Тель-Авив, 2000, № 13-14): «Вывод понятен: всем оставаться на своих местах. Румынам — в Румынии, филиппинцам — на Филиппинах, тайцам — в Таиланде, малайцам — в Малайзии, китайцам — в Китае. Пусть едут, куда им заблагорассудится, пусть где угодно строят курятники, жрут стариков и выносят собачьи горшки — лишь бы избавили нас от себя. Их присутствие род злокачественной опухоли. Смешение рас, кое-как допустимое в больших государствах, несет Израилу гибель в дополнение к той, что традиционно и неотменно грозит ему с берегов Иордана, из аравийских пустынь, из каждого дюйма начертанной нам географии. Еврейский характер страны, кажущийся за ее пределами аксиомой, изнутри предстает едва ли уже доказуемой теоремой, ибо, говоря о еврействе, разумею, естественно, ашкеназов. В далеких истоках восточный, впоследствии же две тысячи лет как устойчиво западный, европейский характер (до европейцев еще европейский), он вернулся в Израиле в ханаанское лоно и был подорван галдящим базаром, левантийскою ленью, жарой. Начало еврейское тут сдается на милость, пресмыкательски отрешается в пользу того, чему должно быть пугалом и что, к несчастью, стало манком. Кисло-сладкому мясу, фаршированной щуке, рубленной, с яйцом и луком, селедке, коржикам на меду соглашатели (большинство уродившихся здесь ашкеназов) предпочли магрибское тесто лепешки, от гороховой начинки которой которой пучит живот, коллаборационисты обожают футбол и толпою ходят за пивом, горланят песни торговцев из Адена и Рабата, без разбора любят женскую плоть, законом же велено с нежною вдумчивостью отворять одеяло, поруганный идиш — достоянье семнадцати квочущих бессарабских наседок Галиции, глупые кости шеш-беша рвутся на шахматных благородных полях (разгром королевской игры, чья юдаистская искищенность была притчей во арийских языцах, одобрительно удостоверен собраньем семитов), обсмеяна философия, протухла поэзия, никто, кроме избранных русских да грамотных иноземцев-приблуд, не читает в автобусах или у моря, это пальмы, а не страницы, шуршат-шелестят на ветру, и тем же злым ветром опрокинуты в доме Израилевом светильники Запада. Родная мать не отличит нас вскоре от пейзажа. Желтое марево Благодатного Полумесяца исполнит завет ханаанцев. Восток пеленает нас, точно саван. Тают последние европейские огоньки ашкеназской души. Так неужели должны мы ускорить кончину и, приняв филиппинцев, малайцев, тайцев, китайцев, раньше срока упасть в азиатскую ночь?»

Владимир Маканин. «Публика сегодня нуждается в ощущениях сильных и грубых». Беседу вела Алена Солнцева. — «Время новостей», 2000, № 148, 17 октября. Электронная версия: <http://www.vremya.ru>

Автор романа «Андеграунд» о *настоящем* андеграунде: «Стоящий на паперти юридический никогда не станет священником, ни при какой перемене власти».

Александр Морозов. Политический консерватизм и церковный опыт. — «НГ-Религии», 2000, № 19, 11 октября. Электронная версия: <http://religion.ng.ru>

(Нео)консерватизм Путина вынужденно и парадоксально устремлен в будущее, к каким-то формам государственной и общественной жизни, которых в России еще не было. См. также статью Юрия Каграманова «Бегство вперед?» («Новый мир», 2000, № 9).

Галина Мурсалиева. Дарующий зло видит только зубы. — «Новая газета», 2000, № 56, 16—22 октября.

Беседа с востоковедом Алексеем Асяновым о талибах, ваххабитах и прочих исламистах: «Ну представь, если человек гибнет со словами „Господь велик!“ — это же вызывает уважение, верно? А с криком „Аллах акбар!“ — ужас. А просто был сделан нечестный перевод... „In God we trust“ — с английского это переводится как „В Бога мы верим“. Не переводят же как „В Бога мы верим“? Когда же переводится что-то касающееся ислама — всегда остается непереуслышанным слово „Аллах“. Почему? Это же не какой-то особенный Бог, просто по-русски Бог — это Бог, по-английски — God, а по-арабски — Аллах».

Александр Никонов, Кирилл Коликов. Внутренняя война, или Что скрывают от россиян. Чем больше оружия у населения, тем спокойнее жизнь в стране. — «Огонек», 2000, № 38, октябрь.

«Огонек» не первый раз выступает за право каждого законопослушного гражданина иметь (хотя бы хранить, если не носить) короткоствольное оружие — револьверы и пистолеты. Ко множеству убедительных аргументов и малоизвестной статистики, приведенных в статье, добавлю еще одно соображение: российская специфика такова, что на разреженных просторах нашей страны многие негородские жители живут в *отсутствии государства* как такового. Государство а) не может защитить граждан, б) фактически отменяет смертную казнь, в) мешает гражданам давать вооруженный отпор злодеям. Но уж что-нибудь одно из трех должно иметь место?

Уистен Хью Оден. «Table Talk». Запись Алана Ансена. Предисловие, комментарии и перевод с английского Глеба Шульпякова. — «Новая Юность», 2000, № 4 (43). Электронная версия: http://www.infoart.ru/magazine/nov_yun

Ансен: «Как вы считаете, Шекспир согласился бы с вашей интерпретацией его произведений?» — *Оден:* «Какая разница — согласился или нет?...» — *Ансен:* «У вас есть на примете какой-то бар?» — *Оден:* «Нет, мы пойдем ко мне домой...»

Борис Парамонов. Русская история наконец оправдала себя в литературе. — «Время MN», 2000, № 173, 14 октября.

Татьяна Толстая, по мнению Парамонова, всегда была блестящим писателем, теперь же она проснулась *классиком русской литературы*. «Наслаждаясь „Кысью“ (М., „Подкова“, „Иностранка“, 2000. — А. В.), вы чувствуете, что игра стоила свеч: стоило прожить такую (то есть русскую. — А. В.) историю, чтобы породить такой текст». Это примечательное допущение, что история оправдывается литературой или что литература искупает историю, расположено, так сказать, *перпендикулярно* ко всей идеологии парамоновских «Русских вопросов», которые он регулярно осмысляет на радио «Свобода» (<http://www.svoboda.org>).

Андрей Немзер («Время новостей», 2000, № 156, 27 октября) характеризует роман «Кысь» иначе: «Мастеровитая имитация Ремизова и Замятина (хорошую прозу писали!), байки про мутантов (то Стругацкими пахнет, то средним фэнтези потянет), игра с мифологической символикой (скажи интеллектуалу „мышь“ — ассоциаций на семь верст станет), сорокинское смакование мерзости, банальности о связи культуры с тоталитаризмом (и банальное их опровержение), набоковское воспарение над „мнимым“ миром, дозированная ирония над безусловно дорогими автору мыслями (почти общая мета сегодняшней газетной эссеистики) и желание понравиться всем, всем, всем (спрятать в кармане комбинацию из трех пальцев — „читать-то вы толком не умеете!“)» — словом, «коктейль из хорошо известных ингредиентов (к тому же скверно взбитый — сюжетостроение у Толстой слабое)».

Людмила Петрушевская. Рассказы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 9.

«Лавина», «Невинные глаза», «Борьба и победа», «Пчелка», «Новая душа» — новые рассказы, написанные с той особой интонацией, как если бы автор/рассказчик, испы-

тывающий беспредельную жалость к персонажам, сам не принадлежал к *миру людей*. См. также ее рассказы в журналах «Урал» (2000, № 1), «Знамя» (2000, № 3, 10), «Октябрь» (2000, № 3).

Кевин М. Ф. Платт. Н. А. Заболоцкий на страницах «Известий». К биографии поэта 1934 — 1937 годов. Авторизованный перевод с английского С. Силаковой. — «Новое литературное обозрение», № 44 (2000 год).

С 1934 по 1937 год на страницах газеты «Известия» появилось тринадцать публикаций — стихотворений, переводов стихов и критических статей, автором которых был Николай Заболоцкий (1903 — 1958). Тут же приводится его малоизвестное стихотворение «Предатели».

Послание Иоанна Павла II людям искусства. Перевод с французского Натальи Горбаневской. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 2000, № 13.

Послание от 4 апреля 1999 года. С послесловием Ольги Седаковой «Благословение творчеству и парнасский атеизм».

Практика воздержания от смерти. Беседу вел Дмитрий Быков. — «Огонек», 2000, № 39, октябрь.

Беседа с поэтом и прозаиком Александром Лавриным, председателем «Общества воздержания от смерти»: «Странно, но чужая смерть для них („новых русских“. — *А. В.*) интереснее... экзистенциальнее, что ли... чем своя... Можно сказать, что для современного бизнесмена существует только чужая смерть — своя для него стала чем-то обязательным вроде уплаты налогов или покупки акций: вы купили — а они, бац, и упали. То есть это условие бизнеса, что ли. Вы идете в бизнес, зная, что расплатитесь жизнью».

См. также тематическую подборку «Репрезентация смерти» («Новое литературное обозрение», № 44), в которую вошли статьи Уильяма Никелла «Смерть Толстого и жанр публичных похорон в России», Сергея Дамберга и Марины Рабжаевой «Могила как метафора и метонимия: случай Украины» и другие материалы.

Развлечение для взыскательного читателя. Беседу вела Нина Агишева. — «Московские новости», 2000, № 40, 10 — 16 октября.

«С русской литературой все будет очень хорошо, причем очень скоро», — обещает Борис Акунин. См. также большую беседу с ним в газете «Время МН» (2000, № 169, 10 октября). Официальный сайт Акунина: <http://www.akunin.ru>; много интересного о приключениях Фандорина на сайте <http://www.fandorin.ru>

«Развод определил мою жизнь». Людмила Улицкая о мужском/женском. Беседу вела Маргарита Рюрикова. — «Огонек», 2000, № 36, октябрь.

Три брака Людмилы Улицкой.

Станислав Рассадин. Мы, я и Евтушенко. — «Новая газета», 2000, № 52, 56, 58.

Вышли первые три тома Собрания сочинений Евтушенко. «Сам я его преимущественно ругал — на протяжении долгих лет, порою обидно. Вероятно, следует повиниться: переругал... За что я его бранил? За то, что он не Пастернак?.. Ссорясь с Евтушенко, я ссорился с самим собою. Я ли один?»

Рустам Рахматуллин. Обещание Севастополя. — «Содружество НГ», 2000, № 9, 25 октября. Электронная версия: <http://cis.ng.ru>

Севастополь как гипотетический черноморский «Петербург» — столица украинско-российского союза. Текст подготовлен в рамках исследований, предпринимаемых литературной группой «Путевой Журнал». Другой проект группы — «К развалинам Чевенгура»; см. отчет Андрея Балдина, Василия Голованова, Дмитрия Замятина «Империя пространства» («Ex libris НГ», 2000, № 41, 26 октября).

Кавад Раш. Офицерский призыв. «Силовики» у власти в России: традиция и наши дни. — «Завтра», 2000, № 41, 10 октября.

Кому бы поставить памятник вместо железного Феликса на Лубянке? «Граф Александр Бенкендорф — начальник III Отделения. В юности — боевой офицер, кавказец. В 1812 году — отважный партизан и национальный герой, взявший с бою Утрехт и Амстердам. Граф Лев Перовский — министр внутренних дел. Сильный ум и характер. Чистоплотен, образован. В сотрудниках у него Вл. Даль, Иван Тургенев. Конногвардеец граф Петр Шувалов. О нем говорили „Феномен Петра IV“ из-за влияния. Граф Петр Валуев. Высокий, прямой. Талантливый романист. Управляющий МВД. Пушкин с него писал Петра Гринева — эталон русского дворянина. Преклонялся перед Петром I. Считал, что только его образ может оздоровить русскую жизнь. Граф Дм. Толстой. Ру-

ководитель МВД. Железной рукой насаждал классические гимназии и истреблял террористов. Вячеслав фон Плеве, по прозвищу сотрудников МВД — „Орел“. В 38 лет разгромил „Народную волю“. Убит террористами в 1904 г. И наконец, из этой же великой плеяды Аркадий Столыпин, ставший из шефа МВД премьером. Убит провокатором-террористом. Все пятеро получили графское достоинство на государевой службе. Все семеро стали бы украшением правительства любой европейской великой державы... В Европе с ними сопоставим в эти века только Бисмарк».

Мария Ремизова. Правый марш. — «Независимая газета», 2000, № 204, 27 октября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

В *утилитарно-идеологической*, по мнению критика, повести Юлия Дубова «Теория катастроф» («Знамя», 2000, № 9) «наш новый буржуа выступает в роли настоящего революционного героя, преобразующего косную действительность ценой собственной жизни». См. также подробную рецензию Александра Гаврилова («Новый мир», 2000, № 9) на предыдущую книгу Юлия Дубова «Большая пайка» (М., «Вагриус», 1999). Юлий Дубов — это, как известно, «ЛогоВАЗ».

Мария Ремизова бросила взгляд на Букеровскую шестерку 2000 года, и шестерка (Залогуха, Кононов, Палей, Слаповский, Шенбрунн, Шишкин) ей не понравилась (см.: Ремизова Мария. От кутюр до купюр. — «Независимая газета», 2000, № 195, 14 октября).

Вадим Руднев. Русские деньги. — «Логос», 2000, № 4.

Русские писатели вменили русскому сознанию как минимум пять злокачественных идей, связанных с отрицательным отношением к деньгам.

Александр Севастьянов. О русском факторе — начистоту. — «НГ-Сценарии», 2000, № 9, 11 октября. Электронная версия: <http://scenario.ng.ru>

Убежденный сторонник *национал-капитализма* и *национал-демократии* завершает дискуссию о русском национализме, начатую на страницах «НГС» (2000, № 2) его же статьей. Среди прочего — о русской классической философии второй половины XIX века — первой половины XX века: «Любоваться — можно; пользоваться — нет». Другие материалы по теме можно найти по адресу: <http://www.nazionalism.net>

Об этой дискуссии см. критическую статью Татьяны Глушковой «Своя своих не познаша?» («Завтра», 2000, № 16, 17).

Алексей Смирнов. Час волчьих ям. Размышления в залах экспозиции «Русское искусство первой половины двадцатого века» в новой Третьяковке. — «Зеркало», Тель-Авив, 2000, № 13-14.

«На базе Третьяковки должно быть фактически четыре разных музея: старая, дореволюционная реалистическая Третьяковка; музей русского дореволюционного авангарда; музей советского искусства 20 — 30-х годов и музей советского фашистского тоталитаризма... Все эти четыре художественных явления всегда находились в чудовищном антагонизме между собой, хотя все их участники хорошо знали друг друга и очень часто любезно раскланивались при встречах и даже иногда пили водку за одними столами. Нужен и еще один музей — истории неконформистского искусства 40 — 80-х годов. Но такой музей вряд ли возможно создать, так как огромное количество художников и связанных с ними идеологов умышленно играли на разнице политических систем, как многие играют на разнице валют, и вряд ли возможно свести в одну экспозицию враждующие группы и группировки».

Много интересных подробностей: автор знаменитого «Допроса коммунистов» Борис Иогансон был в прошлом колчаковским офицером и по воспоминаниям молодости написал свое хрестоматийное полотно.

Диакон Владимир Соколов. О «первородном грехе» русского дворянства и мистических истоках интеллигентского сознания. — «Пределы века», 2000/7509, № 6, 25 сентября — 2 октября.

Мистический исток интеллигентского сознания — арианская ересь. См. также другую статью того же автора «Ереси и проблемы современной биоэтики» («Пределы века», 2000/7508, № 8, 17 — 24 октября).

Владислав Софронов-Антони. Индустрия наслаждения. — «Логос», 2000, № 4.

Глянцевые аудиожурналы торгуют Наслаждением (по Лакану и Жижеку). «Еще одно мое (личное в том числе) наблюдение состоит в том, что у *аудофила* не должно быть любимой музыки. Музыка отвлекает внимание на себя, она мешает сконцентрироваться на звуке аппарата, насладиться всеми его нюансами, богатствами, его вкусом и послевкусиями; иными словами, музыка мешает наслаждаться Вещью».

Дмитрий Сухарев. Введение в субъективную бардистику. — «Знамя», 2000, № 10.

«Советская песня оставила не востребованными скорбные, страдальческие, вообще унылые стороны еврейского мелоса. В авторской песне нашлось место и для них. Александр Галич явился одним из первопроходцев, у него обращение к таким мотивам было очевидно непреднамеренным, исключая редкую обдуманную цитату. Специфической, по Галичу, формой еврейской заунывности, позволяющей обходиться без мелодического дара, пользуется в бардовской песне немалое число авторов». Журнальный вариант. Полностью публикуется в составленной Д. Сухаревым антологии авторской песни (Екатеринбург, «У-Фактория»).

Игорь Сухих. Одиссея казачьего Гамлета (1925 — 1940. «Тихий Дон» М. Шолохова). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 10.

См. другие его статьи из цикла «Книги XX века» в журнале «Звезда»: «О смерти, войне, судьбе и родине — русской и советской. „Василий Теркин“ А. Твардовского» (2000, № 8); «Евангелие от Михаила. „Мастер и Маргарита“ М. Булгакова» (2000, № 6); «Из гоголевской шинели. „Сентиментальные повести“ М. Зощенко» (2000, № 2); «О звездах, крови, людях и лошадях. „Конармия“ И. Бабеля» (1999, № 12).

Маргарет Сэлинджер. «Мой папа ограниченный и жалкий человек». Перевод и комментарий Аси Кавториной. — «Огонек», 2000, № 39, октябрь.

Дочь культового писателя-затворника сводит счеты с отцом в книге «Над пропастью мечты». По материалам, опубликованным в газете *The Daily Telegraph* (2000, № 45, 46).

Ольга Фигурнова. «Надежда Яковлевна». Из рассказов Татьяны Александровны Осмеркиной. — «Время MN», 2000, № 189, 28 октября.

Н. Я. Мандельштам в старости.

Джонатан Флэтли. Москва и меланхолия. Перевод с английского Нины Цыркун. — «Логос», 2000, № 5.

Впечатления от Москвы 1993 и 1997 годов в докладе на конференции по Вальтеру Беньямину (Москва, май 1999).

Георгий Хазагеров (Институт национальной модели экономики). Язык правых. — «Вести.Ру». Ежедневная интернет-газета. 2000, 10 октября. <<http://www.vesti.ru>>

«У нас еще не сформировался ясный образ языка правых, но у всех на слуху язык заведомо „левый“, и я хочу, отталкиваясь от него, показать, где проходит водораздел между правыми и левыми на уровне языковой картины мира».



ДАТЫ: 100 лет назад (24 февраля) опубликовано определение Синода об отлучении Льва Толстого от Православной Церкви.

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Февраль

5 лет назад — в № 2 за 1996 год напечатан рассказ Бориса Екимова «Фетисыч».

35 лет назад — в № 2 за 1966 год напечатана статья В. Кардина «Легенды и факты».

75 лет назад — в № 2, 3, 4, 5 за 1926 год напечатан роман Михаила Пришвина «Юность Алпатова».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Ламарк

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

«Новый мир», 1932, № 6.

SUMMARY



This Issue publishes the end of the novel «The Real Estate» by Andrey Volos. You may read here different stories written by Leonid Zorin and by the tandem of two authors, Nina Gorlanova and Vyacheslav Bukur. Also readers of this Issue will find «scenes from the provincial God-forsaken life» «Pyatirechiye» (Five Speeches) by Oleg Larin. The poetry section includes new poems by Evgeniya Smagina, Boris Romanov, Aleksander Zorin, Yefim Bershin.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» an article by Andrey Seregin «Vladimir Solovyev and the New Irreligious Consciousness» and also an essay by Rustam Rakhmatullin «Points of power» are published.

The section «The Scientific World» is represented by the Galina Muravnik's article «Homo Paradoxalis: a View of Science and a View of Faith», dedicated to scientific and religious aspects of analysis based on anthropological discoveries.

The literary critique is represented by two articles: «The Borisov' Stone» by Vladimir Gubaylovsky and «The Rhythm as a Theodicy» by Sergey Averintsev, dedicated to the analysis of modern and traditional poetical forms.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.10.2000 г. Подписано к печати 26.12.2000 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16,0 печ. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 700 экз. Зак. 2697. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В год 75-летия журнала «Новый мир»
Благотворительный Резервный Фонд
и редакция журнала «Новый мир»
учредили литературную премию
имени Юрия Казакова
за лучший русский рассказ года.**

**Премия имени Юрия Казакова за 2000 год
присуждена**

ИГОРЮ КЛЕХУ
за рассказ «Псы Полесья»
(«Дружба народов», 2000, № 7).

Состав жюри:

МИХАИЛ БУТОВ, председатель жюри,
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,
РУСЛАН КИРЕЕВ, зав. отделом прозы журнала «Новый мир»,
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ, президент АКБ «Национальный
Резервный банк», президент Благотворительного Резервного Фонда,
АНДРЕЙ НЕМЗЕР, литературный обозреватель газеты «Время новостей»,
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА (Екатеринбург), прозаик, эссеист.

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
генеральный директор Благотворительного Резервного Фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

СУММА ПРЕМИИ — 3000 \$.